

ISSN 1728-1938

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ

2021 * Том 20 * № 3

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW

2021 * Volume 20 * Issue 3

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ



2021
Том 20. № 3

ISSN 1728-1938

Эл. почта: puma7@yandex.ru

Веб-сайт: sociologica.hse.ru

Адрес редакции: ул. Старая Басманная, д. 21/4, к. А205, Москва 105066

Тел.: +7-(495)-772-95-90*12454

Редакционная коллегия

Главный редактор

Александр Фридрихович Филиппов

Зам. главного редактора

Марина Геннадиевна Пугачева

Члены редколлегии

Светлана Петровна Баньковская

Андрей Михайлович Корбут

Наиль Галимханович Фархатдинов

Редактор веб-сайта

Наиль Галимханович Фархатдинов

Литературные редакторы

Максим Сергеевич Фетисов

Перри Франц

Корректор

Инна Евгеньевна Кроль

Верстальщик

Андрей Михайлович Корбут

Международный редакционный совет

Николя Айо (Университет Фрибура, Швейцария)

Джеффри Александер (Йельский университет, США)

Яан Вальсинер (Университет Ольборга, Дания)

Виктор Семенович Вахштайн (РАНХиГС, Россия)

Гэри Дэвид (Университет Бентли, США)

Дмитрий Юрьевич Куракин (НИУ ВШЭ, Россия)

Александр Владимирович Марей (НИУ ВШЭ, Россия)

Питер Мэннинг (Северо-восточный университет, США)

Альбер Ожбен (Высшая школа социальных наук, Франция)

Энн Уорфилд Роулз (Университет Бентли, США)

Ирина Максимовна Савельева (НИУ ВШЭ, Россия)

Никита Алексеевич Харламов (Университет Ольборга, Дания)

Учредители

Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Александр Фридрихович Филиппов

О журнале

«Социологическое обозрение» — академический рецензируемый журнал теоретических, эмпирических и исторических исследований в социальных науках. Журнал выходит четыре раза в год. В каждом выпуске публикуются оригинальные исследовательские статьи, обзоры и рефераты, переводы современных и классических работ в социологии, политической теории и социальной философии.

Цели

- Поддерживать дискуссии по фундаментальным проблемам социальных наук.
- Способствовать развитию и обогащению теоретического словаря и языка социальных наук через междисциплинарный диалог.
- Формировать корпус образовательных материалов для развития преподавания социальных наук.

Область исследований

Журнал «Социологическое обозрение» приглашает социальных исследователей присылать статьи, в которых рассматриваются фундаментальные проблемы социальных наук с различных концептуальных и методологических перспектив. Нас интересуют статьи, затрагивающие такие проблемы как социальное действие, социальный порядок, время и пространство, мобильности, власть, нарративы, события и т. д.

В частности, журнал «Социологическое обозрение» публикует статьи по следующим темам:

- Современные и классические социальные теории
- Теории социального порядка и социального действия
- Методология социального исследования
- История социологии
- Русская социальная мысль
- Социология пространства
- Социология мобильности
- Социальное взаимодействие
- Фрейм-анализ
- Этнометодология и конверсационный анализ
- Культурсоциология
- Политическая социология, философия и теория
- Нарративная теория и анализ
- Гуманитарная география и урбанистика

Наша аудитория

Журнал ориентирован на академическую и неакадемическую аудитории, заинтересованные в обсуждении фундаментальных проблем современного общества и социальных наук. Кроме того, публикуемые материалы (в частности, обзоры, рефераты и переводы) будут интересны студентам, преподавателям курсов по социальным наукам и другим ученым, участвующим в образовательном процессе.

Подписка

Журнал является электронным и распространяется бесплатно. Все статьи публикуются в открытом доступе на сайте: <http://sociologica.hse.ru/>. Чтобы получать сообщения о свежих выпусках, подпишитесь на рассылку журнала по адресу: farkhatdinov@gmail.com.

RUSSIAN SOCIOLOGICAL REVIEW



2021
Volume 20. Issue 3

ISSN 1728-1938

Email: puma7@yandex.ru

Web-site: sociologica.hse.ru/en

Address: Staraya Basmannaya str., 21/4, Room A205, Moscow, Russian Federation 105066

Phone: +7-(495)-772-95-90*12454

Editorial Board

Editor-in-Chief

Alexander F. Filippov

Deputy Editor

Marina Pugacheva

Editorial Board Members

Svetlana Bankovskaya

Nail Farkhatdinov

Andrei Korbut

Internet-Editor

Nail Farkhatdinov

Copy Editors

Maxim Fetisov

Perry Franz

Russian Proofreader

Inna Krol

Layout Designer

Andrei Korbut

International Advisory Board

Jeffrey C. Alexander (Yale University, USA)

Gary David (Bentley University, USA)

Nicolas Hayoz (University of Fribourg, Switzerland)

Nikita Kharlamov (Aalborg University, Denmark)

Dmitry Kurakin (HSE, Russian Federation)

Alexander Marey (HSE, Russian Federation)

Peter Manning (Northeastern University, USA)

Albert Ogien (EHESS, France)

Anne W. Rawls (Bentley University, USA)

Irina Savelyeva (HSE, Russian Federation)

Victor Vakhshhtayn (RANEPA, Russian Federation)

Jaan Valsiner (Aalborg University, Denmark)

Establishers

National Research University Higher School of
Economics

Alexander F. Filippov

About the Journal

The Russian Sociological Review is an academic peer-reviewed journal of theoretical, empirical and historical research in social sciences.

The Russian Sociological Review publishes four issues per year. Each issue includes original research papers, review articles and translations of contemporary and classical works in sociology, political theory and social philosophy.

Aims

- To provide a forum for fundamental issues of social sciences.
- To foster developments in social sciences by enriching theoretical language and vocabulary of social science and encourage a cross-disciplinary dialogue.
- To provide educational materials for the university-based scholars in order to advance teaching in social sciences.

Scope and Topics

The Russian Sociological Review invites scholars from all the social scientific disciplines to submit papers which address the fundamental issues of social sciences from various conceptual and methodological perspectives. Understood broadly the fundamental issues include but not limited to: social action and agency, social order, narrative, space and time, mobilities, power, etc.

The Russian Sociological Review covers the following domains of scholarship:

- Contemporary and classical social theory
- Theories of social order and social action
- Social methodology
- History of sociology
- Russian social theory
- Sociology of space
- Sociology of mobilities
- Social interaction
- Frame analysis
- Ethnomethodology and conversation analysis
- Cultural sociology
- Political sociology, philosophy and theory
- Narrative theory and analysis
- Human geography and urban studies

Our Audience

The Russian Sociological Review aims at both academic and non-academic audiences interested in the fundamental issues of social sciences. Its readership includes both junior and established scholars.

Subscription

The Russian Sociological Review is an open access electronic journal and is available online for free via <http://sociologica.hse.ru/en>.

Содержание

СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

- Наука как церемониальный обмен: теория пространств внимания,
академического статуса и символической борьбы 9
Михаил Соколов

WEBER-PERSPEKTIVE

- Что делают социальные ученые в ситуации «политеизма ценностей»?
Или еще немного о веберовском «призвании» 43
Илья Пресняков

СОЦИОЛОГИЯ МОЛОДЕЖИ

- Государство для молодежи или молодежь для государства: дискурсы
молодежной политики в странах Евросоюза и России 71
Алина Майборода, Анастасия Саблина, Искэндэр Ясавеев
- О некоторых социально-демографических факторах интенсивности
антиправительственных демонстраций: доля молодежи в населении,
урбанизация и протесты 98
*Андрей Коротаев, Патрик Сойер, Максим Гладышев, Даниил Романов,
Алиса Шишкина*

ÉTUDES RICOEURIENNES

- Практический разум 129
Поль Рикёр

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ

- Обновление традиции в политической мысли Японии раннего Нового
времени: конфуцианская категория *Дао* и вопрос об истоках социального
порядка в теории Огю Сория 149
Валентин Матвеев

СТАТЬИ И ЭССЕ

- Жизнь, не принадлежащая себе: триада «ребенок — родитель — врач»
и феноменология в паллиативной помощи детям 182
Максим Мирошниченко

Человеко-метры, потребители, «правильные» и «неправильные» жители:
репрезентация горожанина в дискурсе о новых жилых районах Москвы. . . . 215
Дарья Волкова

Сборки старения в различных средах: применение материальной оптики . . . 244
Константин Галкин

ОБЗОРЫ

Онтологический анализ исследований ланкастерской ветви акторно-
сетевой теории: от восприятия к объекту 261
Евгений Попов

От социологии к новой социальной аналитике: кризис социологии
и проблема искусственного интеллекта 280
Андрей Резаев, Наталья Трегубова

РЕЦЕНЗИИ

Вернуть государство 302
Марк Белов

Идея Европы и гуссерлианская историческая телеология 319
Дмитрий Резников

Становятся ли люди лучше? 332
Александр Никифоров

Народники и власть: террор и воля 339
Александр Никулин

IN MEMORIAM

Жан-Люк Нанси, мыслитель сообщества 349
Анна Ямпольская

Contents

SOCIOLOGICAL THEORY AND RESEARCH METHODOLOGY

- Science as a Ceremonial Exchange: A Theory of Attention Spaces, Academic Status,
and Symbolic Struggle 9
Mikhail Sokolov

WEBER-PERSPEKTIVE

- What do Social Scientists Do in a “Value Polytheism” Situation?; Or, A Little More
on Weber’s “Vocation” 43
Ilya V. Presnyakov

SOCIOLOGY OF YOUTH

- The State for Youth or Youth for the State: Discourses of Youth Policy in the EU
and Russia. 71
Alina Maiboroda, Anastasia Sablina, Iskender Yasaveev
- Some Sociodemographic Factors of the Intensity of Anti-Government
Demonstrations: Youth Bulges, Urbanization, and Protests 98
*Andrey Korotayev, Patrick Sawyer, Maksim Gladyshev, Daniil Romanov,
Alisa Shishkina*

ÉTUDES RICOEURIENNES

- Practical Reason 129
Paul Ricœur

POLITICAL PHILOSOPHY

- The Renewal of Tradition in the Political Thought of Early Modern Japan:
The Confucian Concept of *Dao* and the Question of the Origin of Social Order
in Ogyū Sorai’s Theory 149
Valentin A. Matveenkov

ARTICLES AND ESSAYS

- Life Which Does Not Belong to Itself: The Triad “Child-Parent-Doctor” and
Phenomenology in Pediatric Palliative Care 182
Maxim D. Miroshnichenko

Resources, Consumers, Non-citizens: Representation of the Citizens in the Discourse of the New Residential Areas in Moscow	215
<i>Daria Volkova</i>	

Aging Assemblies in Various Environments: The Use of Material Optics	244
<i>Konstantin Galkin</i>	

REVIEWS

Ontological Analysis of the Research by the Lancaster Branch of Actor-Network Theory: From Perception to Object	261
<i>Evgeniy Popov</i>	

Sociology on the Way to New Social Analytics: The Crisis in Sociology and the Problem of Artificial Intelligence.	280
<i>Andrey V. Rezaev, Natalia D. Tregubova</i>	

BOOK REVIEWS

Bring Back the State	302
<i>Mark Belov</i>	

The Idea of Europe and Husserlian Historical Teleology	319
<i>Dmitry Reznikov</i>	

Are People Becoming Better?	332
<i>Alexander L. Nikiforov</i>	

The Narodniks and Power: Terror and Will	339
<i>Alexander M. Nikulin</i>	

IN MEMORIAM

Jean-Luc Nancy, the Thinker of Community	349
<i>Anna Yampolskaya</i>	

Наука как церемониальный обмен: теория пространств внимания, академического статуса и символической борьбы*

Михаил Соколов

Кандидат социологических наук, профессор, Европейский университет в Санкт-Петербурге

Адрес: ул. Гагаринская, д. 6/1а, Санкт-Петербург, Российская Федерация 191187

E-mail: msokolov@eu.spb.ru

В статье предлагается теория среднего уровня, претендующая на то, чтобы представить новый взгляд на процессы образования академических пространств внимания, распределение академического статуса и природу символической борьбы. В настоящее время взаимосвязи между этими переменными обычно описываются в квази-рыночных терминах (ученые получают от других факты, нужные для производства новых фактов, оплачивая свои приобретения публичным признанием; признание инвестируется получателем в операции, привлекающие новое признание). В качестве альтернативы я предлагаю словарь, уподобляющий науку светским обществам, в которых индивиды определяют относительный статус друг друга, нанося визиты. Статус определяется тем, в обмене визитами с кем индивид состоит; основной формой борьбы является бойкот групп оппонентов. Визиты, таким образом, одновременно определяют собственный статус индивида и статус других людей, создавая тонкий баланс между агрессивностью и кооперацией, потребностью в самопродвижении и завистливостью. Аналогом визитов в случае науки является публично признанное внимание к работе коллег. Ученым свойственно образовывать клики — сцены — которые требуют обязательного взаимного признания внутри и участвуют в вытеснении информации о том, что происходит за их пределами. Сцены могут быть более или менее легитимными с точки зрения существующих культурных классификаций проблем или областей. Дисциплины и субдисциплины являются примерами легитимных сцен. Рассматриваются условия возникновения нелегитимных сцен, типичных для социальных наук на периферии академической мир-системы.

Ключевые слова: социология науки, этикет, пространства внимания, академическое признание, символическая борьба, академическая коммуникация, Роберт Мертон

* Идеи, изложенные в этой статье, кристаллизовались на протяжении многих лет и благодаря беседам со многими людьми. Среди тех, кого я должен благодарить за их появление, но кто не несет за них никакой ответственности, нельзя не упомянуть Виктора Вахштайна, Катерину Губу, Эмануэля Кульчицкого, Дмитрия Куракина и Кристиана Флека. Тексты, из которого вырос данный, обсуждались на семинаре факультета социологии университета Граца (в феврале 2019 г.), семинаре «Наука на (полу)периферии» в университете Познани (июнь 2021 г., дистанционно) и на конференции Американской социологической ассоциации в августе 2021 г. Исследование, позволившее завершить работу над статьей, выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 21-18-00519 (<https://rscf.ru/project/21-18-00519/>).

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Один из распространенных взглядов на эпистемологию социальных наук предполагает, что в основе любой теории лежит базовая метафора — поэтический образ, отвечающий на вопрос «на что в конечном счете похоже явление X» (Burke, 1935; Brown 1977; Вахштайн, Константиновский, Куракин, 2012). Историю социологического изучения науки можно представить как чередование таких метафор. Мертоновская концепция науки опиралась на ее понимание как системы институтов, в конечном счете подобных институтам рыночной экономики. Позднее к ней добавились понимания науки как повседневной практики, политической риторики и войны коалиций человеческих и нечеловеческих агентов. Цель этой статьи — предложить новую метафору. Наука в ней будет пониматься как форма взаимодействия, ближайшей аналогией которой является церемониальный обмен визитами или иными жестами внимания в обществах праздного класса, в котором положение светских людей определялось тем, кого они посещали и кто посещал их (Элиас, 2002 (1969); Zorbaugh, 1929)¹. Термин «церемониальный обмен» используется в антропологии, чтобы описать формы взаимодействия, которые стилизованы под «обычный» обмен, но основной целью которых является не приобретение прав собственности на какие-то объекты, а поддержание идентичностей и отношений между его участниками (Strathern, Stewart, 2005). Предметом подобной ритуализации могут стать, и даже неизбежно становятся, любые жесты, которые могут раскрыть что-то о тех, кем они произведены, или об их отношениях к окружающим (Goffman, 1955; Goffman, 1981). Такими жестами в случае с учеными будет публичная демонстрация того, что некое высказывание коллег привлекло их внимание. Исходно эта демонстрация может являться выражением искренней заинтересованности. Однако само то, что она может пониматься в качестве подобного выражения, неизбежно изменяет ее характер и превращает ее в стратегическое действие, направляемое соображениями утверждения своего статуса как полноправного участника коммуникации («члена сообщества» или «агента в поле») и распределением статусов других индивидов. Зашедшая достаточно далеко ритуализация начинает полностью определять логику распределения внимания, превращая его в активность, обслуживающую потребности публичной демонстрации.

Корневые метафоры отвечают в том числе на вопрос о том, что в объекте, к которому они применяются, заслуживает изучения, и — во всяком случае, частично — определяют границы этого объекта. Одна метафора может быть лучше другой лишь применительно к специфическому типу исследовательских вопросов, конкретной области ее применения². Область применения метафоры, предложенной здесь, в наибольшей степени пересекается с метафорой рынка, но в сравнении

1. Слово «внимание» во многих европейских языках происходит от того же латинского корня, что и «посещение» — *attendere* (Klamer, van Dahlen, 2002: 295).

2. Так, перенос акцентов с институтов, обеспечивающих производство научного знания, на это знание как таковое в рамках Второй волны социальных исследований науки был оплачен невозможностью ответить что-то осмысленное на вопросы вроде того, как на поведение ученых влияют разные конфигурации академических институтов и в какой мере институциональная инженерия может спо-

с ней обладает, как мы попробуем показать, рядом преимуществ. Она позволяет описать на своем языке те явления, к которым применялась рыночная метафора — и еще некоторое количество в дополнение к ним, которые с точки зрения последней являются необъяснимыми аномалиями. Наша метафора во многом объясняет взаимоотношения между теми же переменными — но представляет их связи несколько иным и более изящным и компактным образом, так что даже слова, которые обозначают эти переменные, бывшие чужеродными вкраплениями в квазиэкономическом словаре — как «признание» (recognition), — здесь станут естественным продолжением ассоциативного ряда, подразумеваемого другими используемыми терминами. Эта метафора предлагает также, как мы попробуем показать, более глубокое объяснение некоторых хорошо знакомых сюжетов, таких как «эффект Матфея»³.

Цена построения такой обобщающей модели оказывается скорее моральной, чем концептуальной. Она предполагает принятие некоторых предпосылок, которые представляют ученых (преимущественно социальных ученых) в еще менее апологетическом свете, чем предполагают некоторые теории, попадающие в ряд «критической социологии науки». Следующий раздел мы начнем с обсуждения экономической метафоры в изучении науки, а затем, перечислив некоторые возникающие в связи с ней проблемы, перейдем к представлению нашей собственной.

Наука как рынок идей

Метафора «рынка идей» является самым универсальным способом описывать академическую жизнь. Она широко представлена как в исследованиях по социологии науки (Hagstrom, 1965; Merton, 1968; Bourdieu, 1983; Lamont, 1987; Latour, Woolgar, 1979), так и в разговорах ученых, которые не хотели бы иметь с социологией ничего общего⁴. Его интуитивная убедительность основана на легкости, с которой мы обнаруживаем вокруг себя:

А) спрос на теории, методы, факты или технологии;

Б) производство, требующее аккумуляции разных ресурсов (в частности, информации, человеческого и финансового капитала в разных их формах), которое ориентировано на удовлетворение этого спроса;

собствовать или сдерживать научный рост. На вопрос о том, надо ли использовать индексы цитирования, STS может предложить лишь весьма уклончивый ответ, что Web of Science — тоже актант.

3. То, что организация научной жизни руководствуется нормами, подобными этикетным, отмечалось многократно, хотя кажется, что соответствующие ассоциации никогда не были развиты достаточно, чтобы стали видны их подлинные возможности. Наиболее систематическим обращением к этикету можно назвать (Kaplan, 1965; Klammer, 2007).

4. Коуз, вводя термин «рынки идей» (Coase, 1974), ссылается на памфлет Мильтона 1644 года, который, правда, посвятил свое сочинение доказательству того, что «идеи» не являются товаром в обычном смысле слова. Сам факт, что опровержение этого взгляда потребовало памфлета, доказывает, что этот взгляд не казался современникам поэта заведомо абсурдным. Традиционно авторство взгляда на идеи как на товар, производство и потребление которого осуществляется по законам рынка, приписывается софистам.

В) проблемы, связанные со встречей спроса и предложения — координацию действий производителей и потребителей, рекламу и продвижение своего товара;

Г) вознаграждение успешных производителей, выигрывающих в «репутации», «признании», «кредите» или «символическом капитале», и стратификацию академических сообществ, основанную на объеме подобных вознаграждений;

Д) реинвестиции вознаграждения в осуществление и продвижение новой работы, направленное на дальнейшее накопление, которое неизбежно делает богатых и успешных еще богаче и успешнее. Именно последнее сходство с капиталистической экономикой казалось многим наблюдателям особенно впечатляющим аргументом в пользу внутреннего родства науки и рыночной экономики. Признание в науке постоянно инвестируется для приобретения еще большего признания, создавая непреодолимый разрыв между элитами и массами (Bourdieu, 1975; Latour, Woolgar, 1979; Franck, 2002).

Как и полагается хорошей метафоре, рынок не только предоставляет словарь для описания академической жизни, но и предлагает контринтуитивные аналогии, которые приводят к открытиям. Примером может служить описание Мертоном «эффекта Матфея», в теоретическом плане являющееся развитием идеи Парсонса о генерализованных средствах обмена, прототипом которых выступают деньги (Parsons, 1963). Другим — и более важным с точки зрения данной статьи — было описание конститутивной роли норм, обеспечивающих защиту интеллектуальной собственности (Merton, 1957, 1988).

Права интеллектуальной собственности, организующие конвертацию научных достижений в статус, являются центральным институтом современной науки по Мертону, поскольку именно они обеспечивают следование нормам научного этоса. Вопреки тому, в чем его упрекали радикалы из лагеря социологии научного знания, Мертон вполне отдавал себе отчет в том, что ученые не стоят в плане нравственного развития выше большинства людей, и не приписывал им никаких сверхчеловеческих моральных качеств. Вопрос, который его интересовал, можно скорее сформулировать так — в каких условиях обычные люди будут следовать требованиям весьма радикального этоса? Что, например, заставляет их делиться с трудом добытым знанием — притом что людям вообще-то несвойственно делиться плодами своих трудов с незнакомцами? Ответом было развитие великой парсонсианской темы: для того, чтобы социальная система обладала стабильностью, необходимо, чтобы индивидуальная мотивация (неизбежно эгоцентричная) соответствовала институциональным нормам, освященным культурными идеалами. Функционирующие научные институты представляют собой стратификационную систему, в которой движение вверх, к почету и уверенности в завтрашнем дне удел тех, кто играет по определенным правилам.

В основе этих правил находится специфическое понимание интеллектуальной собственности. На первый взгляд ученые как будто готовы делиться своим знанием направо и налево, не прося ничего взамен. В действительности, однако,

подобный «коммунизм» (Merton, 1942)⁵ возможен лишь в условиях, когда бесплатная передача информации происходит при условии, что получатель будет пользоваться ей лишь с упоминанием оригинального производителя — того, кто опубликовал открытие первым. Правило, требующее признания неотчуждаемого права оригинального производителя, однако, создает новый мотив, несвойственный ученым в предыдущие столетия, — необходимость утверждать и защищать свой приоритет. Действительно, говорит Мертон, рождение современной экспериментальной науки совпало по времени с двумя явлениями, неизвестными предыдущим эпохам, — преследованию интеллектуального пиратства и спорам о приоритете⁶. Ученые непрерывно соревнуются за то, чтобы опубликовать открытие раньше других; вероятность того, что индивида опередят в условиях, когда победитель получает все, создает непрерывную гонку. Чтобы гонка состоялась, однако, необходимо, чтобы сообщество создавало условия, позволяющие зафиксировать первенство. Развитие важнейших институтов науки — таких как научные журналы — исторически было связано с желанием создать инструмент фиксации приоритета и одновременно оповещения каждого об уже взятых остальными высотах. Поведение ученых в этом смысле приобретает сходство с «экономикой дара». Уорен Хагстром, один из учеников Мертона (Hagstrom, 1965), сравнил его с потлачем, описанным антропологами среди индейцев Северо-Запада, — церемонией дарения, которая одновременно является средством агрессивного утверждения статуса дарителя. Ученые рады поделиться информацией бесплатно, но горе тому, кто отказался ее принять или, еще хуже, принял, но не признал своей задолженности перед производителем.

Критики мертоновской социологии науки из лагеря *sociology of scientific knowledge* приняли отождествление науки с рынком куда менее сурово, чем другие составляющие мертоновского наследия. Бруно Латур и Стив Вулгар в главе о циклах научного кредита (Latour, Woolgar, 1979: 191–202) очевидным образом опирались на те же ассоциации, что и Мертон⁷.

5. Используя это слово в 1942 году, Мертон, вероятно, основательно эпатазировал соотечественников-американцев.

6. Эти предположения подтверждаются позднейшими историческими исследованиями, показавшими, что в XVII столетии понимание интеллектуальной собственности пережило революцию (Biagioli, Galison, 2014).

7. Другая корневая метафора в социологии науки — метафора войны слов (Cozzens, 1989). Описание интеллектуального мира как борьбы, а не рынка идей, имеет не менее древнюю историю, которую Рэндалл Коллинз возводит к Гераклиту (Collins, 1998). В данном нарративе теории и их производители оказываются армиями, сражающимися за интеллектуальные территории. Развитие этой метафоры, впрочем, также упирается в серьезные ограничения, превосходящие те, с которыми сталкивается описание науки как рынка: прежде всего не совсем понятно, что в ней является аналогом «территории». То, как выглядят области контроля групп или дисциплин, во многом является исходом борьбы за определение реальности. Мы не можем сказать, что экономика контролирует экономические проблемы, поскольку во многом наше понимание чего-либо как «экономической проблемы» есть результат существования экономики (Abbott, 2001). Кроме того, методы ведения этой войны редко представляют собой что-то, непосредственно напоминающее ведение боевых действий, в которых теории

И тем не менее при описании академической жизни с помощью рыночной метафоры, при всей ее интуитивной привлекательности, возникает несколько тревожных теоретических нестыковок, которые становятся тем проблематичнее, чем больше систематичности пытаешься этому описанию придать (Gilbert, 1977). Информация не является обычным товаром хотя бы в том смысле, что ее не становится меньше у продавца после того, как она приобретена покупателем. Кроме того, применимость метафоры к итеративным, а не кумулятивным дисциплинам сталкивается с тем, что не совсем ясно, что все-таки один ученый получает от другого. Если в биохимии мы можем сказать, что один ученый передает другому «факт», то неясно, что получает от своих коллег философ. Уже Мертон пронизательно признавал, что внимание, инвестируемое в поиск информации, не становится автоматическим вознаграждением, которое получает производитель, как было бы, если бы оно само по себе было валютой (отождествление, производимое в моделях экономики внимания, — Franck, 2002). Нам требуются отдельные институты, чтобы гарантировать, что те, кто получит внимание, получит и признание. Однако — и, возможно, это самое главное — в его схеме нет никакого встроенного механизма, который объяснял бы, почему ученые следят за тем, чтобы поставщик информации получил причитающееся вознаграждение после того, как сама эта информация попала к получателю. Эту проблему, являющуюся частным случаем проблемы метанорм (Axelrod, 1986), как будто частично решили критики Мертона из конструктивистского лагеря, утверждавшие, что цитирования — которые Мертон и его ученики рассматривали как жесты благодарности по отношению к тем, кто обогатил науку новыми фактами — сродни актам взятия заложников. Цитируя, ученый превращает предшественников в своих невольных сторонников (Cozzens, 1989; Luukkonen, 1997). В этом смысле утверждение интеллектуальной собственности превращается в *self-enforcing institution* (Greif, Laitin, 2004). Фактически задачей научного сообщества оказывается не помешать ученому присвоить факты, присвоенные другими, а не дать ему или ей записать в свои сторонники кого-то, кто таковым на самом деле не является (Nikolaesen, 2004). Однако ни исходное мертоновское решение, ни конструктивистская альтернатива ему не объясняют другой кажущейся аномалии: почему ученые могут вовсе игнорировать работы тех, кто работает, казалось бы, в их области, не используя их работы ни как источник идей, ни как источник заложников? Между тем распространенная жалоба, в особенности в социальных науках (Sorokin, 1956; Gans, 1992; Zerubavel, 2006), состоит в том, что группы ученых — поколения, политические лагеря, дисциплины — функционируют как «заговоры молчания» (*conspiracies of silence*), игнорирующие потенциально релевантные работы своих коллег. Тем самым такие группы нарушают одну из основных норм академического мира, согласно которой ученым полагается знать все, что относится к области их специализации, поскольку

(или их сторонники) прямо сокрушают друг друга. Скорее потенциальные стороны в этом конфликте склонны друг друга просто игнорировать.

ку только это страхует их от повтора ошибок предшественников или от «изобретения велосипеда» (Gans, 1992; Scheff, 1995; Zerubavel, 2006).

Ниже мы пробуем предложить теоретическую модель, основанную на понимании науки как обмена, но не товарами, а жёстами признания, и которая — как мы постараемся показать — объясняет, как могут случаться именно такие вещи.

Общие соображения

Предложенная здесь теоретическая модель состоит из пяти основных элементов, представленных на рисунке 1, — *алгоритмов поиска* (того, как люди ищут литературу), *пространства внимания* (того, что в результате применения алгоритма оказалось в их поле зрения), жестов публичного признания того, что попало в их поле зрения, *сохранения интеллектуального лица* (управления впечатлениями окружающих о том, какие алгоритмы поиска использовал индивид) как условия членства в дисциплине и *распределения статуса* других игроков. Сами по себе эти элементы (за частичным исключением интеллектуального лица) не являются новыми. Новыми — насколько может судить автор — оказываются взаимосвязи между ними. В данной модели алгоритм поиска определяется отчасти соображениями поддержания лица (люди ищут ту информацию, которая необходима, чтобы заставить других поверить, что они искали ее правильно), отчасти — соображениями определения статуса, причем одни могут входить в противоречие с другими. Кроме того, в ней проводится различие между вниманием — как удержанием какого-то объекта в поле зрения — и признанием (как демонстрации своей осведомленности об объекте более-менее конвенциональным образом, скажем, с помощью цитирования).

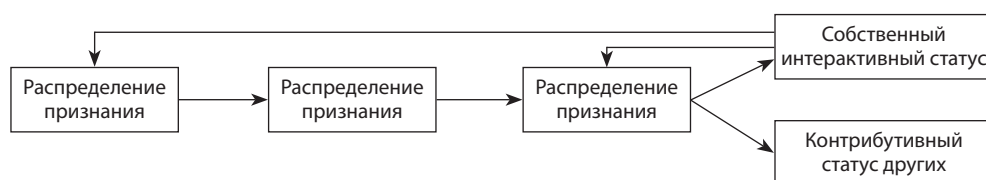


Рис. 1. Основные элементы теоретической модели

Отправной точкой для всех этих рассуждений является предположение о том, что сообщения, относящиеся к сфере научной коммуникации, должны содержать новую для собеседника информацию. В том, что касается научной коммуникации, это требование кажется базовым и фундаментальным. Смысл академической жизни состоит в открытии нового; вряд ли мы можем найти более универсальное требование к научному сообщению, нежели то, что оно содержит информацию,

отсутствовавшую у аудитории прежде (Соколов, 2015)⁸. Когда я в роли ученого говорю: «Вещи обстоят так-то и так-то», одновременно я заявляю: «Я думаю, что вы этого не знаете». Мы можем различить два вида новизны — *локальную* и *глобальную*. Первая подразумевает, что данная информация является новой для собеседника, хотя в принципе кому-то уже известна, во втором — что она является новой для *любого* человеческого собеседника; иными словами, я заявляю: «Я думаю, что вообще никто этого не знает». Эталонное научное сообщение содержит глобальную новизну; хотя существуют вполне легитимные академические жанры, предполагающие новизну локальную (например, обзоры литературы на других языках или из соседних дисциплин, открытие забытых предшественников или учебные пособия), они имеют заведомо более низкий статус⁹.

Делая научное высказывание, я заявляю, разумеется, и много иных вещей: скажем, что я считаю, что сообщенная мной информация должным образом проверена, или, по крайней мере, представляет собой имеющую право на существование в свете уже известного гипотезу. Основания, на которых ученые требуют от других веры в свои слова и соглашаются верить сами, изучались в социальных исследованиях науки многократно под самыми разными углами (Shapin, 1995; Gross, 2000). Здесь мы не будем уделять им внимание, вместо этого обратившись к другой и как будто более тривиальной основе научного высказывания — тому, что, делая какое-то заявление, я сигнализирую, какие факты, фигуры и соображения, по моему мнению, находятся в поле зрения моей аудитории, а какие — нет. Это высказывание конструирует виртуальный кругозор, который я предлагаю ей примерить на себя¹⁰. Аудитория может принять или отвергнуть результат этой примерки — обычно в случае, если в поле ее зрения находится что-то, чего я не пред-

8. Мы можем сказать, что любое сообщение содержит новизну двух видов — во-первых, содержащуюся в нем, во-вторых — проистекающую из факта его произнесения. Сам акт произнесения некоего сообщения добавляет к информации, содержащейся в нем, информацию, вытекающую из того, что данный индивид согласился произнести его в определенных обстоятельствах, обращаясь к определенному собеседнику (как когда Мария-Антуанетта говорит: «Сегодня в Версале много людей», и тем самым прекращают войну между придворными партиями). Во многих социальных ситуациях эта новизна является достаточным поводом для произнесения сообщения. Воскликая: «Христос воскрес!», я не сообщаю собеседнику новой информации о Христе, но заявляю о том, что принадлежу к сообществу верующих и считаю его принадлежащим к нему же. В академической коммуникации, однако, эта рефлексивная составляющая не является достаточной, хотя и существует множество ситуаций вроде пленарных докладов, в которых главная информация проистекает из того, что важные представители дисциплины сочли уместным сказать некоторые вещи в торжественной обстановке.

9. В качестве институционального признания этого факта можно вспомнить, что в рамках британской Research Excellence Framework никакие учебники официально не рассматриваются как «исследовательские продукты».

10. Старая истина гласит, что всякий поведенческий акт является одновременно утверждением о состоянии мира (Habermas, 1984: 8–9), поскольку делает ставку на то, что вещи устроены определенным образом. Когда я принимаю деньги в обмен на мои услуги, я демонстрирую веру в экономику; требуя оплату натурой, я показываю отсутствие таковой. В этой статье исследуется допущение, что все сказанное верно и для такого специфического акта, как произведение высказывания о состоянии мира, причем прежде всего ставка делается на определенное информационное состояние участников взаимодействия.

полагал (например, есть работы, в которых написано практически то же самое, что я пытаюсь представить как свое открытие)¹¹.

Обнаружить на поздних фазах подготовки статьи работы неизвестных предшественников будет для меня тревожно. То, что я высказываюсь, как если бы моих предшественников не существовало, можно трактовать как желание присвоить чужие идеи. И даже если это подозрение на меня не падет, я все равно буду виноват в том, что продемонстрировал некомпетентность, проделав заведомо бессмысленную работу без всяких шансов установить приоритет, получив новый результат. Часть жизни окажется истрачена зря. Кумулятивность научного предприятия в целом поставлена под сомнение (Соколов, 2015; Соколов, 2019). В целом обвинение в том, что научное высказывание лишено новизны, может считаться самой уничтожающей формой научной критики.

Разумеется, обнаружить неизвестных предшественников еще не смертный приговор для статьи. Получив соответствующий отзыв от рецензентов, автор может доказать, что его информация более достоверна, чем доступная ранее, или сослаться на то, что таким образом вносит свой вклад в преодоление кризиса невоспроизводимости (и в этом смысле результат того же эксперимента, поставленного в другой лаборатории, — это не совсем тот же самый результат, что и в первый раз), или что известные факты помещаются в его статье в новые теоретические рамки, или что действие теории верифицируется на российском контексте, который — надо показать во введении — есть основания считать, отличен. Практически, однако, все эти маневры почти неизбежно снижают ценность работы по сравнению с той, которой она обладала бы, если бы они не потребовались¹².

В этом тексте развивается предположение о том, что *алгоритм поиска*, используемый мной, представляет собой стремление застраховать себя от подобных рисков и избежать сожалений о том, что я вовремя не получил нужную информацию. Настройка алгоритмов поиска, позволяющего быть уверенным, что говорящий в курсе всех релевантных интеллектуальных событий в своей области, является основным пунктом профессиональной социализации.

11. На самом деле, валидность аргументов и демонстрация осведомленности переплетены друг с другом — если аудитория приводит аргумент, на который мне нечего ответить, это обычно значит, что я не слежу за соответствующей литературой, поскольку такие аргументы редко озвучиваются впервые, появляясь как бы из ниоткуда. Следить за литературой подразумевает способность предусматривать контраргументы еще в момент планирования исследования.

12. Тут критик — роль которого в случае этой статьи сыграла Катерина Губа — может вспомнить о Поланьи с его утверждением, что, чтобы быть принятым, аргумент не должен быть *слишком* оригинальным и не похожим ни на что, что аудитория слышала прежде. Именно поэтому, возможно, социологи, чтобы доказать легитимность своей работы, испытывают почти рефлекторное стремление показать, что вопросы, на которые они пытаются ответить, занимали еще ум Вебера (Hargens, 2000). Можно было бы написать специальную работу и показать, как вписывание в дискуссию преуменьшает новизну, на которую, как мог бы подумать иначе читатель, претендует автор. Однако если теоретически избыток оригинальности и может быть так же вреден, как и недостаток, кажется, что для большинства из нас опасность пострадать от первого пренебрежимо мала.

Здесь появляется второй главный тезис. То, что мы знаем о человеческой природе, самые благородные побуждения которой не самые сильные, дает возможность предполагать, что основным способом определения важности будет *прагматическое принятие* учеными критерия релевантности, согласно которому релевантным является то, что считают таковым другие члены их аудитории, способные применить санкции за незнание. Ученые в общем случае менее заинтересованы узнавать что-то, в незнании чего их не уличат. Прагматическое принятие может нести в себе одновременно как элементы простого конформизма, так и осознанного делегирования суждения: применяющий подобный алгоритм поиска индивид будет ссылаться на то, что опирается на коллективное мнение о важности и релевантности, не слишком стремясь узнать, в чем состоят дефекты всего, что попало в зону легитимного невнимания. Так или иначе, глобальная новизна трансформируется здесь в локальную для данной конкретной аудитории, применяющей определенные алгоритмы поиска и разделяющей общее пространство внимания.

Алгоритмы поиска и пространства внимания

Знать, что знают и чего не знают другие, — нетривиальное достижение, в особенности в свете множественности доступных каналов получения информации. Ученые могут узнавать о работе других из переписки, в кулуарах конференций и телефонных разговорах, на тематических семинарах, из учебников, силлабусов ведущих университетов, вывешенных в интернете, образовательного госстандарта, из отзывов анонимных рецензентов, на защитах диссертаций и задавая прямые вопросы в социальных сетях. Помимо профильных изданий или каталогов библиотек информацию о том, что читать, можно получить из осмотра полок магазинов, рейтингов самых читаемых книг и статей, списков премий Американской социологической ассоциации и, разумеется, цитирований в других книгах и статьях. В последние годы к этому списку прибавились специализированные социальные сети (Academia.edu и Researchgate), RSS-оповещения и рекомендации Google Scholar. Это многообразие возможностей может быть сведено к трем, отчасти пересекающимся, решениям — *поиску по ключевым словам, обращению к институциональным фокальным точкам и персональным рекомендациям.*

Поиск по ключевым словам

В целом легкость в идентификации работ, посвященных тому или иному предмету, кажется во многом производной от стандартности описывающих его ключевых слов. В самом первом приближении стандартностью обладают три вида словарей — имена собственные, или топонимы (человек, желающий написать биографию Данте, может быть уверен, что, скорее всего, найдет все предыдущие биографии Данте, приложив самые незначительные усилия), технические языки (названия химических соединений) и термины обиходного языка, описывающие

сравнительно специфические явления (самоубийство). Там, где предмет исследования определим с помощью одного из этих трех словарей, мы можем быть уверены, что поиск не представляет большой проблемы и может быть осуществлен посредством библиографических категорий или «Гугла». Однако там, где такого словаря не существует, разработка алгоритма поиска, гарантирующего, что все релевантные работы попадут в поле зрения индивида, представляет собой значительную проблему¹³.

Теоретизирование в социальных науках, за частичным исключением экономики, кажется особенно проблематичным случаем, при котором идентифицируемость наталкивается на неопределенность словарей и никто не уверен, может ли он считаться первопроходцем в некоторой области¹⁴. К этому надо добавить, что, даже если используются одни и те же слова, порой остаются сомнения, что эти слова передают одни и те же идеи. В этом смысле кажется, что основным измерением, дифференцирующим академические специальности, является наличие или отсутствие подобных проблем с установлением идентичности идей. По причинам, обсуждение которых полностью выходит за пределы компетенций автора, математические формулы или компьютерные алгоритмы обладают высокой идентифицируемостью, но научный текст, не опирающийся на них, может быть прочитан неопределенным множеством способов, создавая хроническую тревожность по поводу того, что кто-то может вычитать у Бурдые все то, что авторы хотели бы считать своим открытием.

Институциональные фокальные точки

Научная коммуникация по своей природе имеет неопределенный круг участников, нынешних и будущих. Ни один отправитель сообщения в ней не знает всех возможных получателей, а получатели — всех возможных отправителей. Традиционным решением этой проблемы считается создание *фокальных точек* — пунктов, в отношении которых ищущие знают, что отправители знают, что они будут искать это сообщение там, и, соответственно, именно там его и оставит. Фокальность то-

13. Сама эта статья может служить хорошим примером того, о чем в ней говорится. Для кругов взаимного восхваления, которые описываются в ней далее, использовалось множество терминов, известных автору (от «академических банд» (Scheff, 1995) до ставших популярным в последние месяцы echo-chambers), и можно опасаться, еще большее число неизвестных. Желание самого автора дать описываемым явлениям красивое название — *сцена* (см. далее) — очевидным образом усугубляет проблему.

14. Там, где описывающие термины берутся из естественного языка (и, в меньшей степени, в случае с топонимами), существует иная проблема — необходимость прочерчивать границу между «научными» и «ненаучными» источниками. Социологам свойственно развивать в себе нечто вроде рефлексивного отвращения к журналистским расследованиям и иным «несерьезным» источникам, которые старшими представителями цеха отвергаются почти автоматически. Новичок (или внешний наблюдатель) может иногда задаваться вопросом, есть ли в этих работах что-то, что заслуживает такого обращения, однако студенты-социологи быстро усваивают, что подобные вопросы лучше не задавать вслух.

чек обладает рядом свойств, которые отмечал еще Томас Шеллинг (Schelling, 1960; Lewis, 2008 [1969]; Sugden, 1995). Так, она является социальным фактом, обладающим принудительной силой: поскольку в отсутствие контакта никто не может повлиять на ожидание других в отношении собственного поведения и все знают об этом, все вынуждены соответствовать этим ожиданиям. Нет возможности избежать встречи в определенном месте, даже если выбор конкретной точки в качестве фокальной грубо дискриминирует кого-то из участников коммуникации¹⁵.

Традиционной фокальной точкой в науке являются конгрессы и дисциплинарные журналы, которые постепенно эволюционировали из писем редактору. Статус любой фокальной точки, и в том числе журнала, однако, ставится под угрозу несколькими обстоятельствами. Во-первых, любая существующая фокальная точка имеет определенную пропускную способность в силу технических ограничений и пределов того, что может прочитать один занятой человек. Ее расширение свыше данного предела требует или разделения на несколько точек, или введения поиска по ключевым словам (что возвращает нас к предыдущему пункту). Так, журналы довольно сильно ограничены по объему и неизбежно делятся вначале на дисциплинарные, а затем — субдисциплинарные. Это создает проблемы с определением предметных областей, которые в социальных науках никогда не разграничивались слишком отчетливо¹⁶. Иные фокальные точки — например, конгрессы или электронные архивы препринтов — не имеют жестких ограничений по объему и предмету, но, когда они перерастают за определенные пределы, их использование становится возможно лишь с помощью построенных по ключевым словам каталогов.

Во-вторых, исторически складывающиеся фокальные точки — во всяком случае, в социальных науках — привязаны к естественным языкам, они возникали в рамках проектов строительства национальных наук (хотя деление по национальному признаку для большинства естественных наук не вполне легитимно, оно оказалось устойчивым). В результате был запущен процесс фрагментации, которого теоретически должны помогать избежать фокальные точки.

В-третьих, в большинстве своих институциональных форм фокальные точки требуют обслуживающего персонала, решающего, кого к ним допускать. Этот персонал, таким образом, получает контроль над пространством внимания дисциплины. Использование подобной формы власти — названной автором в другом

15. Это легко применить, например, к роли английского языка в научной коммуникации — поскольку все знают, что все знают, что английский является языком мировой науки, все знают, что опубликованные не на нем результаты будут скорее всего проигнорированы зарубежными коллегами. Соответственно, никто не предполагает, что кто-то из обладающих нормальными амбициями ученых вообще будет публиковать что-то значимое на ином языке — что дополнительно оправдывает невнимание к таким публикациям.

16. В исторически эволюционировавших журнальных системах статус журнала произведен от широты тематического охвата — ранние и высокостатусные издания самые общие. Из-за этого журналы часто стремятся воспроизводить модель доминирующего издания (Губа, 2018), добровольно отказываясь от преимуществ узкой тематической ниши и тем самым затрудняя поиск.

месте *локативной* (от способности помещать сообщения там, где другие их смогут найти) — не всегда всех удовлетворяет, и фактически стирает границу между фокальной точкой и третьей формой инструментов поиска — *персональными рекомендациями*. Ситуации, в которых часть потенциальных авторов и аудитории восстает против критериев, на основании которых решается, какого рода знание должно стать общим достоянием, побуждает раскольников создавать собственные каналы распространения информации. В целом в силу этой и иных проблем лишь в немногих дисциплинах сегодня существуют эффективные фокальные точки, следуя за которыми каждый может понять, что читают все. При этом по поводу наличия или отсутствия фокальной точки между представителями разных академических субкультур консенсуса может не существовать. В этих условиях каждый шаг похож на продвижение по минному полю, поскольку нет никакой гарантии, что кто-то, озаботившийся прочитать написанное тобою, не читал уже чего-то сходного¹⁷.

Персональные рекомендации

Под третье решение проблемы неопределенности — персональные рекомендации — подпадает наиболее разнообразный набор источников, варьирующихся от отправки автореферата по почте до перепоста анонса вышедшей статьи в твиттере и, самое важное, цитирований в статьях. Главное здесь — получение индивидом информации о выборах конкретных других, которые, однако, служат ориентиром для широкой аудитории. В отличие от каталога библиотеки, здесь присутствует кто-то, берущий на себя ответственность рекомендовать, и, соответственно, на самого индивида ложится выбор того, кому доверять как рекомендателю (Соколов, 2020)¹⁸.

В целом только индивиды, использующие один и тот же алгоритм поиска, относительно безопасны друг для друга; напротив, пользователи другого алгоритма всегда представляют собой угрозу — никогда нельзя быть уверенным, что локальная новость окажется для них новостью. Центральные факторы в эволюции алгоритмов поиска, видимо, были технологическими (см. рис. 1). Гугл привел к ренессансу поиска по ключевым словам, а социальные сети многократно увеличили эффективность персональных рекомендаций, что имело своим следствием неко-

17. Вступая на подобную территорию, никто также не может быть уверен, что его заметят, кроме тех, чей прежде достигнутый высокий статус делает их своего рода одушевленными фокальными точками.

18. Как перспективное здесь надо упомянуть изучение специализированных академических социальных сетей, таких как Academia.edu и Researchgate. Сети с их «следованиями» (followings) и рекомендациями интересны, с одной стороны, как попытки технически операционализировать процессы распределения дисциплинарного внимания, с другой — как самостоятельный источник распределения статуса, способный в теории оказать на прежнюю систему его циркуляции эффект, похожий на эффект индексов цитирования. Если до того относительное влияние индивидов могло быть оценено в основном на основании импрессионистских ощущений, то теперь возникли жесткие метрики и материальные следы распределения внимания.

торый упадок значения институциональных фокальных точек. В условиях, когда цифровой разрыв в компетенциях является прежде всего возрастным, границы между группами, использующими общий алгоритм поиска, оказываются одновременно границами между поколениями¹⁹.

Интеллектуальное лицо и статус

В алгоритм поиска заложен принцип сортировки сообщений на важные и не важные, более или менее достойные внимания. Распределение внимания выдает обобщенные ожидания в отношении важности информации, исходящей из определенного источника. В этом смысле оно сообщает как что-то об источнике, так и о том, кто оценивает его — акт классификации одновременно классифицирует и классифицируемый объект, и классификатора.

Мы можем сказать, что распределение внимания характеризует способность отличать важное от не важного, достоверное от недостоверного. В этом смысле оно является элементом — возможно, основным — *интеллектуального лица* или *идентичности*. Распределение внимания есть процесс работы интеллектуального лица. Здесь необходимо ввести еще один элемент нашей модели — различение распределения внимания и признания (recognition), которому соответствуют публично считываемые сигналы, свидетельствующие, что внимание некоторому объекту уделено. Это различение необходимо, если мы хотим отразить в своих рассуждениях возможность того, что индивиды могут не признаваться публично в том, что они знают, или, наоборот, утверждать, что они знают что-то, о чем они в лучшем случае имеют отдаленное представление. Санкции налагаются за ошибки в процессе публичного признания, а не поиска как такового, который в нашей модели определяется потребностями в признании, поставляя материал для демонстрации должной осведомленности.

В этом смысле развиваемая здесь модель принципиально отличается от мертоновской или хагстромовской, в которой люди вначале ищут релевантную информацию, а затем признают ее получение, чтобы воздать должное ее автору. Она также отлична от наукометрических теорий цитирования, в которых люди вначале читают литературу, а потом решают, что из прочитанного процитировать (Vinkler, 1998; Wang, Soergel, 1998; Wang, White, 1999). Мы предполагаем, что ученые обращают внимание на что-то, чтобы не быть пойманными на предосудительном невежестве. Иными словами, они вначале определяют для себя, знакомство с чем должно быть признано, а затем узнают что-то об объекте, чтобы не попасться на имитации обладания информацией, которой в действительности не обладают (на риске, задействованном в акте цитирования; см.: Nikolaesen, 2004). В нашей схеме

19. В России одной из сторон эти границы воспринимаются как статусные, позволяющие тем, кто владеет более новыми и современными инструментами (скажем, отслеживает литературу по персонализированным рекомендациям Google Scholar), смотреть на тех, кто пользуется старыми (например, изучает литературу, привезенную коллегами с российских конференций), сверху вниз.

существует обратная связь, которая ведет от интеллектуального лица к алгоритмам поиска и публичному признанию.

Этот подход избавляет от нескольких сложностей, которые традиционно возникают при попытках концептуализировать академическую коммуникацию как обмен информации на признание. Прежде всего он не опирается на предпосылку о том, что поиск информации мотивируется стремлением получить что-то, что будет в каком-либо функциональном смысле полезно для развития аргументов. Логика подобного поиска может действовать и в случаях тех итеративных наук, в которых никакой подлинной кумуляции не существует, нет особой необходимости знать предшественников, чтобы прийти к тем же выводам, что и они, а есть сильное подозрение, что человек с улицы может сделать все те же открытия, что и классики социологии. Признавая, что необходимость знать предшественников не обязательно проистекает из желания «забраться на их плечи гигантов», мы тем самым избегаем затруднений при определении того, что индивиды получают в обмен на признание.

Этот ход избавляет нас также от неопределенности по поводу того, как нечто может передаваться и при этом оставаться в пользовании исходного владельца. По своей природе поиск информации может быть сходен с попыткой установить, кто владеет правами собственности на определенную территорию, а не с эксплуатацией богатств этой территории. Хотя эта информация сама по себе не приносит дохода, пренебрежение ею может дорого обойтись. Далее, модель открыто противопоставляет получение информации и публичное признание обладания ею, тем самым избавляя нас от сложностей с отождествлением распределения внимания как интрапсихического процесса и распределением признания как социального процесса.

И, наконец, этот ход позволяет нам ответить на следующий вопрос: что заставляет ученых изобличать других? Действительно, рассуждая по аналогии с лицом в работах по этикету (Goffman, 1955), окружающие могут вежливо промолчать, когда при них допустили какой-то промах. В этом случае применение санкций остается на их усмотрение, и они могут тактично воздержаться от них в расчете на ответную тактичность. Введение понятия «право собственности на открытия» требует ответа на вопрос о том, что мотивирует следование метанорме — требующей следить за соблюдением окружающими норм первого порядка.

Почему гоффмановская тактичность встречается далеко не всегда, и часто ученые обнаруживают, что другие вовсе не готовы вежливо промолчать, если при них повторяют уже высказанные кем-то другим мысли? Одним ответом может быть базовая агрессивность вида *homo academicus*²⁰. Более универсальное обоснование, однако, может состоять в том, что тот, чьи работы проигнорировали, а также ин-

20. К общей склонности трактовать анонимного академического Другого как врага обычно при-
мешивается элемент дедовщины — мы хотели бы заставить других пострадать над чтением Лумана
так, как в свое время пришлось пострадать нам. Кажется, этот фактор играет большую роль в воспро-
изводстве социологического канона.

дивиды, прежде признавшие эти работы существующими, обычно готовы взяться за приведение санкций в исполнение, поскольку у них есть непосредственная заинтересованность в этом.

Здесь вступает в дело следующий элемент нашей схемы. Процесс распределения внимания есть одновременно процесс распределения статусов²¹. Статусы распределяются двумя способами — во-первых, обращая внимание на кого-то, индивид помечает этот источник как «важный» или «релевантный». Во-вторых, он тем самым подтверждает компетенции всех тех, кто до того пометил его как «важный» или «релевантный», и ставит под сомнение квалификацию тех, кто его проигнорировал. Распределение внимания и всевозможных иных признаков ожидаемой важности есть одновременно распределение позиций в иерархии. Из этого следует, что индивиды могут как по отдельности, так и группами произвольного размера манипулировать своими выборами, чтобы максимизировать собственный статус и статус тех, с кем они связаны. И даже там, где их выбор вовсе не обусловлен подобными политическими соображениями, их всегда подозревают в том, что они руководствуются ими. Манипуляции в данном случае могут означать как позитивный обмен выражениями интереса, так и негативный отказ в интересе тем, от кого нельзя ожидать ответного интереса или кого по иным причинам данный индивид или группа считает своими соперниками. Индивид обоснованно предполагает, что свидетельства его интереса (например, оставленные в виде ссылок) служат инструментами поиска для кого-то еще, поскольку они показывают, что тот видел и посчитал важным (или подумал, что другие так посчитают). Отказывая сопернику в указании на его работы, каждый из нас может надеяться, что добьется, чтобы кто-то еще не обратил внимания на них²².

Подходя к проблеме немного иначе, мы можем говорить о формировании пространств внимания как о результате реализации взаимосвязанных процессов рас-

21. Эмпирически можно найти сколько угодно примеров того, как внимание ассоциируется со статусом, от чисто лингвистических (синонимичность понятий вроде «известный» или «знаменитый» и «значимый» или «выдающийся» (Bourdieu, 1988) до природы знаков почтения, которые в основном представляют собой демонстрацию того, что индивида считают способным написать или произнести текст, представляющий собой интерес для большого числа слушателей (как когда кого-то приглашают сделать пленарный доклад на научной конференции).

22. Здесь предполагается, что внимание по своей природе позитивно; разумеется, оно может быть привлечено и к неудачной работе соперника, особенно если сопровождается соответствующим комментарием. Политизированные сегменты социальных сетей полны того, что получило остроумное название *outrage porn* — сладострастно перебираемых свидетельств морального распада оппонентов. Однако в случае с академической коммуникацией кажется, что общий баланс однозначно сдвинут в направлении позитивных рекомендаций, возможно потому, что рекомендатель обычно не совсем уверен в том, что аудитория, которую он создаст для своего соперника, разделит его негодование. Аналогичные результаты были получены наукометристами: несмотря на опасения, что показатели цитирования могут отражать масштаб критики, а не признания, фактически позитивные цитирования, видимо, на порядок перевешивают негативные (Bornmann, Daniel, 2008; Tahamtan, Bornmann, 2018). Преобладание негативных отзывов можно обнаружить разве что в комментариях на YouTube, в которых критики используют шанс испортить впечатление у аудитории, которая уже привлечена популярным каналом.

пределения двух подвидов статуса — контрибутивного и перцептивного, статуса говорящего и статуса слушающего, в котором первый соответствует способности внести свой собственный вклад в дискуссию, а второй — оценить вклад, внесенный другими. Эти статусы можно соотнести с контрибутивной и интерактивной экспертизой Гарри Коллинза (Collins, Evans, 2002) — способностью делать открытия и способностью распознавать открытия, сделанные другими. Предполагаемые обыденным знанием отношения между ними загадочны и изменчивы. В сфере искусства они считаются не имеющими ничего общего, а автор и критик являются разными социальными ролями. Неспособность Толстого понять Шекспира (и практически всю мировую литературу) не умаляет в наших глазах гения самого Толстого. В современной науке традиционно считается, что интерактивная экспертиза доступна только тем, кому доступна контрибутивная, поэтому власть оценивать работы других наиболее легитимна, когда принадлежит авторам открытий (и приводит последних в диссертационные советы и конкурсы по отбору грантовых заявок, часто полностью отнимая у них время, чтобы делать какие-либо новые открытия). Сам Коллинз и его единомышленники из SSK в демократическом порыве стремились доказать, что, хотя контрибутивная экспертиза есть достаточное условие обладания интерактивной, она не является необходимым условием; интерактивная экспертиза может быть шире, и поэтому право судить ученых не должно принадлежать одним ученым²³. Их успехи в этом направлении можно определить в лучшем случае как весьма умеренные. Тем не менее хотя контрибутивная экспертиза является (или, предположительно, должна являться) условием получения права судить других, для того чтобы иметь шанс продемонстрировать ее, индивиду необходимо неоднократно проявить способность судить в соответствии со стандартами своего окружения. Маловероятно, что студент, который на младших курсах будет настаивать на том, что видит в Вебере маловажного автора, получит когда-нибудь шанс защитить революционную диссертацию²⁴. Зато потом тот, в чьей способности внести собственный вклад нет никаких сомнений, может безнаказанно демонстрировать полнейшее невежество в отношении работы других (как Бурдьё, когда писал об американской социологии).

Диалектика форм экспертизы проявляется не только в индивидуальной биографии, но и в отношениях между индивидами. Вернемся к нашему рисунку 1: научная коммуникация, как она понимается в этой статье, направляется тем фактом,

23. На данный момент опасения по поводу глобального потепления заставляют некоторых из бывших критиков науки (Бруно Латур) разворачивать свои орудия на 180 градусов и выражать сомнения, что Дональд Трамп и его избиратели на самом деле способны разобраться в проблеме.

24. Вернее, это можно сделать, но лишь при выполнении весьма специфических условий: например, можно отвергать Вебера, но только если демонстрируешь исчерпывающее знание Маркса и иных классиков марксистского канона. Дисциплины различаются по допустимой степени личного вкуса в вынесении суждения о научной важности и, по сравнению с физикой социологи, кажется, придерживаются весьма либеральных стандартов. Вряд ли физик-теоретик может признаться в том, что не счел нужным ознакомиться в деталях с теорией струн в силу эмоционального отторжения, которое она у него вызывает.

что индивид одними и теми же действиями производит свой интерактивный статус и контрибутивный статус других.

В своей переплетенности процессы распределения двух форм статуса предположительно создают систему сдержек и противовесов, ограничивающую возможности злоупотребления способностью конструировать чужой статус. Наше нежелание рекомендовать чью-то работу сдерживается опасением, что она известна собеседнику и собеседник может интерпретировать наше незнание с ней как результат несовершенства наших алгоритмов поиска и в этом смысле дискредитирующее нас обстоятельство. С другой стороны, если наше выражение внимания является рекомендацией для кого-то еще, то мы сами потеряем в глазах окружающих как рекомендатели, если рекомендация окажется неудачной, и это теоретически должно удерживать нас от привлечения внимания к тому, что не впечатлит аудиторию при близком знакомстве. Эти соображения, видимо, действительно служат некоторым сдерживающим фактором, однако только до определенного момента, после которого они приобретают прямо противоположный эффект. После того, как индивиды выступили рекомендателями кого-то из своих коллег, они превращаются в их заложников; критика, задевающая выбранный ими объект, задевает их самих, и они могут реагировать на нее с неподдельной яростью. Символический капитал, как в кабилских работах Пьера Бурдьё (Бурдьё, 2001 [1980]: 238–267), создает группы вооруженных бедуинов, готовых вскочить на коня и скакать защищать честь своего шейха. В этих условиях обычно сдерживающие агрессивное поведение факторы превращались в способствующие эскалации, создавая важнейшее — с точки зрения данной модели — измерение существования академических сетей и групп.

Академические сцены, или Неожиданные достоинства коллективного невежества

Выше говорилось, что индивиды чувствуют себя в безопасности, лишь когда имеют дело с теми, чьи пространства внимания не выходят за пределы их собственных, или выходят, но только там, где их невежество имеет под собой совершенно легитимные основания — например, различия в областях специализации. Поскольку множество А может включать множество В, которое включает его само, лишь если оба множества тождественны, существует гравитация, которая притягивает друг к другу людей, разделяющих общие пространства внимания. Эту форму социальной организации можно назвать *публикой*²⁵. Публику составляют люди, пользующиеся одними и теми же алгоритмами поиска, в поле зрения ко-

25. Поняты таким образом сцены сходны со «специальностями» (specialty), как те описывались в классической социологии науки (Breiger, 1976; Crane, 1969). Вводя новый термин, мы, во-первых, указываем, что они не обязательно отличаются от внешнего мира предметом, и, во-вторых, подчеркиваем, что центральным в их организации может быть стремление отгородиться от внешнего мира, а не концентрация внимания на общем объекте, заключенном внутри.

торых находятся одни и те же фигуры. Публику, в поле зрения членов которой находятся сами эти члены, я назову *сценой*. Как мы увидим дальше, большинство академических публик являются таковыми, хотя и существуют интересные исключения. В той мере, в какой все связанное выше верно, любая академическая публика систематически применяет санкции за незнание того, что известно другим ее членам.

Однако — можем сказать мы — по уже упоминавшейся слабости человеческой природы публике свойственно эволюционировать в направлении молчаливого согласия не принуждать своих членов к изучению чего-то, лежащего за пределами уже сложившегося общего пространства внимания и не произведенного самими членами этой публики. Сцена стремится к состоянию, которое можно представить себе как круг людей, повернутых лицом друг к другу и спиной к внешнему миру. То, что происходит внутри, легко становится общим знанием («все знают, что все знают, что все знают» — Chwe, 1998), но в отношении внешнего мира никто не уверен, что кто-то осведомлен о чем-то из происходящего в нем, при этом стоящие в кругу могут поддерживать друг в друге иллюзию, что степень этой осведомленности даже меньше, чем она есть в действительности. С точки зрения отстаиваемого в этой статье тезиса подобный круг является первичной формой организации академического мира — или, во всяком случае, мира современных социальных наук.

Что определяет конфигурацию сцен? Мы можем разделить значимые здесь факторы на: 1) *культурные*, определяющие, что подпадает под категорию «релевантного»; 2) *инфраструктурные*; 3) *структурные*, определяющие, кто фактически следит за тем, чтобы релевантным фактам было уделено должное внимание; и 4) *исторические*. Можно отметить, что первые два из них соответствуют поиску по ключевым словам и фокальным точкам, описанным выше, а третий и четвертый — персональным рекомендациям. Культурные факторы проявляют себя прежде всего во множестве классификаций и терминов, которые описывают границы предметов исследования и, таким образом, определяют, что попадает в пределы «своей области» для каждого ученого. Степень совпадения с этими классификациями определяет уровень легитимности данной сцены. Границы легитимной сцены совпадают с границами одной из ячеек общепринятой классификации, объясняющей, почему знания о событиях в других ячейках факультативны для ее членов (как когда социолог семьи ничего не знает о социологии религии, и наоборот). В целом доминирование культурных факторов при определении границ пространств внимания обязательно для того, чтобы сцена была легитимна, но еще недостаточно для этого.

Для того чтобы совпадение пространства внимания с границами классификации гарантировало легитимность, необходимо, чтобы по поводу самих этих классификаций существовал консенсус. Классификации социальных наук, и особенно социологии, известны своей спорностью. Области исследования в ней подразделяются по классам институтов (экономическая социология), типам про-

блем (преступность), методологической ориентации (качественная социология) или в соответствии с делениями какой-то глобальной теоретической схемы (социология конфликта vs социология консенсуса). Некоторые из них выделяются по предмету, на основании слов обыденного языка (социология семьи), другие — по теоретическому подходу (этнометодология), третьи — политической программы (гендерные исследования), четвертые — географии (исследования «Глобального Юга»), наконец, пятые — какой-то смеси всего этого (мир-системный анализ). Какие из этих логических оснований могут и должны также стать основанием для принудительного внимания или легитимного невнимания — не является сегодня предметом широкого консенсуса. Выбор одной из позиций по этому поводу, по идее, зависит от принимаемых наблюдателем предпосылок об устройстве познания и общества. Так, представление о том, что оно всегда происходит в рамках одной из дискретных парадигм, делает теоретическую принадлежность наиболее легитимным основанием для образования публики (и допускает ситуацию, когда качественный исследователь права отказывается знать что-либо о работе использующих статистику коллег). Аналогично представление о том, что территориально-политические образования являются в некотором смысле уникальными «обществами», эволюционирующими независимо друг от друга, легитимирует специализацию на социальных проблемах Люксембурга²⁶. Отсутствие консенсуса по всем этим поводам ведет к тому, что границы большинства публик в социологии могут быть оспорены.

Инфраструктурные факторы возвращают нас к фокальным точкам. Любой алгоритм поиска опирается на некоторую инфраструктуру — достаточно подумать о библиотечном каталоге или «Гугле» — и знание, что все обращаются к нему, принуждает индивида пользоваться им также, но одновременно избавляет от необходимости заглядывать в зоны, невидимые сквозь смотровые щели этого алгоритма. Если наши рассуждения верны, изменение технической инфраструктуры или практик пользования ею неизбежно влечет за собой и сдвиги в организации пространств внимания. По всей видимости, в эту же группу придется зачислить знание языков, воспользовавшись возможностью записать лингвистические компетенции в «когнитивные инфраструктуры».

Третий фактор, определяющий конфигурации сцен, — *структуры контроля*. Если основное предположение этой статьи верно, и то, что индивиды видят, в значительной мере определяется тем, что, как они думают, видят те, кто может призвать их к ответу за пренебрежение релевантными источниками информации, вопрос о формировании пространств внимания во многом превращается в вопрос о том, кто и кого может наказать. Если индивидам свойственно прагматически принимать критерии своей непосредственной аудиторией, то основным факто-

26. Эти предпосылки сказываются также на представлениях о том, к каким кругам можно, а к каким нельзя принадлежать одновременно. Специализация на нескольких предметных областях (например, образовании и семье) повсеместно считается допустимой и даже желательной, но вот специализация одновременно на рациональном выборе и этнометодологии может уже вызвать вопросы.

ром, определяющим их кругозор, будет состав этой непосредственной аудитории, и особенно кругозор тех ее членов, которые наделены властью карать. Структура сцен, таким образом, производна от структур контроля — и в смысле определения того, где пролегают границы пространств внимания, и в смысле их общей морфологии.

Это предположение очерчивает обширное пространство для сравнительных исследований, поскольку, если оно верно, мы найдем значительные различия в том, как будет распределено внимание, скажем, в академических бюрократиях советского типа и журнальных анархиях современного западного. В советский период единство пространства социологической коммуникации обеспечивалось административными средствами. Существовал единственный дисциплинарный журнал «Социологические исследования», редакция которого была локализована в головном институте АН; издательство «Наука» также было локализовано в Академии. Конференциями, коллективными выездами на мировые социологические конгрессы и иными формами периодики ведала Советская социологическая ассоциация, которая также возглавлялась кем-то из московских ученых. Принадлежность к ССА была основным маркером профессиональной идентификации для сотрудников лабораторий научной организации труда и множества других социологических подразделений при предприятиях, на которых тогда было занято большинство советских социологов (Соколов, 2011). Секции ССА, как правило, возглавляли заведующие секторами институтов Академии (ротация не была предусмотрена), которые отвечали также за публикацию теоретических и обзорных статей по своим направлениям в «Социологических исследованиях». Созданная во многом в целях обеспечения идеологического контроля, эта структура вместе с тем создавала значительное единство пространства внимания. Перспективным кажется сравнить эту конструкцию, централизованную и управляемую административными рычагами, в которой по большинству вопросов есть финальная инстанция, обладающая монополией на истину, с гораздо более анархической и децентрализованной, где основной инстанцией, осуществляющей enforcement, являются редакции журналов с их анонимными рецензентами, а карьера индивидов зависит от того, удастся ли им найти хотя бы один журнал с аудиторией достаточного размера, который согласен печатать то, что они пишут²⁷.

27. Работы о символическом насилии и полях символического производства Бурдьё (Bourdieu, 1983) опираются на представление о существовании институтов принуждения, обладающих финальной властью легитимной номинации и способных изгнать кого-то за пределы поля, полностью обесценив их предложение символической продукции. Советская наука замечательно укладывается в эти рамки, однако, как замечал, в частности, Говард Беккер (Becker, 1982) по поводу культурного производства, вряд ли подходит как модель для значительно более анархических art worlds, существующих в США. Она, в общем, не подходит и для современных социальных наук, в которых просто нет единой инстанции, обладающей финальной властью легитимной номинации (максимум мы можем говорить об олигополии двух десятков ведущих департаментов и журналов, которые открывают или закрывают выход на рынок труда). Заметим, что для стран академической периферии любая система локальных институтов признания всегда будет беззащитна перед признанием, исходящим из глобальных центров.

Последняя, четвертая группа факторов — *исторические*. Рождение кругов, по всей видимости, представляет собой path-dependent процесс. Обоюдная изоляция аудиторий на протяжении некоторого времени — в силу каких обстоятельств она бы ни произошла — предрасполагает на следующем этапе формирование защитной реакции, рационализирующей невежество. Эти защитные реакции могут выражаться, в частности, в готовности, с которой принимаются классификации и теории знания, подчеркивающие легитимность уже возникшего по факту водораздела.

Выражением этого в России, как и во многих странах на периферии и в еще большей степени на полупериферии академической мир-системы, является специфическая форма публик, выстроенных вокруг идентификации с локальной или с глобальной аудиторией. В другой публикации эти круги были названы «провинциальной» и «туземной» наукой (Соколов, Титаев, 2013). Первая из них делает выбор в пользу «большого мира», следит за происходящим в глобальных центрах, пытается соответствовать международным стандартам, декларирует намерение полностью отказаться от использования национального языка и презирует вторую как непоправимо местечковую. Вторая апеллирует к уникальности национального случая и специфичности локальных проблем, обращается к домашней аудитории на ее языке, хранит (или изобретает) национальные научные традиции и подозрительно относится к первой как оторванной от корней и, возможно, служащей политическим агентом глобализма. Самое важное, однако, состоит в том, что каждая из них считает себя вправе игнорировать другую как источник новостей — или в силу предполагаемой отсталости, или в силу оторванности от корней и сомнительной релевантности. Нечистая интеллектуальная совесть, которая неизбежно сопровождает появление нелегитимной сцены, стимулирует создание более широкой идеологии, которая, в свою очередь, способствует тому, что все стороны продолжают игнорировать работы друг друга²⁸.

Заметим, что если преобладание культурных факторов не гарантирует появления легитимных сцен, то вмешательство всех остальных факторов неизбежно ведет к появлению сцен нелегитимных. Практически большинство сцен возникают вследствие сочетания всех этих обстоятельств — разных форм классификаций, языковых границ, предпочтений в отношении медиакommunikации, структурных особенностей и исторических условностей. Это можно проиллюстрировать на примере возникновения туземной науки в российском случае. Советский административный монолит, обеспечивавший общность пространства внимания внутри страны, в общем случае никак не поощрял или даже наказывал за излишнее внимание к тому, что происходило за ее пределами. После того, как рухнул железный занавес, советским социологам приходилось выживать в трудные годы, делая мас-

28. В целом, судя не только по российскому опыту, кажется, что глобалистская позиция, ощущающая за собой авторитет мировой науки, легче доходит до эксцессов в полном пренебрежении работой противоположной стороны (выражающемся, например, в гордости за написанные на русском статьи, в которых нет ни одной ссылки на русскоязычные источники), нежели та ее.

су самой разной работы, и времени на освоение массивов литературы по специальности не было (как для многих и доступа к ней), а языковые навыки большинства в любом случае были недостаточны для свободного слежения за литературой на английском. Кроме того, значительная часть из них определяла свою дисциплину — не вполне эксплицитно — как практико-ориентированную и направленную на бюрократический консалтинг, что способствовало некоторому отчуждению от ориентированной на академическую аудиторию западной социологии. Наконец, многие из них были в целом подозрительны по отношению к любым привнесённым с Запада новшествам — научный изоляционизм в их случае был продолжением политического национализма (Sokolov, 2019).

История развития кругов в западной социологии представляет нам столь же очевидные примеры мультикаузальности. В результате сцены могут принимать самые причудливые очертания, и новичок повсеместно обречен ощущать себя как на минном поле, опасаясь сделать неверный шаг, выдающий, что он не улавливает тонких различий между *cultural sociology*, *sociology of culture* и *cultural studies*, и не знает того, что обязательно следовало бы, — или знает что-то, чего знать не стоит. Для сохранения своего гражданства на нечетко определенной сцене индивид должен постоянно синхронизировать свой внутренний гироскоп с гироскопами окружающих, научившись настраивать алгоритмы поиска по их стандартам, так же как они учатся настраивать свои гироскопы по его. При этом чем менее легитимной является данная сцена, тем более отчетливо она склонна к коллективной самозащите своих членов против экзистенциальной угрозы обнаружить, что их академическая жизнь была прожита зря, — и еще более отчетливой угрозы быть обвиненным другими в том, что они изобрели велосипед.

Нелегитимные сцены, однако, имеют не только темные стороны для тех, кто принадлежит к ним. Их светлой стороной является способность сокращать издержки на производство локальных новостей, которые к тому же воспринимаются внутри как глобальные. Действительно, статус информации как «новости» произведен от осведомленности аудитории о ней; готовая к сотрудничеству сцена может добровольно культивировать в себе невежество, позволяющее ей быть ошеломленной, когда кто-то внутри озвучит эту новость впервые. Игнорируя информацию о том, что какие-то открытия уже сделаны снаружи, представители сцены могут позволить своим членам или еще раз пройти тот же путь самостоятельно, или, в самом неприглядном сценарии, контрабандой провезти чужие идеи, выдав их за свои. И даже если мы не берем крайние случаи²⁹, сообщение, не составляющее глобальной новости, все же может быть важной локальной новостью. Возможности для такой работы многократно расширяются, если границы между сценами

29. Практика контрабандного ввоза не обязательно является однозначно социально неодобряемой. В СССР, в который проникновение буржуазных учений было затруднено, выдать идеи Блумера за свои могло быть единственным способом ознакомить с ними аудиторию. Аналогично, существуют жанры, в которых практики признания вклада других менее формализованы, чем в науке — например, ее популяризация.

определяются не каким-то легитимным различием в предмете, и практически та же идея или процедура может быть импортирована и послужить локальной новостью. Так, существование сцены русскоязычных социологов, не читающих на английском, означает, что сообщение, произнесенное на русском (например, призыв к использованию больших данных в социологии), будет много кем услышан на русском впервые, пусть даже он уже и звучал на английском.

Эта возможность не дается бесплатно. Внешний мир является для обитателей не вполне легитимной сцены источником постоянной угрозы. Из него всегда могут поступить сведения о том, что всё, что внутри воспринималось до того как глобальная новость, в действительности таковой не является, поскольку уже было кем-то сказано. Дешево достаемый статус, получаемый при конвертации глобальных новостей в локальные, чреват упреками во вторичности и создает поэтому постоянное ощущение незащищенности. Это приводит — можем предположить мы, к дальнейшей предрасположенности к самоизоляции и выработке защитной идеологии. Кроме того, решимость игнорировать окружающий мир делает сцену потенциальной угрозой для других сцен, которые занимают примерно ту же культурную территорию. Именно такие конкурирующие сцены тяготеют к развитию отношений непримиримого антагонизма, в которых — как в Кабилии — вedomые склонны защищать своих вождей, а те — сторонников, до последнего патрона.

Социально-научные дисциплины являются примерами подобных кругов *par excellence* (Zerubavel, 2006). Как показали бесчисленные неудачные попытки разграничить их территории, невозможно, видимо, найти какие-то легитимные причины, почему границы между социологией, социальной психологией, политической наукой и иными специализациями проходят там, где они проходят. Несмотря на это, они в основном продолжают беспрепятственно игнорировать друг друга. Возвращаясь к тому, о чем говорилось в конце предыдущего параграфа, самозащита сцены — это пример случая, в котором ограничивающие отдельного индивида механизмы превращаются в средство, провоцирующее групповой произвол. Групповой контроль способен удерживать отдельно взятого социолога от заблуждения, что автором концепции протестантской этики был его научный руководитель, но социология в целом, кажется, способна бесконечно коллективно забывать, что определение государства как монополии легитимного насилия принадлежит не Веберу, а Иерингу³⁰.

Парадоксальная особенность сцен состоит в том, что, поскольку смысл их существования в некотором роде состоит в их способности игнорировать друг друга, им не свойственно искать открытого столкновения. Скорее, символическая

30. Еще более ярким примером будет способность социологии отрицать, что она чем-то обязана художественной литературе или журналистике, и готовность превозносить как теоретическое открытие антропоморфные персонификации, приписывающие вещам агентность или сходство между государствами и рэкетирами, вымогающими у своих жертв деньги за защиту от других таких же рэкетиров.

борьба между ними принимает форму конкуренции за патронирующие аудитории — спонсоров, ведомства, раздающие гранты, благосклонность массового читателя, внимание студентов и аспирантов — при которой проигравшая сторона приходит в постепенный упадок. Они практикуют удушение, а не сокрушение соперников. Видимая ненасильственность этой блокады дает сбой только в моменты, когда кто-то из посторонних по отношению к враждующим кругам — скажем, непосвященные студенты или журналисты — напрямую интересуются их отношением друг к другу, вызывая хотя бы частичную артикуляцию оппозиционных идеологий и выражения неприязни.

Надо добавить, что при своей неизбежной враждебности конкурирующие сцены могут существовать в симбиозе. Внимание провинциальной науки в том виде, в каком она существовала до примерно середины 2010-х, к происходящему в глобальных центрах в значительной мере является односторонним; хотя она декларировала намерение влиться в мировую науку, но говорила на своем языке, хотя и читала на английском, немецком и французском. Ее оправданием своего странного статуса была необходимость привнесения лучших мировых практик в требующую просвещения страну; существование туземной науки служило наглядной демонстрацией необходимости подобного просвещения. Пока западные фонды были готовы финансировать осуществление этой просветительской миссии, провинциальная наука процветала, хотя сами ее представители часто ни на шаг не продвигались к тому, чтобы сделать международную карьеру. Более широко: и та и другая разными способами находили возможность оправдать то, что их послания являются новыми только для локальной аудитории, читающей на русском. Одна ссылалась при этом на ценность ретрансляции в реконструктивный период, вторая — на уникальность российского общества, которая делала импортированную социологию неприменимой к нему.

Отметим в заключение, что те же паттерны символической борьбы, которые мы наблюдаем в столкновении между сценами, могут быть воспроизведены и внутри отдельной сцены, особенно если многие ее представители разделяют идеологию, оправдывающую преимущественную направленность внимания вовне. Несмотря на меньший размер и значительно большие возможности для коммуникации, провинциальная наука не была внутренне менее фрагментирована. Идеология, позволявшая дисквалифицировать все локальное как непоправимо вторичное, позволяла конкурентам внутри нее самой смело игнорировать друг друга, предоставив в качестве объяснения что-то вроде «я не особенно читаю по-русски»³¹. Она была,

31. В других случаях, впрочем, соперничество может быть механизмом, побуждающим индивидов обращать взор за пределы своего информационного пузыря. Успешная контрабанда чужой идеи способна поднять относительный статус индивида внутри; соответственно, те, чей относительный статус в результате понизился, могут взять на себя проведение исследования. И наоборот, стремление найти за пределами кокона нечто, что следовало бы знать сопернику внутри кокона, может быть одним из факторов, побуждающих индивидов выглядывать наружу. И то, и другое регулярно встречалось в провинциальной науке, в которой индивиды часто предпринимали вылазки, чтобы найти дискре-

таким образом, публикой, опирающейся на общие алгоритмы поиска, но не в полной мере сценой.

Заключение

В этой статье была предложена модель научной коммуникации, пространств внимания и статуса, вдохновением для которой служила параллель между научным и светским признанием. Основное отличие от рыночной, доминирующей в соответствующей литературе, вытекало из допущения, что поиск информации и последующая констатация ее получения скорее обусловлены необходимостью обезопасить себя от обвинений в неоригинальности, чем в желании получить в распоряжение факты, нужные, чтобы произвести новые факты. Этот ход позволяет решить некоторые концептуальные затруднения (как быть с науками, где «фактов» не существует? Если информация приобретается в момент, когда индивиды читают, то что заставляет их платить по счетам — а других проследить, чтобы они заплатили?), хотя и создает весьма непрigлядный образ дисциплин и прочих естественных форм организации академического мира как кругов людей, боящихся повернуться спиной друг к другу и лицом к внешнему миру.

Можно ли вывести из этих моделей конкурирующие ожидания, которые позволили бы сравнить, какая из них лучше соответствует действительности? Это представляет собой известную сложность, поскольку многие эмпирические наблюдения согласуются с обеими, и уж совсем сложно обнаружить некое подобие кризисного эксперимента, который противопоставил бы их друг другу. Можно указать лишь на случаи, когда одна из них объясняет больше, чем другая. Так, наша этикетная модель предлагает объяснения для явлений наподобие информационных пузырей, по поводу которых рыночная мало что может сказать. Она также дает предсказания, например, о связи между конфигурацией институтов, осуществляющих *enforcement*, и конфигурацией пространств внимания. Центральное предсказание, следующее из этикетной модели, состоит в том, что реконфигурация институтов, ставящая индивидов под контроль тех, кто не контролировал их раньше, должна привести к трансформации их пространств внимания. Эти трансформации должны приводить к изменениям, которые не следуют из других теоретических моделей.

Примерами подобных изменений будет трансформация системы присуждения степеней (как если место ВАКа займет присуждение отдельными институциями), или, например, обязательство публиковаться в иноязычных журналах. В попытке увеличить глобальную видимость постсоветских социальных наук и повысить качество исследований в них, министерство попробовало отдать экспертизу на аутсорсинг рецензентам в иностранных журналах. Результатом, который мы можем ожидать здесь, должно быть существенное изменение в конфигурациях цитирова-

дitiрующую соперника информацию и снисходительно охарактеризовать друг друга как «популяризатора идей [великого ученого] в России».

ний, связанное с процессом присоединения к новой сцене, и, надо думать, трансляция новых паттернов в русскоязычное пространство³².

Далее, наша модель предсказывает некоторые типичные секвенции, как когда за экономическим спадом произойдет сжатие пространств внимания к требующим наименьших затрат его разновидностям — как, например, построенным на личных контактах на рабочем месте — и соответствующая его регионализация (что произошло с российской социологией в 1990-х; см.: Губа, 2011). Следующей фазой в этом развитии будут возникновение реактивных идеологий, оправдывающих существование соответствующих информационных пузырей.

В некоторых случаях можно сказать, что представленная здесь модель предлагает интерпретацию для хорошо известных наблюдений, для которых более традиционная квазирыночная ничего нам не дает. Одним из них является лежащее в основе «науки о науке» распределение цитирований, следующее модели *preferential attachment*. Часто цитируемое в литературе по экономике внимания (Stephan, 1996; Klammer, van Dahlen, 2002), оно не получает обычно достаточного теоретического объяснения — почему, собственно, то, что кто-то процитировал данное произведение, побуждает следующих индивидов цитировать его же? Их этого затруднения можно выйти, если принять вспомогательное допущение, что индивиды рассматривают цитирование как сигнал качества и спешат ознакомиться с часто цитируемыми работами. Однако если мы согласимся что цитирование выступает защитной реакцией на свидетельство того, что кто-то читал определенный текст и считает его релевантным, правило «цитируй то, что цитируют другие» превращается в объяснимое и без дополнительных допущений³³.

Заметим в заключение, что обе модели, разумеется, не являются эмпирически взаимоисключающими. Мы можем предполагать, что оба процесса действуют параллельно, когда сильнее, когда слабее, и даже в таком запущенном случае, как со-

32. Такие изменения будут неизбежно сопутствовать изменениям экономической базы академического мира. Институты контроля, о которых мы говорим здесь, встречаются в нашей истории, поскольку ставят печать одобрения на кандидате. Так, например, диссертационный комитет совместно с ВАК рекомендует индивида как подходящего на должность доцента или профессора, или редакторы международного журнала, сами, возможно, не слишком отчетливо представляя себе последствия своих решений, рекомендуют кого-то для прохождения по конкурсу или получения надбавок. Их роль в академическом мире повышается или понижается вместе с аудиториями, от которых этот мир в той или иной форме зависит — прежде всего экономически — и которые могут требовать предъявления разных печатей — так, в России степени сотрудников позволяют университету пройти аккредитацию, а в США степени преподавателей из престижных университетов помогают привлекать абитуриентов.

33. Интересным образом это как будто опровергает в других отношениях совершенно правдоподобное предположение, что поведение ученых в науках о природе и о духе будет подчинено разной логике — одни будут избегать изобличения во вторичности, вторые — искать факты, которые позволили бы им продвинуть собственный аргумент, избегая, таким образом, церемониализации. Однако практические соображения, которыми руководствуются физики при поиске литературы, не всегда оказываются такими уж отличными от соображений социологов. В разговоре с автором крупный администратор-физик, оправдывая введение политики премирования за публикации в ведущих международных журналах в своем институте, сказал о своих сотрудниках: «Надо следить за литературой в главных журналах. А единственный способ заставить читать — заставить посылать статьи в эти журналы».

циология, процесс поиска информации, инструментальной для производства новых фактов, все же иногда имеет место. Эмпирическая задача должна определить, когда какой из них оказывается более выраженным. Нужны самостоятельные исследования, чтобы сравнить степени церемониализации в разных группах ученых. Предлагаемый выше признак — готовность долгое время поддерживать неосведомленность, не имеющую никаких легитимных оснований — ни в коем случае не является единственно возможным или даже полностью удовлетворительным.

В завершение надо сказать, что роль этикета как метафоры для академической жизни не ограничивается представленным здесь подходом к объяснению природы пространств внимания и статуса. Как и рынок, этикет представляет обширный, хотя и не всегда согласованный внутренне словарь аналогий; применительно к академической коммуникации, мы можем исследовать, например, нормы, регулирующие работы по продвижению себя, или анализировать научную методологию как проявление тактичности, избавляющей собеседника от необходимости принимать многое на веру. Она может найти применение и за пределами академической жизни, скажем, в исследовании *cancel cultures*³⁴ и информационных пузырей, в которые мы добровольно заключаем себя в публичной жизни.

Литература

- Бурдые П. (2001 [1980]). Практический смысл / Пер. с фр. А. Т. Бикбова, К. Д. Вознесенской, С. Н. Зенкина, Н. А. Шматко под ред. Н. А. Шматко. СПб.: Алетейя.
- Вахитайн В. С., Константиновский Д. Л., Куракин Д. Ю. (2012). К анализу дотероретических оснований социологии образования: экспликация базовых метафор // Вопросы образования. № 4. С. 22–39.
- Губа К. С. (2011). Академические журналы: воспроизводство локальных репутаций. Вестник Томского государственного университета // Философия. Социология. Политология. Т. 13. № 1. С. 152–164.
- Губа К. (2018). Ресурсная зависимость научных журналов: авторские vs читательские журналы // Экономическая социология. Т. 19. № 4. С. 73–100.
- Соколов М. М. (2011). Рынки труда, стратификация и карьеры в советской социологии // Экономическая социология. Т. 12. № 4. С. 37–72.
- Соколов М. М. (2015). Социология как чудо: процесс *sense-building* в одной академической дисциплине // Социология власти. Т. 27. № 3. С. 13–57.
- Соколов М. М. (2019). Элементы социологии досады и сожаления // Социологическое обозрение. Т. 18. № 4. С. 9–46.
- Соколов М. М., Титаев К. Д. (2013). Провинциальная и туземная наука // Антропологический форум. Т. 19. С. 239–275.

34. Должен признаться, что долго боролся с искушением озаглавить текст «*Science as Cancel Culture*».

- Элиас Н. (2002 [1969]). Придворное общество: исследование по социологии короля и придворной аристократии / Пер. с нем. А. П. Кухтенкова, К. А. Левинсона, А. М. Перлова. М.: Языки славянской культуры.
- Abbot A. (2001). *The Chaos of Disciplines*. Chicago: Chicago University Press.
- Axelrod R. (1986). An Evolutionary Approach to Norms // *American Political Science Review*. Vol. 80. № 4. P. 1095–1111.
- Becker H. (1982) *Art Worlds*. Berkeley: University of California Press
- Biagioli M., Galison P. (eds.). (2014). *Scientific Authorship: Credit and Intellectual Property in Science*. L.: Routledge.
- Bornmann L., Daniel H.-D. (2008). What Do Citation Counts Measure: A Review of Studies on Citing Behavior // *Journal of Documentation*. Vol. 64. № 1. P. 45–80.
- Bourdieu P. (1975). The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason // *Information (International Social Science Council)*. Vol. 14. № 6. P. 19–47.
- Bourdieu P. (1983). The Field of Cultural Production; or, The Economic World Reversed // *Poetics*. Vol. 12. № 4–5. P. 311–356.
- Bourdieu P. (1988). *Homo Academicus*. Cambridge: Polity Press.
- Brieger R. L. (1976). Career Attributes and Network Structure: A Blockmodel Study of a Biomedical Research Specialty // *American Sociological Review*. Vol. 41. № 1. P. 117–135.
- Brown R. (1977). *A Poetic for Sociology: Toward a Logic of Discovery for the Human Sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burke K. (1984 [1935]). *Permanence and Change: An Anatomy of Purpose*. Berkeley: University of California Press.
- Chwe M. S. Y. (1998). Culture, Circles, and Commercials: Publicity, Common Knowledge, and Social Coordination // *Rationality and Society*. Vol. 10. № 1. P. 47–75.
- Coase R. H. (1974). The Market for Goods and the Market for Ideas // *American Economic Review*. Vol. 64. № 2. P. 384–391.
- Collins H. M., Evans R. (2002). The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience // *Social Studies of Science*. Vol. 32. № 2. P. 235–296.
- Collins R. (1998). *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*. Cambridge: Harvard University Press.
- Cozzens S. (1989). What do Citations Count? The Rhetoric-First Model // *Scientometrics*. Vol. 15. № 5–6. P. 437–447.
- Crane D. (1969). Social Structure of a Group of Scientists: An Invisible College Hypothesis // *American Sociological Review*. Vol. 34. № 3. P. 335–352.
- Franck G. (2002). The Scientific Economy of Attention: A Novel Approach to the Collective Rationality of Science // *Scientometrics*. Vol. 55. № 1. P. 3–26.
- Gans H. (1992). Sociological Amnesia: The Noncumulation of Normal Social Science // *Sociological Forum*. Vol. 75. № 4. P. 701–710.
- Gilbert N. G. (1977). Referencing as Persuasion // *Social Studies of Science*, Vol. 7. № 1. P. 113–122.

- Goffman E.* (1955). On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction // *Psychiatry*. Vol. 18. № 3. P. 213–231.
- Goffman E.* (1956). The Nature of Deference and Demeanor // *American Anthropologist*. Vol. 58. № 3. P. 473–502.
- Goffman E.* (1981). *Forms of Talk*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Greif A., Laitin D. D.* (2004). A Theory of Endogenous Institutional Change // *American Political Science Review*. Vol. 98. № 3. P. 633–652.
- Gross A.* (2000). *The Rhetoric of Science*. Cambridge: Harvard University Press.
- Habermas J.* (1984). *The Theory of Communicative Action*. Vol. 1. Boston: Beacon press.
- Hagstrom W.* (1965). *The Scientific Community*. N.Y.: Basic Books.
- Kaplan N.* (1965). The Norms of Citation Behavior: Prolegomena to the Footnote // *American Documentation*. Vol. 16. № 3. P. 179–184.
- Klamer A., van Dalen H.* (2002). Attention and the Art of Scientific Publishing // *Journal of Economic Methodology*. Vol. 9. № 3. P. 285–315.
- Klamer A.* (2007). *Speaking of Economics: How to Get in the Conversation*. L.: Routledge.
- Lamont M.* (1987). How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida // *American Journal of Sociology*. Vol. 93. № 3. P. 584–622.
- Latour B., Woolgar S.* (1979). *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts*. L.: Sage.
- Lewis D.* (2008). *Convention: A Philosophical Study*. N.Y.: John Wiley & Sons.
- Luukkonen T.* (1997). Why has Latour's Theory of Citations been Ignored by the Bibliometric Community? Discussion of Sociological Interpretations of Citation Analysis // *Scientometrics*. Vol. 38. № 1. P. 27–37.
- Merton R. K.* (1942). A Note on Science and Democracy // *Journal of Legal and Political Sociology*. Vol. 1. № 1. P. 115.
- Merton R. K.* (1957). Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science // *American Sociological Review*. Vol. 22. № 6. P. 635–659.
- Merton R. K.* (1968). The Matthew Effect in Science // *Science*. № 159. P. 56–63.
- Merton R. K.* (1988). The Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property // *ISIS*. Vol. 79. № 4. P. 606–623.
- Nicolaisen J.* (2004). *Social Behavior and Scientific Practice: Missing Pieces of the Citation Puzzle*. PhD Thesis. Royal School of Library and Information Science.
- Parsons T.* (1963). On the Concept of Influence // *Public Opinion Quarterly*. Vol. 27. № 1. P. 37–62.
- Scheff T. J.* (1995). Academic Gangs // *Crime, Law and Social Change*. Vol. 23. № 2. P. 157–162.
- Schelling T. C.* (1960). *The Strategy of Conflict*. Cambridge: Harvard University Press.
- Shapin S.* (1995) *A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England*. Chicago: University of Chicago Press.

- Sokolov M.* (2019). The Sources of Academic Localism and Globalism in Russian Sociology: The Choice of Professional Ideologies and Occupational Niches among Social Scientists // *Current Sociology*. Vol. 67. № 6. P. 818–837.
- Sorokin P. A.* (1956). *Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences*. Chicago: Henry Regnery Company.
- Stephan P.* (1996). The Economics of Science // *Journal of Economic Literature*. Vol. 34. № 3. P. 1199–1235.
- Strathern A., Stewart P. J.* (2005). Ceremonial Exchange // *Carrier J. G.* (ed.). *A Handbook of Economic Anthropology*. L.: Edward Elgar. P. 240–255.
- Sugden R.* (1995). A Theory of Focal Points // *The Economic Journal*. Vol. 105. № 3. P. 533–550.
- Tahamtan I., Bornmann L.* (2019). What do Citation Counts Measure? An Updated Review of Studies on Citations in Scientific Documents Published between 2006 and 2018 // *Scientometrics*. Vol. 121. № 3. P. 1635–1684.
- Vinkler P.* (1998). Comparative Investigation of Frequency and Strength of Motives toward Referencing: The Reference Threshold Model // *Scientometrics*. Vol. 43. № 1. P. 107–127.
- Wang P., Soergel D.* (1998). A Cognitive Model of Document Use during a Research Project, Study I: Document Selection // *Journal of the American Society for Information Science*. Vol. 49. № 2. P. 115–133.
- Wang P., White M. D.* (1999). A Cognitive Model of Document Use during a Research Project, Study II: Decisions at the Reading and Citing Stages // *Journal of the American Society for Information Science*. Vol. 50. № 2. P. 98–114.
- Zerubavel E.* (2006). *The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life*. N.Y.: Oxford University Press.
- Zorbaugh H.* (1929). *The Gold Coast and the Slum: A Sociological Study of Chicago's Near North Side*. Chicago: University of Chicago Press.

Science as a Ceremonial Exchange: A Theory of Attention Spaces, Academic Status, and Symbolic Struggle

Mikhail Sokolov

Professor, European University at Saint Petersburg

Address: Gagarinskaya str., 6/1a, Saint Petersburg, Russian Federation 191187

E-mail: msokolov@eu.spb.ru

The article develops a middle-range theory offering a novel perspective of the logic of the distribution of attention, allocation of status, and competition in academia. Since Merton, the relations between these processes were usually cast in quasi-market terms in which individuals exchanged novel information for attention and recognition; investing the latter into the

production of further information, the symbolic struggle takes the form of a market competition. As an alternative, I suggest a theoretical vocabulary comparing the academic world to an aristocratic society in which the status of each agent is estimated on the basis of visits they pay and is being paid. The major form of the symbolic struggle is conspicuously ignoring each other. Visits in this model stand for a distribution of publicly recognized attention to the work of one's colleagues. Academics tend to create circles or scenes requiring mutual recognition on the part of their members, and suppressing recognized awareness of intellectual developments in the outside world. Scenes could be more or less legitimate depending on if their borders coincide with the divisions of classifications of areas and/or subjects, with established disciplines being prototypically-legitimate scenes. I discuss the conditions of the emergence of less-legitimate scenes typical for the periphery of the academic world system.

Keywords: sociology of science, etiquette, attention spaces, recognition, symbolic struggle, academic communication, Robert Merton

References

- Abbot A. (2001) *The Chaos of Disciplines*, Chicago: Chicago University Press.
- Axelrod R. (1986) An Evolutionary Approach to Norms. *American Political Science Review*, vol. 80, no 4, pp. 1095–1111.
- Becker H. (1982) *Art Worlds*, Berkeley: University of California Press.
- Biagioli M., Galison P. (eds.) (2014) *Scientific Authorship: Credit and Intellectual Property in Science*, London: Routledge.
- Bornmann L., Daniel H.-D. (2008) What Do Citation Counts Measure: A Review of Studies on Citing Behavior. *Journal of Documentation*, vol. 64, no 1, pp. 45–80.
- Bourdieu P. (1975) The Specificity of the Scientific Field and the Social Conditions of the Progress of Reason. *Information (International Social Science Council)*, vol. 14, no 6, pp. 19–47.
- Bourdieu P. (2001) *Prakticheskij smysl* [Practical Sense], Saint Petersburg: Aleteya.
- Bourdieu P. (1983) The Field of Cultural Production; or, The Economic World Reversed. *Poetics*, vol. 12, no 4–5, pp. 311–356.
- Bourdieu P. (1988) *Homo Academicus*, Cambridge: Polity Press.
- Brieger R. L. (1976) Career Attributes and Network Structure: A Blockmodel Study of a Biomedical Research Specialty. *American Sociological Review*, vol. 41, no 1, pp. 117–135.
- Brown R. (1977) *A Poetic for Sociology: Toward a Logic of Discovery for the Human Sciences*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Burke K. (1984 [1935]) *Permanence and Change: An Anatomy of Purpose*, Berkeley: University of California Press.
- Chwe M. S. Y. (1998) Culture, Circles, and Commercials: Publicity, Common Knowledge, and Social Coordination. *Rationality and Society*, vol. 10, no 1, pp. 47–75.
- Coase R. H. (1974) The Market for Goods and the Market for Ideas. *American Economic Review*, vol. 64, no 2, pp. 384–391.
- Collins H. M., Evans R. (2002) The Third Wave of Science Studies: Studies of Expertise and Experience. *Social Studies of Science*, vol. 32, no 2, pp. 235–296.
- Collins R. (1998) *The Sociology of Philosophies: A Global Theory of Intellectual Change*, Cambridge: Harvard University Press.
- Cozzens S. (1989) What do Citations Count? The Rhetoric-First Model. *Scientometrics*, vol. 15, no 5–6, pp. 437–447.
- Crane D. (1969) Social Structure of a Group of Scientists: An Invisible College Hypothesis. *American Sociological Review*, vol. 34, no 3, pp. 335–352.
- Elias N. (1969) *Pridvornoe obshchestvo: issledovanie po sociologii korolja i pridvornoj aristokratii* [The Court Society], Moscow: Jazyki slavyanskoy kul'tury.
- Franck G. (2002) The Scientific Economy of Attention: A Novel Approach to the Collective Rationality of Science. *Scientometrics*, vol. 55, no 1, pp. 3–26.
- Gans H. (1992) Sociological Amnesia: The Noncumulation of Normal Social Science. *Sociological Forum*, vol. 75, no 4, pp. 701–710.

- Gilbert N. (1977) Referencing as Persuasion. *Social Studies of Science*, vol. 7, no 1, pp. 113–122.
- Goffman E. (1955) On Face-Work: An Analysis of Ritual Elements in Social Interaction. *Psychiatry*, vol. 18, no 3, pp. 213–231.
- Goffman E. (1956) The Nature of Deference and Demeanor. *American Anthropologist*, vol. 58, no 3, pp. 473–502.
- Goffman E. (1981) *Forms of Talk*, Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Greif A., Laitin D. D. (2004) A Theory of Endogenous Institutional Change. *American Political Science Review*, vol. 98, no 3, pp. 633–652.
- Gross A. (2000) *The Rhetoric of Science*, Cambridge: Harvard University Press.
- Habermas J. (1984) *The Theory of Communicative Action*, Vol. 1, Boston: Beacon Press.
- Guba K. (2011) Akademicheskie zhurnaly: vosпроизводство lokal'nyh reputacij [Academic Journals: The Reproduction of Local Reputations]. *Tomsk State University Journal*, vol. 13, no 1, pp. 152–164.
- Guba K. (2018) Resursnaja zavisimost' nauchnyh zhurnalov: avtorskie vs chitatel'skie zhurnaly [Resource Dependency of Academic Journals: Authors' vs. Readers' Journals]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 19, no 4, pp. 73–100.
- Hagstrom W. (1965) *The Scientific Community*, New York: Basic Books.
- Kaplan N. (1965) The Norms of Citation Behavior: Prolegomena to the Footnote. *American Documentation*, vol. 16, no 3, pp. 179–184.
- Klamer A., van Dalen H. (2002) Attention and the Art of Scientific Publishing. *Journal of Economic Methodology*, vol. 9, no 3, pp. 285–315.
- Klamer A. (2007) *Speaking of Economics: How to Get in the Conversation*, London: Routledge.
- Lamont M. (1987) How to Become a Dominant French Philosopher: The Case of Jacques Derrida. *American Journal of Sociology*, vol. 93, no 3, pp. 584–622.
- Latour B., Woolgar S. (1979) *Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts*, London: Sage.
- Lewis D. (2008) *Convention: A Philosophical Study*, New York: John Wiley & Sons.
- Luukkonen T. (1997) Why has Latour's Theory of Citations been Ignored by the Bibliometric Community? Discussion of Sociological Interpretations of Citation Analysis. *Scientometrics*, vol. 38, no 1, pp. 27–37.
- Merton R. K. (1942) A Note on Science and Democracy. *Journal of Legal and Political Sociology*, vol. 1, no 1, pp. 115–125.
- Merton R. K. (1957) Priorities in Scientific Discovery: A Chapter in the Sociology of Science. *American Sociological Review*, vol. 22, no 6, pp. 635–659.
- Merton R. K. (1968) The Matthew Effect in Science. *Science*, no 159, pp. 56–63.
- Merton R. K. (1988) The Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property. *ISIS*, vol. 79, no 4, pp. 606–623.
- Nicolaisen J. (2004) *Social Behavior and Scientific Practice: Missing Pieces of the Citation Puzzle* (PhD Thesis), Oslo: Royal School of Library and Information Science.
- Parsons T. (1963) On the Concept of Influence. *Public Opinion Quarterly*, vol. 27, no 1, pp. 37–62.
- Scheff T. J. (1995) Academic Gangs. *Crime, Law and Social Change*, vol. 23, no 2, pp. 157–162.
- Schelling T. C. (1960) *The Strategy of Conflict*, Cambridge: Harvard University Press.
- Shapin S. (1995) *A Social History of Truth: Civility and Science in Seventeenth-Century England*, Chicago: University of Chicago Press.
- Sokolov M. (2011) Rynki truda, stratifikacija i kar'ery v sovetskoj sociologii [Labour Markets, Stratification, and Careers in Soviet Sociology]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 12, no 4, pp. 37–72.
- Sokolov M. (2015) Sociologija kak chudo: process sense-building v odnoj akademicheskoy discipline [Sociology as a Miracle: The Sense-Building Process in an Academic Discipline]. *Sociology of Power*, vol. 27, no 3, pp. 13–57.
- Sokolov M. (2019) Jelementy sociologii dosady i sozhalenija [Elements of Sociology of Regret]. *Russian Sociological Review*, vol. 18, no 4, pp. 9–46.
- Sokolov M., Titaev K. (2013) Provincial'naja i tuzemnaja nauka [The Provincial and the Aboriginal Science]. *Anthropological Forum*, vol. 19, pp. 239–275.

- Sokolov M. (2019) The Sources of Academic Localism and Globalism in Russian Sociology: The Choice of Professional Ideologies and Occupational Niches among Social Scientists. *Current Sociology*, vol. 67, no 6, pp. 818–837.
- Sorokin P. A. (1956) *Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences*, Chicago: Henry Regnery Company.
- Stephan P. (1996) The Economics of Science. *Journal of Economic Literature*, vol. 34, no 3, pp. 1199–1235.
- Strathern A., Stewart P. J. (2005) Ceremonial Exchange. *A Handbook of Economic Anthropology* (ed. J. G. Carrier), London: Edward Elgar, pp. 240–255.
- Sugden R. (1995) A Theory of Focal Points. *Economic Journal*, vol. 105, no 3, pp. 533–550.
- Tahamtan I., Bornmann L. (2019) What do Citation Counts Measure? An Updated Review of Studies on Citations in Scientific Documents Published between 2006 and 2018. *Scientometrics*, vol. 121, no 3, pp. 1635–1684.
- Vakhshstein V., Konstantinovskiy D., Kurakin D. (2012) K analizu doteoreticheskikh osnovanij sociologii obrazovaniya: jeksplikacija bazovykh metafor [Towards the Analysis of Pre-theoretical Foundations of Sociology of Education: Explication of Basic Metaphors]. *Educational Studies*, no 4, pp. 22–39.
- Vinkler P. (1998) Comparative Investigation of Frequency and Strength of Motives toward Referencing: The Reference Threshold Model. *Scientometrics*, vol. 43, no 1, pp. 107–127.
- Wang P., Soergel D. (1998) A Cognitive Model of Document Use during a Research Project, Study I: Document Selection. *Journal of the American Society for Information Science*, vol. 49, no 2, pp. 115–133.
- Wang P., White M. D. (1999) A Cognitive Model of Document Use during a Research Project, Study II: Decisions at the Reading and Citing Stages. *Journal of the American Society for Information Science*, vol. 50, no 2, pp. 98–114.
- Zerubavel E. (2006) *The Elephant in the Room: Silence and Denial in Everyday Life*, New York: Oxford University Press.
- Zorbaugh H. (1929) *The Gold Coast and the Slum: A Sociological Study of Chicago's Near North Side*, Chicago: University of Chicago Press.

Что делают социальные ученые в ситуации «политеизма ценностей»? Или еще немного о веберовском «призвании»^{*,**}

Илья Пресняков

Магистр социологии (The University of Manchester/МВШСЭН), научный сотрудник, Центр социологических исследований, Институт общественных наук, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Адрес: проспект Вернадского, 82, стр. 1, г. Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: presnyakoviliaval@gmail.com

Настоящая статья посвящена науке как ценностной сфере в теории Макса Вебера. Автор показывает, каким образом складывается ее внутреннее устройство и формируется «собственная логика». Далее, с опорой на логико-методологические основания, предложенные Вебером, автор прослеживает, как внутри науки реализуется модус действия «по призванию», осуществляющегося учеными в ситуации «политеизма ценностей». Опираясь на содержание недавних дискуссий о науке Вебера, автор выстраивает линию рассуждения следующим образом. Во-первых, прослеживает, как меняется методологическая роль ценностей в науках о культуре в связи с переходом от риккертского трансцендентализма к веберовскому политеизму ценностей. Во-вторых, анализирует, каким образом в теории Вебера выстраиваются отношения между наукой, прогрессом и рационализацией. В-третьих, автор эксплицирует модус «призвания» в науке. В-четвертых, кратко прослеживает развитие идеи Вебера о ценностной автономии научной сферы. У Вебера истина лишается логического критерия объективности. Но не главенствующего статуса. Механика «познавательного интереса» позволяет ученым отделять вненаучную прагматику от научного поиска. Прогресс социальных наук для Вебера — это концептуальная дифференциация, возникновение новых исследовательских подходов и уточнение используемых понятий. Ассоциируемое с научной работой «обретение ясности» оказывается не ее собственной целью, а возможным эффектом использования полученных знаний. Модус «призвания» ученых проявляется в том, что они формулируют отличающиеся идеально-типические конструкции и каузальные объяснения, которые представляются адекватными и достаточными с точки зрения их познавательных интересов. Границы «призвания» в науке формируются у Вебера как следствие его работы над логико-методологическими основаниями социального познания, участия в «предметных» исследованиях и реализации «программы» по социологии религии.

Ключевые слова: Макс Вебер, наука, ценности, ценностные сферы, политеизм ценностей, действие, призвание

* Статья подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

Автор выражает благодарность Константину Борисовичу Гаазе за ценные советы и помощь на начальном этапе работы над текстом, а также анонимным рецензентам «Социологического обозрения» за глубину критики и терпение.

** Статья признана лучшей по итогам Конкурса научных работ на соискание премии имени Макса Вебера 2020–2021 гг., организованного журналами «Социологическое обозрение» и «Экономическая социология».

Отправной точкой статьи послужила полемика между Р. И. Капелюшниковым (Капелюшников, 2018а: 25–49; Капелюшников, 2018б: 12–42; Капелюшников, 2019) и И. В. Забаевым (Забаев, 2019: 20–71) о содержании и характере аргументации Макса Вебера в работе «Протестантская этика и дух капитализма». Говоря сжато, тезис Капелюшникова состоит в том, что Вебер не сумел доказать существование связи между духовными (религиозными) и материальными факторами, «избирательное сродство»¹ которых привело к появлению современного рационального капитализма (Капелюшников, 2018а: 31). Забаев оспаривает такую интерпретацию Вебера и утверждает, что его главной темой была не столько экономика, сколько этика и формирование нового типа модернистского мышления (Забаев, 2019: 3, 29).

Мы не включаемся в эту полемику, но хотели бы обратить внимание на один аспект «Протестантской этики», который оказался важным для обоих участников, хотя и не стал центральным в их аргументах. Речь идет о понятии призвания (Beruf), которое, по Веберу, определило значение мирской деятельности для спасения христианина. Но какого рода это призвание? Капелюшников указывает на разницу в «знаках отличия», свидетельствующих об успешности предпринимателя и рабочего. Такая неравномерность, полагает он, оказывается «фатальной» для Вебера: «Либо все верующие судят о своих шансах на спасение по тому, как их деятельность оценивается „рынком“, и тогда исчезает асимметрия между предпринимателями и работниками, либо предприниматели и работники являются носителями разного этоса, и тогда вообще рушится вся его конструкция» (Капелюшников, 2018б: 20) (курсив мой. — И. П.). Забаев подходит к этой же теме с другой стороны, когда замечает, что «Вебер побуждает нас проверять гипотезы... о том, как *ответы на предельно важные для человека вопросы формируют характер человека и этот характер позволяет совершать строго определенного типа действия в тех или иных (во всех?) сферах жизни*» (Забаев, 2019: 48). К сожалению, это соображение не получает у него дальнейшего развития.

Вебер считал (и об этом говорят, хотя и по-разному оценивают его аргументы, оба исследователя), что выраженная в специфически «рациональном ведении жизни» идея «призвания», изначально испытывающая сильное влияние религиозной этики, продолжает влиять на поведение людей в современном, секуляризированном мире. Если формирование понятия призвания происходило в основном до того, как отдельные «порядки» или «сферы» отделились друг от друга, обрели относительную автономию, то в современном мире «призвание» означает, что человек, находясь внутри определенного порядка, принимает его высшие ценности, которые становятся не только детерминантами его действия, но и критерием оценки последствий этого действия. Порядок является ценностным, так как совершаемое в нем «действие» (в среднем или приблизительно) ориентировано

1. Понимание Р. И. Капелюшниковым «избирательного сродства» критикует Д. В. Катаев (Катаев, 2018). С его точки зрения, взаимосвязь между материальными и духовными факторами в «Протестантской этике» является менее жесткой и каузально предопределенной, чем она представлена в интерпретации экономиста (Там же: 147).

на явные „максимы“² (Вебер, 2008: 109). А если помнить идею Вебера о значимости для людей разных и даже противоречащих друг другу порядков (сфер), то получается, что уже в «Протестантской этике» ученый не просто указывает на два из них (религия и экономика), но идеально-типически обозначает отношение напряженности между ними. Именно на проблеме этих напряженных отношений мы и сосредоточимся далее в нашей статье.

Попробуем показать, как у Вебера возникает автономия не только экономической, но и других сфер, которые являются — и в этом заключается наш главный аргумент — не только «жизненными», но и «ценностными». Для этого поместим «Протестантскую этику» в контекст веберовской социологии религии и свяжем ее с «Промежуточным рассмотрением»³.

Вебер исследует противоречия, возникающие между религией и другими порядками: экономикой, политикой, искусством, эротизмом и интеллектуализмом (наукой) (Вебер, 2017б: 197–445). С появлением «религий спасения» развитие предлагаемых ими картин мира осуществлялось вокруг решения двух проблем: собственно «спасения», то есть возможности обретения верующим уверенности в божественной благодати (*certitudo salutis*), и «теодицеи» — оправдания несовершенства посюстороннего мира и необходимости жить и действовать в нем. Их наиболее консистентное и строгое решение предложил протестантизм нескольких кальвинистских сект в виде концепции «предопределения»: мир рационально устроен Богом, существует для его прославления, а любовь к Нему «находит свое выражение в первую очередь в выполнении профессионального долга, данного *lex naturae*» (Вебер, 1990д: 146). В такой ситуации «дуалистического теоцентризма» (Roth, Schluchter, 1984: 47) от человека требуется действие, рассчитанное на успех, — единственное свидетельство возможности спасения. Однако по мере овладения действительностью «разволшебствуются» отношения не только между Богом и человеком, но и между человеком и миром его активности: «Религиозно обесцененный „мир“ требует... признать свои *собственные законы*» (Ibid.: 42). «Мирские» порядки начинают функционировать как автономные и «становятся... призванием» (Вебер, 2017а: 199–200). Последнее осуществляется личностью, оформляющей собственное ведение жизни, когда человек «не просто „функционирует“... но... придает совокупности действий некоторое осмысленное единство» (Вебер, 2005б: 55).

2. Вебер различает «максимы-нормы», обладающие статусом этических императивов и являющиеся основой ценностно ориентированного действия, и «максимы-цели», которые отвечают за целерациональное поведение. Веберу при этом важно показать, как в современном обществе целерациональное действие само становится этическим императивом. Поэтому в конечном счете оба вида максим Вебер называет «ценностями» (Weber, 2012с: 197).

3. «Промежуточное рассмотрение», которое известно также как «Теория ступеней и направлений религиозного неприятия мира», завершает первый том «Собрания сочинений по социологии религии». Ему предшествует «Протестантская этика» и первое из исследований по хозяйственной этике мировых религий, посвященное конфуцианству и даосизму. В новом русском переводе О. В. Кильдюшова подзаголовок «Промежуточного рассмотрения» несколько изменен: «Теория уровней и направлений религиозного неприятия мира» (Вебер, 2017б: 197–445).

Только теперь, после предварительных разъяснений, мы можем обозначить цель нашего исследования. Она состоит в следующем: во-первых, проследить, каким образом в теории Вебера складывается устройство и формируется «собственная логика» науки как ценностной сферы; во-вторых, показать, как в науке реализуется модус действия «по призванию», осуществляющегося учеными в ситуации конфликта или «политеизма ценностей».

Это позволит внести вклад в изучение веберовских ценностных сфер, социологический «статус» которых, по мнению Р. Сведберга и О. Агевала, «остается непроясненным» (Swedberd, Agevall, 2016: 369). Авторы отмечают сложности в основном терминологического характера, поэтому нам их утверждение кажется слишком категоричным. Мы бы хотели солидаризоваться с трактовкой, предложенной Р. М. Лепсиусом. По его мнению, ценность не направляет социальное действие сама по себе. Для этого ей необходим «контекст значимости» — смысловое, символическое и социальное пространство, внутри которого из простой идеи она превращается в «критерий рациональности» и определяет содержание «руководящего принципа», структурирующего социальные действия акторов в границах «контекста». При этом ценность должна утратить изначально присущий ей этический заряд. Это позволит ей влиять на ход социального действия независимо от личностных особенностей и интересов акторов, которые начинают соотносить свое поведение с безличным руководящим принципом (например, с принципом подсчета издержек и доходов). Так и возникает «институт» (например, рынка), то есть «социальное структурирование, обеспечивающее связь между ценностью и социальным действием» (Lepsius, 2017: 49). Борьба ценностных порядков при этом теряет этический пафос и представляет собой несовпадение или даже противостояние критериев рациональности, имеющих разную когнитивную структуру, контекстов их значимости, методов рационализации и способов ориентации социального действия (Ibid.: 72–73). Это общее замечание методологического свойства позволит нам лучше понять смысл и значение еще одной острой полемики, прямо затрагивающей нашу тему.

К еще одной дискуссии о Вебере

Рассмотрим аргументы, изложенные в видеолекциях Г. Б. Юдина и В. С. Вахштайна на платформе «ПостНаука»⁴. В них по-разному трактуется веберовское понимание науки и в связи с ним понятие профессионального призвания ученого.

Г. Б. Юдин выдвигает следующий тезис: «За любым исследованием всегда стоит ценностная мотивация. Нам никогда недостаточно нашей верности науке, чтобы начать исследование» (Юдин, 2019: 20 мин. 29 сек.). И далее: «С точки зрения Вебера, наука — это то пространство, где могут встречаться люди с разными ценностями... за счет которого представители разных ценностных позиций, политические

4. Официальный сайт проекта: <https://postnauka.ru/>

противники, могут входить на общую территорию и обсуждать там что-то вместе» (Там же: 21 мин. 12 сек.). Последовательность аргументации, вытесняющая разнонаправленность мировоззрений, становится фундаментом «островка безопасности», в котором коммуницируют ученые с разными ценностями.

Далее Юдин связывает науку с процессом рационализации: «Каждый, кто выбрал для себя науку, вольно или невольно принес присягу рационализации. <...> С точки зрения Вебера, каждый, кто сражается за рационализацию, должен понимать, что его ценность не является самоочевидной для других. А значит, ему придется отстаивать его ценности в политической борьбе» (Там же: 22 мин. 07 сек.). И поэтому «наука не замещает нам политику, наука позволяет нам становиться политически сильнее» (Там же: 23 мин. 57 сек.). Как видно, в такой трактовке ценности, значимые для ученого и актуализированные им перед проведением исследования⁵, оказываются не менее значимыми, чем вопросы, непосредственно связанные с исследовательским процессом.

В ответ В. С. Вахштайн предлагает тезис о «ценностном суверенитете науки» и проводит различие между донаучными и научными ценностями. Первые «направляют интерес до того, как мы становимся учеными» (Вахштайн, 2019: 5 мин. 48 сек.). Соответственно, «когда мы входим в регион науки, мы оставляем за спиной все прочие мировоззренческие установки и предпочтения, мы подчиняем свое действие поиску истины... В этом смысле не может сказать ученый, что он занимается наукой, чтобы стать политически сильнее» (Там же: 4 мин. 40 сек.).

Для усиления идеи о «суверенитете» Вахштайну необходимо ослабить связку «наука–рационализация». Последняя объявляется следствием множества причин. Наука является одной из равноправно действующих переменных, но именно поэтому сохраняет собственную специфику: «Наука — лишь часть этого процесса. Да, автономная, но часть... Если рационализация — это максима науки, то тогда чем она отличается от протестантизма и капитализма?» (Там же: 13 мин. 40 сек.).

Спор сводится, таким образом, к вопросу о самостоятельности или самости науки. Она функционирует как совокупность действий ученых, являющихся культурными и ценностными существами. С точки зрения «техники» исследования эти действия должны быть профессиональными и методически выверенными. В этом интерпретации сходятся. Ключевое отличие возникает в описании сцепки личностных устремлений ученых и науки как региона ценностей. В первом случае донаучная система релевантностей позволяет не только выделить объект исследования, но и обеспечить субъекта решающими мотивами для познания. Во втором ценности исследователя определяют только общую направленность его работы, направляемой единственной максимой — истиной.

Как и в случае с полемикой Р. И. Капелюшникова и И. В. Забаева, мы не принимаем ни одну из сторон. Однако мы обнаруживаем ориентиры для лучшего

5. Например, ценность общественной рационализации.

понимания взглядов Вебера на науку. Дальше наше изложение будет построено следующим образом.

Во-первых, мы проследим, как меняется методологическая роль ценностей в науках о культуре в связи с переходом от риккертовского трансцендентализма к веберовскому политеизму ценностей. Во-вторых, проанализируем, каким образом в теории Вебера выстраиваются отношения между наукой, прогрессом и рационализацией. В-третьих, эксплицируем модус «призвания» в науке. В-четвертых, кратко проследим развитие идеи Вебера о ценностной автономии научной сферы.

Ценность истины: логическая общеобязательность vs «политеизм ценностей»

Идеи Вебера о ценностях связаны с аксиологией Генриха Риккерта — представителя Баденской школы неокантианства. Чтобы продемонстрировать их преемственность и отличия, воспроизведем некоторые положения риккертовской теории.

Одна из задач философа — провести границу между «науками о природе» и «историческими науками о культуре» и обосновать объективность последних. Их объект возникает как результат процедуры «отнесения к ценности», когда из «экстенсивного» и «интенсивного» многообразия действительности ученый выделяет интересующий его фрагмент. Чтобы конституируемый таким образом «исторический индивидуум» и обозначающее его «индивидуальное понятие» имели научный статус, ценность, к которой «относится» действительность, должна быть объективной, то есть «всеми признаваемой ценностью или ценностью для всех» (Риккерт, 1997: 290–291). Вопрос о самостоятельности наук о культуре сводится к поиску критерия этой объективности.

Риккерт предлагает логическое, или «трансцендентальное», решение на примере ценности истины. Он утверждает, что всякое познание основано «на сознании вообще, производящем акты суждения, а следовательно, и на сверхиндивидуальном гносеологическом субъекте, производящем оценку истинности» (Там же: 484). Отрицание этого положения возможно только в форме суждения, которое будет осмысленным, если также подразумевает обязательность ценности истины. Соответственно, такое отрицание обязательности ценности истины отрицает и само себя. Поэтому, заключает Риккерт, «признание ценности истинности есть логическая предпосылка всякой науки» (Там же: 484).

Концепции «сверхэмпирического субъекта» и «объективно обязательного долга» (Там же: 500) позволяют Риккерту утверждать объективность не только «интеллектуальных», но и «неинтеллектуальных» ценностей. В более поздней работе он проводит различие между ними как «теоретическими», подразумевающими созерцательное отношение к миру, и «нетеоретическими», проявляющимися в «практическом воздействии» на него (Риккерт, 1998: 372–373). При этом трансцендентальное доказательство объективности первых не может быть использова-

но для обоснования общезначимости вторых. Это было бы проявлением «интеллектуализма» (Риккерт, 1997: 500) и редукции.

Вебер использует арсенал Риккерта — поначалу почти безоговорочно, а затем с некоторыми коррективами. Теорию ценностей философа и «отнесение к ценности» он принимает как элемент *логического* устройства наук о культуре, но без трансцендентального доказательства, называя его «ценностной метафизикой» (Weber, 2012a: 413). Так как «ценность» может подразумевать не только процедуру «отнесения» к ней, но и *практическую* оценку чего-либо, Вебер отдает предпочтение термину «интерес», отражающему *теоретический характер* формирования «исторических индивидуумов». Более того, процесс отбора материала и формирования понятий зависит не столько «от степени универсальности этого интереса», сколько от «постоянно изменяющихся различий интереса отдельных лиц» (Bruun, 2001: 144). Соответственно, если у Риккерта иерархия ценностей образует «надисторическую систему», опираясь на которую философ планировал создать «универсальную научную теорию мировоззрения» (Гайденок, Давыдов, 1991: 43), то у Вебера ценности теряют «абсолютный» статус и становятся историческими образованиями, выражающими разнообразные, часто противостоящие друг другу установки определенного периода времени. «Сверхэмпирический субъект» уступает место конкретному человеку, удел которого — *выбирать* одни ценности, отвергая или даже «оскорбляя» другие.

Однако если риккертское противопоставление двух классов ценностей объясняется их логически доказанной противоположностью, то есть ли обоснование у веберовского «политеизма»? Американский историк социологии Г. Оукс предпринял специальное исследование «Вебер и Риккерт: образование понятий в науках о культуре» (Oakes, 1988), а также посвятил ряд позднейших публикаций интересующей нас теме. Идею о несоизмеримости ценностных порядков он связывает с веберовским утверждением «бессмысленности» науки, которая не может обосновать тот или иной ценностный выбор. Оукс считает такое утверждение парадоксальным. Анализируя философские сочинения Толстого, на которые ссылается Вебер в лекции «Наука как призвание и профессия», он показывает, что Толстой использует познавательный инструментарий, который у Вебера входит в корпус «науки» («Wissenschaft»). Поэтому «исследование, которое он предпринимает в „Исповеди“, не может основываться на идее бессмысленности науки» (Oakes, 2001: 204). Этот же вывод имеет силу и применительно к позднему Веберу: используя инструменты «Wissenschaft», он не может, не противореча сам себе, говорить о ее бессмысленности. Аналогичным образом дело обстоит с ценностями. Чтобы продемонстрировать конфликт между ними, их необходимо как минимум сравнить. Сравнение же «требует общих стандартов, с помощью которых можно интерпретировать или оценивать ценности» (Ibid.: 198). Таковыми для Вебера становятся правила «логики». Поэтому, делает вывод Оукс, веберовская антиномия ценностей и выбор между ними «возможны только из ценностного региона науки» (Ibid.: 206).

Однако демонстрация того, как Вебер с помощью инструментов науки работает с ценностными сферами, делает из него того самого редукциониста, который, согласно Риккерт, «совершает ошибку в понимании характера нетеоретических ценностей» (Oakes, 1988: 140). Оукс критикует Вебера за универсализацию ценности истины и обвиняет его в интеллектуализме, лишаящем другие ценностные сферы собственных «логик развития» и не позволяющем определить высшие ценности каждой из них. Чтобы это сделать, необходимо или отказать интеллектуализму в статусе самостоятельного ценностного региона, или признать, что высшие ценности определяются внутри самих ценностных сфер. Поэтому для американского исследователя веберовская теория ценностей является «редукцией всех сфер жизни к ограниченному набору принципов» (Oakes, 2003: 35). Вебер как будто не до конца выучивает уроки риккертского неокантианства⁶.

Посмотрим сейчас на дело с другой стороны. Обоснованием объективности социальной науки становится у Вебера концепция «идеальных типов», возникшая в ходе знаменитого «спора о методах» между «исторической» и «теоретической» школами национальной экономики. «Историки» во главе с Г. фон Шмоллером считали, что изучение экономических явлений в их «тотальном контексте» приведет к созданию «универсальной социальной науки». Для этого требовалось кумулятивное накопление знаний и индуктивное образование понятий. Важным фактором экономического поведения человека признавалась его психика, поэтому психология расценивалась как «ключ ко всем наукам о культуре, а значит, и к политической экономике» (Schön, 2006: 62). «Теоретики», возглавляемые К. Менгером, напротив, считали, что эмпирическое многообразие реальности невозможно «схватить» полностью, поэтому экономика должна сосредоточиться на формулировке неизбежно «одномерных», но непротиворечивых понятий, сконструированных абстрагирующе-изолирующим методом.

При создании концепции идеальных типов Вебер опирается на результаты «теоретической» школы⁷. Идеальные типы он определяет как теоретические конструкции, использующиеся для выявления отклонений реального протекания событий от их «идеального» содержания и, далее, причинного объяснения этих отклонений. Эвристическая сила идеальных типов обеспечивается их «логическим совершенством» и «утопичностью». Это позволяло Веберу, видевшему задачу национальной экономики в понимании и объяснении не внутреннего, а внешне наблюдаемого экономического поведения, преодолеть психологизм «историков». Он прямо указывает, что экономическая наука обоснована «не психологически» и что она функционирует как «„сумма“ „идеально-типических“ понятий» (Вебер, 2020: 214).

6. Интерпретация Оукса в той части, где речь идет о тесной связи между идеями Риккерта и Вебера, подвергалась критике. См., напр.: Turner, Factor, 1981: 13; Wagner, Zipprian: 1990: 562.

7. Вильгельм Хеннис приводит прямое доказательство того, что прото-версия понятия идеальных типов упоминается Вебером в «Содержании лекций по общей (теоретической) [курсив мой. — И. П.] экономике» 1898 г. в Гейдельбергском университете, где ученый конструирует тип «нереалистичного экономического субъекта» (Hennis, 2006a: 35).

При этом Вебер не разрывает отношения с «исторической» школой, учеником которой является. При создании концепции «идеальных типов» он действительно вдохновлялся «концептуальным искусством „абстрактной теории“» (Hennis, 1994: 113). Но внимание к проблемам смыслового содержания и культурной значимости изучаемых явлений делало его ближе к исторической школе.

Попробуем связать концепцию идеальных типов с тем, как Вебер понимал ценности. Эта связка, с нашей точки зрения, проявляется в механике познавательного интереса или в том, что Вебер называл «ценностной интерпретацией». Ее устройство подразумевает две операции. Во-первых, «актуальная оценка объекта». Это «индивидуальное по своей природе» и неизбежное субъективное «ощущение» или «воление» (Вебер, 1990а: 451), определяющие выбор темы и задающие направленность мышления ученых. Научная сторона интереса раскрывается на стадии «„диалектического“ ценностного анализа» (Weber, 2012b: 79) Ученые определяют, с каких возможных «точек зрения» изучаемый объект может быть «значим» для исследования и какие именно его характеристики должны быть отражены в идеальных типах.

Далее, после отнесения эмпирического материала к некоторой ценности, следует его «мысленное усиление», осуществляющееся не произвольно, а с помощью «номологического» знания. Номология для Вебера — это опытное, «позитивное» знание о закономерностях окружающего мира, отражающее «объективные возможности» его развития, знание «каузальных связей» (Вебер, 1990г: 393, 377) не только на уровне законов природы, но и логических принципов и «известных эмпирических правил, в частности того, как люди обычно реагируют на данную ситуацию» (Вебер, 1990а: 473). С помощью номологического знания достигается такая степень «нереальности» идеального типа, что она служит «защитной стеной» для научных понятий, позволяя отделить теоретический познавательный интерес от оценочных суждений.

Итак, каким бы ни был познавательный интерес, он всегда будет логически приемлем. Так Вебер «защищает сферы ценностей от незаконного посягательства науки» (Vglin, 2010: 56) и предотвращает «интеллектуалистскую редукцию», в которой обвиняет его Оукс. Веберовские ценности, в отличие от интереса, изначально наполнены активным, «культурным» содержанием и, по сути, из трансцендентальных превращаются в трансцендентные. Отсюда следует, что, во-первых, они не могут быть научно (философски) обоснованы, во-вторых, что сфера науки, как и любой другой ценностный порядок, содержит собственные ценности. Точнее — познавательные интересы⁸.

8. Поэтому реализация познавательных интересов не оборачивается ценностной нейтральностью науки. Этот вопрос обсуждался на съезде немецких социологов 1964 г., в частности — в ходе полемики между Т. Парсонсом и Ю. Хабермасом. Парсонсу часто приписывают позитивистскую трактовку Вебера, что не совсем правильно. Свобода от оценок для него — это не свобода от ценностей вообще, а возможность «следовать ценностям науки в соответствующих пределах без того, чтобы они отвергались ценностями, противоречащими или не относящимися к ценностям научного исследования» (Parsons, 1965: 50). Подробнее о возможных причинах отождествления свободы от нормативных

Отсутствие общезначимого критерия объективности ценностей и частичная субъективность процедуры «отнесения к ценности» компенсируются «нереальностью» идеальных типов. Логическое устройство ценностной интерпретации и включение в процесс конструирования научных понятий номологического знания не позволяют оценкам проникнуть в структуру научного познания. Свободу от них можно считать проявлением принципа «сдержек и противовесов», когда каждая из сфер ценностей (теоретических и практических) не посягает на достоинство другой. Описанный таким образом механизм позволяет ученым различать свои действия, с одной стороны, как волящих и донаучно-ориентированных акторов, с другой — как теоретически настроенных исследователей. Это требует от них особой исследовательской внимательности и предполагает «различение не только между „практической оценкой“ и отнесением к ценности, но также и между этой оценкой и „интерпретацией ценности“» (Давыдов, 1998: 72).

Таким образом, научная истина для Вебера лишается неокантианской общезначимости. Но не статуса. Отнесение к ценности действительно подразумевает изначально практическое, «волевое» или «культурное» отношение познающего субъекта к объекту исследования. Но устройство теоретического познавательного интереса и способ образования идеально-типических понятий позволяют ученым отделять вненаучную прагматику от научного поиска. При этом борьба ценностей не только не подавляет автономию науки, но, напротив, позволяет истине стать осевым элементом самостоятельной ценностной сферы и противостоять утверждению о ее этической нейтральности.

Наука, прогресс и рационализация: «дифференциация» vs телеология

Но как в таком случае наука связана с прогрессом? Позволяет ли ее ценностная автономия говорить только о научном прогрессе? Зачем Вебер выделяет «вообще „прогресс“» (Вебер, 1990б: 711–712)? В каком отношении между собой находятся два подвида прогресса, говоря о котором Вебер последовательно в одном случае заключает термин в кавычки, а в другом обходится без них?

Начнем с того, что Вебер отвергает телеологическое определение прогресса как движения, ведущего к некоторому благу. Оно неприменимо, так как содержит скрытую или явную оценку развития чего-либо. Не телеологичен и прогресс науки. Ее развитие не определяется какой-либо конечной ценностью, заданной извне, и поэтому «устремлено в бесконечность» (Вебер, 1990г: 384).

Прогресс социальных наук для Вебера — это «чередование попыток мысленно упорядочить факты посредством разработки понятий, разложить полученные в результате такого упорядочения образы посредством расширения и сдвига научного горизонта, и попытки образовать новые понятия на такой измененной основе» (Там же: 406). Он не телеологичен, но и не бессмыслен. Именно отличаю-

суждений с ценностной нейтральностью см., например, в: Давыдов, 1998; Cohen, Hazelrigg, Pope, 1975; Sharlin, 1974; Swatos, Kivisto, 1991.

щиеся познавательные интересы гарантируют ученым осмысленность их работы. А единственной областью, в которой «прогресс науки» приобретает легитимное ценностное звучание, становится историческое или социологическое исследование развития конкретной дисциплины (Вебер, 1990а: 488).

Рассуждения о «вообще прогрессе» Вебер связывает с понятием «рационализации». Она характеризуется дифференциацией общественной жизни и означает «расширяющееся целерациональное упорядочение действий на основе согласия посредством формализованных установлений» (Вебер, 1990в: 542). Такая универсализация тоже не телеологична и не обязательно ведет к росту знаний людей об окружающей действительности.

Какова связь между развитием науки и общественным прогрессом в теории Вебера? Определить ее, с нашей точки зрения, можно с помощью понятия «технический прогресс». Вебер различает «рационально „правильное“» и «субъективно „рациональное“» поведение. Первое основано на объективных, соответствующих «научным данным» знаниях того, как нужно действовать (Вебер, 1990е: 584). При этом цели, определяющие направленность «рационально „правильного“» поведения, не устанавливаются научно. Второй вид поведения подразумевает субъективную оценку индивидом используемых средств как правильных для достижения поставленных целей. Под «техническим прогрессом» понимается увеличивающееся совпадение второго с первым. Наука может определить только, во-первых, содержание «рационально „правильного“» при заранее определенных целях, во-вторых, степень совпадения между «субъективно „рациональным“» и «рационально „правильным“» при осуществлении конкретного действия. Существование какой-либо «истинной системы ценностей» привело бы в лучшем случае к универсализации модели «рационально „правильного“» поведения, *но не гарантировало бы окончательного совпадения* с ним «субъективно „рационального“». Как замечает Вебер, «даже самая „технически правильная“ экономическая рационализация одним этим еще не легитимируется на форуме „оценок“. Сказанное касается всех рационализаций без исключения» (Там же: 589).

Вебер, как видно, «обесцеливает», «обесмысливает» прогресс. Ситуация «расколдованного» мира является констелляцией, сцеплением множества факторов и обстоятельств. Наука вместе с другими порядками участвует в рационализации, но это участие не телеологично. Она может указать на необходимость или последствия выбора конкретных средств для субъективно поставленных целей. Но даже самый скрупулезный научный анализ не гарантирует хотя бы технически совершенной рационализации человеческого поведения.

Пользуясь аппаратом веберовской теории действия, можно выразить это следующим образом. Действующий, помимо ценности, направляющей его поведение, «вооружен» набором «правил» действия. Речь идет не просто о «закономерностях» в узком естественнонаучном смысле, но об «адекватных» причинных связях» (Вебер, 1990г: 378), касающихся мира человеческой активности. Иными словами, это знания и представления, опираясь на которые акторы в большин-

стве случаев (или «as a rule») могут быть уверены в успешности своих действий. Правила не вплетены в ткань социальной жизни. Они «интеллектуально созданы» (Weber, 2012b: 55) и значимы с точки зрения логической непротиворечивости. А причина, по которой человек в определенный момент пользуется конкретными правилами — это его представление о них как об «адекватных» ситуации. Совокупность имеющихся у субъектов правил Вебер называет «номологической».

Чтобы действовать, человек должен быть уверен, что его *правила действия адекватны смыслу ситуации*, то есть что в сочетании с ее элементами и на основе «средних привычек мышления и чувства» его действие представляет собой «типичную (как мы обычно говорим: правильную) смысловую связь» (Вебер, 2008: 95). Для этого требуется получить «правильное» понимание онтологических и номологических условий ситуации действия. В свою очередь, критерием адекватности производимой оценки правил остается изначальная максима или ценность. Действующий *пользуется номологическим знанием и производит оценку обстоятельств и возможных последствий действия, насколько это представляется ему адекватным с точки зрения максимы*.

Так, с нашей точки зрения, устроена «внутренняя логика» действия в той или иной сфере. Веберовский «профессионал», действующий в модусе «призвания», переводит максиму поведения в устойчивый набор мотивов и реализует их посредством методических и номологически фундированных действий. Но проследить весь ряд их последствий оказывается невозможным. Номология, не наделяя актора способностью схватывать онтологическую бесконечность мира, позволяет выстраивать только представляющиеся «объективно возможными», то есть соответствующие общим правилам, модели развития событий. Кроме этого, на протяженность прослеживаемых каузальных рядов влияют сами максимы поведения. Так веберовское «призвание» приводит к возникновению непредвиденных последствий, вторгающихся в реализацию других ценностей другими людьми⁹.

Эта схема не противоречит подходу, предложенному Лепсиусом, но дополняет его. Однако мы, во-первых, акцентируем проблематику каузальности в теории действия Вебера, а не его социологию институтов (Lepsius, 2017: 70), а во-вторых, как следствие, остаемся на микроуровне анализа ситуации действователя.

Ограниченность номологического знания и отличающиеся представления об адекватности правил (как следствия разных максим поведения) производят то, что в вебероведческой традиции называется «проблемой негативного внешнего эффекта действия» (Шлюхтер, 2004: 46), «парадоксом последствий» (Bruun, 2007: 53) или «ситуацией частичных рационализаций» (Тенбрук, 2020: 112). Результат действия «может быть абсолютно противоположным изначальному намерению», а у человека «нет средств предотвращения развития последствий или даже предсказания его точного направления» (Bruun, 2007: 188). Не является таким сред-

9. Как пишет Вебер, «если вы выбираете эту установку, то вы служите, образно говоря, одному Богу и оскорбляете всех остальных богов» (Вебер, 1990b: 730).

ством и наука. Веберовское «обретение ясности» в этом смысле — это не собственная цель научной работы, а ее возможный результат.

О призвании в науке

Далее необходимо определить, как действие в модусе «призвания» осуществляется социальными учеными. Для этого требуется эксплицировать многообразие ценностей в еще одной перспективе. Мы должны посмотреть на него со стороны ученого, способного «надеть себе, так сказать, шоры на глаза» (Вебер, 1990б: 708). Нас интересует, как воспроизводится борьба ценностей внутри социальных наук.

Поставленная задача касается если не «техники», то, скорее, манеры мысленного упорядочивания действительности. Речь об определении границ «каузального сведения», позволяющих считать его исчерпывающим и достаточным, а выделенные причины изучаемого явления — значимыми и адекватными. Границы каузального объяснения влияют на убедительность аргументации ученых, так как конечные наборы причин подразумевают, что поставленную научную проблему можно считать решенной. Определение границ каузации не должно быть произвольным, поэтому требуется указать критерий его «объективности».

По Веберу, ценности определяют, «насколько *глубоко* исследование проникает в бесконечное переплетение каузальных связей» (Вебер, 1990г: 382). Так они ограничивают длину каузального ряда. Мы назовем это ограничение «интенсивным». Вебер также отмечает, что ученые «подводят» изучаемое поведение под определенный тип причин. Это делает анализ «односторонним», но дает исследователям «преимущества разделения труда» (Там же: 368). Такое сужение каузального многообразия мы назовем «экстенсивным».

С. Тернер отмечает, что веберовская модель поиска каузальных связей, предполагающая анализ «объективных возможностей», методологически надежна и устойчива. Но познавательные интересы нельзя считать универсальными (Turner, 1990: 548). Например, как представители юридической науки мы останавливаемся на причинно-следственных связях, обусловленных нашим научно-юридическим интересом. Соответственно, если валидность вероятностной каузации (probabilistic causation) вполне объективна, то «каузальная ответственность» конкретных причинных цепочек зависит от данного познавательного интереса.

В таком случае необходимо показать, посредством чего осуществляется влияние последнего. Выше мы указали, что механика познавательного интереса проявляется в процедуре «ценностной интерпретации» или «ценностного анализа». Ее цель — сделать объект «понятным» для ученого в отношении к его познавательному интересу. Оказывается, что эта «понятность» важна не только для формирования «исторического индивидуума», но и для его объяснения. Вебер напрямую *связывает ценностный анализ с каузальным*: «Первый наметил „отправные точки“, от которых регрессивно шел каузальный процесс, снабдив его тем самым решающими критериями, без которых его можно было бы уподобить плаванью без компаса

по безбрежному морю» (Вебер, 1990а: 449). Иными словами, после формирования исторического индивидуума познавательный интерес становится каузальным интересом, определяющим точку, в которой «плавание» можно считать завершенным. Будучи *forma formans* познавательного интереса, ценностная интерпретация ограничивает потенциальную бесконечность каузального объяснения и добавляет к его научной валидности и логической непротиворечивости культурную значимость и осмысленность. Таково, с нашей точки зрения, каузальное устройство исторического познания в теории Вебера.

На уровне изучения действия процедура, близкая по содержанию и назначению к ценностной интерпретации, осуществляется социологами при определении «смысловой адекватности» наблюдаемого поведения. Напомним, что оно считается таковым в той степени, «в какой соотношение его составляющих мы, в соответствии со средними привычками мышления и чувства, характеризуем как типичную (мы обычно говорим: правильную) смысловую связь» (Вебер, 2008: 95).

Но, как замечает П. М. Степанцов, «разные социологи могут иметь различные „средние привычки мышления“, поэтому «требуется как-то определить границы возможности вменения смысла» (Степанцов, 2013: 32). Отсюда понятно, что достижение смысловой адекватности не предполагает какого-то единого и универсального научного стандарта. Адекватность по смыслу наблюдаемого действия может по-разному трактоваться в тот или иной исторический период или в зависимости от разных привычек и норм мышления.

Для непротиворечивого выражения схватываемых смысловых связей между действием и другими составляющими ситуации действования социологи формулируют идеальные типы. Устойчивость номологического знания, с помощью которого они конструируются, при этом не объясняет их разнообразия. В связи с этим С. Элиэсон призывает рассматривать предложенный Вебером способ образования научных понятий «как intersubjectively значимую процедуру» (Eliaeson, 1990: 23), приводящую к альтернативным изображениям действительности. Дж. Дрисдейл усиливает эту идею и утверждает, что наука осуществляется в научных сообществах и подразумевает некоторый «уровень *согласия в определении ценностных идей*» (Drysdale, 1996: 83). Получается, что ученые так определяют степень смысловой адекватности действий и формируют такие идеально-типические конструкции, которые представляются им адекватными и достаточными *с точки зрения их познавательного интереса*. Последний, потенциально, может быть укоренен в нормах мышления конкретной науки.

Свяжем теперь устройство идеальных типов с границами каузальных объяснений. Контрфактический анализ и конструирование всех объективно возможных ситуаций работают только при неизменной лингвистической форме исследуемых событий и их условий (Wagner, Zipprian, 1986: 24). Поэтому отличающиеся языковые выражения как результата действия, так и его возможных причин неизбежно приводят к формированию различных по интенсивности и экстенсивности каузальных объяснений. Итак, на уровне изучения действия познавательный инте-

рес влияет на границы каузальных рядов посредством идеально-типических конструкций, обладающих *оптимальной по отношению к нему степенью смысловой адекватности*.

В этой перспективе можно дополнить точку зрения П. А. Мунка, утверждающего, что для адекватного определения смысловых связей социолог «должен познать „язык действия“, содержащийся в культуре общества или социальной группы» (Munch, 1975: 63). Иначе незнание этого языка станет причиной некорректно сформулированных понятий. Однако если уйти от идеи нормативности культуры и признать суверенность разных познавательных интересов, то следует сказать, что каждое отдельное понимание смысловой связи (и ее выражение в идеальном типе) является не «правильным» или «неправильным», а скорее, обладает определенной степенью адекватности. Такая релятивизация неизбежно повлияет и на границы каузальных объяснений.

Таким образом, многообразие познавательных интересов оборачивается плюрализмом каузальных объяснительных цепочек. Накопление номологического знания не обеспечивает ученых каким-либо единым методом определения границ каузального вменения. Для Вебера «роль „правил“, их логическая форма, необходимость их формулировки — все это зависит от конкретной познавательной цели» (Weber, 2012b: 87). Работа ученых не нацелена на складывание картотеки универсальных истин, финального и безукоризненного образца знания. Напротив, исследования могут быть продолжены, а полученные результаты используются различными способами. Такую особенность веберовской теории С. Фуллер назвал веберовским «антимонументализмом» (Fuller, 2020: 113). Мы предложили свою версию его логико-методологического устройства.

О границах призвания: «политика ученого» vs исследовательской «программы»¹⁰

В 1904–1905 годах Вебер работает как над «Протестантской этикой», так и над статьями о логике и методологии социально-исторического познания¹¹. Он исследует проблему «свободы от ценностей», пишет, что наука не должна служить внешним

10. «Программу» Вебера мы трактуем как тематическое единство, которое ученый планировал реализовать и для которого ему требовался устойчивый методологический аппарат. Мы намеренно заключаем в кавычки только слово «программа», чтобы ее можно было отличать от так называемых «веберовской исследовательской программы» (Шлюхтер, 2004: 25) и «парадигмы Вебера» (Швинн, Альберт, 2017). Последние подразумевают не только реконструкцию наследия ученого, но и обновление его методологических и содержательных работ, расширение тематического поля их применения. Наше понимание «программы» Вебера ближе к понятию «научная „программа“ Вебера», предложенному Ф. Тенбруком (Tenbruck, 1974). Частично о нем — в этой части исследования.

11. Появляются эссе об «Объективности» 1904 г., трилогия о «Рошере и Книсе», части которой публиковались в период с 1903 по 1906 г., «Критические исследования в области логики наук о культуре» 1906 г. и критика Р. Штаммлера 1907 г. К этому блоку работ необходимо также отнести текст доклада 1913 г., переработанного позже в статью «Смысл „свободы от оценки“ в социологической и экономической науке».

для целей познания идеалам, однако признает их наличие у самих ученых, которые должны постоянно отделять научные суждения от практических оценок.

Но как самому Веберу удастся сохранять равновесие, конечно, относительное, в сочетании собственных донаучных идеалов и утверждаемых им принципов научной работы? В чем, как это называет Ю. Каубе, проявлялся «талант» Вебера «использовать политические и культурные предпочтения для подкрепления выводов и аргументов» (Каубе, 2016: 445)? Есть ли баланс между ними?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся сначала к его речи 1895 года по случаю вступления в должность профессора во Фрайбурге.

Вебер здесь критикует представителей «исторической» школы поколения Шмоллера, «экономическая точка зрения» которых из составляющей метода превратилась в критерий оценивания социально-исторического развития. Заимствовать из материала исследований мерило для его оценки — ошибочно, а ценности ученых могут быть разными, поэтому в науке требуются «осознанный самоконтроль» и проблематизация любых, даже самых высоких, ценностей (Вебер, 2003б: 27).

Здесь же теория вступает в неравный бой с представлениями молодого ученого об интересах немецкой нации. Напряжение очевидно, когда Вебер, по сути, «подчиняет» научную работу «властным интересам»: экономика должна стать «политической» наукой, цель которой — «участвовать в политическом воспитании нашей нации» (Там же: 38).

Тернер и Фактор считают, что «нация» остается для Вебера ключевой донаучной ценностью даже тогда, когда он напрямую требует от коллег воздерживаться от любых оценочных суждений и не смешивать личные интересы и факты. Более того, полагают исследователи, иногда Вебер «использовал эти методологические установки, чтобы устранить своих противников» (Turner, Factor, 2006: 54).

Опираясь на «Историю „Союза социальной политики“», написанную Ф. Безе — его секретарем до 1936 года, Т. Сайми показывает, что Вебер действительно мог быть инициатором ценностно-окрашенных дискуссий. В пример он приводит выступление Вебера в Вене в 1909 году. «Технически» анализ оставался эмпирическим, строгим и вполне научным. Но цель выступления состояла в критике усиления бюрократического контроля муниципальной торговли. В итоге «целый день был посвящен обсуждению его позиции... из-за чего возникло что-то вроде скандала», а Шмоллер, который, напротив, высоко оценивал качество прусского чиновничества, даже пожаловался, что «„Союз“ превратился в комическую оперу» (Simey, 1966: 311).

Как и в 1895 году, «нация» в это время остается для Вебера ключевым донаучным идеалом. А идея о невозможности эмпирического обоснования высших ценностей, полагают Тернер и Фактор, необходима ему именно для того, чтобы легитимно опираться на идею национальных интересов. Поэтому веберовскую аргументацию нельзя считать абсолютно беспристрастной: его представления о ценностях функционировали одновременно и как эпистемологическое, и как

«политическое и критическое оружие», так как сам Вебер «верил, что новые методологические правила лучше всего будут служить его националистической позиции» (Turner, Factor, 2006: 59).

Посмотрим под этим углом зрения на его исследования, которые, в отличие от логико-методологических, назовем предметными. К ним относятся, во-первых, исследования «аграрного вопроса», два крупных проекта по изучению трудовых, психологических и политических отношений в немецких восточных провинциях (Вебер, 2005а). Вебер оттачивает исследовательскую технику: после первого этапа он критикует качество анкет и их распределение по исследуемым территориям, набор исследуемых переменных, количество респондентов и принцип их отбора. В то же время, как показывает Р. П. Шпакова, «исследование Вебера имело политический характер» (Шпакова, 2004: 70). Изучение и решение аграрного вопроса он рассматривал как средство усиления экономической силы государства и выстраивания соответствующего курса национальной политики. Научная работа сопровождалась лекциями, участием в дебатах, выработкой конкретных рекомендаций и статьями в газетах (Hennis, 2006b: 56).

Во-вторых, это исследования промышленного труда и психофизики трудящихся — работы, посвященные тому, что сегодня можно было бы назвать изучением эргономики с социологической точки зрения. Здесь Вебер также активно занимается вопросами концептуального характера. Как показывает Шлюхтер, проработка Вебером методологических аспектов психофизики настолько серьезна, что в ней прослеживаются первые наброски будущей теории действия и понимающей социологии (Schluchter, 2000: 71–80). При более детальном рассмотрении оказывается, что исследовательские вопросы, поставленные Вебером, имеют для него прежде всего культурное значение: «Какой тип человека создается современной крупной промышленностью в силу присущих ей характеристик, и какую судьбу она готовит ему в профессиональном и непрофессиональном планах?» (Цит. по: Hennis, 1983: 165).

Наконец, в-третьих, Вебер продолжает писать политические тексты. И если некоторые из них фиксируют позицию автора в реальной политике «без какого бы то ни было притязания на „научное“ значение» (Вебер, 2003а: 343), то другие, например, посвященные демократическому движению в России в начале XX века, — это «аналитические работы» (Шпакова, 2003: 109), цель которых — разобраться в общественно-политических процессах и определить их идеологические и философские основания.

Итак, как участник исследовательских проектов и дискуссий в рамках «Союза социальной политики» и других организаций Вебер действительно мог рассматривать науку как то, что делало его позицию «политически сильнее». Экспертная работа, формулировка рекомендаций, продвижений петиций, публичные выступления — все это характеризует «политического консультанта» (Каубе, 2016: 139), которому недостаточно только научной деятельности. Новый виток такой политизации исследовательской работы начинается с 1915 года, после начала Первой

мировой войны, и продолжается до смерти Вебера в 1920 году. Критика решений, принимаемых военным командованием, и нарастающая революционная обстановка определяют, по мнению Каубе, «политику ученого». Она подразумевает, что Вебер, с одной стороны, для аргументации своих рекомендаций и решений пользуется инструментами научного эмпирического анализа, с другой — что этот анализ ценен для него не сам по себе, а как то, что служит его социально-политической позиции.

В то же время участие в предметных исследованиях погружает Вебера в строгую, прежде всего — в методологическом смысле, научную работу. Молодой ученый, который «дает волю своему научному воображению» (Hennis, 2006: 56), затем на протяжении практически 20 лет оттачивает собственный стиль, создает «новый исследовательский подход... который он позже назовет „эмпирическая понимающая социология“» (Катаев, 2020: 80). Поэтому предметные работы имеют для Вебера не только политическое, но также социологическое и методологическое значение. Он пытается найти выход из общего кризиса, в котором к началу века оказалась социальная наука. Требовалось преодолеть метафизичность, неясность и мировоззренческую нормативность в работе с научными понятиями. Разница между наукой и политикой как ценностными сферами, обладающими «собственной логикой», способами аргументации и этикой, становится для Вебера более очевидной. Их смешение, с одной стороны, размывает объективность и однозначность научных выводов, с другой — обесценивает ставки и снижает накал политической борьбы. Поэтому в процессе поиска эпистемологических оснований социальной науки с 1903 по 1915 год, наиболее активного — с 1903 по 1907 год, для Вебера «близость к реальной политике... осталась в прошлом» (Каубе, 2016: 295).

В такой системе координат подходы Г. Б. Юдина и В. С. Вахштайна отражают даже не разные этапы развития Вебера, а скорее, отличающиеся между собой режимы его исследовательской работы. Он, с одной стороны, продолжает традицию исторической школы национал-экономии, с другой — настраивает эпистемологическую оптику собственной исследовательской «программы». Однако здесь требуются дополнительные уточнения, если мы снова перейдем к позднему Веберу, к докладам о науке (1917 г.) и политике (1919 г.) как «Beruf», то есть призвании и профессии.

Ф. Тенбрук показывает, что существует «генетическая» связь между докладом Вебера о науке и «Протестантской этикой» как началом его исследований по социологии религии. Тенбрук опирается на второе издание «Этики» 1920 года в составе «Собрания сочинений по социологии религии», где в сноске, добавленной в самом конце, Вебер уточняет: «Вместо предполагаемого вначале непосредственного продолжения работы в направлении предусмотренной нами *программы* я решил изложить сначала результаты моих сравнительных исследований в области всемирно-исторических связей между религией и обществом» (Вебер, 1990д: 272). Ученому требовалось проверить собственную «программу» на обширном эмпирическом материале, ставшем основой «Хозяйственной этики мировых религий».

Только так он получил возможность завершить всестороннее изучение западного рационализма и говорить о призвании современного человека. Получается, что доклад о науке — это не просто мнение, которое Вебер безапелляционно привносит в социальную теорию, не публицистика. Напротив, уверен Тенбрук, этот текст необходимо читать как «продолжение научной „программы“ Вебера» (Tenbruck, 1974: 319). Вебер утверждает научные идеалы и (что может быть связано также с его известной неудачей на политическом поприще) решительно идентифицирует себя как ученого. Весной 1920 года Вебер пишет: «Политик должен и вынужден идти на компромиссы. Я же по профессии ученый» (Каубе, 2016: 512).

Таким образом, автономия науки в теории Вебера складывается как следствие работы ученого над логико-эпистемологическими основаниями социального познания. Участие в предметных исследованиях и реализации «программы» по социологии религии постепенно делают видимыми границы призваний в науке и политике. Веберу требуется не «искоренение ценностных идей, которые обеспечивают науку собственными критериями, а объективация этих идей как предпосылка критической дистанции от них» (Löwith, 1989: 146). Отличающиеся интерпретации веберовского проекта науки можно поэтому рассматривать как отражение разных режимов его исследовательской работы.

Заключение

Споры о Вебере, начавшиеся еще при жизни ученого, продолжаются и будут продолжаться. Вехи его интеллектуальной биографии (Bendix, 1998; Radkau, 2009; Каубе, 2016), фрагментарность (Ясперс, 1994) или целостность «исследовательской программы» (Шлюхтер, 2004), поиск «центральной темы» (Hennis, 1983) или «главного труда» (Тенбрук, 2020) Вебера — все это обсуждается с неиссякаемым исследовательским драйвом. Как заметил Хеннис, изучение веберовской теории «неизбежно оборачивается риском участия в фундаментальных дебатах о характере современной социальной науки» (Hennis, 1983: 135).

Опираясь на содержание дискуссий между российскими учеными, мы посмотрели на веберовскую науку как на самостоятельную ценностную сферу и с точки зрения того, как в ней устроено действие, осуществляющееся по призванию.

У Вебера истина лишается критерия общеобязательности, предложенного логическим решением Риккерта. Политеизм ценностей, перенесенный в сферу науки, оборачивается концептуальным плюрализмом и релятивизмом каузальных объяснений. Однако не лишает истину главенствующего статуса. А механика познавательного интереса позволяет ученым отделять вненаучную прагматику от непосредственно научного поиска.

Прогресс социальных наук для Вебера — это концептуальная дифференциация, возникновение новых исследовательских подходов и уточнение используемых понятий. Ассоциируемое с научной работой «обретение ясности» оказывает не ее собственной целью, а возможным эффектом использования полученных

знаний. Наука не связана телеологически с «вообще прогрессом» и «расколдованным» миром, конфигурация которого представляет собой специфическую историческую констелляцию.

Модус «призвания» ученых в ситуации политеизма ценностей проявляется в том, что они формулируют такие идеально-типические конструкции и отличающиеся по степени экстенсивности и интенсивности каузальные объяснения, которые представляются адекватными, достаточными и обладающими необходимой степенью эвристичности с точки зрения их познавательных интересов.

Устойчивость границ науки и ее ценностная автономия формируются у Вебера не сразу, а как следствие его работы над логико-методологическими основаниями социального познания. Участие в предметных исследованиях и реализации «программы» по социологии религии постепенно делают видимыми границы призваний в науке и политике.

Проведенное исследование, однако, не касается отношений между веберовской наукой и критическими или даже радикальными вариантами социологических проектов¹². В какой степени их критика «свободной от оценок» науки основана на принципиальном методологическом несогласии, а где на первый план выходит вненаучная ангажированность? Как меняется риторика и логика аргументации в зависимости от целей критики? И есть ли у современной социологии однозначный критерий для определения характера последней? На эти вопросы, вероятно, еще предстоит искать ответы. Вебер, как известно, призывал нас к «интеллектуальной честности».

Литература

- Вахштайн В. С. (2019). Интеллектуальные уловки в социологии. ПостНаука. URL: <https://youtu.be/R8AcIQVKYag> (дата доступа: 05.05.2021).
- Вебер М. (1990а). Критические исследования в области логики наук о культуре / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 416–494.
- Вебер М. (1990б). Наука как призвание и профессия / Пер. с нем. П. П. Гайденко // Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 707–735.
- Вебер М. (1990в). О некоторых категориях понимающей социологии / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 495–544.
- Вебер М. (1990г). «Объективность» социально-научного и социально-политического познания / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 345–415.

12. Подробнее об этом см., например: Wilson, 2004.

- Вебер М. (1990д). Протестантская этика и дух капитализма / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 61–272.
- Вебер М. (1990е). Смысл «свободы от оценки» в социологической и экономической науке / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранные произведения / Под ред. Ю. Н. Давыдова. М.: Прогресс. С. 547–601.
- Вебер М. (2003а). Будущая государственная форма Германии // Вебер М. Политические работы (1895–1919) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис. С. 343–393.
- Вебер М. (2003б). Национальное государство и народнохозяйственная политика // Вебер М. Политические работы (1895–1919) / Пер. с нем. Б. М. Скуратова. М.: Праксис. С. 7–39.
- Вебер М. (2005а). Положение сельскохозяйственных рабочих в восточноэльбской Германии / Пер. с нем. Р. П. Шпаковой // Социологические исследования. № 11. С. 121–128.
- Вебер М. (2005б). Хозяйство и общество. Глава II: Основные социологические категории хозяйствования / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Экономическая социология. Т. 6. № 1. С. 46–68.
- Вебер М. (2008). Основные социологические понятия / Пер. с нем. А. Ф. Филиппова // Социологическое обозрение. Т. 7. № 2. С. 89–127.
- Вебер М. (2017а). Социология религии (типы религиозных общностей) // Вебер М. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. Т. II: Общности / Пер. с нем. под общ. ред. Л. Г. Иониной. М.: Изд. дом Высшей школы экономики. С. 82–267.
- Вебер М. (2017б). Теория уровней и направлений религиозного неприятия мира // Вебер М. Хозяйственная этика мировых религий: опыты сравнительной социологии религии. Конфуцианство и даосизм / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова. СПб.: Владимир Даль. С. 399–345.
- Вебер М. (2020). Теория предельной полезности и «основной психофизический закон» / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова // Социология власти. Т. 32. № 4. С. 204–216.
- Гайденко П. П., Давыдов Ю. Н. (1991). История и рациональность: социология Макса Вебера и веберовский ренессанс. М.: Издательство политической литературы.
- Давыдов Ю. Н. (1998). Макс Вебер и современная теоретическая социология: актуальные проблемы веберовского социологического учения. М.: Мартис.
- Забаев И. В. (2019). Ницшеанский взгляд на сто долларовую купюру: чтение веберовской «Протестантской этики» в связи с замечаниями современного экономиста // Экономическая социология. Т. 20. № 1. С. 20–71.
- Капелюшников Р. И. (2018а). Гипноз Вебера: заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». Часть I // Экономическая социология. Т. 19. № 3. С. 25–49.
- Капелюшников Р. И. (2018б). Гипноз Вебера: заметки о «Протестантской этике и духе капитализма». Часть II // Экономическая социология. Т. 19. № 4. С. 12–42.

- Капелюшников Р. И. (2019). Ответ современному не-экономисту (комментарий на комментарий). Препринт WP3/2019/02. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Катаев Д. В. (2018). Веберианский и антивеберианский дискурс: к вопросу о гипотетической силе классики на примере «Протестантской этики» // Экономическая социология. Т. 19. № 5. С. 146–163.
- Катаев Д. В. (2020). Истоки региональной исторической социологии. Эмпирические исследования Макса Вебера крестьянского вопроса // Гуманитарные исследования Центральной России. № 1. С. 78–83.
- Каубе Ю. (2016). Макс Вебер: жизнь на рубеже эпох / Пер. с нем. К. Г. Тимофеевой под науч. ред. И. В. Кушнаревой и И. М. Чубарова. М.: Дело.
- Риккерт Г. (1997). Границы естественнонаучного образования понятий: логическое введение в исторические науки / Пер. с нем. Л. Водена. СПб.: Наука.
- Риккерт Г. (1998). О системе ценностей // Риккерт Г. Науки о природе и науки о культуре / Под. ред. А. Ф. Зотова. М.: Республика. С. 365–402.
- Степанцов П. М. (2013). Социальное действие между интерпретацией и пониманием // Социология власти. № 1–2. С. 27–56.
- Тенбрук Ф. (2020). Главный труд Макса Вебера / Пер. с нем. О. В. Кильдюшова // Социологическое обозрение. Т. 19. № 2. С. 76–121.
- Швинн Т., Альберт Г. (2017). Старые понятия — новые проблемы: социология Макса Вебера в свете актуальных вызовов / Пер. с нем. Д. Катаева под ред. О. Кильдюшова // Социологическое обозрение. Т. 16. № 2. С. 198–217.
- Шлюхтер В. (2004) Действие, порядок и культура: основные черты веберианской исследовательской программы / Пер. с нем. В. В. Козловского, К. Г. Тимофеевой, А. В. Тавровского // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 8. № 2. С. 22–50.
- Шпакова Р. П. (2003). Макс Вебер о становлении демократии в России // Социологические исследования. № 3. С. 109–115.
- Шпакова Р. П. (2004). Макс Вебер: «Аграрный вопрос» // Журнал социологии и социальной антропологии. Т. 7. № 2. С. 61–76.
- Юдин Г. Б. (2019). Наука и политика у Макса Вебера. URL: https://youtu.be/-PADL_PxVwg (дата доступа: 05.05.2021).
- Ясперс К. (1994). Речь памяти Макса Вебера / Пер. с нем. М. И. Левиной // Вебер М. Избранное: Образ общества. М.: Юрист. С. 553–566.
- Bendix R. (1998). Max Weber: An Intellectual Portrait. L.: Routledge.
- Bruun H. H. (2001). Weber On Rickert: From Value Relation to Ideal Type // Max Weber Studies. Vol. 1. № 2. P. 138–160.
- Bruun H. H. (2007). Science, Values and Politics in Max Weber's Methodology. Aldershot: Ashgate.
- Bruun H. H. (2010). The Incompatibility of Values and The Importance of Consequences: Max Weber and The Kantian Legacy // The Philosophical Forum. Vol. 41. № 1–2. P. 51–67.

- Cohen J., Hazelrigg L.E., Pope W. (1975). De-Parsonizing Weber: A Critique of Parsons' Interpretation of Weber's Sociology // *American Sociological Review*. Vol. 40. № 2. P. 229–241.
- Drysdale J. (1996). How are Social-Scientific Concepts Formed? A Reconstruction of Max Weber's Concept Formation // *Sociological Theory*. Vol. 14. № 1. P. 71–88.
- Eliaeson S. (1990). Influences on Max Weber's Methodology // *Acta Sociologica*. Vol. 33. № 1. P. 15–30.
- Fuller S. (2020). What Does It Means to Hear the Call of Science? Listening to Max Weber Now // *Social Epistemology*. Vol. 34. № 2. P. 105–116.
- Hennis W. (1983). Max Weber's 'Central Question' // *Economy and Society*. Vol. 12. № 2. P. 135–180.
- Hennis W. (1994). «Die volle Nüchtheit des Urteils»: Max Weber zwischen Carl Menger und Gustav Schmoller. Zum hochschulpolitischen Hintergrund des Werturteilspostulats // *Wagner G., Zipprian H.* (Hrsg.). *Max Webers Wissenschaftslehre. Interpretation und Kritik*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 105–146.
- Hennis W. (2006a). A Science of Man: Max Weber and the Political Economy of the German Historical School // *Mommsen W. J., Osterhammel J.* (eds.). *Max Weber and His Contemporaries*. L.: Routledge. P. 25–58.
- Hennis W. (2006b). Personality and Life Orders: Max Weber's Theme // *Whimster S., Lash S.* (eds.). *Max Weber, Rationality and Modernity*. London: Routledge. P. 52–74.
- Lepsius M. R. (2017). *Max Weber and Institutional Theory*. Cham: Springer.
- Löwith K. (1989). Max Weber's Position on Science // *Lassman P., Velody I., Martins H.* (eds.). *Max Weber's «Science as a Vocation»*. L.: Unwin Hyman. P. 138–156.
- Munch P. (1975). «Sense» and «Intention» in Max Weber's Theory of Social Action // *Sociological Inquiry*. Vol. 45. № 4. P. 59–65.
- Oakes G. (2003). Max Weber on Value Rationality and Value Spheres // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 3. № 1. P. 27–45.
- Oakes G. (2001). The Antinomy of Values: Weber, Tolstoy and the Limits of Scientific Rationality // *Journal of Classical Sociology*. Vol. 1. № 2. P. 195–211.
- Oakes G. (1988). *Weber and Rickert: Concept Formation in the Cultural Sciences*. Cambridge: The MIT Press.
- Parsons T. (1965). Evaluation and Objectivity in Social Science: An Interpretation of Max Weber's Contribution // *International Social Science Journal*. Vol. 7. № 1. P. 46–63.
- Radkau J. (2009). *Max Weber: A Biography*. Cambridge: Polity Press.
- Roth G., Schluchter W. (1984). *Max Weber's Vision of History*. Berkley: University of California Press.
- Schluchter W. (2000). Psychophysics and Culture // *Turner S.* (ed.). *The Cambridge Companion to Weber*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 59–80.
- Schön M. (2006). Gustav Schmoller and Max Weber // *Mommsen W. J., Osterhammel J.* (eds.). *Max Weber and His Contemporaries*. L.: Routledge. P. 59–70.
- Sharlin A. N. (1974). Max Weber and the Origins of the Idea of Value-Free Social Science // *European Journal of Sociology*. Vol. 15. № 2. P. 337–353.

- Simey T. S.* (1966). Max Weber: Man of Affairs or Theoretical Sociologist // *Sociological Review*. Vol. 14. № 3. P. 303–327.
- Swatos W. H., Kivisto P.* (1991). Beyond Wertfreiheit: Max Weber and Moral Order // *Sociological Focus*. Vol. 24. № 2. P. 117–128.
- Swedberg R., Agevall O.* (2016). *The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts*. Stanford: Stanford University Press.
- Tenbruck F. H.* (1974). Max Weber and the Sociology of Science: A Case Reopened // *Zeitschrift für Soziologie*. Vol. 3. № 3. P. 312–320.
- Turner S.* (1990). Weber and His Philosophers // *International Journal of Politics, Culture, and Society*. Vol. 3. № 4. P. 539–553.
- Turner S., Factor R.* (1981). Objective Possibility and Adequate Causation in Weber's Methodological Writings // *Sociological Review*. Vol. 29. № 1. P. 5–28.
- Turner S., Factor R.* (2006). *Max Weber and Dispute Over Reason and Value: A Study of Philosophy, Ethics and Politics*. N.Y.: Routledge.
- Wagner G., Zipprian H.* (1986). The Problem of Reference in Max Weber's Theory of Causal Explanation // *Human Studies*. Vol. 9. № 1. P. 21–42.
- Wagner G., Zipprian H.* (1990). Oakes on Weber and Rickert // *International Journal of Politics, Culture, and Society*. Vol. 3. № 4. P. 559–563.
- Weber M.* (2012a). Rickert's «Values» (The «Nervi Fragment») // *Weber M. Collected Methodological Writings*. L.: Routledge. P. 413.
- Weber M.* (2012b). Roscher and Knies and the Logical Problems of Historical Economics // *Weber M. Collected Methodological Writings*. L.: Routledge. P. 3–94.
- Weber M.* (2012c). Rudolf Stammmler's «Overcoming» of the Materialist Conception of History // *Weber M. Collected Methodological Writings*. L.: Routledge. P. 185–226.
- Wilson H. T.* (2004). *The Vocation of Reason: Studies in Critical Theory and Social Science in the Age of Max Weber*. Leiden: Brill.

What do Social Scientists Do in a “Value Polytheism” Situation?; Or, A Little More on Weber's “Vocation”

Ilya V. Presnyakov

MA in Sociology (The University of Manchester/MSES), Researcher, Center of Sociological Research, School of Public Policy, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
Address: Prospect Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571
E-mail: presnyakoviliaval@gmail.com

The purpose of the present paper consists of two points. First, it is to show how the internal structure and the “inner logic” of science as a value sphere are formed in Max Weber's theory. Then, relying on logical-methodological foundations proposed by Weber, the second point is to identify how the action carried out by scientists in a “vocation” mode in a situation of “value polytheism” is realized within science. Analyzing the content of recent discussions about the empirical validity

and character of Weber's argumentation in one of his central works, *The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism*, as well as about the autonomy and conceptual boundaries of Weber's science, we draw a line of reasoning as follows. Firstly, we trace the changing of the methodological role of values in general, and the value of truth, in particular, in the "sciences of culture" in connection with the transition from the transcendental solution of Heinrich Rickert to Weber's "value polytheism". Secondly, we analyze how the relationship between Weber's science, progress, and rationalization is structured. Thirdly, we explicate the mode of "vocation" in science, relying on the logical-methodological foundations proposed by Weber. Fourthly, we identify the development of Weber's idea of the value autonomy of science. It is shown that Weber rejects the criterion of truth's universality proposed by Rickert's logical solution. However, the construction of ideal-typical concepts and the mechanics of "cognitive interest" described by Weber allows scientists to separate extra-scientific pragmatics from the scientific research itself. The progress of the "sciences of culture" for Weber is the differentiation and the emergence of new research approaches and the refinement of concepts. At the same time, science is not teleologically connected with "progress in general" and the rationalizing world, the configuration of which is a specific historical constellation. As associated with scientific work, "gaining the clarity" turns out to be not its own goal, but a possible effect of using scientific knowledge. The mode of "vocation" in a "value polytheism" situation forces scientists to contribute to the endless scientific progress; they formulate such ideal-types and causal explanations that seem adequate and sufficient from the point of view of their cognitive interests. The stability of science's boundaries and its value autonomy are formed in Weber's theory gradually; epistemological studies and the implementation of his sociology of the religion research "programme" make the difference between vocations in science and politics clear.

Keywords: Max Weber, science, values, value spheres, value polytheism, action, vocation

References

- Bendix R. (1998) *Max Weber: An Intellectual Portrait*, London: Routledge.
- Bruun H. H. (2001) Weber on Rickert: From Value Relation to Ideal Type. *Max Weber Studies*, vol. 1, no 2, pp. 138–160.
- Bruun H. H. (2007) *Science, Values and Politics in Max Weber's Methodology*, Aldershot: Ashgate.
- Bruun H. H. (2010) The Incompatibility of Values and The Importance of Consequences: Max Weber and The Kantian Legacy. *The Philosophical Forum*, vol. 41, no 1–2, pp. 51–67.
- Cohen J., Hazelrigg L. E., Pope W. (1975) De-Parsonizing Weber: A Critique of Parsons' Interpretation of Weber's Sociology. *American Sociological Review*, vol. 40, no 2, pp. 229–241.
- Davydov Y. (1998) *Maks Veber i sovremennaja teoreticheskaja sociologiya: aktual'nye problemy veberovskogo sociologicheskogo ucheniya* [Max Weber and Modern Theoretical Sociology: Current Problems of Weber's Sociological Doctrine], Moscow: Martis.
- Drysdale J. (1996) How are Social-Scientific Concepts Formed? A Reconstruction of Max Weber's Concept Formation. *Sociological Theory*, vol. 14, no 1, pp. 71–88.
- Eliaeson S. (1990) Influences on Max Weber's Methodology. *Acta Sociologica*, vol. 33, no 1, pp. 15–30.
- Fuller S. (2020) What Does It Means to Hear the Call of Science? Listening to Max Weber Now. *Social Epistemology*, vol. 34, no 2, pp. 105–116.
- Gaidenko P., Davydov Y. (1991) *Istorija i racional'nost': sociologija Maksa Vebera i veberovskij renessans* [History and Rationality: Max Weber's Sociology and the Weberian Renaissance], Moscow: Political Literature Publishing House.
- Hennis W. (1983) Max Weber's "Central Question". *Economy and Society*, vol. 12, no 2, pp. 135–180.
- Hennis W. (1994) "Die volle Nüchtheit des Urteils": Max Weber zwischen Carl Menger und Gustav Schmoller. *Zum hochschulpolitischen Hintergrund des Werturteilspostulats: Max Webers Wissenschaftslehre. Interpretation und Kritik* (eds. G. Wagner, H. Zipprian), Frankfurt am Main: Suhrkamp, pp. 105–146.
- Hennis W. (2006) A Science of Man: Max Weber and the Political Economy of the German Historical School. *Max Weber and His Contemporaries* (eds. W. J. Mommsen, J. Osterhammel), London: Routledge, pp. 25–58.

- Hennis W. (2006) Personality and Life Orders: Max Weber's Theme. *Max Weber, Rationality and Modernity* (eds. S. Whimster, S. Lash), London: Routledge, pp. 52–74.
- Jaspers K. (1994) Rech' pamjati Maksa Vebera [Speech in Memory of Max Weber]. *Izbrannoe. Obraz obshhestva* [Selected Papers: Image of Society], Moscow: Yurist, pp. 553–566.
- Kapelyushnikov R. (2018) Gipnoz Vebera: zametki o Protestantskoy etike i dukhe kapitalizma. Chast' I [Weber's Hypnosis: Notes on "The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism". Part I]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 19, no 3, pp. 25–49.
- Kapelyushnikov R. (2018) Gipnoz Vebera. Zametki o Protestantskoy etike i dukhe kapitalizma. Chast' II [Weber's Hypnosis: Notes on "The Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism". Part II]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 19, no 4, pp. 12–42.
- Kapelyushnikov R. (2019) *Otvet sovremennomu ne-ekonomistu (kommentarij na kommentarij)* [A Rejoinder to a Contemporary Non-Economist (A Comment on a Comment)], Moscow: HSE.
- Kataev D. (2018) Veberianskiy i antiveberianskiy diskurs: k voprosu o gipnoticheskoy sile klassiki na primere Protestantskoy etiki [Weberian and Anti-Weberian Discourse: On the Question of the Hypnotic Power of Classics on the Example of "Protestant Ethics"]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 19, no 5, pp. 146–163.
- Kataev D. (2020) Istoki regional'noj istoricheskoy sociologii: jempiricheskie issledovaniya Maksa Vebera krest'janskogo voprosa [The Origins of Historical Sociology. Empirical Studies by Max Weber of Peasant Question]. *Humanitarian Studies of Central Russia*, no 1, pp. 78–83.
- Kaube J. (2016) *Maks Veber: zhizn' na rubezhe jepoh* [Max Weber: Life at the Turn of the Eras], Moscow: Delo.
- Lepsius M. R. (2017) *Max Weber and Institutional Theory*, Cham: Springer.
- Löwith K. (1989) Max Weber's Position on Science. *Max Weber's "Science as a Vocation"* (eds. P. Lassman, I. Velody, H. Martins), London: Unwin Hyman, pp. 138–156.
- Munch P. (1975) "Sense" and "Intention" in Max Weber's Theory of Social Action. *Sociological Inquiry*, vol. 45, no 4, pp. 59–65.
- Oakes G. (2003) Max Weber on Value Rationality and Value Spheres. *Journal of Classical Sociology*, vol. 3, no 1, pp. 27–45.
- Oakes G. (2001) The Antinomy of Values: Weber, Tolstoy and the Limits of Scientific Rationality. *Journal of Classical Sociology*, vol. 1, no 2, pp. 195–211.
- Oakes G. (1988) *Weber and Rickert: Concept Formation in the Cultural Sciences*, Cambridge: The MIT Press.
- Parsons T. (1965) Evaluation and Objectivity in Social Science: An Interpretation of Max Weber's Contribution. *International Social Science Journal*, vol. 7, no 1, pp. 46–63.
- Radkau J. (2009) *Max Weber: A Biography*, Cambridge: Polity Press.
- Rickert H. (1997) *Granicy estestvenno-nauchnogo obrazovaniya ponjatij: logicheskoe vvedenie v istoricheskie nauki* [The Limits of Concept Formation in Natural Science: A Logical Introduction to Historical Sciences], Saint Petersburg: Nauka.
- Rickert H. (1998) O sisteme cennostej [On System of Values]. *Nauki o prirode i nauki o kul'ture* [The Sciences of Nature and the Sciences of Culture], Moscow: Respublika, pp. 365–402.
- Roth G., Schluchter W. (1984) *Max Weber's Vision of History*, Berkley: University of California Press.
- Schluchter W. (2004) Dejstvie, porjadok i kul'tura: osnovnye cherty veberianskoj issledovatel'skoj programmy [Action, Order, and Culture: The Basic Features of the Weberian Research Programme]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 8, no 2, pp. 22–50.
- Schluchter W. (2000) Psychophysics and Culture. *The Cambridge Companion to Weber* (ed. S. Turner), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 59–80.
- Schön M. (2006) Gustav Schmoller and Max Weber. *Max Weber and His Contemporaries* (eds. W. J. Mommsen, J. Osterhammel), London: Routledge, pp. 59–70.
- Schwinn T., Albert G. (2017) Starye ponjatija — novye problemy: sociologiya Maksa Vebera v svete aktual'nyh vyzovov [Old Concepts — New Problems: Max Weber's Sociology in the Light of Current Challenges]. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 2, pp. 198–217.
- Sharlin A. N. (1974) Max Weber and the Origins of the Idea of Value-Free Social Science. *European Journal of Sociology*, vol. 15, no 2, pp. 337–353.

- Shpakova R. (2004) Maks Veber: "Agrarnyj vopros" [Max Weber: "Agrarian Question"]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 7, no 2, pp. 61–76.
- Shpakova R. (2003) Maks Veber o stanovlenii demokratii v Rossii [Max Weber on The Formation of Democracy in Russia]. *Sociological Studies*, no 3, pp. 109–115.
- Simey T. S. (1966) Max Weber: Man of Affairs or Theoretical Sociologist. *Sociological Review*, vol. 14, no 3, pp. 303–327.
- Stepantsov P. (2013) Social'noe dejstvie mezhdru interpretaciej i ponimaniem [Social Action between Interpretation and Understanding]. *Sociology of Power*, vol. 1–2, pp. 27–56.
- Swatos W. H., Kivisto P. (1991) Beyond Wertfreiheit: Max Weber and Moral Order. *Sociological Focus*, vol. 24, no 2, pp. 117–128.
- Swedberg R., Agevall O. (2016) *The Max Weber Dictionary: Key Words and Central Concepts*, Stanford: Stanford University Press.
- Tenbruck F. H. (2020) Glavnyj trud Maksa Vebera [Max Weber's Main Work]. *Russian Sociological Review*, vol. 19, no 2, pp. 76–121.
- Tenbruck F. H. (1974) Max Weber and the Sociology of Science: A Case Reopened. *Zeitschrift für Soziologie*, vol. 3, no 3, pp. 312–320.
- Turner S. (1990) Weber and His Philosophers. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, vol. 3, no 4, pp. 539–553.
- Turner S., Factor R. (1981) Objective Possibility and Adequate Causation in Weber's Methodological Writings. *Sociological Review*, vol. 29, no 1, pp. 5–28.
- Turner S., Factor R. (2006) *Max Weber and Dispute Over Reason and Value: A Study of Philosophy, Ethics and Politics*, New York: Routledge.
- Vakhshtain V. (2019) Intellekturnye ulovki v sociologii [Intellectual Tricks in Sociology]. *PostNauka*. Available at: <https://youtu.be/R8AcIQVKYag> (accessed: 5 May 2021).
- Wagner G., Zipprian H. (1990) Oakes on Weber and Rickert. *International Journal of Politics, Culture, and Society*, vol. 3, no 4, pp. 559–563.
- Wagner G., Zipprian H. (1986) The Problem of Reference in Max Weber's Theory of Causal Explanation. *Human Studies*, vol. 9, no 1, pp. 21–42.
- Weber M. (1990) Kriticheskie issledovaniya v oblasti logiki nauk o kul'ture [Critical Studies in the Logic of the Cultural Sciences]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers], Moscow: Progress, pp. 416–494.
- Weber M. (1990) Nauka kak prizvanie i professiya [Science as a Vocation and Profession]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers], Moscow: Progress, pp. 707–735.
- Weber M. (1990) O nekotoryh kategorijah ponimajushhej sociologii [On Some Categories of Interpretive Sociology]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers], Moscow: Progress, pp. 495–544.
- Weber M. (1990) "Obektivnost'" social'no-nauchnogo i social'no-politicheskogo poznaniya [The "Objectivity" of Knowledge in Social Science and Social Policy]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers], Moscow: Progress, pp. 345–415.
- Weber M. (1990) Protestantskaja jetika i duh kapitalizma [The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers], Moscow: Progress, pp. 61–272.
- Weber M. (1990) Smysl "svobody ot ocenki" v sociologicheskoi i jekonomicheskoi nauke [The Meaning of "Value Freedom" in the Sociological and Economic Sciences]. *Izbrannye proizvedeniya* [Selected Papers], Moscow: Progress, pp. 547–601.
- Weber M. (2003) Nacional'noe gosudarstvo i narodnohozjajstvennaja politika [The Nation State and Economic Policy]. *Politicheskie raboty (1895–1919)* [Political Writings (1895–1919)], Moscow: Praxis, pp. 7–39.
- Weber M. (2003) Budushhaja gosudarstvennaja forma Germanii [The Future Form of the German State]. *Politicheskie raboty (1895–1919)* [Political Writings (1895–1919)], Moscow: Praxis, pp. 343–393.
- Weber M. (2005) Polozhenie sel'skhozjajstvennyh rabochih v vostochnojel'bskoj Germanii [Condition of Farm Labour in Eastern Germany]. *Sociological Studies*, no 11, pp. 121–128.

- Weber M. (2005) Hozyajstvo i obshchestvo. Glava II: Osnovnye sociologicheskie kategorii hozyajstvovaniya [Economy and Society. Chapter II: Basic Sociological Categories of Management]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 6, no 1, pp. 46–68.
- Weber M. (2008) Osnovnye sociologicheskie ponjatija [Basic Concepts in Sociology]. *Russian Sociological Review*, vol. 7, no 2, pp. 89–127.
- Weber M. (2012) Rickert's "Values" (The "Nervi Fragment"). *Collected Methodological Writings* (eds. H. Bruun, S. Whimster), London: Routledge, pp. 413.
- Weber M. (2012) Roscher and Knies and the Logical Problems of Historical Economics. *Collected Methodological Writings* (eds. H. Bruun, S. Whimster), London: Routledge, pp. 3–94.
- Weber M. (2012) Rudolf Stammler's "Overcoming" of the Materialist Conception of History. *Collected Methodological Writings* (eds. H. Bruun, S. Whimster), London: Routledge, pp. 185–226.
- Weber M. (2017) Sociologiya religii (tipy religioznyh obshchnostej) [Sociology of Religion (Types of Religious Communities)]. *Hozyajstvo i obshchestvo: ocherki ponimayushchej sociologii. T. II: Obshchnosti* [Economy and Society: Essays on Interpretive Sociology. Vol. II: Communities], Moscow: HSE, pp. 82–267.
- Weber M. (2017) Teoriya urovnej i napravlenij religioznogo neprijatija mira [Religious Rejections of the World and their Directions]. *Hozjajstvennaja jetika mirovyh religij: Opyty sravnitel'noj sociologii religii. Konfucianstvo i daosizm* [Economic Ethics of the World Religions: Comparative Studies in Sociology of Religion. Confucianism and Taoism], Saint Peterburg: Vladimir Dal', pp. 399–345.
- Weber M. (2020) Teoriya predel'noj poleznosti i "osnovnoj psihofizicheskij zakon" [The Theory of Marginal Utility and the "Fundamental Law of Psychophysics"]. *Sociology of Power*, vol. 32, no 2, pp. 204–216.
- Wilson H. T. (2004) *The Vocation of Reason: Studies in Critical Theory and Social Science in the Age of Max Weber*, Leiden: Brill.
- Yudin G. (2019) Nauka i politika u Maksa Vebera [Max Weber's Science and Politics]. PostNauka. Available at: https://youtu.be/-PADL_PxVwg (accessed 5 May 2021).
- Zabaev I. (2019) Nitshsheanskiy vzglyad na stodollarovuyu kupyuru: chtenie veberovskoy "Protestantskoy etiki" v svyazi s zamechaniyami sovremennogo ekonomista [A Nietzschean Take on a Hundred-Dollar Bill: Reading Weber's "Protestant Ethic" in Connection with a Contemporary Economist's Comments]. *Journal of Economic Sociology*, vol. 20, no 1, pp. 20–71.

Государство для молодежи или молодежь для государства: дискурсы молодежной политики в странах Евросоюза и России*

Алина Майборода

Младший научный сотрудник, Центр молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 192171
E-mail: avmaiboroda@gmail.com

Анастасия Саблина

Приглашенный преподаватель, департамент социологии, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 192171
E-mail: aasablina@gmail.com

Искэндэр Ясавеев

Старший научный сотрудник, Центр молодежных исследований, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (Санкт-Петербург)
Адрес: ул. Седова, д. 55, корп. 2, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 192171
E-mail: yasaveyev@gmail.com

В статье представлены результаты исследования дискурсов молодежной политики в Финляндии, Германии, Великобритании и России. Официальные тексты, определяющие молодежную политику: законы, государственные программы, стратегии молодежной политики, изучались на основе конструкционистской исследовательской программы, предполагающей выявление дискурсивных способов проблематизации и лейтмотивов. Анализ нормативных документов показал, что в дискурсе молодых политик стран Европейского союза доминирует риторика наделения правом, а лейтмотивами являются права, равенство возможностей и доступа, независимость, взросление, устойчивое развитие общества, участие и гражданственность. Конечная цель молодежной политики и молодости как жизненного этапа определяется как обретение автономии и независимости. Дискурс российской молодежной политики отличается терминология риторики неразумности, а основными лейтмотивами являются традиционные ценности, воспитание и патриотизм. Основная цель молодежной политики в России — мобилизация молодежи в пользу государственного благополучия. Европейские молодежные политики с их акцентом на правах и возможностях ориентированы на развитие и поддержку молодых людей, тогда как российская молодежная политика является «государствоцентричной», ориентированной на развитие страны.

Ключевые слова: молодежная политика, молодежь, власть, риторика, дискурс, конструкционизм, патриотизм, традиционализм

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011-31412 «Антикризисный потенциал молодежных политик в России и Европе в эпоху глобальных рисков: национальное воображаемое, патриотизм и социальная вовлеченность», реализованного Центром молодежных исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) под руководством Елены Омельченко.

Государственная молодежная политика представляет собой действия национальных правительств в отношении молодежи, выделяемой в качестве отдельной возрастной группы: создание условий для развития, предоставление возможностей, поддержка и защита. Исследования молодежной политики с социологической точки зрения сосредотачиваются не только на действиях, но и на смыслах, создаваемых в отношении молодежи. Эти смыслы репрезентируют определенные ценности, и их изучение позволяет судить об отношении к молодежи со стороны правительств и о ее типизации в тех или иных обществах. Такие смысловые конструкции представлены в текстах законодательных актов, правительственных стратегий, государственных программ и проектов.

В нашей работе мы сфокусировались на дискурсах молодежной политики в Финляндии, Германии, Великобритании и России, выделяя сходства и различия в создаваемых смыслах в отношении молодежи, в конструируемых образах страны в настоящем и будущем, понимании патриотизма и включенности молодежи в общество. Перечисленные страны были выбраны как представляющие различные части Европы с разными историческими и современными практиками отношения к молодежи и взаимодействия с ней.

Исследование осуществлялось в рамках конструкционистского подхода к социальным проблемам в его строгой версии, предполагающей сосредоточенность исключительно на дискурсе. Этот выбор определялся тем, что молодежная политика предполагает проблематизацию тех или иных явлений, связанных с молодежью, а также неявную депроблематизацию других феноменов посредством их исключения из сферы молодежной политики. Кроме того, дискурс социальных проблем понимается в последних версиях конструкционизма широко — как включающий в себя не только традиционные публичные конструкты социальных проблем, для решения которых необходимы изменения, но и повседневную коммуникацию о происходящем, не содержащую явно выраженных требований изменения (Miller, 2003).

В ходе исследования мы опирались на конструкционистскую исследовательскую программу П. Ибарры и Дж. Китсьюза, высвечивающую четыре измерения дискурса социальных проблем: 1) риторические идиомы — дискурсивные способы проблематизации; 2) лейтмотивы — повторяющиеся тематические элементы, в сжатой форме выражающие главный аспект социальной проблемы; 3) контрриторические стратегии — способы депроблематизации, посредством которых нейтрализуются попытки придать тому или иному условию-категории статус проблемы; 4) стили конструирования проблем (Ибарра, Китсьюз, 2007). В рамках нашей работы мы сосредоточились на первых двух измерениях: риторических идиомах и лейтмотивах.

Ибарра и Китсьюз выделяют пять риторических идиом, используемых в ходе проблематизации: риторику утраты, риторику наделения правом, риторику опасности, риторику неразумности и риторику бедствия. *Риторика наделения правом* акцентирует значение обеспечения всех равными правами и возможностями. Она

выражает настроения эгалитаризма и используется для проблематизации тех или иных форм дискриминации. Словарь этой риторики состоит из терминов: «нетерпимость», «угнетение», «сексизм», «расизм», «эйджизм», «жизненный стиль», «различия», «выбор», «терпимость», «предоставление возможностей», «мультикультурный» и др. Основная идея в данном случае заключается в том, что чем шире принципы терпимости, справедливости, равноправия, уважения человеческого достоинства распространены в обществе, тем выгоднее всем его членам (Там же: 77–78). *Риторика опасности* применяется к условиям-категориям, которые представляются как угроза безопасности людей. Словарь этой идиомы включает в себя термины «болезнь», «патология», «эпидемия», «риск», «заражение», «угроза здоровью», «профилактика» (Там же: 79–80). *Риторика неразумности* с ее ключевыми терминами: «наивность», «доверчивость», «необразованность», «уязвимость», «легкая добыча» обычно используется для проблематизации эксплуатации, манипулирования, «промывания мозгов» (Там же: 80–82). Типичным речевым ресурсом, используемым при артикуляции этой идиомы, является обеспокоенность за детей (Там же: 81). Для *риторики утраты* основные термины — «красота», «природа», «наследие», «культура», «загрязнение», «упадок», «защита». Участники, использующие эту риторическую идиому, принимают образ «хранителей или защитников некоторого уникального или священного предмета или качества», который или которое оказывается под угрозой. В риторике утраты часто делаются ссылки на ответственность перед будущими поколениями (Там же: 74–75). Наконец, *риторика бедствия* состоит из метафор и практик аргументации, актуализирующих образ полной катастрофы. Участники, выдвигающие требования с использованием данной идиомы, могут представлять «свою» проблему как мегапроблему, основополагающую по отношению к целому ряду других: проблема А порождает проблемы В, С, D (Там же: 82–83).

Обращение ко второму измерению дискурса социальных проблем — выявление логики использования лейтмотивов — позволяет понять, согласно Ибарре и Китсьюзу, символический подтекст этого дискурса и действия участников проблематизации и депроблематизации (Там же: 96). К лейтмотивам молодежной политики мы относили регулярно встречающиеся конструкции, имеющие центральное смысловое значение.

Наше исследование следует традиции критического анализа государственных молодежных политик. В рамках этой традиции Е. Омельченко подчеркивает связь дискурсивных практик российской молодежной политики с образцами воспитания советского времени, обращая внимание на продолжающуюся объективацию и унификацию молодежи как группы, которая нуждается в контроле, регулировании и моральном исправлении (Омельченко, 2012). В. Ярская и Н. Ловцова указывают, что все российские государственные молодежные программы, концепции и проекты «составляются и утверждаются по отношению к молодежи как гомогенной массе, не имеющей социальных, культурных и физических различий» (Ярская, Ловцова, 2010: 156), а также отмечают влияние на форму и содер-

жание современной молодежной политики унаследованного с советских времен принципа патернализма. По их мнению, переход от понимания молодежи как объекта к пониманию ее как субъекта молодежной политики мотивировал бы молодых людей к самореализации в институтах гражданского общества. Е. Андрюшина и Е. Панова указывают, что основная парадигма современной молодежной политики в России связана с позицией нынешнего главы государства (Владимира Путина), согласно которой единственно возможной идеологией современных россиян может быть патриотизм. Исследователи обращают внимание на перекося принципов осуществления российской молодежной политики в сторону гражданского и патриотического воспитания и утверждают, что одной из характеристик постсоветского этапа государственной молодежной политики является отношение к молодежи как к стратегическому ресурсу государства (Андрюшина, Панова, 2017). В. А. Смирнов выделяет четыре типа молодежной политики. Если молодежная политика ориентируется на проблемы самой молодежи, она является молодежной социальной политикой, а в случае ориентации на молодежь как проблему формируется молодежная политика социального контроля. Третий тип — мобилизационная молодежная политика, при которой молодежь рассматривается как ресурс реализации политических решений, программ и проектов, а четвертый — молодежная воспитательная политика, основанная на понимании молодежи как стратегической ценности (Смирнов, 2014: 78–79). На наш взгляд, продуктивным может быть применение этой аналитической схемы к молодежным политикам в различных странах.

И. Ясавеев исследовал риторику российских властей в отношении молодежи, используя конструкционистский подход и выделяя лейтмотивы традиционных ценностей и патриотизма. Эти лейтмотивы присутствуют во властной риторике о молодежи, однако если конструкция традиционных ценностей не наполняется конкретным содержанием (не уточняется, какие ценности являются истинными и традиционными), то патриотизм отчетливо милитаризуется (Ясавеев, 2016). Однако его работа фокусировалась на риторике Кремля и не включала в себя сравнение с европейскими дискурсами молодежной политики.

К. Уоллес и Р. Бендит считают, что одним из факторов, отличающих молодежные политики в различных частях Европы, является степень, в которой молодые люди рассматриваются как *проблема* или как *ресурс*. В последнем случае молодежь может представляться как ресурс для самой молодежи или для общества в целом. Исследователи разработали типологию европейских молодежных политик, включающую смешанные типы (режимы), в которых сосуществуют эти подходы (Wallace, Bendit, 2009). А. Мур и Ф. Прескотт критикуют концепт транзисии во взрослость, ключевой для молодежной политики Великобритании и других европейских стран, поскольку он «продолжает увековечивать и натурализовать символический порядок между взрослыми и молодыми людьми» (Moore, Prescott, 2012: 191). К. Брунила с коллегами, в свою очередь, подвергают критике понятие уязвимости, используемое в рамках европейских молодежных политик для выделения

определенных категорий молодых людей. Статус уязвимости, как утверждают исследователи, может сдвигать социальные проблемы к индивидуальным и представлять молодых людей как ответственных за их обстоятельства и проблемы: «Несмотря на благие намерения, этос уязвимости — это механизм, подчеркивающий личную ответственность и стигматизацию» (Brunila et al., 2016: 77).

В настоящей работе представлен конструкционистский анализ дискурсов молодежной политики в Финляндии, Германии, Великобритании и России: законов, государственных программ, проектов и стратегий молодежной политики (в общей сложности проанализирован 21 программный документ), действующих в настоящее время или действовавших в течение последнего десятилетия — в 2010-е годы. В ходе анализа выявлялись и сопоставлялись риторические идиомы, лейтмотивы и объекты проблематизации (предметы превентивных мер), а также конструкции целей и задач молодежных политик, «успешной» транзитуции молодежи во взрослость, национального воображаемого (образа страны в будущем).

Дискурс молодежной политики Финляндии: эгалитаризм, устойчивое развитие и независимость молодежи

Нормативные документы молодежной политики Финляндии, разрабатываемые Молодежным отделом Министерства образования и культуры, представляют собой тематические направления; большая часть молодежной работы проводится на уровне муниципалитетов, а непосредственной работой с молодежью благодаря конкретным тематическим программам занимаются молодежные НКО, объединяемые координирующей некоммерческой организацией Allianssi.

В Финляндии возрастные границы молодежи как социальной группы выстраиваются следующим образом — молодежью считаются все до 29 лет включительно, при этом в качестве «ключевой» группы принят возраст от 13 до 25 лет, молодежь, включенная в систему образования, а также выходящая на рынок труда. Фактически единственным, что объединяет молодежь в одну группу, является общий опыт транзитуции во взрослость, который определяется молодежной политикой в качестве основной цели — помочь молодежи совершить транзитуцию, обеспечить ей поддержку и необходимые сервисы со стороны государства. Молодежь конструируется как группа, которая объединена опытом взросления, в рамках которого молодежь выстраивает индивидуальные стратегии транзитуции. Однако именно опыт взросления может создавать «контексты уязвимости» в процессе сепарации от родительской семьи, от завершения образования к выходу на рынок труда: «Однако дети и молодые люди надеются, что их будут рассматривать как личности. В частности, молодые люди все чаще испытывают трудности в решении вопросов, касающихся их» (Child and Youth Policy Programme, 2012–2015: 11). Таким образом, одной из целей становится нивелирование различий в стартовых жизненных позициях и возможностях молодежи, которые непосредственно влияют на (не)успешность транзитуции во взрослость — в Финляндии распространены посо-

бия для молодежи, которая не может самостоятельно оплачивать съемное жилье, стажировки в компаниях также оплачиваются за счет государственных субсидий.

Youth Act является основным нормативным документом молодежной политики, который определяет основные направления политики на текущее десятилетие, последняя версия данного документа, выпущенная в 2017 году, обозначает в качестве основных задач молодежной политики Финляндии увеличение влияния молодежи в обществе, интеграцию во «взрослое» общество через развитие навыков управления повседневной жизнью (everyday life management) и взросление:

Содействовать социальной интеграции молодых людей и [их] возможности оказывать влияние; улучшить навыки и способности [молодежи] функционировать в обществе; поддерживать их рост, независимость и чувство общности и способствовать приобретению знаний, освоению навыков и занятиям в свободное время хобби и деятельностью в гражданском обществе; а также способствовать недискриминации и реализации гражданских прав при улучшении роста и условий жизни молодых людей. (Youth Act 2017–2027, 2017: 1)

В качестве основных ценностей, на которых базируется молодежная политика, отмечаются следующие: солидарность, культурное разнообразие и интернациональность; устойчивое развитие, здоровый образ жизни, уважение к жизни и окружающей среде, что соответствует описываемой Ибаррой и Китсьюзом риторике *наделения правом*.

Национальное воображаемое (желаемый образ страны) Финляндии состоит из двух перспектив: первая — это построение эгалитарного общества, вторая — концепция устойчивого развития. Вопросы неравных стартовых позиций и жизненных возможностей молодежи — главные темы молодежной политики, основной фокус политики — в предоставлении равного доступа к государственным сервисам и услугам всем молодым гражданам. Национальное воображаемое в таком случае — это демократическое и эгалитарное общество с большим вниманием к правам человека, что соответствует североевропейской модели государства всеобщего благосостояния (Nordic welfare-state model). Основные ценности финской модели государства всеобщего благосостояния — это социальные гарантии, которые государство обязуется предоставлять всем своим гражданам и резидентам. Более того, молодежная политика экстраполирует финскую социальную модель на модель Европейского союза, в частности, национальное воображаемое Евросоюза представлено следующим образом:

Европа несет коллективную ответственность за своих людей. В Европейском союзе будет реализована социальная гарантия, обеспечивающая всем гражданам достаточный доход, дом, возможности трудоустройства и обра-

зования. Благополучие будет гарантом социальной стабильности. (Finland Prime Minister's Office, 2013: 12)

Концепция устойчивого развития фокусируется на достижении социальной и культурной устойчивости через преодоление межпоколенческой бедности и социальной исключенности. Ключевыми ценностями устойчивого развития Финляндии выступают преодоление исключенности и увеличение влияния молодежи как в повседневной жизни (в области образования и трудоустройства), так и в жизни общества, отказ от дискриминации, экологическая осведомленность. Таким образом, концепция устойчивого развития описывает не только национальное будущее, но и миссию Финляндии как участника Евросоюза, ведь именно Финляндия определяет себя в качестве основного актора среди европейских участников в области построения «общей ответственной европейской экономики» («shared, responsible European economy») на основании финской модели.

Патриотизм в нормативном дискурсе документов молодежной политики Финляндии как концепция не заявлен, более того, современная молодежь Финляндии осмысливается как молодежь в большей степени европейская: «Спустя 18 лет после референдума о членстве Финляндии в ЕС мы можем с полным правом называть молодежь „поколением Е“. Мы европейцы в другой мере, нежели наши родители, бабушки и дедушки» (Finland Prime Minister's Office, 2013: 9). Европейская идентичность современной молодежи также не проблематизируется в документах молодежной политики, наоборот, современная молодежь Финляндии определяется как первое поколение, которое активно принимает ценности Евросоюза: важность прав человека, ориентацию на устойчивое развитие, экологичность и участие. Термин, который может быть отнесен к пониманию патриотизма, который используется в нормативных документах молодежной политики Финляндии, — это «принадлежность» («belonging»). Принадлежность осмысливается в категориях поддержки европейских ценностей и активного участия в первую очередь в учебе и/или работе: «участие и возможность быть услышанными позволили молодым людям больше узнать о принадлежности к обществу и включении в него» (National Youth Work and Youth Policy Programme, 2017: 15).

Участие является одной из ключевых концепций молодежной политики Финляндии последних двадцати лет, вокруг которой выстраивается как управление повседневной жизнью молодежи, так и молодежная гражданственность. В частности, в предыдущей версии Youth Act участие определялось в качестве основы для «продвижения активной гражданской позиции и расширения социальных прав среди молодых людей, а также их роста и улучшения жизненных условий» (Youth Act 2006–2016, 2006: 11). Важно отметить, что участие не концептуализируется в логике «воспитания» или научения конкретным моделям. Участие в первую очередь концептуализируется через повседневное измерение — посредством вовлечения детей и молодежи в образование, рынок труда, досуг:

Дети и молодые люди могут испытывать чувство участия и социальной интеграции в своих сообществах и финском обществе, когда ходят в школу, учатся, работают, занимаются хобби и оказывают влияние на свои собственные дела, а также на свое ближайшее окружение или общество в большем масштабе. (Child and Youth Policy Programme, 2012–2015: 8)

Именно наличие хобби и включение в досуговую деятельность определяются в качестве базиса развития участия и гражданственности молодежи в нормативных документах молодежной политики последних десяти лет — хобби представляются как возможность развивать персональные и социальные навыки, учиться гражданственности и участию на локальном уровне, увеличивать влияние детей и молодежи в обществе:

Хобби обеспечивают значимое участие, вовлеченность и социальные отношения, а также дают возможность экспериментировать и развивать собственные навыки. В лучшем случае они укрепляют у детей и молодых людей чувство собственного достоинства и уверенность в своих силах, а также уменьшают чувство одиночества. (National Youth Work and Youth Policy Programme, 2017: 9)

Для развития навыков участия и гражданственности при каждом образовательном учреждении, от младшей школы до университетов, создан отдельный формат молодежного совета (Youth Council), который дает возможность всем учащимся обсуждать и принимать решения о течении образовательного процесса, досуге и других образовательных моментах.

Гражданственность в нормативных документах Финляндии не осмысливается в границах страны или даже Евросоюза, она определяется в категориях «глобального» гражданства, а именно через социальную и гражданскую активность, ответственное потребление, экологическую ответственность, защиту прав человека (Child and Youth Policy Programme, 2012–2015: 17). Более того, гражданственность напрямую связана в нормативных документах с концепцией ответственности — не только ответственности молодежи за свою повседневную жизнь, но и за развитие ответственной экономики, продвижение осознанного потребления.

Однако есть и темы, которые проблематизируются в нормативном дискурсе молодежной политики Финляндии. В частности, NEET-молодежь (NEET — *not in employment, education or training*), которая оказывается вне рынка образования и труда, не завершив текущую образовательную ступень или оказавшись без предложений работы. В настоящее время публично обсуждается законодательное предложение о продлении обязательного образования на два года до 18–19 лет, чтобы молодежь дольше оставалась в системе образования, поскольку часть сервисов и услуг молодежной работы обеспечивается именно в образовательных учрежде-

ниях. Для каждого индивида реализуются несколько предложений для включения на рынок образования или труда в зависимости от индивидуальной позиции:

Каждому человеку моложе 25 лет и каждому недавнему выпускнику младше 30 лет будут предложены работа, стажировка или учеба, воркшоп или реабилитация на рынке труда в течение трех месяцев после потери работы. (National Youth Work and Youth Policy Programme, 2017: 10)

Программы молодежной политики предполагают, что выход из системы образования может сопровождаться не только более низкими шансами на рынке труда, но и недостатком навыков управления жизнью и социальным исключением. Другими фокусами проблематизации могут быть расизм, сексизм, гомофобия и иные измерения исключения и дискриминации, поскольку «ключевыми принципами в молодежной работе являются общность, недискриминация, взаимное уважение и равенство, а также местная, региональная и глобальная солидарность» (National Youth Work and Youth Policy Programme, 2017: 7).

Таким образом, в нормативных документах молодежной политики Финляндии доминирует риторика наделения правом. Основными лейтмотивами оказываются *равные возможности* и *равный доступ*. Эгалитаризм в качестве ключевой концепции объединяет как образ национального воображаемого (эгалитарное демократическое общество), так и текущие фокусы молодежной политики: предоставление равного доступа к молодежным сервисам и услугам всем группам молодежи, нивелирование неравенства в стартовых позициях и возможностях молодежи. Другим лейтмотивом выступает *устойчивое развитие* финского общества, в рамках которого молодежь в процессе транзисии получает необходимые навыки и умения для гражданского, социального и политического участия, развития активной гражданственности, ответственности и осознанного потребления, интегрируясь таким образом во «взрослое» общество. Лейтмотивом является также *независимость* молодежи, поскольку именно независимость и самостоятельность определяются в качестве цели транзисии во взрослость.

Дискурс молодежной политики Германии: права, возможности и независимость

Основные положения молодежной политики в Германии сформулированы в Федеральном законе «О детях и молодежи» (Восьмая книга Кодекса социального обеспечения Германии), принятом в 1990 году (SGB, 1990), Молодежных стратегиях 2015–2018 годов (BMFSFJ, 2015) и действующей с 2019 года (BMFSFJ, 2019), — а также представлены в официальном обзоре молодежной политики в Германии для Евросоюза (Council of Europe, 2015) и разделе «Дети и молодежь» на сайте Федерального министерства по делам семьи, граждан старшего возраста, женщин и молодежи Германии (BMFSFJ, 2020). Именно это ведомство, структурным подразделением

которого является Департамент молодежи, отвечает за молодежную политику в Германии. Однако эта политика Германии не является централизованной, в 16 федеральных землях существуют свои министерства молодежи и семьи, и ежегодно проводится конференция этих министров. Ключевой уровень молодежной политики — муниципальный: в каждом муниципалитете действует свой Jugendamt (офис по делам молодежи).

К молодежи в Германии относят граждан в возрасте от 12 до 27 лет, включая мигрантов, имеющих законное право на проживание в стране (SGB, 1990). Молодость понимается как «очень созидательная фаза жизни со специфическими вызовами» (BMFSFJ, 2020), «независимая стадия жизни» (BMFSFJ, 2015). При этом подчеркивается, что такого общего явления, как молодежь, не существует, а есть «огромное разнообразие в жизненных ситуациях людей в возрасте от 12 до 27 лет» (BMFSFJ, 2019).

Общая цель молодежной политики в Германии сформулирована следующим образом: «Федеральное правительство нацелено на вовлечение молодого поколения в решения, которые влияют на него, и предложение молодым людям наилучших возможных условий для того, чтобы справиться с вызовами этой специфической жизненной фазы» (BMFSFJ, 2020). В официальных документах отмечается также, что Федеральное министерство стремится к «созданию пространства, дружелюбного по отношению к молодежи» (BMFSFJ, 2015).

«Возможности» — одно из ключевых понятий в дискурсе немецкой молодежной политики, чьи центральные положения сформулированы Федеральным министерством следующим образом:

Дети, подростки и молодые взрослые имеют право на хорошие детство и молодость. С самого начала им должны быть предоставлены одни и те же возможности независимо от их происхождения, гендера, религии или социального статуса их родителей. (BMFSFJ, 2020)

Всем детям и молодым людям должна быть предоставлена возможность развития и превращения в уверенных независимых индивидов. Это предполагает обеспечение того, чтобы дети и молодые люди знали свои права, чтобы они были включены в процесс выработки политики и чтобы их интересы учитывались в этом процессе. (BMFSFJ, 2020)

Министерство стремится к тому, чтобы учитывать потребности всех детей и молодых людей — как с инвалидностью, так и без нее. (BMFSFJ, 2020)

Другая ключевая идея политики в Германии — вовлечение молодежи в принятие решений, касающихся ее: «Дети и молодые люди должны участвовать во всех общественных решениях, касающихся благополучия молодежи, которые влияют на них, в соответствии с их уровнем развития» (SGB, 1990).

Официальные тексты включают в себя видение желаемого образа страны (*национальное воображаемое*). Федеральное министерство формулирует этот образ как «ненасильственное, демократическое и плюралистическое общество» (BMFSFJ, 2020) и организует работу по преподаванию соответствующих ценностей школьникам специальными тренерами. В официальном самообзоре молодежной политики в Германии этот образ представлен как «открытое плюралистическое общество во все более сложном мире» (Council of Europe, 2015).

Риторика молодежной политики Германии предполагает включенность страны в мировое сообщество. В частности, Федеральное министерство указывает, что оно стремится «предоставить молодым людям возможность познать другие страны и культуры посредством опыта пребывания в них — для того, чтобы знать друг друга, и с целью развенчивания (демонстрации) предрассудков» (BMFSFJ, 2020). Стратегическая цель при этом включает в себя совместное построение Европы: «Пересечение национальных границ открывает для молодых людей новые возможности для опыта и развития. Всем молодым людям нужны возможности для того, чтобы заниматься международным развитием и активно формировать Европу» (BMFSFJ, 2019). Термин «патриотизм» в дискурсе молодежной политики Германии отсутствует.

Дискурс молодежной политики Германии, так же как и Финляндии, соответствует риторической идиоме наделения правом. Права детей и молодежи — центральное понятие немецкой молодежной политики. Именно в таком риторическом формате сформулировано первое положение первой главы Федерального закона «О детях и молодежи»: «Каждый молодой человек имеет право на поддержку своего развития и на образование, чтобы стать независимым и социально компетентным человеком» (SGB, 1990). Риторика наделения правом занимает центральное место во всех официальных текстах немецкой молодежной политики:

Центральным столпом реформы политики в отношении детей и молодежи является улучшение их прав. (BMFSFJ, 2020)

Каждый ребенок в Германии должен знать свои права. Не менее важно, чтобы знания о правах детей были распространены среди взрослых: родителей, опекунов, политиков, сотрудников административных служб и судов. (BMFSFJ, 2020)

В дискурсе встречаются также элементы риторики опасности. Одна из основных задач молодежной политики формулируется как «защита детей и молодых людей от опасностей, угрожающих их благополучию» (SGB, 1990). Но эта риторика формулируется в терминах не внешней защиты пассивной, уязвимой молодежи как объекта, а предоставления молодым людям возможности защищать себя самим, действовать осознанно и ответственно:

Предоставить молодым людям возможность защищать себя от опасного влияния и научить их критиковать, принимать решения и брать на себя ответственность за себя, а также за близких людей. (SGB, 1990)

Именно в этом формате *проблематизируется* ряд явлений, описываемых в качестве предмета превентивных мер: радикализация, исламский экстремизм, кибербуллинг, сексуальное насилие и эксплуатация, преступность, наркозависимость, насилие и пренебрежение: «правительство стремится к тому, чтобы все девочки и мальчики росли избавленными от пренебрежения и насилия» (BMFSFJ, 2020).

Лейтмотивами молодежной политики в Германии выступают возможности, права и независимость (в значении «самоопределяемая, независимая жизнь»). Один из принципов государства при решении задач молодежной политики сформулирован следующим образом: «учитывать растущую способность и растущую потребность ребенка или молодого человека действовать независимо и ответственно». (SGB, 1990)

Дискурс молодежной политики Великобритании: партнерские отношения, равный доступ и предоставление возможностей для самовыражения

В Великобритании нет отдельного министерства, отвечающего за молодежную политику, а полномочия по работе с молодежью, как правило, разделены между несколькими департаментами стран Соединенного Королевства. К примеру, Департамент образования вырабатывает нормативные документы, регламентирующие образовательные стандарты для школ, а также разрабатывает руководства для местных властей, направленные на улучшение жизни молодежи (SGLASAIYPW, 2012). Департамент здравоохранения публикует документы, направленные на работу с ментальным и физическим здоровьем молодежи. Департамент цифровых технологий, культуры, медиа и спорта отвечает за включение молодежи в различные внешкольные активности. Видное участие в разработке молодежной политики и работе с молодежью в целом принимают различные НКО и «зонтичные» организации, в том числе National Youth Agency, Youth Council и другие.

Локальная специфика Великобритании заключается в том, что каждая страна, входящая в состав Соединенного Королевства, разрабатывает свои собственные рекомендации и документы по молодежной политике. Единственный нормативный документ, который может считаться общим для Великобритании, опубликован в 2011 году и призван «объединить всю межгосударственную политику правительства в отношении этой возрастной группы, представляя собой единый взгляд [на молодежную политику] вокруг интересов как минимум девяти департаментов» (Positive for Youth: executive summary, 2012). Несмотря на то что этот документ

был принят к действию в Англии, он также направлен на работу со многими НКО и другими организациями, действующими на территории всей Великобритании.

В программных документах Великобритании довольно четко определяется субъект молодежной политики (action group) — молодежь. Возрастные рамки сильно варьируются в зависимости от страны или специфики документа. Так, к примеру, в «Positive for youth» в качестве целевой группы рассматривается молодежь в возрасте 13–19 лет. В руководстве по работе с молодежью для местных властей верхняя граница также составляет 19 лет, но она может быть увеличена до 24 лет в случае, если молодые люди испытывают образовательные сложности (SGLASAIYPW, 2012). В нормативных документах Уэльса возрастные границы молодежи определяются несколько шире: «сервисы по работе с молодежью доступны всем молодым людям в возрасте от 11 до 25 лет» (The National Youth Work Strategy for Wales 2014–2018, 2014: 6). В Северной Ирландии к молодежи относят всех, кто находится в возрастном диапазоне от 4 до 25 лет.

Юношеские годы рассматриваются как «комплексный транзитивный период постоянных изменений, так как молодые люди взрослеют, растут и развиваются» (Positive for Youth, 2011: 7). Во всех программных документах подчеркивается, что молодые люди уникальны и обладают разными жизненными шансами:

Несмотря на то что у них [у молодежи] много общих ценностей, убеждений и [разделяемого] опыта, нет такой категории, как типичный подросток. На жизнь молодых людей влияют разные социальные, культурные и экономические обстоятельства и их личный выбор. (Positive for Youth, 2011: 4)

В официальных документах, посвященных молодежной работе, активно используется риторика наделения правом. Основные лейтмотивы такой риторики: равный доступ, предоставление возможностей, значимость самовыражения и выбора:

Практика молодежной работы ориентирована на партисипаторный метод, который поощряет и позволяет молодым людям разделить ответственность и стать равными партнерами в процессах обучения и принятия решений. (The National Youth Work Strategy for Wales 2014–2018, 2014: 6)

Интересно, что заявленные практики соучастия реализуются и в самих нормативных документах. Так, к примеру, в «Positive for Youth» подчеркивается коллаборативный процесс создания текста, артикулируется ориентация на те проблемы, которые выделила сама молодежь в процессе обсуждения проекта документа (на саммитах, в личных интервью и т. д.).

Цель молодежной политики стран Великобритании видится составителям программы в обеспечении успешной трансции молодежи во взрослость. Такая цель может осуществляться через:

1. «Поддерживающее» отношение к молодежи. Это одна из основополагающих категорий программы «Positive for Youth» в Англии. В программе подчеркивается значимость позитивного отношения к молодежи со стороны родителей и других агентов молодежной политики, а также таких отношений, которые могут помочь молодым людям «развивать свои ценности и суждения, учиться на опыте, брать на себя ответственность и управлять давлением» (Positive for Youth, 2011: 12).

2. Создание условий для безопасной и активной жизни «здесь и сейчас»: «Все молодые люди заслуживают того, чтобы им был доступен целый ряд занятий, которые поддерживают их потребности в развитии, через предоставление им безопасного места для отдыха и веселья» (National Youth Work Strategy for Wales 2014–2018, 2014: 6). В программе отмечается, что «большинство молодых людей успешно осуществляют транзацию во взрослость благодаря поддерживающим семьям; хорошим школам, колледжам и учебным заведениям (Positive for Youth, 2011: 9). Молодежная работа в том числе должна быть сосредоточена на «ранней помощи» молодежи, направленной на предотвращение попадания в сложные жизненные ситуации.

3. Развитие потенциала молодежи, повышение ее жизненных шансов. Задача молодежной политики заключается в том, чтобы молодой человек достиг максимально возможного потенциала.

Несмотря на общую риторику наделения правом, в нормативных документах Великобритании встречается риторика опасности, в частности проблематизируются: употребление молодежью алкоголя и наркотиков, ранние беременности, компьютерные игры, материализм, отсутствие у части молодежи ориентации на социальную включенность.

Отличительной особенностью молодежной политики Англии является репрезентация медиа как источника опасности, а также значимого агента влияния на молодежь:

Образы молодых людей, представленные в средствах массовой информации и продвигаемые общественностью, могут оказать значительное влияние на жизнь некоторых молодых людей — как напрямую, так и через свое влияние на отношение к ним взрослых. (Positive for Youth, 2011: 5)

Медиа в «Positive for Youth» рассматриваются как угроза для ментального и физического здоровья молодежи («могут подорвать самооценку и даже привести к серьезным проблемам со здоровьем») через трансляцию «идеальных» образов моделей и знаменитостей, а также репрезентацию молодежи как источника проблемы:

Негативные образы, которые представляют молодых людей как проблему, могут подорвать самооценку молодых людей, а также их уверенность в своем законном и уважаемом месте в обществе и возвращают у взрослых и дру-

гих молодых людей необоснованное чувство недоверия. (Positive for Youth, 2011: 5)

Желаемый образ страны в будущем конструируется в нормативных документах Великобритании как «вариативное общество», «общество равных возможностей и доступа». Молодежная работа в целом рассматривается как сфера, помогающая в построении эгалитаристского общества:

Молодежная работа играет значимую роль в поддержании Правительства Уэльса в стремлении помочь каждому в раскрытии своего потенциала, а также в решении проблем бедности, сокращении неравенства, повышении уровня образования и занятости, улучшении экономического и социального благополучия, устранении неравенства в отношении здоровья и других неравенств и повышении участия молодежи в жизни общества. (National Youth Work Strategy for Wales 2014–2018, 2014: 5)

Отличительная черта документа «Positive for Youth» заключается в том, что в нем детально разработан образ *национального воображаемого*, представленного в виде «позитивного» и «молодежецентричного» общества, «в котором молодежь будет наслаждаться своими подростковыми годами и осуществит успешную транс-зицию во взрослость» (Positive for Youth, 2011).

В основании такого взгляда лежат три идеи: «сильные амбиции», «хорошие возможности», «поддерживающие отношения». В документе подчеркивается значимость молодежного участия в общественной жизни, которое может проявляться в том числе в возможности выразить свое мнение и влиять на то, какие решения принимаются в обществе. Помимо этого, отмечается, что молодежь «должна достичь своего полного потенциала» в образовании, личном и социальном развитии. Основная ответственность за то, чтобы молодежь обладала возможностями для развития своего потенциала, ложится на родителей, а также на государство, профильных специалистов, НКО и другие партнерские организации.

В нормативных документах Англии не встречается категория «патриотизм», однако внимание уделяется необходимости развития у молодежи «сильного чувства принадлежности», которое конструируется как одна из ключевых характеристик «здорового общества». Его формирование происходит, согласно программным документам, через участие в спортивных и художественных клубах, религиозных организациях, в социальном предпринимательстве, экоактивизме, а также волонтерстве: «Волонтерство представляет особую ценность, потому что оно добровольно предоставляется молодым человеком и помогает укрепить доверие в обществе» (Positive for Youth, 2011: 12).

В нормативных документах Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии нет четкой ориентации на развитие чувства принадлежности, однако волонтерство также рассматривается как ключевая и необходимая практика молодежного уча-

ствия в жизни комьюнити: «Волонтерство приносит пользу для человека и комьюнити в целом, а также помогает развивать большую социальную сплоченность» (National Youth Work Strategy 2014–2019: 18).

Следует отметить, что одной из черт документа «Positive for Youth» является ориентация на формирование чувства принадлежности через участие молодежи в кадетских и других «униформенных организациях» (uniformed organizations), включенных в «Национальную службу для граждан» (National Citizen Service). В частности, рассматривается возможность расширения кадетских центров на базе школ.

Анализ программных документов показывает, что, несмотря на отсутствие общей стратегии по работе с молодежью в Великобритании, направления молодежной политики в Англии, Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии в целом схожи. В программных документах доминирует риторика *наделения правом*. Основные лейтмотивы такой риторики: *равный доступ, предоставление возможностей, самовыражение и выбор, развитие потенциала*. Помимо этого, в текстах встречается риторика опасности, в частности проблематизируются: раннее родительство, употребление алкоголя и наркотиков, компьютерные игры. В программных документах Англии риторика опасности используется также в отношении средств массовой информации и социальных сетей.

Локальная специфика Великобритании заключается в конструировании «молодежецентричного» образа общества будущего через поддержание «партнерских отношений» с молодежью, ориентацию на амбиции молодых людей и обеспечение «возможностей» для реализации потенциала каждого.

Дискурс молодежной политики России: традиционные ценности, патриотизм, воспитание

Основными документами, определяющими молодежную политику в России, являются Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации» (2020), «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» (2014), «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» (2015), Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» (2021), сменивший действовавшие ранее пятилетние государственные программы с таким же названием. Осуществлением молодежной политики занимается Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь).

В 2020 году термин «молодежная политика» был включен в текст Конституции России вместе с другими поправками, инициированными российским президентом. Согласно новой редакции статьи 72 Конституции, молодежная политика находится в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов.

К молодежи в России до конца 2020 года официально относились граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет, однако новый Федеральный за-

кон «О молодежной политике» от 30 декабря 2020 года поднял верхнюю возрастную планку молодежи до 35 лет (Федеральный закон, 2020б). При этом молодежь конструируется не только как возрастная группа, но и как группа, обладающая определенным ценностным «профилем»: «социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями» (Правительство РФ, 2014). Молодежь также концептуализируется как «наиболее восприимчивая и мобильная часть социума» (Правительство РФ, 2014), которая создает и поддерживает социально-экономические изменения в обществе, и определяется как «стратегическое преимущество» и основной носитель «инновационного потенциала развития» страны (Правительство РФ, 2014). Молодежная политика определяется следующим образом:

Комплекс мер... направленных на создание условий для развития молодежи, ее самореализации в различных сферах жизнедеятельности, на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодых граждан в целях достижения устойчивого социально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, национальной безопасности Российской Федерации. (Федеральный закон, 2020б)

Национальное воображаемое в российском нормативном дискурсе, реконструируемое из целей, задач и предполагаемых результатов молодежной политики, — сильная и независимая Россия. В частности, официальный дискурс молодежной политики определяет в качестве одного из ее результатов «устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской Федерации» (Правительство РФ, 2014).

Режимы молодежного участия, декларируемые в документах, не включают в себя повседневные режимы, которые связаны с поддержкой включения в образовательную систему и продолжения образования или поддержкой молодежи, которая выходит на рынок труда. Единственный декларируемый повседневный режим участия — это «вовлечение молодежи в творческую деятельность» (Правительство РФ, 2014).

В российском нормативном дискурсе отсутствует риторика об участии как формате увеличения влияния молодежи в обществе в той сфере, в которой она заинтересована. В законе о молодежной политике все сводится к участию в деятельности совещательных органов, созданных при органах государственной власти и органах местного самоуправления; организации, проведению и участию в раз-

личных форумах; проведению исследований по вопросам молодежной политики; подготовке и реализации молодежных инициатив, созданию молодежных общественных объединений, формированию органов молодежного самоуправления при органах государственной власти и органах местного самоуправления (Федеральный закон, 2020б).

Главным тематическим фокусом «вовлечения» молодежи является патриотическая и милитаристская активность: «вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению российской культуры, исторического наследия народов страны и традиционных ремесел», «вовлечение молодежи в активную работу поисковых, археологических, военно-исторических, краеведческих, студенческих отрядов и молодежных объединений» (Правительство РФ, 2014).

В российском дискурсе молодежной политики доминирующим мотивом обращения к гражданственности и гражданскому является особая идентичность, тесно связанная с патриотизмом и локальной принадлежностью: «обеспечение российской гражданской идентичности, непрерывности воспитательного процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных условиях экономического и геополитического соперничества» (Правительство РФ, 2015а). Формы же гражданского и социального участия конструируются в качестве «воспитания»: «гражданско-патриотического», «военно-патриотического», «духовно-нравственного», «спортивно-патриотического».

Патриотическое воспитание молодежи рассматривается государством как одна из приоритетных сфер молодежной политики России. На протяжении последних двух десятилетий каждые пять лет разрабатывалась и утверждалась новая государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» с акцентом на «сохранение непрерывности процесса по дальнейшему формированию патриотического сознания российских граждан как одного из факторов единения нации» (Правительство РФ, 2010). Дети и молодежь рассматриваются в этих программах в качестве ключевых групп (объектов) воспитания.

В Программе патриотического воспитания 2011–2015 гг. ее цель сформулирована максимально абстрактно: «дальнейшее развитие и совершенствование системы патриотического воспитания граждан», причем термин «патриотическое воспитание» не определен (Правительство РФ, 2010). Национальное воображаемое конструируется через героизацию военного прошлого: акцентируются «славные события истории страны» и «бессмертные подвиги народа» (в частности, «подвиги советских воинов в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»).

Работа по «воспитанию чувства гордости за боевое прошлое Отечества» осуществляется через участие молодежи в проектах, конкурсах и смотрах. Значимая роль отводится военно-патриотическим центрам, музеям, творческим организациям, средствам массовой информации. Интересно, что одна из проблематизируемых конструкций также связана с героическим прошлым, а именно с «фальсификацией событий Великой Отечественной войны».

В программе патриотического воспитания на 2016–2020 годы появилось определение такого воспитания:

...систематическая и целенаправленная деятельность органов государственной власти, институтов гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. (Правительство РФ, 2015а)

Патриотизм в программе 2016–2020 годов милитаризируется, подчеркивается значимость кадетских школ и корпусов, военно-патриотических организаций, особое внимание уделяется «обеспечению формирования у молодежи морально-психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской ответственности», в том числе через «формирование системы непрерывного военно-патриотического воспитания детей и молодежи» (Правительство РФ, 2015а).

Помимо военно-патриотического воспитания в программе 2016–2020 годов выделяются такие направления молодежной политики, как гражданско-патриотическое и спортивно-патриотическое воспитание. В качестве одного из ключевых («эффективных») инструментов гражданско-патриотического воспитания определяется волонтерство. Спортивно-патриотическое воспитание, согласно программе 2016–2020, реализуется через спортивные организации и секции, а также через возрождение советской системы физкультурной подготовки «Готов к труду и обороне» (ГТО), обеспечивающей абитуриентам дополнительные баллы при поступлении в вузы.

В 2020 году в Конституцию России в числе поправок, внесенных по инициативе Президента России, была включена новая статья, содержащая конструкцию «воспитание патриотизма». Еще одна поправка включала в себя понятие волонтерства: Правительство Российской Федерации «осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности». Одновременно с поправками в Конституцию Президент России инициировал внесение изменений в Федеральный закон «Об образовании», предполагающих переопределение понятия воспитания. В содержание воспитания было включено «формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества» (Федеральный закон, 2020а).

В дискурсе российской молодежной политики *проблематизация* не имеет отчетливо выраженного характера. К «негативным социальным явлениям» отнесены экстремизм, национализм, ксенофобия, коррупция, дискриминация по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам (Правительство РФ, 2015б). В «Основах государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года» используется понятие «проблемный фактор». Этот термин

употребляется в единственном числе, причем проблематизируется не та или иная трудность молодежи, а «деструктивное информационное воздействие» на нее, но не уточняется, кто воздействует и каким образом:

Проблемным фактором является деструктивное информационное воздействие на молодежь, следствием которого в условиях социального расслоения, как показывает опыт других стран, могут стать повышенная агрессивность в молодежной среде, национальная и религиозная нетерпимость, а также социальное напряжение в обществе (Правительство РФ, 2014).

В числе проблематизируемых явлений нет буллинга и насилия в школах и учебных заведениях.

Лейтмотивами дискурса российской молодежной политики являются воспитание, патриотизм и традиционные ценности (в некоторых случаях — «традиционные духовно-нравственные ценности» и «традиционные семейные ценности»; о лейтмотиве традиционных ценностей см.: Ясавеев, 2016). Эти лейтмотивы используются во всех текстах молодежной политики, в некоторых из них десятки раз.

Лейтмотив воспитания, сквозной для текстов российской молодежной политики, и акцент на образовании и просвещении молодежи (различных просветительских программах) свидетельствуют о доминировании в дискурсе *риторики неразумности*. Молодежь, таким образом, представляется как нуждающаяся в воспитании и просвещении. Функция «воспитания» молодежи, неоднократно возникающая в нормативных документах последних десяти лет, демонстрирует объективированный статус молодежи как объекта, а не субъекта молодежной политики.

Заключение: сходства и различия европейских и российского дискурсов молодежных политик

Несмотря на принципиальные различия дискурсов молодежных политик в европейских странах и России, можно выделить несколько сходств. Анализ программных документов показал, что в молодежных политиках Великобритании и России есть ряд общих проблематизируемых конструкций. Так, предметами превентивных мер являются экстремизм, употребление алкоголя и наркотических веществ, криминальная активность молодежи. Однако если в документах Великобритании медиа конструируются как угроза — источник опасности для молодежи, то в российском контексте средства массовой информации рассматриваются как ресурс для продвижения патриотического воспитания молодежи.

Кроме того, в дискурсах молодежной политики Великобритании и России присутствуют милитаристские лейтмотивы, государства рассматривают «униформенные»/военно-патриотические организации как значимый ресурс для форми-

рования чувства патриотизма/принадлежности молодежи к комьюнити и стране в целом. Но если в Великобритании молодежное участие в кадетских организациях позиционируется как один из многих путей участия в жизни общества (наравне с социальным предпринимательством, волонтерством, экоактивизмом), то в российских нормативных документах военно-патриотическое воспитание предстает в качестве основного инструмента формирования «патриотического сознания». Молодежные политики европейских стран и России сходятся также в идее значимости участия молодых людей в волонтерских проектах и организациях.

Однако различий значительно больше, чем сходств. В нормативном дискурсе европейских молодежных политик (Финляндии, Германии и Великобритании) доминирует риторика наделения правом, в то время как российский дискурс отличается терминология риторики неразумности. Лейтмотивами в европейских дискурсах молодежных политик являются права, равные возможности и равный доступ, независимость, взросление, устойчивое развитие, участие и гражданственность. В российском нормативном дискурсе основные лейтмотивы: традиционные ценности, воспитание и патриотизм.

Существуют значимые различия в конструировании цели и задач молодежной политики — если в рассмотренных европейских странах конечной целью молодежной политики и молодости как жизненного этапа является обретение автономии и независимости, то в российском нормативном дискурсе основной целью молодежной политики оказывается мобилизация молодежи и тех ресурсов, которыми она обладает, в пользу государственного благополучия. Задачи российской молодежной политики по «воспитанию патриотично настроенной молодежи» значительно расходятся с европейской риторикой глобальности молодежного вопроса и молодежной политики, которые сложно формировать исключительно на локальном уровне. В отличие от европейской риторики о кооперации стран — участниц Евросоюза, обмене опытом и поддержке молодежи на едином европейском пространстве, российский дискурс представляет молодежь как ресурс, но не для самой молодежи, а для государства, ресурс, который при эффективном использовании создает «стратегические преимущества» России на мировой арене.

Еще одно различие касается типизации молодежи. Молодежь в европейских дискурсах определяется как гетерогенная, отличающаяся значительным разнообразием группа. Европейский дискурс включает в себя отчетливо сформулированный отказ от типизации молодежи, тогда как в российском дискурсе молодежь представляется гомогенной категорией.

В нормативных документах молодежной политики рассмотренных европейских стран транзигция во взрослость определяется в качестве ключевого процесса молодости как жизненного этапа и опыта молодежи как возрастной группы, которая может выбирать разнообразные траектории взросления, но сталкивается со схожими затруднениями и проблемами. Молодежные политики европейских стран выстраивают программы поддержки, ориентируясь в первую очередь на основные этапы транзигции — переход от образования к занятости, от проживания

ния в родительской семье к независимому проживанию, партнерству или появлению собственной семьи. В отличие от активной поддержки молодежи в период взросления в европейских странах, российская молодежная политика игнорирует в нормативных документах важность транзисии во взрослость и независимость. Отсутствие идей поддержки молодежи на пути к независимости и автономии не-обходимыми сервисами и услугами замещается риторикой «воспитания».

Таким образом, дискурс европейских молодежных политик с его акцентом на правах и возможностях «молодежецентричен», ориентирован на развитие и поддержку молодых людей, тогда как риторика российской молодежной политики является «государствоцентричной», ориентированной на развитие страны, в том виде, в каком его понимают государственные органы власти.

Одной из перспектив дальнейшего изучения дискурсов молодежной политики может быть, на наш взгляд, исследование влияния на риторику молодежной политики такого феномена, как стрельба в школах и других учебных заведениях. Можно сформулировать вопрос, какие изменения в официальном дискурсе молодежной политики в России вызовут трагические случаи стрельбы в Керченском политехническом колледже в 2018 году и в казанской гимназии № 175 в 2021 году и каким образом это будет соотноситься с милитаризованными конструктами воспитания и патриотизма?

Выражение признательности

Авторы признательны участникам исследовательского проекта «Антикризисный потенциал молодежных политик в России и Европе в эпоху глобальных рисков: национальное воображаемое, патриотизм и социальная вовлеченность», сотрудникам Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург) Елене Омельченко, Юлии Епановой, Евгении Кузинер, Ирине Лисовской, Наде Нартовой, Дмитрию Омельченко, Святославу Полякову за поддержку, дискуссии и ценные замечания, касающиеся содержания статьи.

Литература

- Андрюшина Е. В., Панова Е. А. (2017). Современная российская государственная молодежная политика: эволюция, основные направления, практики // *Власть*. Т. 25. № 7. С. 60–65.
- Ибарра П., Китсьюз Дж. (2007). Дискурс выдвижения утверждений-требований и просторечные ресурсы // *Социальные проблемы: конструкционистское прочтение*. Казань: Изд-во Казанского ун-та. С. 55–114.
- Смирнов В. А. (2014). Молодежная политика: опыт системного описания // *Социологические исследования*. № 3. С. 72–80.
- Омельченко Е. Л. (2012). Как научить любить Родину? Дискурсивные практики патриотического воспитания молодежи // *Омельченко Е., Пилкингтон Х. (ред.)*.

- С чего начинается Родина: молодежь в лабиринтах патриотизма. Ульяновск: Ульяновский государственный университет. С. 261–310.
- Правительство РФ (2010). Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011–2015 гг. URL: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml (дата доступа: 22.12.2020)
- Правительство РФ (2014). Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года. URL: <http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf> (дата доступа: 22.12.2020)
- Правительство РФ (2015a). Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы. URL: <http://government.ru/docs/21341> (дата доступа: 22.12.2020)
- Правительство РФ (2015б). Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года // Российская газета. 8 июня. URL: <http://rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (дата доступа: 22.12.2020)
- Росмолодежь (2015). Приказ Росмолодежи № 42 от 2 апреля 2015 [Основные направления деятельности Федерального агентства по делам молодежи]. URL: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/c8f851bb292e99d253f6833ea623accb.pdf> (дата доступа: 22.12.2020)
- Федеральный закон (2020a). № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788> (дата доступа: 22.12.2020)
- Федеральный закон (2020б). № 489-ФЗ от 30.12.2020 «О молодежной политике в Российской Федерации». URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300003> (дата доступа: 01.03.2021)
- Ярская В. Н., Ловцова Н. И. (2010). Молодежная политика: разные и пока не равные // Журнал исследований социальной политики. Т. 8. № 2. С. 151–164.
- Ясавеев И. Г. (2016). Лейтмотивы властной риторики в отношении российской молодежи // Социологическое обозрение. Т. 15. № 3. С. 49–67.
- BMFSFJ (2020). Children and Youth. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. URL: <https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/meta/en/youth> (дата доступа: 22.12.2020).
- BMFSFJ (2015). Youth Strategy 2015–2018. URL: <https://archiv.jugendgerecht.de/ueberuns/jugendstrategie-2015-2018/> (дата доступа: 22.12.2020).
- BMFSFJ (2019). Youth Strategy. URL: <https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/jugendbildung/jugendstrategie/jugendstrategie/jugendstrategie-der-bundesregierung/77406> (дата доступа: 22.12.2020).
- Brunila K., Ikävalko E., Kurki T., Mertanen K., Mikkola A. (2016). Revisiting the Vulnerability Ethos in Cross-Sectoral Transition Policies and Practices for Young People in the Era of Marketisation of Education // Research in Comparative and International Education. Vol. 11. № 1. P. 69–79.

- Child and Youth Policy Programme (2012–2015). URL: https://www.youthpolicy.org/national/Finland_2012_Child_Youth_Programme.pdf (дата доступа: 10.12.2020).
- Council of Europe (2015). Background Information on German Youth Policy. URL: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262196/Country+Sheet_Germany_2015.pdf/583a99a4-229f-4c49-91b8-b4fba19d8f34 (дата доступа: 22.12.2020).
- Finland Prime Minister's Office (2013). What Will the EU Become When It Grows Up? Young People's Visions on the Future of the European Union. URL: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79453/Jo413_EU-nuoret_enkku.pdf (дата доступа: 10.12.2020).
- Miller L. J. (2003). Claims-Making from the Underside: Marginalization and Social Problems Analysis // *Holstein J., Miller G. (eds.). Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems*. N.Y.: Aldine de Gruyter. P. 92–119.
- Moore A., Prescott P. (2013). Absent but Present: A Critical Analysis of the Representation of Sexuality in Recent Youth Policy in the UK // *Journal of Youth Studies*. Vol. 16. № 2. P. 191–205.
- National Youth Work and Youth Policy Programme 2017–2019 (2017). URL: <https://min-edu.fi/en/-/valtakunnallinen-nuorisotyön-ja-politiikan-ohjelma-hyvaksytty> (дата доступа: 10.12.2020).
- National Youth Work Strategy 2014–2019 (2014). URL: <https://www.youthlinkscotland.org/policy/national-youth-work-strategy/> (дата доступа: 14.12.2020).
- National Youth Work Strategy for Wales 2014–2018 (2014). URL: <https://dera.ioe.ac.uk/19353/1/140221-national-youth-work-strategy-en.pdf> (дата доступа: 14.12.2020).
- Positive for Youth. A new approach to cross-government policy for young people aged 13 to 19 (2011). URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175496/DFE-00133-2011.pdf (дата доступа: 14.12.2020).
- Positive for Youth: Executive Summary (2012) URL: <https://www.gov.uk/government/publications/positive-for-youth-executive-summary#:~:text=Positive%20for%20Youth%20is%20a,of%20at%20least%20nine%20departments> (дата доступа: 11.12.2020).
- SGB (1990). Social Code (SGB), Eighth book (VIII): Child and Youth Welfare (Germany).
- Wallace C., Bendit, R. (2009). Youth Policies in Europe: Towards a Classification of Different Tendencies in Youth Policies in the European Union // *Perspectives on European Politics and Society*. Vol. 10. № 3. P. 441–458.
- Youth Act 2006–2016 (2006). URL: https://www.youthpolicy.org/national/Finland_2006_Youth_Act.pdf (дата доступа: 10.12.2020).
- Youth Act 2017–2027 (2017). URL: <https://minedu.fi/documents/1410845/4276311/Youth+Act+2017/c9416321-15d7-4a32-b29a-314ce961bfo6/Youth+Act+2017.pdf> (дата доступа: 10.12.2020).

The State for Youth or Youth for the State: Discourses of Youth Policy in the EU and Russia

Alina Maiboroda

Junior Research Fellow, Center for Youth Studies, HSE University in Saint Petersburg
Address: Soyuz Pechatnikov str., 16, Saint Petersburg, Russian Federation 190121
E-mail: avmaiboroda@gmail.com

Anastasia Sablina

Visiting Lecturer, Department of Sociology, HSE University in Saint Petersburg
Address: Soyuz Pechatnikov Str., 16, Saint Petersburg, Russian Federation 190121
E-mail: aasablina@gmail.com

Iskender Yasaveev

Senior Research Fellow, Center for Youth Studies, HSE University in Saint Petersburg
Address: Soyuz Pechatnikov str., 16, Saint Petersburg, Russian Federation 190121
E-mail: yasaveev@gmail.com

The article is focused on youth politics in the UK, Germany, Finland, and Russia. Based on a constructionist approach, we analyze the rhetoric of youth policy, subjects of problematization, as well as the image of the country and youth of the future presented in the documents. The empirical base of the article is 21 youth-policy documents (laws, state programs, and youth strategies) of Finland, Germany, United Kingdom, and Russia. The analysis of normative documents showed that the discourse of youth policies in the European Union is dominated by the rhetoric of entitlement, and the motifs are equality of opportunity and access, rights, independence, empowerment, sustainable development of society, participation, and citizenship. The discourse of Russian youth policy is distinguished by the rhetoric idiom of 'unreason'. The main motifs of the rhetoric are traditional values, education, and patriotism. European youth-policies, which emphasize rights and opportunities of youth, are oriented toward the development and support of young people, while the Russian youth policy is "state-centric", oriented to the development of the country.

Keywords: youth policy, youth, political authorities, rhetoric, discourse, constructionism, patriotism, traditionalism

References

- Andryushina E., Panova E. (2017) *Sovremennaya rossiyskaya gosudarstvennaya molodezhnaya politika: evolyutsiya, osnovnye napravleniya, praktiki* [The Modern Russian State Youth Policy: Evolution, Main Directions, and Practice]. *Vlast*, vol. 25, no 7, pp. 60–65.
- Brunila K., Ikävalko E., Kurki T., Mertanen K., Mikkola A. (2016) Revisiting the Vulnerability Ethos in Cross-Sectoral Transition Policies and Practices for Young People in the Era of Marketisation of Education. *Research in Comparative and International Education*, vol. 11, no 1, pp. 69–79.
- BMFSFJ (2020) Children and Youth. Federal Ministry for Family Affairs, Senior Citizens, Women and Youth. Available at: <https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/meta/en/youth> (accessed 22 December 2020).
- BMFSFJ (2015) Youth Strategy 2015–2018. Available at: <https://archiv.jugendgerecht.de/ueber-uns/jugendstrategie-2015-2018/> (accessed 22 December 2020).
- BMFSFJ (2019) Youth Strategy. Available at: <https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/kinder-und-jugend/jugendbildung/jugendstrategie/jugendstrategie-der-bundesregierung/77406> (accessed 22 December 2020).
- Child and Youth Policy Programme (2012–2015) Available at: https://www.youthpolicy.org/national/Finland_2012_Child_Youth_Programme.pdf (accessed 10 December 2020).

- Council of Europe (2015) Background information on German youth policy. Available at: https://pjp-eu.coe.int/documents/42128013/47262196/Country+Sheet_Germany_2015.pdf/583a99a4-229f-4c49-91b8-b4fba19d8f34 (accessed 22 December 2020).
- Federal Law (2020a) № 304-FZ on 31 July 2020 "O vnesenii izmeneniy v Federal'nyy zakon 'Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii' po voprosam vospitaniya obuchayushchikhsya" ["On Amendments to the Federal Law 'On Education in the Russian Federation' on the Education of Learners"]. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45788> (accessed 22 December 2020).
- Federal Law (2020b) № 489-FZ on 30 December 2020 "O molodezhnoy politike v Rossiyskoy Federatsii" [Federal Law "On Youth Policy in the Russian Federation"]. Available at: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012300003> (accessed 1 March 2021).
- Finland Prime Minister's Office (2013) What Will the EU Become When It Grows Up? Young people's visions on the future of the European Union" (2013). Available at: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79453/Jo413_EU-nuoret_enkku.pdf (accessed 10 December 2020).
- Ibarra P. R., Kitsuse J. I. (2007) Diskurs vydvizheniya utverzhdeniy-trebovanij i prostorechnye resursy [Claims-Making Discourse and Vernacular Resources]. *Sotsial'nye problemy: konstruksionistskoe prochtenie* [Social Problems: Constructionist Reading] (ed. I. Yasaveev), Kazan: Kazan University Press, pp. 55–114.
- Miller L. J. (2003) Claims-Making from the Underside: Marginalization and Social Problems Analysis. *Challenges and Choices: Constructionist Perspectives on Social Problems* (eds. J. A. Holstein, G. Miller), Hawthorne: Aldine de Gruyter, pp. 92–119.
- Moore A., Prescott P. (2013) Absent but Present: A Critical Analysis of the Representation of Sexuality in Recent Youth Policy in the UK. *Journal of Youth Studies*, vol. 16, no 2, pp. 191–205.
- National Youth Work and Youth Policy Programme 2017–2019 (2017). Available at: <https://minedu.fi/en/-/valtakunnallinen-nuorisotyön-ja-politiikan-ohjelma-hyvaksytty> (accessed 10 December 2020).
- National Youth Work Strategy 2014–2019 (2014) Available at: <https://www.youthlinkscotland.org/policy/national-youth-work-strategy/> (accessed 14 December 2020).
- National Youth Work Strategy for Wales 2014–2018 (2014) Available at: <https://dera.ioe.ac.uk/19353/1/140221-national-youth-work-strategy-en.pdf> (accessed 14 December 2020).
- Omelchenko E. (2012) Kak nauchit' lyubit' Rodinu? Diskursivnye praktiki patrioticheskogo vospitaniya molodezhi [How to Learn to Love Homeland? Discursive Practices of Patriotic Raising of Youth]. *S chego nachinaetsya Rodina: molodezh' v labirintakh patriotizma* [Where Homeland Begins: Youth in the Labyrinths of Patriotism] (eds. E. Omelchenko, H. Pilkington), Ulianovsk: Ulianovsk State University, pp. 261–310.
- Positive for Youth: A New Approach to Cross-Government Policy for Young People Aged 13 to 19 (2011). Available at: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/175496/DFE-00133-2011.pdf (accessed 14 December 2020).
- Positive for Youth: Executive Summary (2012). Available at: <https://www.gov.uk/government/publications/positive-for-youth-executive-summary#:~:text=Positive%20for%20Youth%20is%20a,of%20at%20least%20nine%20departments> (accessed 11 December 2020).
- Rosmolodezh (2015) Prikaz Rosmolodezhi № 42 ot 2 aprelya 2015 goda [Decree of Rosmolodezh no. 42 from April 2, 2015]. Available at: <https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/document/c8f851bb292e99d253f6833ea623acdb.pdf> (accessed 22 December 2020).
- Russian Government (2010) Gosudarstvennaya programma "Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiyskoy Federatsii na 2011–2015 gody" [The State Program "Patriotic Education of Russian Citizens 2011–2015"]. Available at: http://archives.ru/programs/patriot_2015.shtml (accessed 22 December 2020).
- Russian Government (2014) Osnovy gosudarstvennoy molodezhnoy politiki Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda [The Foundations of State Youth Policy for the Period to 2025]. Available at: <http://government.ru/media/files/ceFXleNUqOU.pdf> (accessed 22 December 2020).
- Russian Government (2015) Gosudarstvennaya programma "Patrioticheskoe vospitanie grazhdan Rossiyskoy Federatsii na 2016–2020 gody" [The State Program "Patriotic Education of Russian Citizens 2016–2020"]. Available at: <http://government.ru/docs/21341/> (accessed 22 December 2020).

- Russian Government (2015) *Strategiya razvitiya vospitaniya v Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda* [The Strategy of the Development of Education in Russian Federation for the period to 2025]. *Rossiyskaya gazeta* [Russian Newspaper], no 6693. Available at: <http://www.rg.ru/2015/06/08/vospitanie-dok.html> (accessed 10 December 2020).
- SGB (1990) Social Code (SGB) — Eighth book (VIII) — Child and youth welfare (Germany).
- Smirnov V. (2014) *Molodezhnaya politika: opyt sistemnogo opisaniya* [Youth Politics: A System Description]. *Sociological Studies*, no 3, pp. 72–80.
- Wallace C., Bendit, R. (2009) Youth Policies in Europe: Towards a Classification of Different Tendencies in Youth Policies in the European Union. *Perspectives on European Politics and Society*, vol. 10, no 3, pp. 441–458.
- Yarskaya V., Lovtsova N. (2010) *Molodezhnaya politika: raznye i poka ne ravnye* [Youth Policy: Diverse but not Equal yet]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 8, no 2, pp. 151–164.
- Yasaveev I. (2016) *Leytmotivy vlastnoy ritoriki v otnoshenii rossiyskoy molodezhi* [Motifs of Government Rhetoric on Youth in Russia]. *Russian Sociological Review*, vol. 15, no 3, pp. 49–67.
- Youth Act 2006–2016 (2006). Available at: https://www.youthpolicy.org/national/Finland_2006_Youth_Act.pdf (accessed 10 December 2020).
- Youth Act 2017–2027 (2017). Available at: <https://minedu.fi/documents/1410845/4276311/Youth+Act+2017/c9416321-15d7-4a32-b29a-314ce961bfo6/Youth+Act+2017.pdf> (accessed 10 December 2020).

О некоторых социально-демографических факторах интенсивности антиправительственных демонстраций: доля молодежи в населении, урбанизация и протесты*

Андрей Коротаев

PhD, доктор исторических наук, профессор, заведующий лабораторией мониторинга рисков социально-политической дестабилизации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Главный научный сотрудник, Институт Африки Российской академии наук

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: akorotayev@gmail.com

Патрик Сойер

Стажер-исследователь, лаборатория мониторинга рисков социально-политической дестабилизации,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: Psawyer@hse.ru

Максим Гладышев

Стажер-исследователь, лаборатория мониторинга рисков социально-политической дестабилизации,

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: magladyshev@gmail.com

Даниил Романов

Младший научный сотрудник, лаборатория мониторинга рисков социально-политической дестабилизации, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: dm.romanov@me.com

Алиса Шишкина

Кандидат политических наук, старший научный сотрудник, лаборатория мониторинга рисков социально-политической дестабилизации, Национальный исследовательский университет

«Высшая школа экономики»

Старший научный сотрудник, Институт Африки Российской академии наук

Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000

E-mail: alisa.shishkina@gmail.com

Демографические изменения, связанные с переходом от традиционной к современной экономике, лежат в основе многих современных теорий формирования протеста. Как уровень урбанизации, так и эффект «молодежного бугра» (Youth Bulge) оказались особенно значимыми показателями для прогнозирования протестных событий. Однако учитывая, что в ходе экономического развития эти процессы зачастую проявляются одновременно, представляется логичным выдвинуть гипотезу о том, что комбинированный эффект роста урбанизации и увеличения численности молодежи будет более

* Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 году при поддержке Российского научного фонда (проект № 21-18-00123).

релевантным фактором для прогнозирования протестов. Наше исследование кросс-национальных временных рядов в период с 1950 по 2016 год показывает, что комбинационный эффект двух этих параметров является исключительно сильным предиктором антиправительственных протестов в отдельно взятой стране, даже в большей степени, чем традиционные показатели, такие как демократизация, ВВП на душу населения и уровень образования.

Ключевые слова: протесты, урбанизация, молодежный бугор, городские социальные движения, экономическое развитие

Как известно, на первой фазе демографической модернизации (демографического перехода) наблюдается радикальное снижение младенческой и детской смертности, что на фоне сохраняющейся на этой фазе по-прежнему высокой рождаемости приводит к взрывообразному росту численности населения и заметному увеличению доли молодежи в общей численности взрослого населения (см., например: Вишневский, 1976, 2005; Chesnais, 1992; Caldwell, 2006; Gould, 2015; Korotayev, Goldstone, Zinkina, 2015). В то же самое время целый ряд исследователей показали, что повышенная доля молодежи (т.н. «молодежный бугор») является достаточно сильным фактором социально-политической дестабилизации. Дж. Голдстоун, например, отмечает, что «быстрый рост (удельного веса) молодежи может подорвать существующие политические коалиции, порождая нестабильность. Большие когорты молодежи зачастую привлекают новые идеи или неортодоксальные религии, бросающие вызов старым формам власти. К тому же поскольку большинство молодых людей имеют меньше обязательств в плане семьи и карьеры, они относительно легко мобилизуются для участия в социальных или политических конфликтах. Молодежь играла важнейшую роль в политическом насилии на протяжении всей письменной истории, и наличие «молодежного бугра» (необычно высокой пропорции молодежи в возрасте 15–24 лет в общем взрослом населении) исторически коррелировало с временами политических кризисов. Большинство крупных революций... (включая и) большинство революций XX в. в развивающихся странах — произошли там, где наблюдались особо значительные молодежные бугры» (Goldstone, 2002: 10–11; см. также: Goldstone, 1991; Moller, 1968; Huntington, 1996; Mesquida, Weiner, 1999; Goldstone, McAdam, 2001; Heinsohn, 2003; Fuller, 2004; Urdal, 2008; Korotayev, Zinkina, 2011; Goldstone, Kaufmann, Toft, 2012; LaGraffe, 2012; Korotayev, Issaev et al., 2013, 2014; Yair, Miodownik, 2016; Flückiger, Ludwig, 2018; Weber, 2019; Коротаев, Зинькина, 2011а, 2011б, 2011в; Коротаев, Ходунов, 2012; Ходунов, Коротаев, 2012). С другой стороны, рядом исследователей было показано, что в ходе модернизационных процессов мощным фактором роста интенсивности протестов выступает обусловленный урбанизационным переходом стремительный рост доли горожан в общей численности населения (см., например: Gleditsch, Rivera, 2017; Goldstone, 2002; Tilly, 1995; Ang, Dinar, Lucas, 2014).

Основной исследовательский вопрос данной статьи звучит следующим образом: насколько оба эти процесса, урбанизацию и рост доли молодежи, стоит рас-

сматривать как независимые явления; не имеет ли смысл на определенном уровне анализа оба эти процесса анализировать как две достаточно тесно связанные между собой стороны социально-экономического развития, которые при совместном действии могут иметь особенно сильный дестабилизационный эффект?

Может показаться, что исследование «городских молодежных бугров» как фактора интенсификации протестов утратило свою актуальность для современного мира, поскольку в последние десятилетия во многих странах доля городской молодежи в общей численности взрослого населения систематически снижается¹. И, как можно видеть на рисунке 1, «городские молодежные бугры» никак нельзя, скажем, считать существенным фактором той мощной волны протестов, которая наблюдалась в большинстве экономически развитых стран в 2010-е годы² (см., например: Коротаев, Мещерина и др., 2016, 2017; Коротаев, Шишкина, Исаев, 2016; Akaev et al., 2017; Ortmans et al., 2017; Korotayev, Meshcherina, Shishkina, 2018).

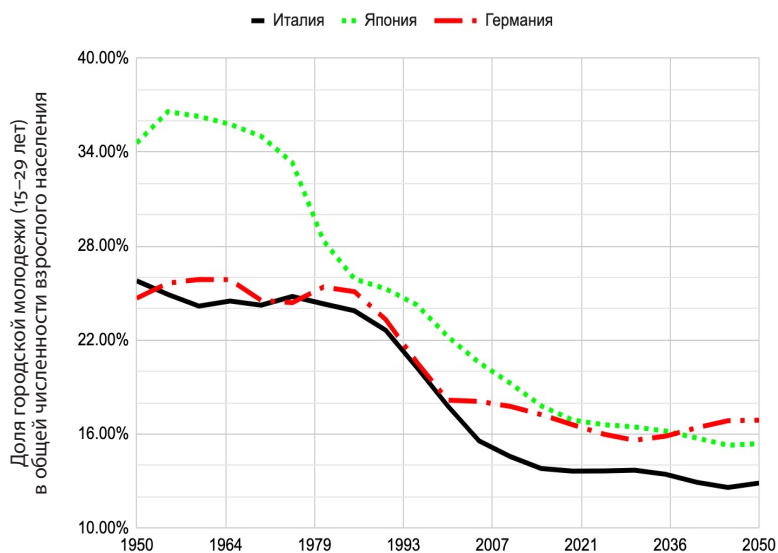


Рис. 1. Уменьшение городских молодежных бугров в некоторых развитых странах (1980–2015 гг., с прогнозом до 2050 г.). Источник: Собственные подсчеты на основе данных Отдела народонаселения ООН (United Nations Populations Division, 2018; United Nations Populations Division, 2019)

1. Это совсем не случайно, и связано с тем, что урбанизационный переход во многих экономически развитых странах уже завершился, переток относительно избыточного населения из деревни в город там уже произошел и доля горожан в общей численности населения там уже не растет (см., например: United Nations Populations Division, 2018). С другой же стороны, наблюдающееся там в последние десятилетия старение населения ведет к снижению доли молодежи в общей численности взрослого населения (см., например: United Nations Populations Division, 2019).

2. Эта волна протестов явно объясняется другими причинами (см., например: Коротаев, Шишкина, Лухманова, 2017; Turchin, 2013, 2016).

Однако этот фактор до сих пор имеет большое значение для многих развивающихся стран, в особенности для стран Африки южнее Сахары, где до сих пор наблюдается устойчивый рост доли городской молодежи в общей численности населения и продолжение этого роста уверенно прогнозируется в обозримом будущем (см. рис. 2).

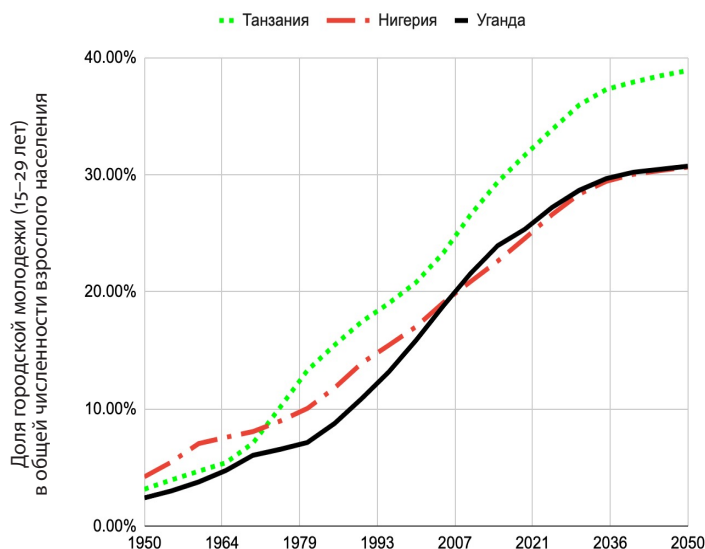


Рис. 2. Рост городских молодежных бугров в некоторых странах Африки южнее Сахары (1980–2015 гг., с прогнозом до 2050 г.). Источник: Собственные подсчеты на основе данных Отдела народонаселения ООН (United Nations Populations Division, 2018; United Nations Populations Division, 2019)

Урбанизация

Урбанизация играет важную роль во многих теориях, изучающих возникновение протестов и социальных движений (Gledistch, Rivera, 2017; Goldstone, 2002; Tilly, 1995; Ang, Dinar, Lucas, 2014). По мнению представителей теории политических возможностей, такие социально-структурные явления, как урбанизация, демократизация, рост населения и индустриализация, могут привести к политическим расколам в обществе, связанным с процессами демократизации, политизации и мобилизации (Tilly, 1995; Bartolini, Mair, 1990: 216). Ненасильственные протесты, как правило, чаще происходят в городских районах, где люди обладают большими общественными ресурсами, а также образуют более тесные сообщества, что делает их более склонными к протестам (Gledistch, Rivera, 2017). Политические деятели, таким образом, получают больше возможностей координировать и направлять действия масс с развитием урбанизации, что привлекает большое количество разнообразных слоев населения, готовых к активизации в результате различных

социальных расколов (Tilly, 1995). Более того, учитывая, что усилия по подрыву государственных сил эффективны скорее в городах, некоторые ключевые города и крупные мегаполисы становятся главными площадками для лидеров общественных движений (Гринин, Коротаев, 2009; Gledistch, Rivera, 2017).

Начиная с работы М. Кастельса «The City and the Grassroots2 (Castells, 1983), многие исследования социальных движений были сосредоточены именно на событиях, происходящих в городских условиях. Было высказано предположение, что современный мегаполис стал таким же центром социальных движений и других общественных сил, каким были фабрики для движений XIX и XX веков, благодаря чему мегаполисы превратились в «пространство общего» (space of the common) (Hardt, Negri, 2009: 250). Эти «городские социальные движения», известные в 1960-х годах благодаря различным движениям бедных слоев городского населения и новым социальным движениям в 1970-х годах, ставят своей целью трансформацию общественных отношений в городском пространстве и характеризуются требованием «права на город», в котором они живут (Hamel, 2014; Harvey, 2012; Castells, 1972; Eckstein, 1989; Escobar, Sonia, 1992; Jelin, 1987; Schuurman, Naerssen, 2011; Slater, 1985; Wignaraja, 1993). В отличие от рабочих XIX века, которые рассматривали город как главную арену своей борьбы (Tarrow, 2003: 64), современные городские социальные движения считают город не только ареной борьбы, но и целью преобразований (Brenner, 2013). Чтобы проиллюстрировать этот момент, мы можем найти ряд примеров социальных движений в Латинской Америке, которым удалось внедрить общественные советы и кооперативные предприятия в ранее существовавшие институты в попытке демократизировать свое сообщество (Zibechi, 2010). Даже если эти движения не способны изменить общество в целом, зачастую они могут трансформировать локальную культуру, внедряя новые «городские смыслы» — достижимую цель для многих групп населения (Castells, 1983: 304).

Эти движения становятся все более заметными по мере развития экономики и урбанизации из-за растущего числа людей, живущих в условиях нищеты и в плохих жилищных условиях. Согласно оценкам Программы ООН по населенным пунктам (UN Human Settlements Programme), процент населения, живущего в «трущобах» с неадекватными жизненными условиями, равнялся 30% в 2014 году, что эквивалентно примерно 881 миллиону городских жителей (UN Habitat, 2016: 13). Эта часть городского населения, заинтересованная в активных действиях, может прибегнуть к протестам и беспорядкам, когда их структурное положение в обществе воспринимается как несправедливое, как, например, в случае протестов против МВФ в 1980-х годах (Davis, 2017: 158–63; Walton, Ragin, 1990; Walton, Seddon, 1994: 39–45). В исследовании 56 стран-должников Дж. Уолтон и Ч. Рагин (Walton, Ragin, 1990) обнаружили связь между повышенной урбанизированностью тех стран, где международные агентства, такие как Международный валютный фонд, принимают активное участие во внутренней экономической политике, и интенсивностью антиправительственных протестов.

Процесс урбанизации очень тесно связан с наблюдающимся при модернизации ускорением экономического роста. Большая часть этого роста обусловлена перемещением рабочей силы из традиционных секторов, сосредоточенных в сельской местности, в современные, расположенные в городах (Korotayev et al., 2011). По мере экономического роста и накопления общественных ресурсов в городах они становятся более приспособленными к поддержанию деятельности большого населения (Zinkina et al., 2019: 131–134). На рисунке 3 показано соотношение между подушевым ВВП и уровнем урбанизации.

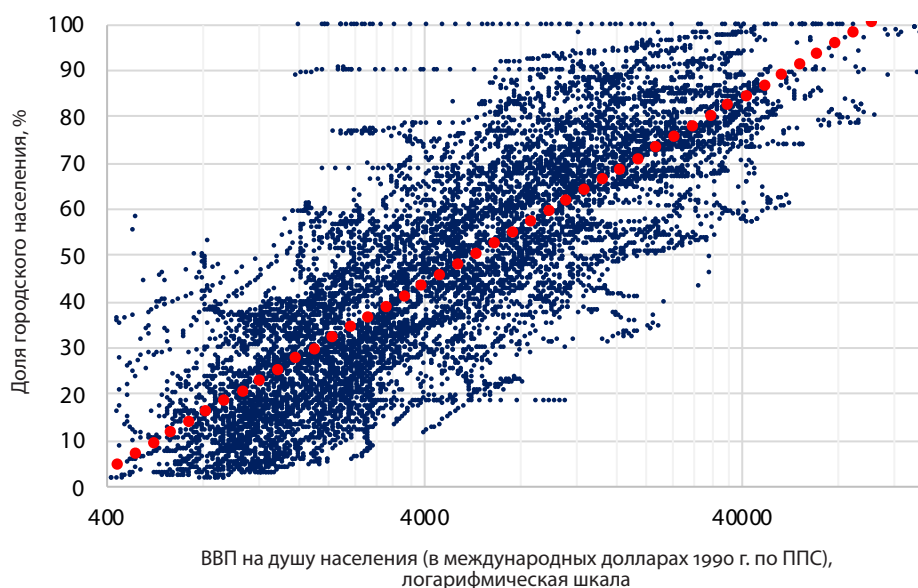


Рис. 3. Урбанизация и ВВП на душу населения. Источник данных: Corpedge et al., 2019

«Молодежные бугры»

«Молодежный бугор» (повышенная доля молодежи в общей численности населения) привлекает внимание всех, кто исследует «демографическое давление» и социально-политическую дестабилизацию (Moller, 1968; Goldstone, McAdam, 2001; Urdal, 2008; Korotayev, Zinkina, 2011). Дж. Голдстоун и Д. Макадам (Goldstone, McAdam, 2001) предполагают, что этот феномен можно было наблюдать, например, в качестве фактора роста числа и значимости Новых левых в США и Европе. Многочисленное поколение «бэби-бумеров», которые стали бенефициарами беспрецедентного экономического роста и повышения уровня образования, оказалось более склонно к риску. Другой пример можно найти в СССР. Анализ панельных данных за период 1984–2012 годов более чем в 100 странах (Farzanegan, Witthuhn, 2017) показывает, что коррупция является дестабилизирующим факто-

ром, только когда она сопровождается «бомбой замедленного действия» — «молодежным бугром» в 20% и более. Голдстоун отмечает, что «молодежные бугры» в Центральной Азии вместе с большим количеством молодых людей, получивших техническое образование и ощущающих недостаток возможностей для реализации, могли потенциально стать главной причиной падения Советского блока (Goldstone, 2002). Он утверждает, что «молодежные бугры» в целом имеют тенденцию сопровождаться возникновением социально-политической дестабилизации (Goldstone, 1991).

Такая политико-демографическая тенденция наиболее распространена в странах с развивающейся экономикой, проходящих первую фазу демографического перехода с характерным для него снижением младенческой и детской смертности, что и сопровождается увеличением доли молодежи в общей численности взрослого населения (Вишневский, 1976; Moller, 1968; Chesnais, 1992; Caldwell, 2006). Х. Урдал (Urdal, 2008), например, обнаружил, что в Индии «молодежные бугры», существующие в условиях высокого городского неравенства, оказывают серьезное влияние на вооруженные конфликты, политическое насилие и беспорядки. В определенных условиях, таких как высокий уровень безработицы, расширение доступа к образованию без соответствующего увеличения занятости, отсутствие политической открытости или повышение уровня урбанизации, молодежь статистически более склонна прибегать к актам насилия. При этом, рассматривая значительный гендерный дисбаланс (с заметным превышением численности мужчин над численностью женщин), Урдал считает его значимым фактором повышенного уровня политического насилия. Ряд исследователей пришли к такому же выводу, изучая политико-демографические процессы и неравенство в Индонезии (Østby et al., 2011). С момента событий «Арабской весны» феномен «молодежных бугров» привлекал интерес многих ученых (Korotayev et al., 2011; Korotayev, Zinkina, 2011; Korotayev et al., 2013; LaGraffe, 2012; Коротаев, Ходунов, 2012). Их исследования показали, что стремительный рост численности образованной молодежи мог стать важным фактором «Арабской весны» (LaGraffe, 2012; Korotayev et al., 2011; Korotayev, Zinkina, 2011; Korotayev, Issaev et al., 2013; Коротаев, Зинькина, 2011а, 2011б, 2011в; Коротаев, Ходунов, 2012; Малков и др., 2013). На Шри-Ланке рост численности населения в 1971 году привел к увеличению числа молодых людей, оставшихся без работы в последующие годы, и оказал существенное влияние на повышение уровня политического насилия (Braunghart, 1984). На фоне сепаратистского движения 1970-х годов в иранском Курдистане быстрый рост доли молодежи, составлявшей 33,1% от общей численности населения, наряду с экономическим кризисом стал важным фактором роста политического насилия (Ходунов, 2014). В другом исследовании была отмечена значимая связь между террористической активностью в отдельно взятой стране и долей молодого населения в этой стране (Lia, 2007). Для возникновения социально-политической дестабилизации «молодежный бугор» должен существовать в контексте социально-экономических проблем (Lia, 2007). Рассматривая радикальный исламский терроризм, Хантингтон (Huntington,

1996) утверждает, что ислам как религия не более жесток, чем другие религии. Он объясняет феномен исламского терроризма ростом рождаемости в некоторых исламских странах в 1960-х и 1970-х годах, что способствовало развитию террористических движений в последующие десятилетия (Huntington, 1996). В целом положительная корреляция между «молодежными буграми» и политическим насилием была подтверждена в целом ряде исследований (Goldstone, 1991; Huntington, 1996; Goldstone, 2002; Urdal, 2004, 2006, 2008; Urdal, Hoelscher, 2012; Yair, Midownik, 2016; Flückiger, Ludwig, 2018; Yair, Miodownik, 2018; Weber, 2019), в то время как лишь в очень немногих работах эта корреляция оказалась статистически незначимой (Fearon, Laitin, 2004; Collier, Hoeffler, 2004).

Молодые люди более склонны протестовать, в то время как пожилые делают это значительно реже (Krostelka, Rovny, 2019; Machado, Scatascini, Tommasi, 2011; Moller, 1968; Moseley, 2015). В исследовании, посвященном активности в твиттере протестующих на акции «Оккупай Уолл-стрит», было обнаружено, что «молодое и более технически подкованное поколение» составляло большую часть движения (Tan et al., 2013). Все эти результаты представляются осмысленными, особенно учитывая внутреннее стремление молодежи к прямым активным действиям, новым идеям и идеологиям, которые предлагают улучшение общества (Goldstone, 2002; Moller, 1968).

«Молодежные бугры» принято считать значимыми факторами антиправительственных протестов по нескольким причинам. Голдстоун утверждает, что «большие группы молодежи восприимчивы к новым идеям и неортодоксальным религиям, бросая вызов старым формам власти. При этом молодые люди несут меньшую ответственность перед своей семьей и карьерой, а значит, они достаточно легко мобилизуются для участия в социальных и политических конфликтах» (Goldstone, 2002: 10–11). Урдал предлагает схожее объяснение, утверждая, что склонность молодежи (которая сталкивается с низкими альтернативными издержками по сравнению с более старшими возрастными группами) участвовать в акциях протеста и других мероприятиях особенно проявляется в те времена, когда государство не может обеспечить потребности молодежи (Urdal, 2006). Голдстейн и другие авторы указывают на высокий гормональный уровень у молодых мужчин, который, по их мнению, предрасполагает их к участию в протестах (Goldstein, 2004; Hudson, Den Boer, 2004).

Совместный эффект урбанизации и роста доли молодежи: «городские молодежные бугры» как фактор протестной деятельности

Высокая значимость таких факторов, как урбанизация и «молодежные бугры», заставляет задуматься о том, могут ли эти две переменные быть связаны. Действительно, если протестные события чаще возникают в урбанизированной среде (Gledistch, Rivera, 2017; Tilly, 1995), а молодые поколения более склонны к участию в протестах (Goldstone, 2002: 10–11; Machado, Scatascini, Tommasi, 2011; Moseley,

2015; Krostelka, Rovny, 2019; Urdal, 2006), логично предположить, что вместе оба эти процесса должны приводить к особо высокому уровню протестной активности. Как уже упоминалось выше, урбанизацию и рост доли молодежи не всегда стоит рассматривать как независимые явления, поскольку на определенном уровне анализа оба этих процесса можно рассматривать как две достаточно тесно связанные между собой стороны социально-экономического развития. Это обстоятельство учитывается, например, в модели «на выходе из мальтузианской ловушки», суть которой может быть изложена следующим образом:

(1) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки по определению означает снижение смертности, а следовательно, и резкое ускорение темпов роста населения (что уже само по себе могло вести к определенному росту социально-политической напряженности). (2) Начало устойчивого выхода из мальтузианской ловушки сопровождалось особенно сильным уменьшением младенческой и детской смертности. Все это вело к резкому росту пропорции молодежи в общей численности населения вообще и в численности взрослого населения в частности (так называемому «молодежному бугру»). (3) В результате наблюдается резкий рост пропорции той самой части населения, которая в наибольшей степени склонна к насилию, агрессии и радикализму, что уже само по себе выступает мощным фактором политической дестабилизации. (4) Быстрый рост общей численности молодежи требует кардинально увеличивать создание новых рабочих мест, что представляет очень сложную задачу. Всплеск же молодежной безработицы может иметь особо мощный политически дестабилизирующий эффект, создавая армию потенциальных участников («горючий материал») для всевозможных политических (и в том числе революционных) потрясений. (5) Выход из мальтузианской ловушки стимулирует мощный рост городского населения. Кроме того, вытеснение избыточного населения из деревни дополнительно усиливается бурным ростом производительности труда в сельском хозяйстве. Массированная миграция из деревни в город практически неизбежно порождает заметное количество недовольных своим положением, поскольку мигранты из деревни в первое время после переселения могут рассчитывать лишь на самую низкоквалифицированную малооплачиваемую работу... (6) В города из деревни обычно мигрирует прежде всего именно молодежь. Таким образом, фактор «молодежного бугра» и фактор интенсивной урбанизации действуют совместно, производя в совокупности очень мощное дестабилизирующее воздействие. Особенно быстро растет численность именно молодой наиболее радикально настроенной части городского населения, при этом такая молодежь оказывается сконцентрированной в наиболее крупных городах/политических центрах. (Коротаев, Малков, 2014: 82–83)³

Таким образом, молодое население периферии и полупериферии мир-системы, которое живет в условиях городской нищеты, с высокой вероятностью может вы-

3. См. также: Коротаев, Гринин и др., 2011; Коротаев, Халтурина и др., 2011; Коротаев, 2012; Коротаев, Малков и др., 2012; Садовничий и др., 2012; Korotayev, Zinkina et al., 2011; Korotayev, 2014; Korotayev, Malkov, Grinin, 2014.

йти на улицы, чтобы попытаться улучшить свои условия, особенно если чрезмерное богатство находится в их непосредственной близости к бедности (Davis, 2017: 158–63; Piven, Cloward, 1979).

Как указывалось ранее, семьи, живущие в городских условиях, как правило, имеют плотные личные связи и чаще сталкиваются с политическим предпринимательством (Tilly, 1995). Общественные ресурсы города позволяют тем, кто имеет к ним доступ, проводить более успешные кампании, становиться лидерами движений и эффективнее мобилизовывать сторонников, предъявляя более жесткие требования к властям (Morris, Staggenborg, 2007: 174–176; Rejai, Phillips, 1988; Veltmeyer, Petras, 2002). Доступ к ресурсам важен как для обучения молодежи, так и для доступа к интернет-технологиям, которые увеличивают склонность людей выходить на улицы в знак протеста (Hall, Rodghier, Useem, 1986; Jenkins, Wallace, 1996; Olson, 1963; Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2018; Tan et al., 2013). Таким образом, доступ к общественным ресурсам, аккумулированным в городах, может быть побуждающим фактором для молодежных протестов.

Кроме того, стоит вспомнить, что городские антиправительственные протесты могут происходить чаще из-за того, что усилия по подрыву государственной власти там более эффективны, как это показывают К. Гледич и М. Ривера (Gledistch, Rivera, 2017). А как утверждают Дж. Голдстоун и Д. Макадам (Goldstone, McAdam, 2001), молодежь, склонная к риску и способная быть бенефициаром инфраструктурных возможностей, предоставляемых городской жизнью, может стать движущей силой мощных протестов, включая и антиправительственные демонстрации.

Наконец, учитывая, что молодежь часто сталкивается с высоким уровнем безработицы, не имеет доступа к капиталу и оказывает меньшее влияние на государственных чиновников, чем старшее поколение, она становится более склонной к участию в городских социальных движениях. Теория Урдала (Urdal, 2006) утверждает, что молодежь, которая сталкивается с низкими альтернативными издержками при участии в акциях протеста, чувствует себя предрасположенной поступать именно так, когда государство не в состоянии обеспечить нужды молодого поколения. В результате городские социальные движения высказывают запрос на «право на город» и демократизацию общественных отношений с созданием условий, более благоприятных для молодежи (Hamel, 2014; Harvey, 2012; Castells, 1972; Eckstein, 1989; Escobar, Sonia, 1992; Jelin, 1987; Schuurman, Naerssen, 2011; Slater, 1985; Wignaraja, 1993).

Данные и методология

Чтобы проверить гипотезу о совместном эффекте урбанизации и роста доли молодежи (т. е. эффект «городских молодежных бугров»), мы намерены использовать сведения из базы данных Cross-National Time-Series (CNTS) (Banks, Wilson, 2019), которая содержит главную для нас зависимую переменную — «антиправительственные демонстрации». А. Бэнкс и К. Уилсон определяют антиправительствен-

ные демонстрации как «любое мирное публичное собрание не менее 100 человек, главной целью которых является выражение своего несогласия с государственной политикой или властью» (Wilson, 2019: 13).

Для выделения доли молодежи (от 15 до 29 лет) от общей численности взрослого населения, или «молодежного бугра», мы используем демографические данные, предоставленные Отделом народонаселения ООН (United Nations Population Division, 2019). Эти данные содержат наблюдения за период с 1950 по 2016 год для интересующей нас переменной. Наша переменная для уровня урбанизации определена как «отношение городского населения ко всему населению» и взята из базы данных «Разновидности демократии» (V-Dem) (Coppedge et al., 2019). Как было сказано ранее, мы вводим новую переменную «городской молодежный бугор» (доля городской молодежи в возрасте 15–29 лет в общей численности взрослого населения) в качестве нашей главной независимой переменной. Для измерения данного параметра мы используем уровень урбанизации из базы «Разновидности демократии» (V-Dem) и процент населения от 15 до 29 лет («молодежный бугор») из базы данных Отдела народонаселения ООН.

Мы вводим контроли на ВВП на душу населения⁴, тип политического режима⁵ и уровень охвата населения формальным образованием⁶.

Наша переменная для ВВП на душу населения взята из базы данных проекта Мэддисона (Maddison Project Database), представленной в проекте «Разновидности демократии» (V-Dem) (Bolt, Inklaar, de Jong, van Zanden, 2018; Coppedge et al., 2019). Эта база данных выбрана нами из-за временного периода (с 1950 по 2016 год), который она покрывает, поскольку важнейший период с 1950 по 1970 год не представлен в базах данных, предоставляемых Всемирным банком. Чтобы обеспечить нормализацию ВВП на душу населения, мы будем использовать логарифм.

В качестве контрольной переменной для типа политического режима мы используем тот же подход, что и Дж. Голдстоун с соавторами (Goldstone et al., 2010) в своей глобальной модели прогнозирования политической нестабильности. При этом наши модели учитывают тот факт, что наибольшее отличие в интенсивности демонстраций наблюдается для полностью авторитарных режимов. Наша переменная дополняет используемую Голдстоуном (Goldstone et al., 2010), чтобы проде-

4. Об экономическом развитии вообще и росте подушевого ВВП в частности как факторе протестной активности см.: Lipset, 1959; Boix, 2011; Brunk, Caldeira, Lewis-Beck, 1987; Burkhart, Lewis-Beck, 1994; Cutright, 1963; Dahl, 1971; Epstein, Bates, Goldstone, Kristensen, O'Halloran, 2006; Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2018; Londregan, Poole, 1996; Moore, 1966; Przeworski, Limongi, 1997; Rueschemeyer, Stephens, Stephens, 1992; Коротаев, Билюга, Шишкина 2017а, 2017б; Коротаев, Васькин, Билюга, 2017а.

5. О типе политического режима как факторе протестной активности см.: Tilly, Wood, 2009: 137–139; Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2018; Korotayev, Issaev, Zinkina, 2015; Slinko et al., 2017; Коротаев, Исаев, Васильев, 2015; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2016; Коротаев, Слинько и др., 2016.

6. Об уровне охвата населения формальным образованием как факторе протестной активности см.: Brinton, 1952; Flacks, 1971; Hall, Rodghier, Useem, 1986; Huntington, 1968; Jenkins, Wallace, 1996; Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2018; Morris, Staggenborg, 2007: 174–176; Oberschall, 1973; Olson, 1963; Rejai, Phillips, 1988; Sawyer, Korotayev, 2021; Veltmeyer, Petras, 2002; Гринин и др. 2017; Коротаев, Билюга, Шишкина, 2017.

монстрировать дихотомию между полностью авторитарными режимами и всеми остальными, через введение фиктивной переменной.

Что касается охвата населения формальным образованием, наши модели используют переменную, обозначающую среднее количество лет, потраченных на образование после достижения возраста 15 лет, из базы данных V-Dem (Copperedge et al., 2019). Поскольку страны с большим населением более склонны к протестам из-за явных демографических особенностей, мы учитываем это в наших моделях, вводя контроль на численность населения в данных странах. Данные о численности населения также взяты из базы данных V-Dem (Copperedge et al., 2019) и представлены в логарифмической шкале для нормализации. Т. Нэм (Nam, 2007) утверждает, что большое с точки зрения теории рационального выбора население может создавать возможности для коммуникации и организации, способствуя вспышке ненасильственных демонстраций, предлагая решение «дилеммы повстанцев» (Rebel's Dilemma) (Lichmach, 1995). Б. Пауэлл (Powell, 1982) отмечает, что размер населения оказывает влияние на возникновение беспорядков и протестов в демократических странах в связи с тем, что государственным властям становится все труднее обуздать вспышки различных форм коллективных действий, когда численность населения увеличивается.

Наша методология включает использование отрицательной биномиальной регрессии (Hilbe, 2011), которая позволяет избежать систематических отклонений, связанных с ненормализованным пуассоновским распределением зависимой переменной, содержащей большое количество нулевых значений, что и наблюдается для нашей зависимой переменной. В данном случае мы не можем применить стандартную параметрическую МНК-регрессию, которая предполагает нормальное распределение зависимой переменной. Более того, поскольку наши данные включают наблюдения как для каждой страны, так и для каждого года, организованные в виде панельных данных, мы, чтобы учесть это, вводим фиксированные эффекты для обоих показателей.

Результаты

Проведенная в соответствии с вышеописанной методологией негативная биномиальная регрессия (с числом антиправительственных демонстраций в качестве зависимой переменной) показывает наличие статистически значимых корреляций в предсказанном направлении с «молодежными буграми» и уровнем урбанизации, так же как с уровнем образования⁷ и населением (см. табл. 1, модель 1).

Отметим, что при добавлении этих контрольных переменных, изначально положительная корреляция между ВВП на душу населения и антиправительственными

7. Здесь важно отметить, что в наших тестах «образование» понимается как «среднее количество лет обучения после достижения 15 лет» в конкретной стране в данном году (Copperedge et al., 2019).

ми демонстрациями и становится отрицательной⁸. Важно отметить значительный эффект, который урбанизация оказывает на количество антиправительственных демонстраций. Таким образом, эти результаты подтверждают более ранние выводы, подчеркивая релевантность урбанизации как фактора роста интенсивности ненасильственных протестов. Кроме того, еще более значимый результат для «молодежного бугра» также подтверждает предыдущие исследования, в которых говорится, что «молодежные бугры» положительно коррелируют с интенсивностью протестов.

После введения нашей основной независимой переменной — «городского молодежного бугра»⁹, мы фиксируем особенно сильную связь между данной переменной и антиправительственными демонстрациями (см. табл. 1, модель 2). Отметим, что полученное значение намного больше, чем значения для переменных «молодежный бугор» и «уровень урбанизации», взятых в отдельности. Другие контрольные переменные, ВВП на душу населения и численность населения, остаются значимыми. При этом тип политического режима в наших моделях оказывается статистически незначимым. С другой стороны, мы обнаруживаем позитивную значимую связь образования с антиправительственными демонстрациями, подтверждая различные теории формирования протеста, рассматривающие образование в качестве фактора его распространения. Особенно интересным нам представляется тот факт, что при добавлении всех контрольных переменных, уровень образования становится более значимым, чем демократизация, которая оказывается малозначимой при контроле на эффект «молодежного бугра». ВВП на душу населения демонстрирует значительные отрицательные значения для всех моделей, что является дополнительным доказательством того факта, что увеличение ВВП на душу населения, при учете других социально-политических изменений, таких как демократизация, образование, урбанизация и увеличение «молодежного бугра», на самом деле может быть смягчающим фактором в отношении формирования протестных движений. Наконец, как и ожидалось, при введении контрольных переменных для демократизации, уровня образования, ВВП на душу населения и численности населения переменная «городской молодежный бугор» показывает самый высокий уровень значимости. Таким образом, наша основная гипотеза о том, что высокая доля городской молодежи в общей численности взрослого населения должна быть особенно сильным фактором повышенной интенсивности антиправительственных демонстраций (значительно более сильным, чем урбанизация или «молодежный бугор», взятые по отдельности), нашла эмпирическое подтверждение.

8. С другой стороны, без введения контрольных переменных для урбанизации, образования и демократизации данная связь является значимо положительной. Однако при введении всех упомянутых контрольных переменных увеличение ВВП на душу населения становится фактором, оказывающим ингибирующее влияние на протестную активность (подробнее о причинах этого феномена см.: Korotayev, Bilyuga, Shishkina, 2018; Коротаев и др., 2020).

9. Напоминаем читателю, что в наших тестах «городской молодежный бугор» операционализирован как доля городской молодежи (15–29 лет) в общей численности взрослого населения.

Таблица 1. Негативная биномиальная регрессия с интенсивностью антиправительственных демонстраций в качестве зависимой переменной, 1950–2016 гг.

	Модель 1			Модель 2		
	Коэф.	t	IRR	Коэф.	t	IRR
«Городской молодежный бугор», %				0,070*** (0,008)	9,055	1,072
«Молодежный бугор» (15–29), %	0,056*** (0,008)	6,920	1,058			
Доля городского населения, %	0,025*** (0,004)	5,790	1,026			
ВВП на душу населения (log)	–0,182* (0,093)	–1,950	0,833	–0,264*** (0,080)	–3,292	0,768
Население (log)	0,286*** (0,037)	7,751	1,332	0,278*** (0,037)	7,566	1,320
Полностью автократические [=1] vs. остальные режимы [=0]	–0,008 (0,032)	–0,256	0,992	–0,016 (0,032)	–0,496	0,984
Средняя продолжительность обучения (15+)	0,081*** (0,030)	2,689	1,085	0,069** (0,027)	2,521	1,071
Фикс. эффекты по годам	Да	Да				
Фикс. эффекты по странам	Да	Да				
№	5672	5672				
Инф. крит. Акаике	7851	7852				

Примечание: *** $p < 0,01$, ** $p < 0,05$, * $p < 0,1$

Результаты наших тестов показывают, что комбинированный эффект урбанизации и увеличения доли молодежи во взрослом населении является действительно сильным предиктором интенсивности антиправительственных демонстраций. Этот результат довольно интуитивен, поскольку каждая из этих переменных (урбанизация и доля молодежи) сама по себе — надежный предиктор антиправительственных протестов. Учитывая данный факт, мы имели теоретические основания полагать, что одновременный эффект этих переменных будет еще более сильным. Таким образом, главный вывод нашего исследования: повышение уровня урбанизации вместе с возникновением большого «молодежного бугра» является сильным позитивным предиктором антиправительственных протестов.

Несмотря на то, что рассмотренные нами переменные («городской молодежный бугор», образование, демократизация) оказываются исключительно значимыми факторами распространения протестной активности, мы ни в коем случае не утверждаем, что они являются единственными. Так, Р. Инглхарт и К. Вельцель (Inglehart, Welzel, 2005; Инглхарт, Вельцель, 2011) выделяют еще один фактор, утверждая, что увеличение ВВП на душу населения в современном мире сопровождается переходом от материалистических ценностей выживания к постматериалистическим ценностям самовыражения. Они приводят эмпирические свидетельства

в поддержку своего утверждения, опираясь на Всемирный обзор ценностей (World Values Surveys) (Inglehart et al., 2014). Опрошенные, придерживающиеся ценностей самовыражения, как правило, участвуют в антиправительственных демонстрациях с большей частотой, чем приверженцы ценностей выживания. Кроме того, даже если они не участвовали в протестах, они все равно имеют тенденцию утверждать, что хотели бы принять в них участие (Inglehart, Welzel, 2005; Инглхарт, Вельцель, 2011). Поскольку использование наблюдений, для которых у нас есть эмпирические данные, относящиеся к ценностям выживания, значительно сократило бы размер нашей выборки (на два порядка), мы сочли неуместным добавлять их в качестве контроля в нашу регрессионную модель. Как было сказано ранее, анализ роли, которую играют ценности в распространении ненасильственных антиправительственных протестов, выглядит перспективным направлением для будущих исследований.

Заключение

В данной статье было продемонстрировано влияние «городских молодежных бугров» (как результирующей процессов урбанизации и увеличения доли молодого населения) на интенсивность антиправительственных протестов. В качестве значимых предикторов интенсивности антиправительственных демонстраций выступают как уровень урбанизации (измеряемый через долю горожан в общей численности населения), так и доля молодежи в общей численности взрослого населения. Ряд исследований показывает, что протестные события намного чаще происходят в городах (Geldistch, Rivera, 2017; Tilly, 1995), а молодые люди более склонны к участию в протестах (Goldstone, 2002: 10–11; Machado, Scatascini, Tommasi, 2011; Moseley, 2015; Krostelka, Rovny, 2019; Urdal, 2006). В связи с этим мы сочли разумным выдвинуть гипотезу о том, что сочетание двух этих процессов, которое часто происходит одновременно в процессе модернизации, будет иметь важное значение для генерирования антиправительственных протестов.

Наши тесты говорят в поддержку гипотезы о «городских молодежных буграх», поскольку результаты имеют высокий уровень значимости для прогнозирования антиправительственных демонстраций и превосходят по своей силе другие факторы, такие как демократизация, образование или ВВП на душу населения. Это не значит, что данные переменные совершенно не важны. Наши результаты показывают лишь то, что «городской молодежный бугор» оказывается здесь более сильным фактором.

Обе наши исходные переменные, «молодежные бугры» и уровень урбанизации, являются во многом результатом роста ВВП на душу населения. С ускорением экономического роста на ранних фазах модернизации новые технологии и практики позволяют сократить младенческую и детскую смертность, что дает рост доли молодого населения (Коротаев, Малков, 2014; Korotayev et al., 2011). Вместе с тем ускорение экономического роста приводит к ускорению миграции населения из сельской местности, где преобладают традиционные формы занятости, в большие

города, где аккумулируются общественные ресурсы (Zinkina et al., 2019: 131–134). Однако рост ВВП на душу населения также приводит к появлению других социально-политических факторов, которые оказывают влияние на распространение протестов: демократизация, рост населения и распространение образования. Таким образом, хотя урбанизация и рост численности молодежи вместе являются особенно сильными предикторами протестной активности, в конечном счете именно экономические факторы становятся движущей силой этих изменений.

Кроме того, наше исследование предоставляет дополнительные доказательства тезиса о «выходе из мальтузианской ловушки», которая может привести к ситуациям социально-политической дестабилизации в периферийных и полупериферийных странах. Как было сказано ранее, наша основная переменная, «городской молодежный бугор», является мощным фактором роста интенсивности антиправительственных протестов, что ведет также к распространению социальных движений, выступающих за различные формы демократизации, такие как движения за политическую демократизацию в странах с авторитарным режимом, городские общественные движения, целью которых является преобразование социальных отношений в городе и повышение уровня жизни, или движения бедных, стремящихся к экономической справедливости. На рисунке 4 можно наблюдать увеличение числа протестных событий по мере перехода от экономик с низким уровнем дохода к странам с высоким уровнем. Особенно высокий уровень протестной активности можно наблюдать в странах со средним уровнем дохода, где рост урбанизации и численности населения значительно выше, чем в остальных.

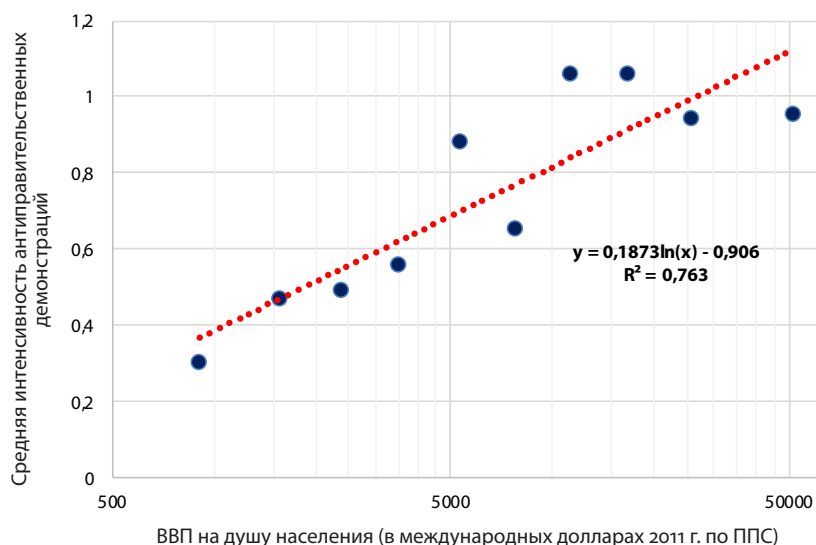


Рис. 4. Корреляция по децилям между ВВП на душу населения (в международных долларах на 2011 г.) и интенсивностью антиправительственных демонстраций за 1960–2015 гг. (диаграмма рассеивания с наложенной линией логарифмической регрессии). Источник: Korotayev, Vaskin et al., 2018: 19.

Таким образом, мы считаем, что текущее исследование позволяет сделать важные для теории социальных движений выводы. Перемещение людей, особенно молодежи, из сельской местности в города представляется важным фактором увеличения протестной активности. Представителям теории социальных движений стоит учитывать это общее социальное явление при проведении исследований социальных движений в странах мир-системной периферии, которые в настоящее время проходят процесс модернизации. Что касается развитых экономик, этот эффект становится менее актуальным из-за эффекта насыщения в отношении урбанизации, завершения демографического перехода и последующего старения населения. В таких странах на первый план выходят другие факторы. Однако наши результаты подчеркивают необходимость исследования роли городской молодежи развитых стран в отношении политических протестов. Это может стать перспективным направлением для будущих исследований.

Литература

- Вишневский А. Г. (1976). Демографическая революция. М.: Статистика.
- Вишневский А. Г. (2005). Избранные демографические труды. Т. 1: Демографическая теория и демографическая история. М.: Наука.
- Гринин Л. Е., Билюга С. Э., Коротаев А. В., Малыженков С. В. (2017). Доля студентов в общей численности населения и социально-политическая дестабилизация: опыт количественного анализа // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 4. С. 35–47.
- Гринин Л. Е., Коротаев А. В. (2009). Урбанизация и политическая нестабильность: к разработке математических моделей политических процессов // *Полис. Политические исследования*. № 4. С. 34–52.
- Инглхарт Р., Вельцель К. (2011). Модернизация, культурные изменения и демократия: последовательность человеческого развития / Пер. с англ. В. Коробочкина под ред. Ю. Кузнецова. М.: Новое издательство.
- Коротаев А. В. (2012). Ловушка на выходе из ловушки: к математическому моделированию социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии // *Тощенко Ж. Т. (ред.). Социология и общество: глобальные вызовы и региональное развитие*. М.: РСО. С. 1483–1489.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2016). ВВП на душу населения, уровень протестной активности и тип режима: опыт количественного анализа // *Сравнительная политика*. Т. 7. № 4. С. 72–94.
- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2017а). ВВП на душу населения, интенсивность антиправительственных демонстраций и уровень образования: кросс-национальный анализ // *Полития: Анализ. Хроника. Прогноз*. № 1. С. 127–143.

- Коротаев А. В., Билюга С. Э., Шишкина А. Р. (2017б). Экономический рост и социально-политическая дестабилизация: опыт глобального анализа // Полис. Политические исследования. № 2. С. 155–169.
- Коротаев А., Васькин И., Билюга С. (2017). Гипотеза Олсона–Хантингтона о криволинейной зависимости между уровнем экономического развития и социально-политической дестабилизацией: опыт количественного анализа // Социологическое обозрение. Т. 16. № 1. С. 9–49.
- Коротаев А. В., Гринин Л. Е., Божевольнов Ю. В., Зинькина Ю. В., Малков С. Ю. (2011). Ловушка на выходе из ловушки: логические и математические модели // Акаев А. В., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю. (ред.). Проекты и риски будущего: концепции, модели, инструменты, прогнозы. М.: Красанд/URSS. С. 138–164.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2011а). Демографические корни египетской революции // Демоскоп. С. 459–460. URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0459/tema01.php> (дата доступа: 17.12.2020).
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2011б). Египетская революция 2011 г. Структурно-демографический анализ // Азия и Африка сегодня. Т. 6. № 647. С. 10–16.
- Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. (2011в). Египетская революция 2011 года: социодемографический анализ // Историческая психология и социология истории. Т. 4. № 2. С. 5–29.
- Коротаев А. В., Исаев Л. М., Васильев А. М. (2015). Количественный анализ революционной волны 2013–2014 гг. // Социологические исследования. № 8. С. 119–127.
- Коротаев А. В., Малков С. Ю. (2014). Ловушка на выходе из мальтузианской ловушки в современных модернизирующихся обществах // История и Математика. № 10. С. 43–98.
- Коротаев А. В., Малков С. Ю., Бурова А. Н., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. (2012). Ловушка на выходе из ловушки. Математическое моделирование социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии и события «Арабской весны» 2011 г. // Акаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю. (ред.). Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития. М.: ЛИБРОКОМ/URSS. С. 210–276.
- Коротаев А. В., Мецерица К. В., Исаев Л. М., Искосков А. С., Херн У. Д., Дельянов В. Г., Куликова Е. Д. (ред.). (2016). «Арабская весна» как триггер глобальной социально-политической дестабилизации: опыт систематического анализа // Системный мониторинг глобальных и региональных рисков. Т. 7. С. 22–126.
- Коротаев А. В., Мецерица К. В., Куликова Е. Д., Дельянов В. Г. (2017). «Арабская весна» и ее глобальное эхо: количественный анализ // Сравнительная политика. Т. 8. № 4. С. 113–126.
- Коротаев А. В., Слинко Е. В., Шульгин С. Г., Билюга С. Э. (2016). Промежуточные типы политических режимов и социально-политическая нестабильность. Опыт количественного кросс-национального анализа // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз. № 3. С. 31–52.

- Коротаев А. В., Сойер П. С., Гринин Л. Е., Шишкина А. Р., Романов Д. М. (2020). Социально-экономическое развитие и антиправительственные протесты в свете новых результатов количественного анализа глобальных баз данных // Социологический журнал. Т. 26. № 4. С. 25–41.
- Коротаев А. В., Халтурина Д. А., Кобзева С. В., Зинькина Ю. В. (2011). Ловушка на выходе из ловушки? О некоторых особенностях политико-демографической динамики модернизирующихся систем // Акаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю. (ред.). Проекты и риски будущего: концепции, модели, инструменты, прогнозы. М.: Красанд/URSS. С. 45–88.
- Коротаев А. В., Ходунов А. С. (2012). К прогнозированию динамики социально-политической дестабилизации в странах мир-системной периферии: Ближний Восток versus Латинская Америка // Акаев А. А., Коротаев А. В., Малинецкий Г. Г., Малков С. Ю. (ред.). Моделирование и прогнозирование глобального, регионального и национального развития. М.: ЛИБРОКОМ/URSS. С. 337–386.
- Коротаев А. В., Шишкина А. Р., Исаев Л. М. (2016). «Арабская весна» как триггер глобального фазового перехода? // Полис. Политические исследования. № 3. С. 108–122.
- Коротаев А. В., Шишкина А. Р., Лухманова З. Т. (2017). Волна глобальной социально-политической дестабилизации 2011–2015 гг.: количественный анализ // Полис. Политические исследования. № 6. С. 150–168.
- Малков С. Ю., Коротаев А. В., Исаев Л. М., Кузьминова Е. В. (2013). О методике оценки текущего состояния и прогноза социальной нестабильности: опыт количественного анализа событий «Арабской весны» // Полис. Политические исследования. № 4. С. 137–162.
- Садовничий В. А., Акаев А. А., Коротаев А. В., Малков С. Ю. (2012). Моделирование и прогнозирование мировой динамики. М.: ИСПИ РАН.
- Ходунов А. С. (2014). Иран: политико-демографическое развитие как фактор стабильности и потрясений // Азия и Африка сегодня. № 7. С. 26–30.
- Ходунов А. С., Коротаев А. В. (2012). Почему вторая волна агфляции привела к волне социально-политической дестабилизации на ближнем востоке, а не в Латинской Америке? // Коротаев А. В., Зинькина Ю. В., Ходунов А. С. (ред.). «Арабская весна» 2011 года: системный мониторинг глобальных и региональных рисков. М.: URSS. С. 463–507.
- Akaev A., Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2017). Technological Development and Protest Waves: Arab Spring as a Trigger of the Global Phase Transition? // Technological Forecasting and Social Change. Vol. 116. P. 316–321.
- Ang A., Shlomi D., Russell L. (2014). Protests by the Young and Digitally Restless: The Means, Motives, and Opportunities of Anti-government Demonstrations // Information, Communication & Society. Vol. 17. № 10. P. 1228–1249.
- Banks A., Wilson K. (2019). Cross-National Time-Series Data Archive. Jerusalem: Databanks International. URL: <http://www.databanksinternational.com> (дата доступа: 21.09.2020).

- Bartolini S., Mair P.* (1990). *Identity, Competition, and Electoral Availability: The Stability of European Electorates, 1885–1985*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Boix C.* (2011). Democracy, Development, and the International System // *American Political Science Review*. Vol. 105. № 4. P. 809–828.
- Brenner N.* (2013). Theses on Urbanization // *Public Culture*. Vol. 25. № 1. P. 85–114.
- Brinton C.* (1952). *The Anatomy of Revolution*. N.Y.: Vintage.
- Brunk G., Caldeira G., Lewis-Beck M.* (1987). Capitalism, Socialism, and Democracy: An Empirical Inquiry // *European Journal of Political Research*. Vol. 15. № 4. P. 459–470.
- Burkhart R., Lewis-Beck M.* (1994). Comparative Democracy: The Economic Development Thesis // *American Political Science Review*. Vol. 88. № 4. P. 903–910.
- Caldwell J. C.* (2006). *Demographic Transition Theory*. Dordrecht: Springer.
- Castells M.* (1972). *La question urbaine*. P.: François Maspéro.
- Castells M.* (1983). *The City and the Grassroots*. Berkeley: University of California Press.
- Chesnais J.-C.* (1992). *The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic Implications*. Oxford: Oxford University Press.
- Collier P., Hoeffler A.* (2004). Greed and Grievance in Civil War // *Oxford Economic Papers*. Vol. 56. № 4. P. 563–595.
- Coppedge M., Gerring J., Knutsen C. H., Lindberg S. I., Teorell J., Altman D., Bernhard M., Fish M. S., Glynn A., Hicken A., Lührmann A., Marquardt K.L., McMann K., Paxton P., Pemstein D., Seim B., Sigman R., Skaaning S., Staton J., Wilson S., Cornell A., Gastald L., Gjerløw H., Ilchenko N., Krusell J., Maxwell L., Mechkova V., Medzihorsky J., Pernes J., Von Römer J., Stepanova N., Sundström A., Tzelgov E., Wang Y., Wig T., Ziblatt D.* (2019). V-Dem Dataset v9 // Varieties of Democracy (V-Dem) Project. URL: <https://doi.org/10.23696/vdemcy19> (дата доступа: 16.10.2020).
- Cutright P.* (1963). National Political Development: Social and Economic Correlates // *Polsby N. W., Dentler R. A., Smith P. A.* (eds.). *Politics and Social Life: An Introduction to Political Behavior*. Boston: Houghton Mifflin. P. 569–582.
- Dahl R. A.* (1971). *Polyarchy: Participation and Opposition*. New Haven: Yale University Press.
- Davis M.* (2017). *Planet of Slums*. L.: Verso.
- Eckstein S.* (1989). *Power and Popular Protest in: Latin American Social Movements*. Berkeley: University of California Press.
- Epstein D., Bates R., Goldstone J., Kristensen L., O'Halloran S.* (2006). Democratic Transitions // *American Journal of Political Science*. Vol. 50. № 3. P. 551–569.
- Escobar A., Alvarez S.* (1992). *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*. Boulder: Westview Press.
- Farzanegan M. R., Witthuhn S.* (2017). Corruption and Political Stability: Does the Youth Bulge Matter // *European Journal of Political Economy*. Vol. 49. P. 47–70.
- Fearon J., Laitin D.* (2003). Ethnicity, Insurgency, and Civil War // *American Political Science Review*. Vol. 97. № 1. P. 75–90.
- Flacks R.* (1971). *Youth and Social Change*. Chicago: Markham.

- Flückiger M., Markus L.* (2018). Youth Bulges and Civil Conflict: Causal Evidence from Sub-Saharan Africa // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 62. № 9. P. 1932–1962.
- Fuller G. E.* (2004). *The Youth Crisis in Middle Eastern Society*. Clinton Township: Institute for Social Policy and Understanding.
- Gleditsch K. S., Rivera M.* (2017). The Diffusion of Nonviolent Campaigns // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 61. № 5. P. 1120–1145.
- Goldstein J.* (2004). *War and Gender*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Goldstone J.* (1991). *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*. Berkeley: University of California Press.
- Goldstone J.* (2002). Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict // *Journal of International Affairs*. Vol. 56. № 1. P. 3–21.
- Goldstone J. A., Kaufmann E. P., Toft M. D.* (2012). *Political Demography: How Population Changes are Reshaping International Security and National Politics*. Boulder: Paradigm.
- Goldstone J., McAdam D.* (2001). Contention in Demographic and Life-Course Context // *Aminzade R., Goldstone J., McAdam D., Perry E., Sewell W., Tarrow S., Tilly C.* (eds.). *Silence and Voice in the Study of Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press. P. 195–221.
- Gould W.* (2015). *Population and Development*. L.: Routledge.
- Hall R. L., Rodeghier M., Useem B.* (1986). Effects of Education on Attitude to Protest // *American Sociological Review*. Vol. 51. № 4. P. 564–573.
- Hamel P.* (2014). Urban Social Movement // *Van der Heijden T.* (ed.). *Handbook of Political Citizenship and Social Movements*. Cheltenham: Edward Elgar. P. 464–492.
- Hardt M., Negri A.* (2009). *Commonwealth*. Cambridge: Belknap Press.
- Harvey D.* (2012). *Rebel Cities: From the Right of the City to Urban Revolution*. L.: Verso.
- Heinsohn G.* (2003). *Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen*. Zürich: Orell Füssli.
- Hilbe J.* (2011). *Negative Binomial Regression*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hudson V., Boer A. D.* (2004). *Bare Branches: The Security Implications of Asia's Surplus Male Population*. Cambridge: MIT Press.
- Huntington S.* (1996). *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. N.Y.: Simon & Schuster.
- Inglehart R., Welzel C.* (2005). *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Inglehart R., Haerpfer C., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., Lagos M., Norris P., Ponarin E., Puranen B.* (2014). *World Values Survey: Round Six — Country-Pooled Data file 2010–2014*. Madrid: JD Systems Institute. URL: <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp> (дата доступа: 03.10.2020).
- Jelin E.* (1987). *Ciudadanía e identidad: Las mujeres en los movimientos sociales latino-americanos*. Geneva: United Nations.

- Jenkins J. C., Wallace M. (1996). The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class, Social Trends, and Political Exclusion Explanations // *Sociological Forum*. Vol. 11. № 2. P. 183–207.
- Korotayev A. (2014). Technological Growth and Sociopolitical Destabilization: A Trap at the Escape from the Trap? // *Mandal K., Asheulova N., Kirdina S. G. (eds.). Socio-Economic and Technological Innovations: Mechanisms and Institutions*. New Delhi: Narosa Publishing House. P. 113–134.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2018). GDP Per Capita and Protest Activity: A Quantitative Reanalysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 52. № 4. P. 406–440.
- Korotayev A., Goldstone J. A., Zinkina J. (2015). Phases of Global Demographic Transition Correlate with Phases of the Great Divergence and Great Convergence // *Technological Forecasting and Social Change*. Vol. 95. P. 163–169.
- Korotayev A., Issaev L., Shishkina A. (2014) The Arab Spring: A Quantitative Analysis // *Arab Studies Quarterly*. Vol. 36. № 2. P. 149–169.
- Korotayev A., Issaev L., Malkov S., Shishkina A. (2013). Developing the Methods of Estimation and Forecasting the Arab Spring // *Central European Journal of International and Security Studies*. Vol. 7. № 4. P. 28–58.
- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015). Center-Periphery Dissonance as a Possible Factor of the Revolutionary Wave of 2013–2014: A Cross-National Analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 49. № 5. P. 461–488.
- Korotayev A., Malkov S., Grinin L. (2014) A Trap at the Escape from the Trap? Some Demographic Structural Factors of Political Instability in Modernizing Social Systems // *Grinin L., Korotayev A. (eds.). History & Mathematics: Trends and Cycles: Yearbook*. Volgograd: Uchitel. P. 201–267.
- Korotayev A., Vaskin I., Bilyuga S., Ilyin I. (2018). Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Re-Analysis // *Cliodynamics*. Vol. 9. № 1. P. 59–118.
- Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bozhevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S. (2011). A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia // *Cliodynamics*. Vol. 2. № 2. P. 276–303.
- Korotayev A., Zinkina J. (2011). Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis // *Entelequia. Revista Interdisciplinar*. № 13. P. 139–169.
- Kostelka F., Rovny J. (2019). It's Not the Left: Ideology and Protest Participation in Old and New Democracies // *Comparative Political Studies*. Vol. 52. № 11. P. 1677–1712.
- LaGrafte D. (2012). The Youth Bulge in Egypt: An Intersection of Demographics, Security, and the Arab Spring // *Journal of Strategic Security*. Vol. 5. № 2. P. 65–80.
- Lia B. (2007). *Globalisation and the Future of Terrorism: Patterns and Predictions*. L.: Routledge.
- Lipset S. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy // *American Political Science Review*. Vol. 53. № 1. P. 69–105.
- Londregan J., Poole K. (1996). Does High Income Promote Democracy? // *World Politics*. Vol. 49. № 1. P. 1–30.

- Machado F., Scartascini S., Tommasi M.* (2011). Political Institutions and Street Protests in Latin America // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 55. № 3. P. 340–365.
- Mesquida C. G., Weiner N. I.* (1999). Male Age Composition and Severity of Conflicts // *Politics and the Life Sciences*. Vol. 18. № 2. P. 113–117.
- Moller H.* (1968). Youth as a Force in the Modern World // *Comparative Studies in Society and History*. Vol. 10. № 3. P. 237–260.
- Moore B.* (1966). *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*. Beacon Press: Boston.
- Morris A., Staggenborg S.* (2007). Leadership in Social Movements // *Snow D. A., Soule S. A., Kriesi H.* (eds.). *The Blackwell Companion to Social Movements*. Oxford: Blackwell. P. 171–196.
- Moseley M.* (2015). Contentious Engagement: Understanding Protest Participation in Latin American Democracies // *Journal of Politics in Latin America*. Vol. 7. № 3. P. 3–48.
- Nam T.* (2007). Rough Days in Democracies: Comparing Protests in Democracies // *European Journal of Political Research*. Vol. 46. № 1. P. 97–120.
- Oberschall A.* (1973). *Social Conflict and Social Movements*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Olson M.* (1963). Rapid Growth as a Destabilizing Force // *Journal of Economic History*. Vol. 23. № 4. P. 529–552.
- Ortmans O., Mazzeo E., Mescherina K., Korotayev A.* (2017). Modeling Social Pressures Toward Political Instability in the United Kingdom after 1960: A Demographic Structural Analysis // *Clidynamics*. Vol. 8. № 2. P. 113–158.
- Østby G., Urdal H., Tadjoeeddin M., Murshed M., Strand H.* (2011). Population Pressure, Horizontal Inequality and Political Violence: A Disaggregated Study of Indonesian Provinces, 1990–2003 // *Journal of Development Studies*. Vol. 47. № 3. P. 377–398.
- Piven F., Cloward R.* (1978). *Poor People's Movements: Why they Succeed, How they Fail*. N.Y.: Vintage.
- Powell B.* (1982). *Contemporary Democracies*. Cambridge: Harvard University Press.
- Przeworski A., Limongi F.* (1997). Modernization: Theories and facts // *World Politics*. Vol. 49. № 2. P. 155–183.
- Rejai M., Phillips K.* (1988). *Loyalists and Revolutionaries: Political Leaders Compared*. N.Y.: Praeger.
- Rueschemeyer D., Huber E., Stephens J.* (1992). *Capitalist Development and Democracy*. University of Chicago Press: Chicago.
- Sawyer P. S., Korotayev A. V.* (2021). Formal Education and Contentious Politics: The Case of Violent and Non-Violent Protest // *Political Studies Review*. In press.
- Schuurman F., Van Naerssen T.* (2011). *Urban Social Movements in the Third World*. L.: Routledge.
- Slater D.* (1985). *Cultures in Conflict: Social Movements and the State in Peru*. Berkeley: University of California Press.

- Slinko E., Bilyuga S., Zinkina J., Korotayev A.* (2017). Regime Type and Political Destabilization in Cross-National Perspective: A Re-Analysis // *Cross-Cultural Research*. Vol. 51. № 1. P. 26–50.
- Tan L., Ponnamm S., Gillham P., Edwards B., Johnson E.* (2013). Analyzing the Impact of Social Media on Social Movements: A Computational Study of Twitter and the Occupy Wall Street Movement. *IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining*.
- Tarrow S.* (2003). *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly C.* (1995). Contentious Repertoires in Great Britain, 1758–1835 // *Traugott M.* (ed.). *Repertoires and Cycles of Collective Action*. Durham: Duke University Press. P. 15–42.
- Tilly C., Wood L.* (2009). *Social Movements, 1768–2008*. Boulder: Paradigm.
- Turchin P.* (2013). Modeling Social Pressures Toward Political Instability // *Cliodynamics*. Vol. 4. № 2. P. 241–280.
- Turchin P.* (2016). *Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History*. Chaplin: Beresta Books.
- UN Habitat (2016). *World Cities Report 2016*. URL: http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/2017/02/WCR-2016_-Abridged-version-1.pdf (дата доступа: 29.08.2020).
- United Nations Population Division (2019). *World Population Prospects*. URL: <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/> (дата доступа: 14.08.2020).
- Urdal H.* (2008). Population, Resources, and Political Violence: A Subnational Study of India, 1956–2002 // *Journal of Conflict Resolution*. Vol. 52. № 4. P. 590–617.
- Veltmeyer H., Petras J.* (2002). The Social Dynamics of Brazil's Rural Landless Workers' Movement: Ten Hypotheses on Successful Leadership // *Canadian Review of Sociology and Anthropology*. Vol. 39. № 1. P. 1–21.
- Walton J., Ragin C.* (1990). Global and National Sources of Political Protest: Third World Responses to the Debt Crisis // *American Sociological Review*. Vol. 55. № 6. P. 876–890.
- Walton J., Seddon D.* (1994). *Free Markets and Food Riots: The Politics of Structural Adjustment*. Oxford: Blackwell.
- Weber H.* (2019). Age Structure and Political Violence: A Re-assessment of the «Youth Bulge» Hypothesis // *International Interactions*. Vol. 45. № 1. P. 80–112.
- Wignaraja P.* (1993). *New Social Movements in the South: Empowering the People*. L.: Zed.
- Yair O., Miodownik D.* (2016). Youth Bulge and Civil War: Why a Country's Share of Young Adults Explains Only Non-ethnic Wars // *Conflict Management and Peace Science*. Vol. 33. № 1. P. 25–44.
- Zibechi R.* (2010). *Dispersing Power: Social Movements as Anti-State Forces*. Baltimore: AK Press.
- Zinkina J., Christian D., Grinin L., Ilyin I., Andreev A., Aleshkovski I., Shulgin S., Korotayev A.* (2019). *A Big History of Globalization: The Emergence of a Global World System*. Cham: Springer.

Some Sociodemographic Factors of the Intensity of Anti-Government Demonstrations: Youth Bulges, Urbanization, and Protests

Andrey Korotayev

PhD, Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Laboratory for the Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks, HSE University
Chief Research Fellow, Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: akorotayev@gmail.com

Patrick Sawyer

Research Assistant, Laboratory for the Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks, HSE University
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: Psawyer@hse.ru

Maksim Gladyshev

Research Assistant, Laboratory for the Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks, HSE University
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: magladyshev@gmail.com

Daniil Romanov

Junior Research Fellow, Laboratory for the Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks, HSE University
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: dm.romanov@me.com

Alisa Shishkina

Candidate of Political Sciences, Senior Research Fellow, Laboratory for the Monitoring of Sociopolitical Destabilization Risks, HSE University
Senior Research Fellow, Institute for African Studies of the Russian Academy of Sciences
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: alisa.shishkina@gmail.com

Demographic changes associated with the transition from traditional to modern economies underlie many modern theories of protest formation. Both the level of urbanization and the “Youth Bulge” effect have proven to be particularly reliable indicators for predicting protest events. However, given that in the course of economic development these processes often occur simultaneously, it seems logical to put forward the hypothesis that the combined effect of urbanization growth and an increase in the number of young people will be a more relevant factor for predicting protests. Our study of cross-national time series from 1950 to 2016 shows that the combined effect of these two parameters is an extremely strong predictor of anti-government protests in a single country, even more so than traditional indicators such as democratization, per capita GDP, and the level of education.

Keywords: protests, urbanization, youth bulge, urban social movements, economic development

References

- Akaev A., Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2017) Technological Development and Protest Waves: Arab Spring as a Trigger of the Global Phase Transition? *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 116, pp. 316–321.

- Ang A., Shlomi D., Russell L. (2014) Protests by the Young and Digitally Restless: The Means, Motives, and Opportunities of Anti-government Demonstrations. *Information, Communication & Society*, vol. 17, no 10, pp. 1228–1249.
- Banks A., Wilson K. (2019) Cross-National Time-Series Data Archive. Jerusalem: Databanks International. Available at: <http://www.databanksinternational.com> (accessed 21 September 2020).
- Bartolini S., Mair P. (1990) *Identity, Competition, and Electoral Availability: The Stability of European Electorates, 1885–1985*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Boix C. (2011) Democracy, Development, and the International System. *American Political Science Review*, no 105, pp. 809–828.
- Brenner N. (2013) Theses on Urbanization. *Public Culture*, vol. 25, no 1, pp. 85–114.
- Brinton C. (1952) *The Anatomy of Revolution*, New York: Vintage.
- Brunk, G., Caldeira G., Lewis-Beck M. (1987) Capitalism, socialism, and democracy: An empirical inquiry. *European Journal of Political Research*, no 15, pp. 459–470.
- Burkhart R., x Lewis-Beck M. (1994) Capitalism, Socialism, and Democracy: An Empirical Inquiry // *European Journal of Political Research*. *American Political Science Review*, no 88, pp. 903–910.
- Caldwell J. C. (2006) *Demographic Transition Theory*, Dordrecht: Springer.
- Castells M. (1972) *La question urbaine*, Paris: François Maspéro.
- Castells M. (1983) *The City and the Grassroots*, Berkeley: University of California Press.
- Chesnaïs J.-C. (1992) *The Demographic Transition: Stages, Patterns, and Economic Implications*, Oxford: Oxford University Press.
- Collier P., Hoeffler A. (2004) Greed and Grievance in Civil War. *Oxford Economic Papers*, vol. 56, no 4, pp. 563–595.
- Coppedge M., Gerring J., Knutsen C.H., Lindberg S.I., Teorell J., Altman D., Bernhard M., Fish M. S., Glynn A., Hicken A., Lührmann A., Marquardt K. L., McMann K., Paxton P., Pemstein D., Seim B., Sigman R., Skaaning S., Staton J., Wilson S., Cornell A., Gastald L., Gjerløw H., Ilchenko N., Krusell J., Maxwell L., Mechkova V., Medzihorsky J., Pernes J., Von Römer J., Stepanova N., Sundström A., Tzelgov E., Wang Y., Wig T., Ziblatt D. (2019) V-Dem Dataset v9. Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Available at: <https://doi.org/10.23696/vdemcy19> (accessed: 16 October 2020).
- Cutright P. (1963) National Political Development: Social and Economic Correlates. *Politics and Social Life: An Introduction to Political Behavior* (eds. N. W. Polsby, R. A. Dentler, P. A. Smith), Boston: Houghton Mifflin, pp. 569–582.
- Dahl R. A. (1971) *Polyarchy: Participation and Opposition*, New Haven: Yale University Press.
- Davis M. (2017) *Planet of Slums*, London: Verso.
- Eckstein S. (1989) *Power and Popular Protest in: Latin American Social Movements*, Berkeley: University of California Press.
- Epstein D., Bates R., Goldstone J., Kristensen L., O'Halloran S. (2006) Democratic Transitions. *American Journal of Political Science*, vol. 50, no 3, pp. 551–569.
- Escobar A., Alvarez S. (1992) *The Making of Social Movements in Latin America: Identity, Strategy, and Democracy*, Boulder: Westview Press.
- Farzanegan M. R., Witthuhn S. (2017) Corruption and Political Stability: Does the Youth Bulge Matter? *European Journal of Political Economy*, vol. 49, pp. 47–70.
- Fearon J., Laitin D. (2003) Ethnicity, Insurgency, and Civil War. *American Political Science Review*, vol. 97, no 1, pp. 75–90.
- Flacks R. (1971) *Youth and Social Change*, Chicago: Markham.
- Flückiger M., Markus L. (2018) Youth Bulges and Civil Conflict: Causal Evidence from Sub-Saharan Africa. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 62, no 9, pp. 1932–1962.
- Fuller G. E. (2004) *The Youth Crisis in Middle Eastern Society*, Clinton Township: Institute for Social Policy and Understanding.
- Gleditsch K. S., Rivera M. (2017) The Diffusion of Nonviolent Campaigns. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 61, no 5, pp. 1120–1145.
- Goldstein J. (2004) *War and Gender*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Goldstone J. (1991) *Revolution and Rebellion in the Early Modern World*, Berkeley: University of California Press.

- Goldstone J. (2002) Population and Security: How Demographic Change Can Lead to Violent Conflict. *Journal of International Affairs*, vol. 56, no 1, pp. 3–21.
- Goldstone J. A., Kaufmann E. P., Toft M. D. (2012) *Political Demography: How Population Changes are Reshaping International Security and National Politics*, Boulder: Paradigm.
- Goldstone J., McAdam D. (2001) Contention in Demographic and Life-Course Context. *Silence and Voice in the Study of Contentious Politics* (eds. R. Aminzade, J. Goldstone, D. McAdam, E. Perry, W. Sewell, S. Tarrow, C. Tilly), Cambridge: Cambridge University Press, pp. 195–221.
- Gould W. (2015) *Population and Development*, London: Routledge.
- Grinin L., Bilyuga S., Korotayev A., Malyzhenkov S. (2017) Dolya studentov v obshchey chislennosti naseleniya i sotsial'no-politicheskaya destabilizatsiya: opyt kolichestvennogo analiza [Share of Students in Total Population and Socio-Political Destabilization: Quantitative Analysis]. *Politeia*, no 4, pp. 35–47.
- Grinin L., Korotayev A. (2009) Urbanizatsiya i politicheskaya nestabil'nost': k razrabotke matematicheskikh modeley politicheskikh protsessov [Urbanization and Political Instability: to the Development of Mathematical Models of Political Processes]. *Polis. Political Studies*, no 4, pp. 34–52.
- Hall R. L., Rodeghier M., Useem B. (1986) Effects of Education on Attitude to Protest. *American Sociological Review*, vol. 51, no 4, pp. 564–573.
- Hamel P. (2014) Urban Social Movements. *Handbook of Political Citizenship and Social Movements* (ed. H. van der Heijden), Cheltenham: Edward Elgar, pp. 464–492.
- Hardt M., Negri A. (2009) *Commonwealth*, Cambridge: Belknap Press.
- Harvey D. (2012) *Rebel Cities: From the Right of the City to Urban Revolution*, London: Verso.
- Heinsohn G. (2003) *Söhne und Weltmacht: Terror im Aufstieg und Fall der Nationen*, Zürich: Orell Füssli.
- Hilbe J. (2011) *Negative Binomial Regression*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Hudson V., Boer A.D. (2004) *Bare Branches: The Security Implications of Asia's Surplus Male Population*, Cambridge: MIT Press.
- Huntington S. (1996) *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*, New York: Simon & Schuster.
- Inglehart R., Haerper C., Moreno A., Welzel C., Kizilova K., Diez-Medrano J., Lagos M., Norris P., Ponarin E., Puranen B. (2014) *World Values Survey: Round Six — Country-Pooled Data File 2010–2014*, Madrid: JD Systems Institute. Available at: <http://www.worldvaluessurvey.org/WVSDocumentationWV6.jsp> (accessed 03 October 2020).
- Inglehart R., Welzel C. (2005) *Modernization, Cultural Change, and Democracy: The Human Development Sequence*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Inglehart R., Welzel C. (2011) *Modernizatsiya, kul'turnyye izmeneniya i demokratiya: posledovatel'nost' chelovecheskogo razvitiya* [Modernization, Cultural Change and Democracy: Sequence of Human Development], Moscow: Novoe izdatelstvo.
- Jelin E. (1987) *Ciudadanía e identidad: Las mujeres en los movimientos sociales latino-americanos*, Geneva: United Nations.
- Jenkins J. C., Wallace M. (1996) The Generalized Action Potential of Protest Movements: The New Class, Social Trends, and Political Exclusion Explanations. *Sociological Forum*, vol. 11, no 2, pp. 183–207.
- Khodunov A. (2014) Iran: politiko-demograficheskoye razvitiye kak faktor stabil'nosti i potryaseniya [Iran: Political and Demographic Development as a Factor of Stability and Shocks]. *Asia and Africa Today*, no 7, pp. 26–30.
- Khodunov A., Korotayev A. (2012) Pochemu vtoraya volna agflyatsii privela k volne sotsial'no-politicheskoy destabilizatsii na Blizhnem Vostoke, a ne v Latinskoy Amerike? [Why did the Second Wave of Agflation Lead to a Wave of Socio-Political Destabilization in the Middle East, and not in Latin America?]. *“Arabeskaya vesna” 2011 goda: sistemnyy monitoring global'nyh i regional'nyh riskov* [Arab Spring of 2011: Systematic Monitoring of Global and Regional Risks] (eds. A. Korotaev, Y. Zinkina, A. Khodunov), Moscow: URSS, pp. 463–507.
- Korotayev A. (2012) Lovushka na vykhode iz lovushki: k matematicheskomu modelirovaniyu sotsial'no-politicheskoy destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoy periferii [Trap at the Exit of the

- Trap: On Mathematical Modeling of Socio-Political Destabilization in the Countries of the World-System Periphery]. *Sociologiya i obshchestvo: global'nye vyzovy i regional'noe razvitiye* [Sociology and Society: Global Challenges and Regional Development] (ed. Zh. Toschenko), Moscow: RSO, pp. 1483–1489.
- Korotayev A. (2014) Technological Growth and Sociopolitical Destabilization: A Trap at the Escape from the Trap? *Socio-Economic and Technological Innovations: Mechanisms and Institutions* (eds. K. Mandal, N. Asheulova, S. Kirdina), New Delhi: Narosa Publishing House pp. 113–134.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2016) VVP na dushu naseleniya, uroven' protestnoy aktivnosti i tip rezhima: opyt kolichestvennogo analiza [GDP per Capita, Protest Intensity and Regime Type: A Quantitative Analysis]. *Comparative Politics Russia*, vol. 7, no 4, pp. 72–94.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2017) VVP na dushu naseleniya, intensivnost' antipravitel'stvennykh demonstratsiy i uroven' obrazovaniya. Kross-natsional'nyy analiz [GDP per Capita, Intensity of Anti-Government Demonstrations and Level of Education. Cross-national Analysis]. *Politeia*, no 1, pp. 127–143.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2017) Ekonomicheskiy rost i sotsial'no-politicheskaya destabilizatsiya: opyt global'nogo analiza [Correlation between GDP Per Capita and Protest Intensity: A Quantitative Analysis]. *Polis. Political Studies*, no 2, pp. 155–169.
- Korotayev A., Bilyuga S., Shishkina A. (2018) GDP Per Capita and Protest Activity: A Quantitative Reanalysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 52, no 4, pp. 406–440.
- Korotayev A., Goldstone J. A., Zinkina J. (2015) Phases of Global Demographic Transition Correlate with Phases of the Great Divergence and Great Convergence. *Technological Forecasting and Social Change*, vol. 95, pp. 163–169.
- Korotayev A., Issaev L., Vasilev A. (2015) Kolichestvennyy analiz revolyutsionnoy volny 2013–2014 gg. [Quantitative Analysis of 2013–2014 Revolutionary Wave]. *Sociological Studies*, no 8, pp. 119–127.
- Korotayev A., Issaev L., Malkov S., Shishkina A. (2013) Developing the Methods of Estimation and Forecasting the Arab Spring. *Central European Journal of International and Security Studies*, vol. 7, no 4, pp. 28–58.
- Korotayev A., Issaev L., Shishkina A. (2014) The Arab Spring: A Quantitative Analysis. *Arab Studies Quarterly*, vol. 36, no 2, pp. 149–169.
- Korotayev A., Issaev L., Zinkina J. (2015) Center-Periphery Dissonance as a Possible Factor of the Revolutionary Wave of 2013–2014: A Cross-national Analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 49, no 5, pp. 461–488.
- Korotayev A., Grinin L., Bozhevolnov Y., Zinkina Y., Malkov S. (2011) Lovushka na vykhode iz lovushki: logicheskoye i matematicheskoye modeli [Trap at the Exit of the Trap: Logical and Mathematical Models]. *Proekty i riski budushhego: koncepcii, modeli, instrumenty, prognozy* [Projects and Risks of the Future: Concepts, Models, Tools, Forecasts] (eds. A. Akayev, A. Korotayev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: Krasand/URSS, pp. 138–164.
- Korotayev A., Khalturina D., Kobzeva S., Zinkina Y. (2011) Lovushka na vykhode iz lovushki? O nekotorykh osobennostyakh politiko-demograficheskoy dinamiki moderniziruyushchikhsya sistem [Trap on the Exit of the Trap? On Some Features of the Political and Demographic Dynamics of Modernizing Systems]. *Proekty i riski budushhego: koncepcii, modeli, instrumenty, prognozy* [Projects and Risks of the Future: Concepts, Models, Tools, Forecasts] (eds. A. Akayev, A. Korotayev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: Krasand/URSS, pp. 45–88.
- Korotayev A., Khodunov A. (2012) K prognozirovaniyu dinamiki sotsial'no-politicheskoy destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoy periferii: Blizhniy Vostok versus Latinskaya Amerika: modelirovaniye i prognozirovaniye global'nogo, regional'nogo i natsional'nogo razvitiya [Toward a Prediction of the Dynamics of Socio-Political Destabilization in the Countries of the World-System Periphery: The Middle East Versus Latin America]. *Modelirovaniye i prognozirovaniye global'nogo, regional'nogo i natsional'nogo razvitiya* [Modeling and Forecasting Global, Regional and National Development] (eds. A. Akayev, A. Korotayev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: LIBROKOM/URSS, pp. 337–386.
- Korotayev A., Malkov S. (2014) Lovushka na vykhode iz mal'tuzianskoy lovushki v sovremennykh moderniziruyushchikhsya obshchestvakh [The Trap at the Exit from the Malthusian Trap in Modern Modernizing Societies]. *History and Mathematics*, no 10, pp. 43–98.

- Korotayev A., Malkov S., Burova A., Zinkina Y., Khodunov A. (2012) Lovushka na vykhode iz lovushki. Matematicheskoye modelirovaniye sotsial'no-politicheskoy destabilizatsii v stranakh mir-sistemnoy periferii i sobytiya Arabskoy vesny 2011 g. [Trap at the Exit of the Trap: Mathematical Modeling of Socio-Political Destabilization in the Countries of the World-System Periphery and the Events of the Arab Spring of 2011]. *Modelirovanie i prognozirovaniye global'nogo, regional'nogo i nacional'nogo razvitiya* [Modeling and Forecasting Global, Regional and National Development] (eds. A. Akayev, A. Korotayev, G. Malinetsky, S. Malkov), Moscow: LIBROKOM/URSS, pp. 210–276.
- Korotayev A., Malkov S., Grinin L. (2014) A Trap at the Escape from the Trap? Some Demographic Structural Factors of Political Instability in Modernizing Social Systems. *History & Mathematics: Trends and Cycles. Yearbook* (eds. L. E. Grinin, A. V. Korotayev), Volgograd: Uchitel, pp. 201–267.
- Korotayev A., Meshcherina K., Isayev L., Iskoscov A., Khern U., Delyanov V., Kulikova E. (2016) Arabskaya vesna kak trigger global'noy sotsial'no-politicheskoy destabilizatsii: opyt sistematicheskogo analiza [Arab Spring as a Trigger for Global Socio-Political Destabilization: A Systematic Analysis Experience]. *Systemic Monitoring. Global and Regional Risks*, vol. 7, pp. 22–126.
- Korotayev A., Meshcherina K., Kulikova E., Delyanov V. (2017) Arabskaya vesna i yeye global'noye ekho: kolichestvennyy analiz [Arab Spring and its Global Echo: Quantitative Analysis]. *Comparative Politics*, vol. 8, no 4, pp. 113–126.
- Korotayev A., Sawyer P., Grinin L., Romanov D., Shishkina A. (2020) Sotsial'no-ekonomicheskoye razvitiye i antipravitel'stvennyye protesty v svete novykh rezul'tatov kolichestvennogo analiza global'nykh baz dannykh [Socio-Economic Development and Anti-government Protests in Light of a New Quantitative Analysis of Global Databases]. *Sociological Journal*, vol. 26, no 4, pp. 61–78.
- Korotayev A., Slinko E., Shulgin S., Biluga S. (2016) Promezhutochnyye tipy politicheskikh rezhimov i sotsial'no-politicheskaya nestabil'nost'. Opyt kolichestvennogo kross-natsional'nogo analiza [Intermediate Types of Political Regimes and Socio-Political Instability (Quantitative Cross-National Analysis)]. *Politeia*, no 3, pp. 31–51.
- Korotayev A., Shishkina A., Lukhmanova Z. (2017) Volna global'noy sotsial'no-politicheskoy destabilizatsii 2011–2015 gg.: kolichestvennyy analiz [The Global Socio-Political Destabilization Wave of 2011 and the Following Years: A Quantitative Analysis]. *Polis. Political Studies*, no 6, pp. 150–168.
- Korotayev A., Vaskin I., Bilyuga S. (2017) Gipoteza Olsona — Huntingtona o krivolineynoy zavisimosti mezhdu urovnem ekonomicheskogo razvitiya i sotsial'no-politicheskoy destabilizatsiyey: opyt kolichestvennogo analiza [Olson-Huntington Hypothesis on a Bell-Shaped Relationship Between the Level of Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Quantitative Analysis]. *Russian Sociological Review*, vol. 16, no 1, pp. 9–49.
- Korotayev A., Vaskin I., Bilyuga S., Ilyin I. (2018) Economic Development and Sociopolitical Destabilization: A Re-Analysis. *Clodynamics*, vol. 9, no 1, pp. 59–118.
- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Egyptian Revolution: A Demographic Structural Analysis. *Entelequia. Revista Interdisciplinar*, no 13, pp. 139–169.
- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Demograficheskiye korni Yegipetskoy revolyutsii [The demographic roots of the Egyptian revolution]. *Demoscope*, pp. 459–460. Available at: URL: <http://www.demoscope.ru/weekly/2011/0459/tema01.php>. (accessed 17 December 2020).
- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Yegipetskaya revolyutsiya 2011 g. Strukturno-demograficheskiy analiz [Egyptian Revolution 2011 Structural Demographic Analysis]. *Asia and Africa Today*, vol. 6, no 647, pp. 10–16.
- Korotayev A., Zinkina J. (2011) Yegipetskaya revolyutsiya 2011 goda: sotsiodemograficheskiy analiz [Egyptian Revolution 2011: Sociodemographic Analysis]. *Historical Psychology & Sociology*, vol. 4, no 2, pp. 5–29.
- Korotayev A., Zinkina J., Kobzeva S., Bozhevolnov J., Khaltourina D., Malkov A., Malkov S. (2011) A Trap at the Escape from the Trap? Demographic-Structural Factors of Political Instability in Modern Africa and West Asia. *Clodynamics*, vol. 2, no 2, pp. 276–303.
- Kostelka F., Rovny J. (2019) It's Not the Left: Ideology and Protest Participation in Old and New Democracies. *Comparative Political Studies*, vol. 52, no 11, pp. 1677–1712.

- LaGrafte D. (2012) The Youth Bulge in Egypt: An Intersection of Demographics, Security, and the Arab Spring. *Journal of Strategic Security*, vol. 5, no 2, pp. 65–80.
- Lia B. (2007) *Globalisation and the Future of Terrorism: Patterns and Predictions*, London: Routledge.
- Lipset S. (1959). Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, vol. 53, no 1, pp. 69–105.
- Londregan J., Poole K. (1996) Does High Income Promote Democracy? *World Politics*, no 49, pp. 1–30.
- Machado F., Scartascini S., Tommasi M. (2011). Political Institutions and Street Protests in Latin America. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 55, no 3, pp. 340–365.
- Malkov S., Korotayev A., Isayev L., Kuzminova Y. (2013) O metodike otsenki tekushchego sostoyaniya i prognoza sotsial'noy nestabil'nosti: opyt kolichestvennogo analiza sobytiy Arabskoy vesny [On Methods of Estimating Current Condition and of Forecasting Social Instability: Attempted Quantitative Analysis of the Events of the Arab Spring]. *Polis. Political Studies*, no 4, pp. 137–162.
- Mesquida C. G., Weiner N.I. (1999) Male Age Composition and Severity of Conflicts. *Politics and the Life Sciences*, № 18, pp. 113–117.
- Moller H. (1968) Youth as a Force in the Modern World. *Comparative Studies in Society and History*, vol. 10, no 3, pp. 237–260.
- Moore B. (1966) *Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World*, Beacon Press: Boston.
- Morris A., Staggenborg S. (2007) Leadership in Social Movements. *The Blackwell Companion to Social Movements* (eds. D. A. Snow, S. A. Soule, H. Kriesi), Oxford: Blackwell, pp. 171–196.
- Moseley M. (2015) Contentious Engagement: Understanding Protest Participation in Latin American Democracies. *Journal of Politics in Latin America*, vol. 7, no 3, pp. 3–48.
- Nam T. (2007) Rough Days in Democracies: Comparing Protests in Democracies. *European Journal of Political Research*, vol. 46, no 1, pp. 97–120.
- Oberschall A. (1973) *Social Conflict and Social Movements*, Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Olson M. (1963) Rapid Growth as a Destabilizing Force. *Journal of Economic History*, vol. 23, no 4, pp. 529–552.
- Ortmans O., Mazzeo E., Mescherina K., Korotayev A. (2017) Modeling Social Pressures Toward Political Instability in the United Kingdom after 1960: A Demographic Structural Analysis. *Clodynamics*, vol. 8, no 2, pp. 113–158
- Østby G., Urdal H., Tadjoeeddin M., Murshed M., Strand H. (2011) Population Pressure, Horizontal Inequality and Political Violence: A Disaggregated Study of Indonesian Provinces, 1990–2003. *Journal of Development Studies*, vol. 47, no 3, pp. 377–398.
- Piven F., Cloward R. (1978) *Poor People's Movements: Why they Succeed, How they Fail*, New York: Vintage.
- Powell B. (1982) *Contemporary Democracies*, Cambridge: Harvard University Press.
- Przeworski A., Limongi F. (1997) Modernization: Theories and facts. *World Politics*, vol. 49, no 2, pp. 155–183.
- Rejai M., Phillips K. (1988) *Loyalists and Revolutionaries: Political Leaders Compared*, New York: Praeger.
- Rueschemeyer D., Huber E., Stephens J. (1992) *Capitalist Development and Democracy*, Chicago: University of Chicago Press.
- Sadovnichiy V., Akayev A., Korotayev A., Malkov S. (2012) *Modelirovaniye i prognozirovaniye mirovoy dinamiki* [Modeling and Forecasting World Dynamics], Moscow: ISPR RAS.
- Sawyer P. S., Korotayev A. V. (2021) Formal Education and Contentious Politics: The Case of Violent and Non-Violent Protest. *Political Studies Review* (In press).
- Schuurman F., Van Naerssen T. (2011) *Urban Social Movements in the Third World*, London: Routledge.
- Slater D. (1985) *Cultures in Conflict: Social Movements and the State in Peru*, Berkeley: University of California Press.
- Slinko E., Bilyuga S., Zinkina J., Korotayev A. (2017) Regime Type and Political Destabilization in Cross-National Perspective: A Re-Analysis. *Cross-Cultural Research*, vol. 51, no 1, pp. 26–50.

- Tan L., Ponnampalasa S., Gillham P., Edwards B., Johnson E. (2013) Analyzing the Impact of Social Media on Social Movements: A Computational Study of Twitter and the Occupy Wall Street Movement (IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Network Analysis and Mining).
- Tarrow S. (2003) *Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Tilly C. (1995) Contentious Repertoires in Great Britain, 1758–1835. *Repertoires and Cycles of Collective Action* (ed. M. Traugott), Durham: Duke University Press, pp. 15–42.
- Tilly C., Wood L. (2009) *Social Movements, 1768–2008*, Boulder: Paradigm.
- Turchin P. (2013) Modeling Social Pressures Toward Political Instability. *Cliodynamics*, vol. 4, no 2, pp. 241–280.
- Turchin P. (2016) *Ages of Discord: A Structural-Demographic Analysis of American History*, Chaplin: Beresta Books.
- UN Habitat (2016) World Cities Report 2016. Available at: http://wcr.unhabitat.org/wp-content/uploads/2017/02/WCR-2016_-Abridged-version-1.pdf (accessed 29 August 2020).
- United Nations Population Division (2019) World Population Prospects. Available at: <https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Population/> (accessed 14 August 2020).
- Urdal H. (2008). Population, Resources, and Political Violence: A Subnational Study of India, 1956–2002. *Journal of Conflict Resolution*, vol. 52, no 4, pp. 590–617.
- Veltmeyer H., Petras J. (2002) The Social Dynamics of Brazil's Rural Landless Workers' Movement: Ten Hypotheses on Successful Leadership. *Canadian Review of Sociology and Anthropology*, vol. 39, no 1, pp. 1–21.
- Vishnevsky A. (1976) *Demograficheskaya revolyutsiya* [Demographic Revolution], Moscow: Statistika.
- Vishnevsky A. (2005) *Izbrannyye demograficheskiye trudy. T. 1* [Selected Demographic Works, Vol. 1], Moscow: Nauka.
- Walton J., Ragin C. (1990) Global and National Sources of Political Protest: Third World Responses to the Debt Crisis. *American Sociological Review*, vol. 55, pp. 876–890.
- Walton J., Seddon D. (1994) *Free Markets and Food Riots: The Politics of Structural Adjustment*, Oxford: Blackwell.
- Weber H. (2019) Age Structure and Political Violence: A Re-assessment of the “Youth Bulge” Hypothesis. *International Interactions*, vol. 45, no 1, pp. 80–112.
- Wignaraja P. (1993) *New Social Movements in the South: Empowering the People*, London: Zed.
- Yair O., Miodownik D. (2016) Youth Bulge and Civil War: Why a Country's Share of Young Adults Explains Only Non-ethnic Wars. *Conflict Management and Peace Science*, vol. 33, no 1, pp. 25–44.
- Zibechi R. (2010) *Dispersing Power: Social Movements as Anti-State Forces*, Baltimore: AK Press.
- Zinkina J., Christian D., Grinin L., Ilyin I., Andreev A., Aleshkovski I., Shulgin S., Korotayev A. (2019) *A Big History of Globalization: The Emergence of a Global World System*, Cham: Springer.

Практический разум

Поль Рикёр

Андрей Бреус
(переводчик)

Стажер-исследователь, Центр фундаментальной социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Научный сотрудник, Институт научной информации по общественным наукам РАН
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: zeuhled@gmail.com

Эссе «Практический разум» было впервые опубликовано в 1979 г. и позже вошло в книгу «Du texte à l'action: essais d'herméneutique II» (1986), которая знаменует переход Рикёра от общих проблем обоснования герменевтики как полноценной философской дисциплины к проблематике практической философии в широком смысле. Опираясь на аналитическую теорию действия, понимающую социологию М. Вебера и гегельянскую критику этики Канта, Рикёр стремится восстановить в условиях современного философствования Аристотелево понятие «фронесис» («практическая мудрость»), которое обнаруживает неожиданную актуальность там, где ни кантовская деонтология, ни гегельянская *Sittlichkeit* не могут адекватно выразить всю полноту практического опыта человека в мире, где идеология и отчуждение оказываются неизбежными составляющими социальной жизни.

Ключевые слова: фронесис, практический разум, практическая мудрость, Аристотель, Кант, Гегель, Вебер, деонтология, теория действия, идеология, отчуждение, герменевтика, понимающая социология

Сначала я бы хотел сказать несколько слов о замысле и стратегии настоящего эссе. Я попытался шаг за шагом построить концепцию практического разума, который удовлетворял бы двум требованиям: он заслуживал бы имени разума, но сохранял бы некоторые свойства, не сводимые к научно-технической рациональности. В этом отношении мое намерение совпадает с намерением Хабермаса и Перельмана. Однако я сделаю нечто весьма иное. С Хабермасом я расхожусь в том, что действую посредством объединения концепций, а не их разделения и типологизации. С другой стороны, я, хотя и совершенно согласен с различием между рациональным и разумным, расхожусь с Перельманом, поскольку пытаюсь опираться

* Перевод выполнен по изданию: Ricoeur P. (1986). La raison pratique // Ricoeur P. Du texte à l'action: essais d'herméneutique II. P.: Seuil. P. 237–259. © Editions du Seuil, 1986

Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «Этика солидарности и биополитика карантина: теоретические проблемы культурно-политических трансформаций в эпоху пандемий», реализуемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 году.

на философскую традицию. Я действительно думаю, что одна из задач философии состоит в том, чтобы постоянно браться за критический пересмотр собственного наследия, даже если это непосильная задача противостояния таким гигантам как Кант и Гегель. Но сейчас это просто необходимо сделать.

Мы будем следовать такому порядку, который проведет нас от элементарного понятия практического разума к понятию в высшей степени сложному. На первом этапе мы будем держаться уровня современной теории действия, из которой мы позаимствуем понятия «основание для действия» и «практическое рассуждение». Оставаясь все на том же уровне, мы перейдем от семантики к синтаксису действия. Далее мы перейдем к уровню понимающей социологии, унаследованной от Макса Вебера; здесь мы встретим понятия «правило действия» и «поведение, подчиненное правилам». Эти два подготовительных анализа, в свою очередь, подведут нас к двум великим классическим проблематизациям «осмысленного действия» у Канта и Гегеля. Когда понятие практического разума вновь подвергнется опасности быть поглощенным полем разума спекулятивного, мы попытаемся в заключение обратить практический разум к его критической функции. Если сегодня мы уже не можем воспроизводить «Критику практического разума» по причинам, которые кроются в самом понятии действия, то, по крайней мере, мы, быть может, способны восстановить критическую функцию практического разума по отношению к идеологическим репрезентациям социального действия.

I. Понятия «основание для действия» и «практическое рассуждение»

Я исхожу из того, что преимущественно в англоязычных странах называется *теорией действия*. На втором этапе я буду искать для нее параллели в различных, но связанных между собой областях исследования.

На уровне теории действия понятие практического разума отождествляется с условиями интеллигибельности осмысленного действия, под которым подразумевается такое действие, о котором действующий может дать отчет (*logon didonai*) другому или самому себе, такого рода, что тот, кто получает этот отчет, признает его понятным. Действие, таким образом, может быть «иррациональным» согласно другим критериям, которые мы рассмотрим ниже; оно остается *осмысленным* постольку, поскольку удовлетворяет условиям приемлемости, установленным в определенном языковом и ценностном сообществе. Этим условиям приемлемости должны удовлетворять наши ответы на такие вопросы, как «что вы делаете?», «почему?», «для чего вы это делаете?» Приемлемым является такой ответ, который завершает вопрошание, исчерпывая ряд «потому что», по крайней мере в той ситуации вопрошания и разговора, в которой эти вопросы задаются.

На этом первом уровне исследования предполагается только, что человеческое действие не является ни бессловесным, ни непередаваемым. Оно не бессловесно в том смысле, что мы способны сказать, что мы делаем и почему мы это делаем. В этом отношении наши естественные языки накопили огромный запас соот-

ветствующих выражений, основанных на совершенно особенной «грамматике» (вспомним глаголы действия, их превращение в пассивные формы, отношение между дополнениями и глаголами, способность предложений действия принимать практически неограниченное число обстоятельственных выражений, касающихся времени, места, средств и т. д.). Равным образом действие не является и непередаваемым, поскольку в гуще взаимодействия тот смысл, который мы приписываем нашим действиям, не обречен оставаться приватным, как зубная боль, но сразу же обретает публичный характер. Мы объясняемся, оправдываемся, извиняемся не иначе как публично. И тот смысл, на который мы ссылаемся, сразу подчиняется тому, что мы назвали условиями приемлемости, которые определенно являются публичными.

Теория действия, таким образом, лишь эксплицирует условия интеллигибельности, принадлежащие к спонтанной семантике действия. Ниже мы скажем, чего недостает в исследовании, которое так привязывается к повседневному дискурсу. Но прежде этот подход следует испытать, если не исчерпать.

Понятие, на котором будет сосредоточено наше внимание на этом уровне — это понятие основания *для действия*. Оно подразумевается в ответах, которые действующий считает себя способным дать на упомянутые выше вопросы. Я не буду здесь обсуждать вопрос о том, исключает ли ссылка на основание для действия всякое объяснение через причину, по крайней мере в узком — юмовском или кантовском — смысле неизменного предшествования. Этот спор несущественен для нашего предмета. Позитивное содержание понятия основания для действия для нас важнее, чем то, что этим понятием исключается.

Основание для действия характеризуют четыре главные черты.

Прежде всего, это понятие распространяется на всю область мотивации. Тем самым никакой привилегии не отдается категории так называемых рациональных мотивов по отношению к так называемым эмоциональным мотивам. Как только действие воспринимается действующим как действие без принуждения, мотив становится основанием для действия. Это подразумевает, что даже «иррациональное» желание фигурирует в игре вопросов и ответов как носитель того, что Энгелс называет характером желательности. Я всегда должен быть способен сказать, *в качестве чего* я желаю что-либо. Это минимальное условие интеллигибельности осмысленного действия. Область мотивации даже не была бы известной нам областью конфликтов, если бы мотивы, настолько разнородные, насколько можно себе представить, не были бы открыты для сравнения и, таким образом, не могли бы быть иерархизированы в соответствии с их характером желательности. В самом деле, как один ход действия был бы предпочтительнее другого, если бы нельзя было сказать, в силу чего один представляется более желанным, чем другой?

В свою очередь, эти характеры желательности, как только они берутся в рассмотрение (объясняет ли действующий их другим или самому себе, чтобы, например, исключить непонимание или неверное толкование), могут быть ясно выражены в терминах мотивов, демонстрирующих определенного рода *всеобщность*.

Сказать «он убил из ревности» — значит потребовать, чтобы это единичное действие было рассмотрено в свете класса мотивов, способных объяснить также и другие поступки. Опять-таки, эти мотивы могут быть рассмотрены как «иррациональные» с некоторой иной точки зрения, это нисколько не умаляет их всеобщего характера, т. е. возможности понять их как принадлежащие к некоторому классу, который может быть идентифицирован, назван и определен при помощи всех ресурсов культуры — от драмы и романа до классических «трактатов о страстях». Благодаря этой второй характеристике основание для действия позволяет объяснить действие, если «объяснить» значит расположить (или потребовать расположить) единичное действие в свете некоторого класса диспозиций, имеющих характер всеобщности. Другими словами, «объяснить» значит истолковать данное действие как пример некоторого класса диспозиций.

Третья черта, в свою очередь, следует из развития понятия диспозиции, заключенного в понятии класса мотивов. Объяснение в терминах диспозиции есть разновидность каузального объяснения. Сказать, что некто действовал в порыве мести, — значит сказать, что эта диспозиция его побудила, подтолкнула, заставила так действовать. Но тот вид каузальности, на которую здесь ссылаются, является не линейной каузальностью, направленной от антецедента к консеквенту, но каузальностью телеологической, которая, как пишет Чарльз Тейлор в «The Explanation of Behaviour», определяется не посредством ссылки на какую-либо скрытую сущность наподобие «усыпляющей силы», но посредством одной только формы предполагаемого закона. Телеологическое объяснение, говорит Чарльз Тейлор, — это объяснение, в котором глобальная конфигурация событий сама есть фактор собственного производства. Сказать, что событие случается потому, что оно есть результат намеренного целеполагания, — значит сказать, что условия, которые его производят, таковы, что они, принадлежа к нашему запасу умений, призываются, мобилизуются и избираются для достижения намеченной цели. Или, снова цитируя Чарльза Тейлора, в телеологическом объяснении «условие появления события заключается в том, что реализуется такое положение дел, что оно приведет к данной цели, или что это событие требуется для достижения этой цели»¹. Телеологическое объяснение — это логика, стоящая за всяким употреблением понятия мотива в смысле «диспозиции к...»

Одно замечание перед тем, как ввести четвертую характерную черту понятия основания для действия. Его прояснение до сих пор было ближе к «Никомаховой этике», чем к «Критике практического разума». Действительно, оно ограничивалось развертыванием анализа *proairesis* или сознательного выбора из III кн. «Никомаховой этики». Как и у Аристотеля, наш анализ не оставляет никакого зазора между желанием и разумом, но выводит из самого желания, когда оно достигает области языка, самые условия применения делиберативного разума. Аристотель выражает это родство между желанием и делиберацией, приписывая весь порядок

1. Taylor C. (1964). The Explanation of Behaviour. L.: Routledge & Kegan Paul. P. 5.

делиберативного выбора той неразумной (alogos) части души, которая причастна logos, чтобы отличить ее как от души собственно разумной, так и от души неразумной и недоступной для logos. Глубокая истина кроется в этом отнесении логики praxis к антропологическому уровню, который не является ни уровнем спекулятивного мышления, ни уровнем глухой к разуму страсти. Эта ориентация на средний уровень не только психологии, но и дискурса, станет постепенно лейтмотивом всего нашего исследования практического разума. Современный эквивалент аристотелеву понятию делиберативного желания обнаруживается в трех чертах, которыми мы охарактеризовали понятие основания для действия: характер желательности, описание мотива как рода интерпретации, и, наконец, телеологическая структура всякого объяснения в терминах диспозиции.

Эти три характеристики могут нам сейчас послужить основой для введения четвертой, скорее синтаксического, чем семантического характера. Эта характеристика заставляет нас перейти от понятия основания для действия к понятию *практического рассуждения*. Она несколько приближает нас к более полной концепции практического разума, которая, правда, включает в себя другие компоненты, уже не относящиеся к теории действия.

Лучший способ ввести понятие практического рассуждения — это подчеркнуть один аспект понятия основания для действия, который до сих пор не был отмечен, потому что мы отождествили основание для действия с категорией мотивов, имеющих одновременно ретроспективный и интерпретативный характер. Однако существуют основания для действия, которые касаются в большей степени намерения, *с которым* мы что-либо делаем, чем ретроспективно преднамеренного характера уже совершенного действия, которое мы хотим объяснить, оправдать или простить. Особенность намерения, взятого в смысле «намерения, с которым...», состоит в том, чтобы установить между двумя или более действиями сцепление синтаксического характера, которое выражается в оборотах вида: «делать то-то, *чтобы* то-то», или наоборот: «*чтобы* достичь того-то, делать то-то». Эта связь между двумя практическими высказываниями допускает сцепления различной длины. Объяснить такое сложное намерение — значит определенным образом упорядочить эти практические высказывания. Именно здесь вступает в действие практическое рассуждение, наследующее практическому силлогизму Аристотеля. Но я предпочитаю говорить о практическом рассуждении, чтобы пресечь все попытки, исходящие от самого Аристотеля, установить строгий параллелизм между этим рассуждением и силлогизмом спекулятивного разума. Соединение большей якобы универсальной посылки («всякому человеку полезно сухое») и малой посылки, утверждающей единичное (например, «я человек», «это пища, и это сухое»)² является соединением слишком странным и довольно-таки

2. См.: Аристотель. (1983). Никомахова этика / Пер. с древнегреч. Н. В. Брагинской // Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль. С. 195. — Прим. перев.

«монструозным» (Джоаким)³ с формальной точки зрения, чтобы мог быть установлен параллелизм со спекулятивным силлогизмом. Это рассуждение выглядит ошибочным в своих крайних точках: его большая посылка неправдоподобна и, в сущности, «бессмысленна» по отношению к негласным или явно выраженным правилам приемлемости, вытекающим из семантики действия. Что же касается его заключения, в нем нет ничего понуждающего к действию и оно, следовательно, не приводит, вопреки своей якобы единичности, к реальному «делу». «Синтаксис» практического рассуждения, который представляется наиболее гомогенным тем чертам «семантики» действия, о которых мы только что сказали, опирается именно на понятие основания для действия в смысле намерения, с которым что-то делается. Идея порядка оснований для действия — ключ к практическому рассуждению. Это последнее не имеет иной функции кроме упорядочения «длинных цепочек оснований», порожденных конечным намерением. Рассуждение отправляется от основания для действия, считающегося последним, то есть исчерпывающим ряд вопросов «для чего», иначе говоря — от характера желательности в самом широком смысле этого слова, который включает также и желание осуществить свою задачу. Именно этот характер желательности регрессивно упорядочивает ряд средств, предусмотренных для его удовлетворения. Выражаясь словами Аристотеля: «решение наше касается не целей, а средств к цели»⁴. Для этого упорядочения, наконец, требуется дистанция между характером желательности и единичным действием. Когда эта дистанция задана с намерением, практическое рассуждение заключается в упорядочении цепочки средств в стратегию.

II. Понятие «правило действия»

Мне нетрудно признать, что понятие основания для действия, даже дополненное понятием практического рассуждения, далеко не покрывает всего поля значений, стоящих за термином «практический разум».

Второй уровень рассмотрения позволит нам не только подтвердить предыдущий анализ, но и выйти за его пределы путем введения важнейшей, еще не упоминавшейся характеристики, а именно *правилосообразного* или *нормированного* действия. Этот новый уровень рассмотрения принадлежит не теории действия, а совершенно иной области исследования, которая методологически ограничивается областью индивидуального действия, протекающего в повседневной жизни. Действительно, даже если приводимые мотивы доступны публичному пониманию, они остаются мотивами индивидуального действующего. Для *понимающей социологии* веберовского типа в понятии осмысленного действия все еще не хватает нескольких существенных компонент. Прежде всего — того, что Макс Вебер

3. Рикёр ссылается на британского философа Гарольда Г. Джоакима, автора комментария к «Никомаховой этике». См.: *Joachim H. H. (1951). Aristotle: The Nicomachean Ethics: A Commentary / Ed. D. A. Rees. Oxford: Clarendon Press. — Прим. перев.*

4. См.: *Аристотель*. Указ. соч. С. 102. — *Прим. перев.*

называет ориентацией на другого. В самом деле, недостаточно того, что действие может быть истолковано действующим исходя из мотива, смысл которого может быть сообщен другому, необходимо еще, чтобы поведение каждого действующего учитывало поведение другого так, чтобы либо противопоставить себя его поведению, либо с ним объединиться. Только на основе этой ориентации на другого можно говорить о социальном действии. Но это еще не все. Необходимо добавить к понятию социального действия понятие социального отношения, под которым понимается ход действия, в котором каждый индивид не только учитывает реакцию другого, но и мотивирует свое действие посредством символов и ценностей, которые выражают уже не просто ставшие публичными приватные характеры желательности, но правила, публичные сами по себе. Это касается как действия, так и языка. Использование дискурса индивидуальным говорящим опирается на семантические и синтаксические правила, которые обязывают того, кто берет слово. Говорить — значит быть «назначенным» (Стэнли Кэвелл) передавать смысл того, что говорится, то есть использовать слова и фразы в соответствии с кодификацией, предписанной языковым сообществом. Будучи перенесенным в теорию действия, понятие кода подразумевает, что осмысленное действие так или иначе *регулируется правилами*. Понять ритуальное коленопреклонение — значит понять сам код этого ритуала, благодаря которому такое коленопреклонение расценивается как религиозный акт поклонения. Один и тот же фрагмент действия — поднятие руки — может означать: «я прошу слова», или «я голосую „за“», или «я вызываюсь добровольцем на это задание». Смысл зависит от системы конвенций, которая приписывает некоторый смысл каждому жесту в ситуации, в свою очередь очерченной этой системой конвенций, будь то ситуация дискуссионной группы, совещания или рекрутского набора. Вслед за Клиффордом Гирцем⁵ можно говорить о *символическом опосредствовании*, чтобы подчеркнуть исходно публичный характер не только выражения индивидуальных желаний, но и кодификации социального действия, в котором индивидуальное действие имеет место. Эти символы суть культурные сущности, а не только психологические. Кроме того, эти символы входят в состав артикулированных и структурированных систем, в силу которых символы, взятые изолированно, взаимно указывают друг на друга, будь то дорожные знаки, правила вежливости или более сложные и более стабильные институциональные системы. Гирц в этом смысле говорит о «системах взаимодействующих символов» и «структурах взаимовлияющих смыслов»⁶.

Вводя таким образом понятие нормы или правила, мы не обязательно подчеркиваем характер принуждения или даже подавления, который некоторые ему приписывают. Для внешнего наблюдателя эти символические системы предоставляют дескриптивный контекст для отдельных действий. Именно в терминах некоторого символического правила и в соответствии с ним мы можем интерпретировать данное поведение как значащее то или это. Слово «интерпретация» следует здесь

5. Гирц К. (2004). Интерпретация культур. М.: РОССПЭН.

6. Там же. С. 238. — Прим. перев.

понимать в смысле Пирса: прежде чем стать предметом интерпретации, символы являются интерпретантами поведения. Понятая таким образом, идея правила или нормы не подразумевает никакого принуждения или подавления. Для самих действующих дело обстоит несколько иначе. Однако, прежде чем принуждать, нормы упорядочивают действие в том смысле, что они его конфигурируют, придают ему форму и смысл. Здесь может быть полезно сравнить те способы, которыми нормы регулируют действие, с тем способом, которым генетический код регулирует человеческое поведение: оба типа кодов могут быть поняты как программы поведения, придающие жизни значение и направление. Хотя символические коды вступают в действие в областях, подконтрольных генетическому регулированию, они, тем не менее, продолжают функционировать и на уровне намеренного действия. Подобно генетическому коду, они наделяют действие известной *считываемостью*, которая, в свою очередь, может в некоторых случаях сделать возможным определенное письмо, этнографию в собственном смысле слова, в которой текстура действия преобразуется в культурный текст.

Я не буду углубляться в этот анализ символического действия или, лучше сказать, действия, опосредствованного символами. Я ограничусь тем, что отмечу вклад этого анализа в наше исследование понятия практического разума. Отчасти, как я уже дал понять, он подтверждает предшествующий анализ все еще слишком психологического понятия основания для действия, предоставляя его социологический эквивалент. С другой стороны, он открывает новые перспективы, вводя понятие нормы и правила. Тем самым практическое рассуждение, которое мы вслед за Аристотелем ограничили областью делиберации о средствах, теперь охватывает также и область делиберации о целях. Речь здесь уже идет не только об упорядочении цепочки средств или древа возможностей в стратегию. Теперь речь идет об аргументации в пользу большей посылки практического силлогизма (если сохранить из дидактических соображений эту терминологию несмотря на ее сомнительность с точки зрения логики). И эта аргументация, как показал Перельман, относится скорее к риторике, чем к науке, и открывает путь идеологиям и утопиям, о которых будет сказано ниже. Это различие между делиберацией о целях и делиберацией о средствах выражается просто: рефлексия о целях являет дистанцию нового рода. Это уже не та дистанция (указанная выше) между характером желательности и тем действием, которое нужно совершить, — дистанция, которую преодолевает как раз практическое рассуждение стратегического типа. Это подлинно рефлексивная дистанция, открывающая новое пространство игры, где сталкиваются противоположные нормативные требования, между которыми практический разум рассуживает как судья и арбитр и прекращает тяжбу своими решениями, подобными судебным постановлениям. Идеология и утопия могут сюда проскользнуть только потому, что рефлексивная дистанция порождает то, что можно было бы назвать разрывом «репрезентации» по отношению к символическим опосредствованиям, имманентным действию. Уже на уровне индивидуального действия действующий может взять дистанцию по отношению к своим

основаниям для действия и скоординировать их с символическим порядком, *репрезентированным* для него самого в отрыве от действия. Однако наиболее очевиден этот разрыв репрезентации на уровне коллективном. На этом уровне репрезентации являются преимущественно системами оправдания и легитимации либо установленного порядка, либо порядка, способного его заменить. Эти системы легитимации могут быть названы, если угодно, идеологиями, при условии, что идеология не будет поспешно отождествлена с обманом, и за ней будет признана более первичная и более фундаментальная функция, чем искажение, а именно функция, состоящая в обеспечении имманентных коллективному действию символических опосредствований своего рода метаязыком. Идеологии — это, прежде всего, такие репрезентации, которые удваивают и усиливают символические опосредствования тем, что облачают их, например, в форму повествований, хроник, при помощи которых сообщество некоторым образом «повторяет» собственное возникновение, увековечивает его и воспевают.

Сейчас я не буду двигаться дальше в этом направлении. Я отложу до конца этого исследования переход от идеологии в смысле интегративной репрезентации к идеологии в смысле систематического искажения и обмана. Чтобы добраться до этого, нам предстоит пройти еще немалый путь.

Вместо этого я подведу итог нашему исследованию понятия практического разума на этом этапе. Я сделаю это путем сравнения с аристотелевским понятием *phronēsis*. Мне кажется, что мы восстановили большую часть того, что Аристотель называл *phronēsis* или практической мудростью. Действительно, наш первый анализ, посвященный понятию *основания для действия*, не выходит за пределы аристотелевского понятия сознательного выбора (*proairesis*), который есть не что иное как психологическая предпосылка намного более богатого и более содержательно-го понятия практической мудрости. Это последнее добавляет к психологической компоненте множество других, и прежде всего — компоненту аксиологическую. Определяя этические добродетели, чтобы отличить их от добродетелей интеллектуальных или спекулятивных, Аристотель пишет: «Добродетель есть сознательно избираемый склад [души], состоящий в обладании серединой по отношению к нам, нормой для чего является моральное правило, то есть такое, которое установил бы практически мудрый человек»⁷. Это определение обладает тем достоинством, что связывает психологическую компоненту, а именно сознательный выбор, логическую компоненту — аргументацию (которая рассуживает между двумя требованиями, одно из которых воспринимается как недостаток, а другое — как избыток, что в итоге дает то, что Аристотель называет серединой), аксиологическую компоненту — норму или моральное правило и, наконец, личную меткость *phronimos*, персонализирующего норму. Практическое рассуждение есть, таким образом, не что иное как дискурсивная часть *phronēsis*. *Phronēsis* объединяет правильный расчет и правильное желание под нормой (*logos*), которая, в свою оче-

7. Аристотель. Указ. соч. С. 87. Перевод изменен. — Прим. перев.

редь, не обходится без инициативы и личной проницательности, иллюстрацией чего служит политическое чутье Перикла. Все это в совокупности формирует практический разум.

III. Кантианский момент: если разум как таковой может быть практическим

Достигнув этой точки, уже невозможно уклоняться и откладывать то, что следует считать вотумом доверия применительно к практическому разуму. Что делать, спрашивается, с кантианским понятием практического разума? Я сказал в начале, что кантианский момент этой проблематики не может быть исключен, но также и не должен абсолютизироваться. Настало время обосновать эти два тезиса. То, что кантианское понятие практического разума есть неминуемая отправная точка нашего исследования, вытекает из следующих соображений.

Во-первых, именно Кант, а не Аристотель, поставил вопрос свободы в центр практической проблематики. По причинам, которые не могут быть здесь раскрыты, и которые превосходно сформулировал Гегель, понятие свободы в смысле личной автономии не могло быть создано никаким греческим мыслителем. Начиная с Канта, практическая свобода, понятая так или иначе, есть определение свободы. Эта идея останется с нами до конца этого исследования.

Во-вторых, у Канта впервые философское становление понятия свободы оказалось связано с апоретическим положением спекулятивной философии. Чтобы сформировать само понятие практического разума, необходимо, чтобы понятие свободы было признано спекулятивной философией как «проблематическое, как не невозможное»⁸. Этот момент выходит за рамки дальнейшей судьбы кантианской философии и непосредственно касается современной дискуссии вокруг аналитической философии. В предшествующем анализе мы, фактически, признали, что для определения практических понятий, философия должна была сначала пройти школу обыденного языка и в нем обнаружить в имплицитном виде очертания анализа понятий основания для действия и практического рассуждения. Наш анализ до сих пор не уклонялся от этого общего допущения. С Кантом мы делаем цезуру и совершаем прыжок. Концептуальный анализ может дистанцироваться от обыденного языка только потому, что понятие свободы было предварительно перенесено на спекулятивный план для тематизации и проблематизации. В частности, чтобы понятие свободы стало понятием философским, необходимо, чтобы философский дискурс прошел через теснину антиномий, с тем чтобы встретить там вопрос о трансцендентальной иллюзии. Проблематизировать понятие свободы — значит показать, что оно является проблематическим. При этом условии и только при нем, свобода есть идея разума, а не рассудка. Соответственно, вся последующая проблематика заслуживает того, чтобы быть отнесенной к области

8. Кант И. (1965). Критика практического разума / Пер. с нем. Н. М. Соколова // Кант И. Сочинения в 6-ти т. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль. С. 313–314. — Прим. перев.

практического разума. Эта эпистемологическая цезура между практическим рассуждением и практическим разумом является настоящим поворотным моментом всего нашего анализа.

В-третьих, мы должны рассмотреть практический разум как взаимоопределение идеи свободы и идеи закона, и именно здесь достижение Канта одновременно становится отправной точкой всех атак на него. Мыслить свободу и закон в их единстве — сугубая задача «Аналитики» «Критики практического разума». Понятие практического разума обретает здесь собственно кантовскую окраску. Это означает, что разум как таковой является практическим, то есть он сам по себе может *a priori* определять волю, при условии, что закон есть закон свободы, а не закон природы. Я не буду дальше раскрывать это понятие практического разума. Это вещи известные, пусть и сложные для понимания, в особенности, когда речь заходит о понимании того, в каком смысле синтез свободы и закона, определяющий автономию, становится в конечном итоге *factum rationis*. Я предпочитаю перейти непосредственно к причинам, по которым мне представляется, что кантовское понятие практического разума должно рассматриваться как в сущности преодолимое, хотя обойти его нельзя.

Под сомнение я ставлю, прежде всего, необходимость так полно и так однозначно *морализировать* понятие практического разума. Мне представляется, что Кант абсолютизировал только один аспект нашего практического опыта, а именно факт морального долженствования, понятого как принуждение императива. Мне кажется, что идея подчиненного правилам поведения имеет много других аспектов помимо долга. В этом отношении аристотелево понятие *aretè* (которое лучше переводить термином «совершенство», чем унылым «добродетель») мне представляется более богатым в смысловом отношении, чем строгая идея подчинения долгу. Кое-что от этой полноты смысла сохранилось в понятии нормы или правила, а именно идея «образца-для-действия», лучшего или предпочтительного плана, ориентации, которая дает смысл. С этой точки зрения, идея этики сложнее, чем идея морали, если под моралью понимается строгое соответствие долгу без учета желания. Мы вернемся к этому с Гегелем.

Это первое сомнение влечет за собой второе. Идея, что разум сам по себе является практическим, то есть властвует как разум без учета желания, мне представляется еще более достойной сожаления. Она вовлекает мораль в ряд дихотомий, губительных для самого понятия действия, что справедливо осуждает гегельянская критика. Форма противопоставляется содержанию, практический закон — максиме, долг — желанию, императив — счастью. И здесь Аристотель лучше отразил специфическую структуру практической сферы, когда сформулировал понятие делиберативного желания и вложил правильное желание и точное мышление в свое понятие *phronēsis*.

Но что мне представляется наиболее уязвимым для критики — и это третье сомнение приводит в действие два предыдущих, — это сам проект построения «Критики практического разума» по образцу «Критики чистого разума», а именно —

как методическое разделение априорного и эмпирического. Сама идея аналитики практического разума, которая точь-в-точь соответствовала бы аналитике чистого разума, как мне представляется, игнорирует специфику сферы человеческого действия, не выдерживающей демонтажа, к которому принуждает трансцендентальный метод, но наоборот, требующей тонкого чувства переходов и медиаций.

В конечном счете, это игнорирование необходимых атрибутов действия сопряжено с переоценкой самого *a priori*, а именно правила универсализации, которое, без сомнения, есть не более чем критерий контроля, позволяющий действующему проверять свою добрую волю, когда он притязает на то, чтобы «быть объективным» в максимах своего действия. Возводя правило универсализации в ранг высшего принципа, Кант наводит на путь самой опасной идеи из возможных, обладавшей впоследствии у всех, начиная с Фихте и заканчивая Марксом включительно, а именно, что практическая сфера подсудна знанию и научности, аналогичным знанию и научности, требуемым в сфере теоретической. Кант, правда, сводит это знание к установлению высшего принципа. Тем не менее, брешь была пробита, и в нее устремились все *Wissenschaftslehre*, которые, в свою очередь, породили смертельную идею — смертельную подчас в физическом смысле, — что существует наука о праксисе. Можно еще раз прочесть у Аристотеля строгое предостережение против этой идеи приложенной к практике науки в знаменитом пассаже, где Стагирит говорит, что в сфере человеческих дел, переменчивых и предоставленных решению, невозможно достичь той же степени точности (акрибии) как, например, в математических науках, и что нужно всякий раз соразмерять степень строгости рассматриваемой дисциплины с требованиями ее предмета⁹. Немного сегодня найдется идей, более целебных и более освобождающих, чем идея, что существует практический разум, но не наука о практике. Область действия с онтологической точки зрения — это область изменчивых вещей, а с эпистемологической — область правдоподобного в смысле вероятного и возможного. Разумеется, не следует возлагать ответственность на Канта за развитие, которого он не желал и не предвидел. Я лишь говорю, что, создав понятие практического *a priori* по образцу теоретического *a priori*, Кант перенес исследование практического разума в чуждую ему область познания. Чтобы его вернуть в ту срединную область, которую Аристотель с полным на то основанием расположил между «логическим» и «алогическим», необходимо суметь связать с понятием критики практического разума такой смысл, который не был бы производным от смысла критики чистого разума, то есть смысл, который соответствовал бы только сфере человеческого действия. В конце этого исследования, наряду с понятием критики идеологий, будет предложен особый способ вновь перенести понятие критики на практический уровень.

Таковы аргументы в пользу того, что для определения понятия практического разума мы проходим через Канта, но не останавливаемся на Канте.

9. См.: Аристотель. Указ. соч. С. 55. — Прим. перев.

IV. Гегельянское искушение

Является ли моя критика Канта гегельянской? Во многих отношениях — несомненно. И все же, какой бы соблазнительной в интеллектуальном смысле ни была гегельянская концепция действия, то *покушение*, которое она собой представляет, должно оставаться *искушением*, которому следует противостоять по вполне определенным основаниям, о которых мы скажем ниже и которые позволяют отнести тех, кто следует подобному пути, к причудливой категории постгегельянских кантианцев...

Что нас прежде всего соблазняет до такой степени, что почти нас покоряет, так это идея, что нужно искать в *Sittlichkeit* — конкретной этической жизни — источники и ресурсы осмысленного действия. Никто не начинает заново этическую жизнь; каждый ее находит уже наличной в состоянии нравов, в которых седиimentировались основополагающие традиции его сообщества. Хотя изначальное основание может быть представлено только в форме более или менее мифической, оно все же продолжает действовать и остается действительным в рамках седиimentаций традиций благодаря все новым интерпретациям, которые получают эти традиции и их изначальное основание. Эта совместная работа основания, седиimentаций и интерпретаций порождает то, что Гегель называет *Sittlichkeit*, то есть сеть аксиологических убеждений, которые регулируют разделение дозволенного и недозволенного в данном сообществе.

По отношению к этой конкретной этике кантианская моральность обретает фундаментальное, но ограниченное значение, которое признает за ней наша критика. Она конституирует момент интериоризации, универсализации и формализации, с которым Кант отождествляет практический разум. Этот момент необходим, потому что только он устанавливает автономию ответственного субъекта, то есть такого субъекта, который признает себя способным делать то, что он в то же время полагает должным. В гегельянской перспективе развития (скорее логического, чем хронологического) формообразований духа, этот момент интериоризации конкретной этической жизни становится необходимым благодаря диалектике, внутренне присущей самой *Sittlichkeit*. Прекрасный греческий полис — по крайней мере, если он рассматривается как лучшее выражение конкретной этической жизни *до* момента абстрактной моральности — больше не существует. Его внутренние противоречия вывели дух за пределы его прекрасной гармонии. Для нас, людей модерна, вход в культуру необходимо связан с отрывом, отчуждающим нас от наших собственных истоков. В этом смысле отчуждение от традиции стало неизбежной частью всякой нашей связи с унаследованным прошлым. Отныне фактор дистанцирования действует внутри любой принадлежности к какому бы то ни было культурному наследию.

Будучи необходимым, момент абстрактной моральности становится невыносимым ввиду противоречий, которые он, в свою очередь, порождает. Всем известна знаменитая критика «морального мировоззрения» в «Феноменологии духа»

и перекликающаяся с ней критика субъективной нравственности в «Философии права». Мы сами признали аргументы этой двойной критики, когда с сожалением отмечали те дихотомии, которые трансцендентальный метод порождает в самом человеческом действии, и когда утверждали, что правило универсализации максим воли есть, возможно, лишь критерий контроля, с помощью которого моральный агент удостоверяется в своей добросовестности, а не высший принцип практического разума.

Эта двойная критика ведет нас к тому, чтобы отдать должное гегельянскому понятию воли, как оно конструируется в начале «Философии права». Это диалектическое конструирование содержит в зародыше все последующие развития, которые, вместе взятые, составляют позитивное дополнение критике морального мировоззрения и абстрактной моральности. Вместо того, чтобы разъединять, как это делает Кант, *Wille* и *Willkür*, то есть волю, определенную одним только разумом, и свободный выбор, расположенный на перепутье между долгом и желанием, вместо этого демонтажа, Гегель предлагает диалектическое становление воли, которое следует порядку категорий от всеобщности к особенностям и единичности. Воление волит и волит себя как всеобщее в отрицании всех содержаний; в то же время оно волит вот это, а не иное. Иначе говоря, оно инвестирует себя в работу, которая бросает его в особенное, но в нем оно не утрачивает себя до такой степени, что больше не может восстановить рефлексивно, то есть всеобщим образом, сам смысл своего движения к особенному. Этот способ, которым воля делает себя особенной, оставаясь всеобщей, — вот что, говорит Гегель, конституирует ее единичность. Единичность, следовательно, перестает быть невыразимым и несообщаемым модусом бытия и действия; благодаря своему диалектическому становлению, она соединяет смысл и индивидуальность. В эту сложную конструкцию можно входить с начала или с конца, в зависимости от того, подчеркивается ли *смысл* единичного деяния или же *единичность* осмысленного деяния. Мышление единичного как осмысленной индивидуальности — вот что мне представляется одним из самых неоспоримых достижений, которые должна в себя включать реконструкция понятия практического разума. В эпоху модерна оно соответствует тому, что для античной мысли было сложной идеей «делиберативного желания» и объединяющей идеей *phronêsis*, конституирующего «совершенство» решения.

Но нужно ли вместе с Гегелем делать второй шаг, тот самый, которому предшествует и которого, как представляется, требует понятие воли, диалектическую конструкцию которого мы только что резюмировали? Нужно ли также принимать политическую философию, на которую ориентируется восстановление *Sittlichkeit* за пределами критики *Moralität*? Именно здесь попытка и искушение пересекаются так же, как выше у Канта, где взаимное определение свободы и закона составляло одновременно одну из вершин концепции практического разума и источник всех парадоксов, которые привели к кризису всю практическую философию Канта. Сравнение двух кризисных моментов в нашем исследовании, впрочем, не случайно. В обоих случаях речь идет о соединении свободы и нормы в том или ином

смысле. Кант делал это, как мы помним, при помощи понятия нормы, сведенной к скелету правила универсализируемости какой бы то ни было максимы. Но он не смог показать только с помощью него, что разум является практическим сам по себе, поскольку то, что разум определяет, есть воля абстрактная и пустая, а не конкретное действие, как того, однако, требует позитивная идея свободы, понятой как свободная причинность, то есть как источник реальных изменений в мире.

Именно в этой точке гегельянская попытка оказывается привлекательной: вместо того, чтобы искать в пустой идее закона вообще противовес воли, которая иначе осталась бы произвольной, Гегель ищет в следующих друг за другом структурах семейного, затем экономического, наконец политического порядка конкретные опосредствования, которых не доставало в пустой идее закона. Так артикулируется новая *Sittlichkeit*, уже не предшествующая абстрактной моральности, но следующая за ней (в смысле концептуального порядка). Именно эта *Sittlichkeit* институционального уровня составила бы наконец подлинное понятие практического разума, на поиск которого направлено все наше исследование.

Мы тем более до сих подвергались искушению следовать за Гегелем, что эта конкретная этика восстанавливает, используя ресурсы мысли модерна (стало быть — посткантианской), важнейшую идею Аристотеля, а именно, что «блага человека» и «задача» (или «назначение») человека — столь ценные понятия из первой книги «Никомаховой этики» — в полной мере осуществляются только в сообществе граждан. Благо человека и назначение человека сохраняются от рассеивания в отдельных техниках и искусствах только постольку, поскольку сама политика является архитектурным знанием, то есть знанием, которое согласовывает благо индивида и благо сообщества и объединяет отдельные умения в мудрость, относящуюся ко всему полису. Таким образом, именно архитектурный характер политики сохраняет нераздельность блага человека и назначения человека.

Именно это архитектурное видение возрождается в гегелевской философии государства. Оно возрождается в современной форме, которая предполагает, что право индивида уже провозглашено. Закон, в форме которого это право может быть признано, отныне может быть только законом политического института, в котором индивид обретает смысл и удовлетворение. Ядро этого института — конституция правового государства, в которой воля каждого узнает себя в воле целого.

Эта точка зрения нас прельщает не только потому, что она освежает античное понятие, но и потому что предлагаемая ею идея осмысленного действия, осуществляющегося в политической жизни и посредством нее, не устарела и даже, в некотором смысле, еще не была достигнута. Не соглашаясь с Марксом в том, что Гегель будто бы лишь спроектировал идеальное государство, маскирующее собственное отклонение от государства реального, я бы сказал, что Гегель описал государство в его начальной и имеющей определенную направленность форме, уже наличной, но не развитой, не приведя оснований его сложного учреждения. А ведь это государство не только почти не прогрессирует, но фактически сдает позиции. В наши

дни мы видим, что сама идея институционального опосредствования свободы отступает как в мыслях, так и в желаниях. Наши современники все больше и больше прельщаются идеей дикой свободы вне институтов, в то время как всякий институт им кажется сущностно ограничивающим и репрессивным. Но они забывают страшное равенство, установленное Гегелем в «Феноменологии духа» в главе об ужасе, — равенство между свободой и смертью, когда никакой институт не опосредствует свободу. Разрыв между свободой и институтом, окажись он устойчивым, ознаменовал бы самое большое отречение от идеи практического разума.

Поэтому меня смущает не идея синтеза свободы и института. И не идея, что только в форме либерального государства этот синтез может быть увиден в действии в толще истории. Точка, в которой гегелевская попытка в моих глазах становится искушением, которое следует решительно отвергнуть, заключается в следующем: можно радикально усомниться в том, что для того, чтобы подняться от индивида к государству, необходимо онтологически различать между субъективным духом и объективным духом, или, скорее, — между сознанием и духом. Предельная важность этого момента несомненна. Для Гегеля сам термин «дух» — *Geist* — указывает на радикальную дисконтинуальность со всяким феноменологическим сознанием, то есть с сознанием, постоянно оторванным от самого себя своей недостаточностью и ожидающим своего бытия от признания другим сознанием. Вот почему в «Энциклопедии» философия объективного духа разворачивается вне феноменологии, ибо феноменология остается царством интенционального сознания, лишенного своего иного. Можно задаться вопросом, не является ли это гипостазирование духа, настолько поднятого над индивидуальным сознанием и даже над интересубъективностью, ответственным за другое гипостазирование, а именно — государства. Невозможно изъять из гегелевского текста, будь то «Энциклопедия» или «Философия права», выражения, которыми государство характеризуется как бог среди нас.

Но отказ от этого гипостазирования государства, укорененного в онтологизации *Geist*, имеет свою собственную логику, которую нужно довести до конца. Все следствия, которые должны быть приняты, являются решающими для идеи практического разума.

Во-первых, если мы отказываемся гипостазировать объективный дух, необходимо исследовать альтернативу, а именно, что всегда должно быть возможно, согласно рабочей гипотезе пятой «Картезианской медитации» Гуссерля, породить все общности высокого ранга, такие как государство, исходя из одной только конституции другого в интересубъективном отношении. Все другие конституции, относящиеся друг к другу, в свою очередь, как «Я» более высокого ранга к другим «Я» того же ранга, должны быть выведены: сначала те, что связаны с общим физическим миром, затем те, что связаны с общим культурным миром. Нам возразят, что у Гуссерля это обещание конституировать общности высокого ранга в интересубъективности остается благим пожеланием. Возражение теряет силу, если принять

во внимание, что понимающая социология Макса Вебера содержит подлинную реализацию проекта пятой «Картезианской медитации». Ни его понятие социального действия, ни понятие легитимного порядка, ни даже его типология систем легитимации власти не задействуют никакие другие сущности, кроме индивидов, действующих в отношении друг друга и регулирующих понимание своего собственного действия на основе понимания действий других. Мне представляется, что этот эпистемологический индивидуализм способен лучше теоретически разрешить диалектику свободы и института, поскольку институты возникают как объективации или даже реификации intersубъективных отношений, которые никогда не предполагают, если можно так сказать, дополнения в виде духа. Следствия этого методологического выбора в отношении понятия практического разума весьма значительны. Судьба практического разума отныне решается на уровне процессов объективации и реификации, в ходе которых институциональные опосредствования отчуждаются от индивидуальных желаний удовлетворения. Практический разум, я бы сказал, есть совокупность средств, принятых индивидами и институтами для сохранения или восстановления взаимной диалектики свободы и институтов, вне которой нет осмысленного действия.

Второе следствие нашего отказа от гегелевского объективного духа: гипостазирование объективного духа имеет не только онтологическое, но и эпистемологическое значение. Оно держится на притязании на познание духа, на познание государства. Мы постоянно читаем: дух познает себя в государстве, а индивид познает себя в познании духа. Я неоднократно говорил, что нет ничего, на мой взгляд, более разрушительного теоретически и более опасного практически, чем это притязание на познание в области этики и политики. Эта идея теоретически разрушительна, поскольку возвращает нас в ситуацию дихотомии, подобную той, что ставилась в упрек Канту. Действительно, мы возражали против кантовской дихотомии между намерением и делом. Но гегелевское государство тоже есть государство в намерении, и концептуальный анализ не дает никакой возможности ликвидировать цезуру между государством в намерении и реальным государством. Именно этим сильна марксова критика «Философии права» Гегеля. (К сожалению, Маркс, в свою очередь, впоследствии восстановил познание экономической практики и всех практик, локализованных им внутри отношения надстройки к базису. Но я намерен не противостоять этому притязанию Маркса, но атаковать его корень у Гегеля.) Разрушительное в теоретическом отношении, это притязание на познание, кроме того, опасно в отношении практическом. Все постгегельянские фанатизмы *in nuce* содержатся в идее, что индивид познает себя в государстве, которое само себя познает в объективном духе. Ибо, если человек или группа людей, партия, присваивают себе монополию на познание практики, они также присвоят себе право причинять людям добро помимо их воли. Так познание объективного духа порождает тиранию.

Однако если государство, в соответствии с противоположной гипотезой Гуссерля, Макса Вебера, Альфреда Шюца, происходит из самих intersubjectивных отношений посредством подлежащего описанию процесса объективации и отчуждения, то познание этих объективаций и отчуждений остается познанием, неотделимым от сети взаимодействий между индивидами, и носит вероятностный характер, свойственный всем антиципациям в отношении хода человеческих дел. Я не устану повторять, что практический разум не может возвести себя в теорию праксиса. Вслед за Аристотелем следует сказать, что существует только познание вещей необходимых и неизменных. Поэтому практический разум не должен выводить свои притязания за пределы срединной области, которая простирается между наукой о вещах неизменных и необходимых и произвольными мнениями, будь они коллективными или индивидуальными. Признание этого срединного статуса практического разума есть гарантия его трезвости и открытости для дискуссии и критики.

Третье следствие: если практический разум есть совокупность мер, принятых для сохранения или учреждения диалектики свободы и институтов, практический разум вновь обретает критическую функцию, теряя свое теоретическое притязание на статус познания. Эта критическая функция пробуждается признанием цезуры между идеей политической конституции, в которой индивид находил бы свое удовлетворение, и эмпирической реальностью государства. Именно эта цезура должна быть учтена в рамках гипотезы, что государство и другие общности высокого ранга происходят из объективации и отчуждения самих intersubjectивных отношений, противоположной гипотезе объективного гегельянского государства. Критическая функция практического разума здесь заключается в том, чтобы *демаскировать* скрытые механизмы искажения, посредством которых легитимные объективации общественных связей становятся недопустимыми отчуждениями. Легитимными объективациями я здесь называю совокупность норм, правил, символических опосредствований, которые образуют идентичность некоторого человеческого сообщества. Отчуждениями я называю систематические искажения, которые мешают индивиду примирить автономию своей воли с требованиями, проистекающими от этих символических опосредствований. Именно здесь, на мой взгляд, то, что называется «критикой идеологий», инкорпорируется в практический разум как его критический момент.

Мы уже говорили об идеологиях в связи с символическими опосредствованиями действия. Нам тогда представлялось, что идеологии — в качестве вторичных систем репрезентации этих имманентных действию опосредствований — имеют позитивную функцию интеграции социальной связи. В этом смысле они относятся к тому, что я только что назвал легитимными объективациями общественной связи. Но *репрезентативный* статус этих идеологий интеграции включает в себе возможность, что они подчиняются автономным механизмам систематического искажения, одним из эффектов которого является именно то, что реальное госу-

дарство настолько далеко отстоит от идеи государства, как она порождается в гегелевской философии. Функция критики идеологий заключается, в таком случае, в том, чтобы атаковать корни этих систематических искажений на уровне скрытых отношений между *трудом*, *властью* и *языком*. Освобождаясь, таким образом, от понимания дискурса только посредством дискурса, критика идеологий становится способной понять другую функцию идеологий, без сомнения всегда примешанную к их функции интеграции, а именно их функцию легитимации установленной власти или других властей, готовых поставить себя на ее место с той же целью господства. Я не хочу здесь развивать тему множественности значений идеологии, в частности, рассматривать связь между идеологией и господством. Я ограничиваюсь следствиями для практического разума.

Критика идеологий — это, по моему мнению, один из инструментов мышления, которыми практический разум может *переориентировать себя с познания на критику*. Тогда нужно говорить скорее не о критике практического разума, а о практическом разуме как критике. Необходимо, кроме того, чтобы эта критика не выдавала себя за познание, следуя разрушительной оппозиции между наукой и идеологией. В действительности нет места совершенно внешнего по отношению к идеологиям. Именно посреди идеологии возникает критика. В конечном счете, только моральная идея автономии, функционирующая отныне как утопическая пружина всякой критики идеологий, может поднять критику над произвольными мнениями без того, чтобы поднять ее до уровня познания. Я останавливаюсь на этом итоговом указании на роль утопии. Она служит нам напоминанием о том, что практический разум не обходится без практической мудрости, но практическая мудрость в ситуации отчуждения не обходится без того, чтобы мудрец не обратился безумцем, поскольку регулирующие социальную связь ценности сами стали безумны.

Practical Reason

Paul Ricœur

Andrey Breus

Research Assistant, Centre of Fundamental Sociology, HSE University

Research Fellow, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: zeuhled@gmail.com

Paul Ricœur's essay "Practical Reason" was initially published in 1979, and later became part of the book *Du texte à l'action: essais d'herméneutique II* (1986), marking Ricœur's transition from the general problems of the justification of hermeneutics as a legitimate philosophical discipline to

the problems of practical philosophy in a broad sense. Relying on the analytical theory of action, the interpretative sociology of M. Weber, and the Hegelian critique of Kantian ethics, Ricœur seeks to restore the Aristotelian concept of *phronesis* or “practical wisdom” in the context of modern philosophizing. This turns out to be unexpectedly relevant where neither Kant’s deontology nor the Hegelian *Sittlichkeit* can adequately express the entirety of human practical experience in a world where ideology and alienation have become inevitable components of social life.

Keywords: *phronesis*, practical reason, practical wisdom, Aristotle, Kant, Hegel, Weber, deontology, theory of action, ideology, alienation, hermeneutics, interpretative sociology

Обновление традиции в политической мысли Японии раннего Нового времени: конфуцианская категория *Дао* и вопрос об истоках социального порядка в теории Огю Сораэ*

Валентин Матвеев

Кандидат философских наук, доцент, департамент философии и религиоведения,
Школа искусств и гуманитарных наук, Дальневосточный федеральный университет
Адрес: ул. Аякс, 10, г. Владивосток, Приморский край, Российская Федерация 690922
E-mail: valentin.matveenko@gmail.com

Конфуцианская философия в Японии раннего Нового времени рассматривалась как образец политического дискурса, что способствовало вовлеченности многих мыслителей в решение политических задач. Статья посвящена теории социального порядка, разработанной Огю Сораэ (1666–1728), крупным и наиболее «прогрессивным» философом своего времени, критиковавшим современные ему школы за их практическую несостоятельность. Теория Сораэ строится вокруг концепции «Пути царей древности», под которым он понимал совокупность принципов, лежащих в основе социального порядка. Основополагающей в этой концепции является конфуцианская категория «Путь» (*Дао*), этическую интерпретацию которой предлагали современники Сораэ, тогда как сам Сораэ рассматривал Путь прежде всего как политическую категорию. Статья начинается с краткой характеристики роли конфуцианства в формировании языка политического дискурса в Японии. Далее предлагается обзор идей Сораэ о царях древности и созданном ими Пути; об устройстве общества; о роли правителя; о человеческой природе. Отдельное внимание уделено теории языка Сораэ, которая является связующим звеном между его лексикографическими и политическими трудами, т. к. внимание Сораэ к категории «Путь» не случайно: именно слова являются носителями всех смыслов, и именно в тщательной работе с языком лежит секрет должного правления и социального порядка. Заключительная часть посвящена теоретизации Сораэ категории Пути, в интерпретации которой возможны две перспективы: прагматическая, характеризующаяся социополитической проблематикой, выраженной в практических наставлениях Сораэ; и метафизическая, характеризующаяся онтологической и гносеологической проблематикой, выраженной в рассуждениях Сораэ о Небе, божествах и духах. Предпринята попытка комплексно описать логику представлений Огю Сораэ о социальном порядке, чтобы указать на значимость его утилитарных и «расколдовывающих» мир идей как на важный шаг, предшествующий наступлению «модерна» в истории японской философии.

Ключевые слова: японское конфуцианство, Огю Сораэ, Путь царей древности, Путь Совершенномудрых, Путь Неба, «Бэндо», «Бэммэй»

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-011-01094.

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Если выражаться в терминах японского философа Вацудзи Тэцуро (1889–1960), то «многослойность» или «наслоение» (яп. *dзюсё*, 重層) — это одна из существенных характеристик японской философии и культуры. Под этим термином Вацудзи понимал не столько умение или, скорее, склонность заимствовать и присваивать элементы чужой культуры, сколько способность *сохранять* каждый культурный слой, *накладывая* их друг на друга (Вацудзи, 2002: 239–246). Такая установка позволяет каждому слою самостоятельно функционировать либо в неизменном виде, если он не противоречит общей логике японской культуры, либо — трансформировавшись под ее давлением. Эта особенность в полной мере распространяется и на историю японской философии, опосредуя формирование в ней собственных, японских, традиций, не тождественных китайскому, а затем и западному «оригиналу».

История японского конфуцианства, достигшего пика развития своих идей в раннее Новое время и сохранявшего свое влияние в течение всего периода Эдо (1603–1863), не является исключением из этого правила, о чем свидетельствует своеобразие школ и учений, сформировавшихся в это время. В рамках настоящей статьи мы не беремся раскрыть всю его специфику, но обозначим ряд его отличительных особенностей в контексте философского наследия Огю Сорая 荻生徂徠 (1666–1728) — крупного, если не ведущего, философа-конфуцианца, сыгравшего важную роль в обновлении социополитического¹ дискурса токугавской² Японии в раннее Новое время.

Огю Сорай является автором множества трудов, посвященных языку и проблемам перевода, истории и литературе. Однако прежде всего его имя ассоциируется с философской концепцией «Пути Совершенномудрых», или «Пути царей древности», в основании которой лежит конфуцианская категория Дао 道, тради-

1. Отметим, что синкретическое восточноазиатское мышление, посредством которого формировались и наполнялись смыслом традиционные категории культуры, не различало в полной мере этического и политического, а ритуалистическое понимание государства может называться политической философией в современном ее понимании лишь с известными оговорками. Политическое в восточноазиатском понимании характеризуется прежде всего понятиями уместности и сочетаемости. Поэтому одним из основных методов философского объяснения политического был философский анализ древних текстов. Извлекаемая из них логика языковой уместности и сочетаемости находила свое отражение в описании логики политического акта (Ячин [и др.], 2010: 254–272, 284–291). Само японское слово *мацуригото*, записываемое иероглифом 政 (яп. *сэй*, кит. *чжэн*), которое может быть переведено как «политика», означает скорее «правление» или «управление [государством]», что указывает на первостепенную роль государства (и правителя) в осмыслении политического. В то же время это слово указывает на правителя как ответственного не только за политическое управление, но и за религиозные церемонии, т. к. *мацури* — это сезонные праздники, посвященные божествам.

2. Период Эдо (совр. Токио) совпадает по времени с периодом правления клана Токугава, в связи с чем это время также именуется периодом Токугава. В то же время, чтобы пояснить используемую терминологию, отметим, что мы солидарны с позицией историка японского конфуцианства Дж. Такера. Он предлагает говорить не о «конфуцианстве периода Эдо» и не о «токугавском конфуцианстве», но о «конфуцианстве раннего Нового времени». Это позволяет передать новизну и прогрессивность конфуцианской мысли, которая развивалась не в последнюю очередь как «философия языка» и благодаря этому смогла стать крепкой интеллектуальной платформой для усвоения западной философии в последующий период Мэйдзи (1868–1912) (Tucker, 2018).

ционно переводимая как Путь³. Сорай понимал ее как совокупность принципов, лежащих в основе должного социального порядка.

Начиная работу с краткой характеристики философских взглядов Огю Сорая в контексте современного ему дискурса о вопросе должного правления и социального порядка, во второй части мы сосредоточимся на попытке описать логику мышления философа, в полной мере отразившуюся на его теоретизации категории Пути. Проблема понимания именно этой категории в философских взглядах Сорая связана с тем, что в ее осмыслении возможны два основных вектора. Первый — прагматический, характеризующийся социополитической проблематикой (Маруяма Масао, 1952). Второй — метафизический, изучающий онтологические и гносеологические вопросы (Ёсикава, 1975). Традиционно, за исключением ограниченного числа современных исследований, оба этих вектора было принято рассматривать отдельно друг от друга. В рамках настоящей работы мы предпримем попытку комплексно описать логику представлений Огю Сорая о социальном порядке, взаимно увязав ее практическое и теоретическое измерения, чтобы более явно отразить значимость его идей как важного шага, предшествующего наступлению «модерна» в истории японской философии.

Введение: философия конфуцианства как язык описания социального порядка

Из нарративных источников древней Японии следует, что знакомство с конфуцианством в стране произошло ок. 405 года н.э. Именно тогда правитель корейского государства Пэкче отправил в Ямато (древнее самоназвание Японии) наставника Вани вместе с текстом «Лунь юй, чтобы познакомить тамошнего правителя с учением Конфуция (Кодзики, 1994: 93). Историки по целому ряду причин ставят под сомнение историчность этого события. Однако вне зависимости от этого, первые письменные памятники Древней Японии — хроники 712 г. «Кодзики» (Записи о деяниях древности), хроники 720 г. «Нихоги» (Анналы Японии) и хроники 797 г. «Сёку нихонги» (Продолжение «Анналов Японии») — несомненно, изобилуют конфуцианской терминологией. Первым политическим документом, демонстрирующим сильное влияние конфуцианства, можно считать датированное 604 г. «Уложение семнадцати статей»⁴, авторство которого приписывается основателю японской государственности Сётоку-тайси (574–622).

3. В контексте многих (если не всех) аспектов конфуцианства категорию Дао 道 можно переводить как «руководство», а применительно к политическому контексту — «программа», «искусство» или «доктрина», но мы придерживаемся традиционного перевода «путь». Подробнее о происхождении и смыслах категории Дао см.: Городецкая, 2012.

4. Текст «Уложения» является первым историческим документом, где зафиксировано извечное стремление японской философской традиции согласовать и синтезировать идеи из разных источников. Сётоку последовательно излагает основы конфуцианской и буддистской философии, сопрягая их с исконно японскими представлениями о социальном порядке. Никакой принципиально новой «философии», конечно, Сётоку в своем сочинении не изложил, т. к. у него в распоряжении было мно-

В рамках настоящей работы среди множества аспектов конфуцианского влияния на «Уложение» — не вдаваясь в комментирование многочисленных отсылок к «Лунь юй» или логики инкорпорирования в документ конфуцианских концепций (Матвеев, 2020) — мы ограничимся указанием лишь на один принципиальный момент, а именно на очевидную благосклонность, с которой конфуцианское учение было включено в нарратив государственной идеологии на самых первых этапах построения древнеяпонского государства. Эта благосклонность обнаруживает себя не только в ранней политической идеологии или законодательных инициативах, отражавших идеи Конфуция или Мэн-цзы, но и в покровительстве императорской академии *дайгакурё* (Прасол, 2001: 21), где культивировалось образование и воспитание по китайскому образцу с акцентом на конфуцианские идеи.

Как бы то ни было, в настоящей работе не представляется возможным обозреть всю историю японского конфуцианства, поэтому мы, оставляя позади эту небольшую вводную часть, перейдем к преимущественному объекту нашей работы, к философии периода Эдо (1603–1868). Именно с этим периодом, когда новый фактический правитель Японии сёгун Токугава Иэясу (1543–1616), желая привнести в страну стабильность после многих лет феодальной раздробленности, принял неоконфуцианство⁵ как официальную идеологию своего режима, и связано развитие собственно японского конфуцианства и его политических идей.

Дж. Такер отмечает, что своеобразным стимулом для развития конфуцианства в то время стало его идеологическое противопоставление христианству, в котором виделась несомненная иноземная угроза. Поэтому государственная поддержка конфуцианских школ имела своей целью углубленную проработку собственных метафизических, этических и политических концепций. Эта поддержка не прекра-

говековое наследие китайской и индийской философии, но и образцом тривиальной эклектики текст назвать нельзя тоже. Именно мастерство, с которым Сётоку органично увязывает между собой все многообразие уже «готовых» идей и ценностей, позволяет, по мнению историка японской философии Т. Касулиса, назвать Сётоку первым философом Японии в том же смысле, в каком первым философом Аристотель именует Фалеса.

5. Традиционно периодизация конфуцианства эпохи Эдо приводится в соответствии с результатом наложения на его историю гегелевской триады «тезис–антитезис–синтез», произведенного одним из первых японских академических философов «европейского типа» Иноуэ Тэцудзиро (1845–1944). Выглядит она так: а) конфуцианство школы Чжу Си (яп. *сёсигакуха*, 朱子学派), именуемое также неоконфуцианством, чжусианством или сунским конфуцианством — к нему относятся Фудзивара Сэйка (1561–1619), Хаяси Радзан (1583–1657) и Ямадзаки Ансай (1619–1682); б) Школа Ван Янмина (яп. *оёмэйгакуха*, 陽明学派), куда входят Накаэ Тодзю (1608–1648) и Кумадзава Бандзан (1619–1961); в) Школа древней науки (яп. *когакуха*, 古学派), к ней причисляют Ямагу Соко (1622–1685), Ито Дзинся (1627–1705) и Огу Сора (1666–1705).

На современном этапе изучения философии Японии подобная периодизация считается устаревшей не только потому, что в целом является «идеологически» мотивированной попыткой впечатленного Гегелем Иноуэ «найти» философию в вестернизирующейся Японии; но и потому, что не описывает собственную специфику развития конфуцианского дискурса в Японии. В рамках нашей работы мы преимущественно применяем термин «конфуцианство» по отношению к школам, основывавшимся на ранних учениях, например, Конфуция, Мэн-цзы и Сюнь-цзы; а неоконфуцианство — по отношению к школам, основывавшимся на поздних учениях, впитавших в себя элементы буддизма и даосизма, например, Чжу Си и др.

тилась даже после того, как угроза распространения христианства была остановлена репрессивными методами (Tucker, 2018). Но в то же время не стоит преувеличивать роль этой «государственной поддержки», из-за которой конфуцианство периода Эдо часто воспринимается как элемент средневековой и феодальной идеологии. Конфуцианцы отнюдь не всегда состояли «на службе» у государства и не всегда сторонились критики текущего положения дел в экономике и политике, о чем свидетельствуют многочисленные источники того времени.

В общем и целом среди азиатских философских направлений конфуцианство всегда было наиболее политически ориентированным, поскольку сам Конфуций предлагал свое учение не в последнюю очередь как путь к решению именно политических проблем. Однако Конфуциев идеал правителя подразумевал человека, который путем самовоспитания должен был оправдать свое высокое положение и заслужить свое право на власть в глазах подданных. Другой классик конфуцианства Мэн-цзы почитал социальные «низы» еще большим вниманием: как известно, народ, с точки зрения Мэн-цзы, является в государстве важнейшей ценностью, большей, нежели религиозные святыни и правитель (Мэн-цзы, 2004: 388). Таким образом, политическая мысль раннего конфуцианства была ориентирована на все общество в целом, подразумевая прямую взаимосвязь между состоянием правителя и состоянием его народа, и действительно может пониматься как искусство управления. В Китае указанная ориентация усиливалась за счет концепции Небесного Мандата (кит. *тяньмин*, яп. *тэммэй*, 天命). Она описывала логику, следуя которой правитель за недолжное правление и пренебрежение к простому народу мог лишиться Мандата на власть, дарованного ему Небом. Такое лишение с необходимостью приводило к смене правящей династии и в целом соответствовало циклическому представлению о ходе времени.

Однако текст упомянутого «Уложения» Сётоку-тайси свидетельствует о том, что конфуцианство уже на самом раннем этапе своего распространения в Японии претерпело ряд идейных модификаций. В частности, концепция Небесного Мандата не была принята правящими кругами Ямато, поскольку противоречила японским представлениям о родственной связи правителя с Небом, что никак не подразумевало получение от него временного Мандата. На это же указывает и Вацудзи Тэцуро, отмечая, что «Император не является Сыном Неба, который получает Мандат Неба; он — само Небо, которое дает этот Мандат» (цит. по: Молодяков, 2002: 639). Как было сказано выше, последствия такого непринятия отмечаются уже в «Уложении», инкорпорировавшем в политическую культуру конфуцианскую терминологию. Концепция Неба, записываемая в «Уложении» знаком 天, вероятнее всего, подразумевает не китайскую концепцию *тянь* (небо — кит.), а японскую синтоистскую концепцию *ам* (небо — яп.), которая на письме выражается тем же знаком (Kasulis, 2020: 93–94). Применение эта концепция нашла позднее, в политических идеях раннего Нового времени, когда номинальным правителем страны был император, а фактическим — сёгун, который принял Мандат Неба от (небесного) императора (Goto-Jones, 2005: 38), т. е. не только де-факто, но и де-

юре осуществлял правление от его имени. В результате многие из мыслителей того времени следовали уже сложившимся традициям почитания и фактического исключения императора из «политической жизни» по причине его не-человеческой небесной природы.

Подобное видоизменение конфуцианской терминологии на японский лад не является в рамках истории японской философии чем-то исключительным. Применительно к эпохе Эдо можно говорить в том числе и о систематических преобразованиях, поскольку для мыслителей того времени актуальным был вопрос о соотношении конфуцианства и национальной «религии» синто. Ведь в тот момент она не просто оформилась в более самостоятельное учение, но и оказывала последовательное влияние на развитие философии за счет деятельности школы *кокугаку* 国学, т. е. школы национальной науки в лице ее ведущих теоретиков Мотоори Норинага (1730–1801) и Хирата Ацутанэ (1776–1843). В то же время, с точки зрения конфуцианских мыслителей, которые, таким образом, относились к представителям *кангаку* 漢学, т. е. китайской науки, навряд ли можно говорить об умышленном использовании «синтоистских» концепций. Уместнее говорить о том, что сама проблема поиска идентичности и дискурс «национальной идеи», поддерживаемый теми, кто возрождал синтоистскую мысль, не мог не отразиться на современных им конфуцианских школах и на том, как в их философии были расставлены акценты.

В общем и целом в контексте вопроса о социальном порядке неоконфуцианские теоретики официальной идеологии Хаяси Радзан (1583–1657) и Ямадзаки Ансай (1619–1682) в первую очередь опирались на свойственное неоконфуцианству представление о том, что правитель должен постоянно этически самосовершенствоваться, например, путем изучения философии. Правящая элита, в свою очередь, должна брать пример с правителя, и тогда, в результате следования должной этике, правление будет справедливым, а в государстве будет мир и покой.

Главным критиком такого взгляда на сущность социального порядка был конфуцианский философ Огю Сорай. Он был категорически не согласен с идеей, что человек может изменять себя, т. е. свою [человеческую] природу *сэй* 性, т. к. идея самосовершенствования подразумевает своеобразную самоочевидность *сэй* тогда, когда она отнюдь не очевидна: нельзя достоверно различить *сэй*, которая управляет, и *сэй*, которая управляема. Это, в свою очередь, приводит к размежеванию принципа самосовершенствования на *акт* самосовершенствования и на его *содержание*. Выходит, что пути этического самосовершенствования, в лучшем случае, потребуют очень долгого времени, а в худшем — невозможны.

Вместо этого Сорай предложил обратиться к древним текстам, особенно к «Шу цзин» («Канон истории» — кит.), подробно свидетельствующему о том, как мудрые цари древности занимались не только совершенствованием своей добродетели и рассуждениями обо всем множестве вещей, но и посвящали себя реальному ведению государственных дел, что выражалось в их утилитарной политике, ориентированной на всеобщее процветание. Акцентирование именно этого аспек-

та деятельности царей древности и стало лейтмотивом масштабного проекта Огю Сора по пересмотру взаимосвязей между этическим и политическим в конфуцианской философии.

Общие установки философии Огю Сора в отношении социального порядка

Огю Сора в своих трудах предложил одно из наиболее прагматичных изложений конфуцианства. Вопросы должного правления, по его мнению, являются первостепенными для любого последователя учения Конфуция, т. к. и сам учитель Кун постоянно стремился к участию в государственной деятельности династии Восточной Чжоу (770–256 гг. до н. э.), и прежде всего был озабочен практической реализацией древней философии.

Подобно Конфуцию Сора утверждал, что он не изобретает ничего нового, а лишь указывает на идеи классических конфуцианских произведений⁶, авторитет которых неоспорим. Однако в действительности он стал автором теории социального порядка, которая не только идеализировала Совершенномудрых царей древности⁷, но и в некотором смысле сакрализовала современный ему сёгунат и проводимую им политику.

Эта особенность политических взглядов Огю Сора не в последнюю очередь отражает этап его жизненного пути, связанный со службой у Янагисава Ёсиясу (1658–1714), советника пятого сёгуна Токугава Цунаёси (1646–1709), в провинции Каи, куда он отправился в 1706 г. в сорокалетнем возрасте⁸; а также влияние многочисленных политических перипетий, сопутствующих его дальнейшему развитию как философа. Несмотря на эту службу, полноценную карьеру в качестве государственного служащего Сора сделать не удалось (Kasulis, 2018: 349–350), хотя правительство неоднократно обращалось к нему (как и к ряду других конфуцианцев) за неофициальными консультациями, т. к. конфуцианская философия в Японии

6. В частности, Шестикнижие: «Ши цзин», или «Канон песен» (яп. *сикё*, 詩經), «Шу цзин», или «Канон истории» (яп. *сёкё*, 書經), «И цзин», или «Канон перемен» (яп. *экикё*, 易經), «Ли цзин», или «Записи о ритуале» (яп. *райки*, 禮記), «Чуньцю», или «Весны и осени» (яп. *сундзё*, 春秋), «Юэ цзин» или «Канон музыки» (яп. *гаккэй*, 樂經).

Важно отметить, что, акцентируя внимание не столько на «Лунь юе» (как делали другие конфуцианцы, например Ито Дзинсай), сколько на Шестикнижии, Сора ничуть не умаляет роль Конфуция. Именно Конфуций занимал промежуточное положение между сегодняшним днем и легендарным прошлым; именно Конфуций был достаточно близок к прошлому, чтобы понять его ценность; именно Конфуций с традиционной точки зрения, будучи редактором классических произведений, провел феноменальную работу по их изучению и указал людям на Путь: «Цари древности были Совершенномудрыми. Поэтому в некоторых чжанах [Путь] это Путь древних царей, а в других — это Путь Совершенномудрых. Благородные мужи высоко чтит следование Пути, поэтому в некоторых чжанах [Путь] это Путь благородных мужей. Учитель Кун передал [этот Путь], и его ученики берегли [его]. Поэтому Путь известен как Путь Кун-цзы, или конфуцианский путь. Как бы то ни было, это суть одно» (Огю, 1973а: 210).

7. Правители династий Ся, Шан и Чжоу, царствовавшие в первом и втором тысячелетии до н. э.

8. Подробнее о формировании философских взглядов в это время см.: Lidin, 1984.

расценивалась как преимущественный образец политического дискурса. Открыв в 1709 г. в Эдо собственную частную школу *кэнъэн-дзюку* 護國塾, Сорай уже в конце своего философского пути изложил свои основные идеи в трудах «Бэндō» (яп. 弁道), или «Толкование Пути», и в «Бэммэй» (яп. 弁名), или «Толкование имен». В них, руководствуясь девизом, который можно было бы условно обозначить как «Назад, к Конфуцию!», он критиковал другие школы за неверное изложение его философии.

Позднее ему довелось служить в качестве советника восьмого сёгуна Токугава Ёсимунэ (1684–1751), по просьбе которого он составил теоретическое и практическое изложение своих политических идей, направленное на поддержку существующего режима: труды «Тайхэйсаку» (яп. 太平策), или «План великого умиротворения», а также свой *taghrit oris* «Сэйдан» (яп. 政談), или «Рассуждение о правлении». На явную практическую ориентированность этих работ указывает простая формула, которую возможно вывести из концепций Сорая: чтобы следовать Пути — не обязательно понимать его. В то же время Сорай скрывал «Рассуждение о правлении» от посторонних глаз, т. к. этот труд предназначался исключительно для сёгуна и, возможно, его приближенных советников. Сорай был убежден в том, что предлагаемые им реформы должны быть «подобны вору, проникающему ночью, а не известны заранее, иначе бы они утратили свою эффективность» (Lidin, 2014: 171).

За год до смерти, в 1727 г., Сорай опубликовал «Тōмонсё» (яп. 答問書), «Ответы [на вопросы]», представлявшие собой его переписку с Мидзуно Гэнро и Хикитой Якарой, которая велась в течение пяти лет после написания обоих «Толкований», т. е. в те же годы, когда он работал над «Планом великого умиротворения» и «Рассуждением о правлении». Однако, возможно, эпистолярная форма была лишь способом преподнесения материала и не все письма были настоящими (Yamashita, 1994). Как бы то ни было, можно сказать, что «Ответы» были «введением» в его философию и по замыслу схожи с написанными в 1640 г. «Беседами со старцем» (яп. *окина мондō*, 翁問答) Накаэ Тодзю (1608–1648) и с написанными в 1673 г. в том же жанре «Детскими вопросами» (яп. *дōдзимон*, 童子問) Ито Дзинсая (1627–1705) — другого крупного представителя Школы древней науки, где также в популярной форме излагаются идеи мыслителя (см.: Маранджян, 2016, 2015). В этих тридцати пяти письмах Сорая проливается свет не только на отдельные аспекты его философии, но и на многие вещи, которые беспокоили его в последние годы жизни: проблемы этики и государственной идеологии, военной тактики и экономики, вопросы изучения конфуцианской классики и многое другое.

Что касается его остальных упомянутых работ — «Толкования Пути», «Толкования имен», «Плана великого умиротворения» и «Рассуждения о правлении» — то они были опубликованы лишь посмертно.

Философия Огю Сорая, таким образом, содержала не только теоретические взгляды на проблемы политики, но была и крайне практична: она содержит в себе

не только интерпретации конфуцианской классики, но и прямые руководства и советы к действию⁹.

Как было сказано выше, в наиболее системном виде сущность своей политической философии Огю Сорай изложил в трактатах «План великого умиротворения» и «Рассуждение о правлении», однако основы и предпосылки многих его положений можно обнаружить и в написанных ранее «Толкованиях». Ключевое место в «Рассуждении о правлении» занимает понятие *сэйдо* 制度, которое можно перевести как «система установлений» или «система [управления]» и под которым он понимает не только и не столько законы, но и этические нормы. В «Рассуждении о правлении» Сорай пишет, что «[система] *сэйдо* — это сочетание¹⁰ *хōсэй* (法制, законодательство, система законов — яп.) и *сэцудо* (節度, правила, норма, умеренность, мера сдержанности)» (Огю, 1973d: 311). Там же Сорай указывает на связь *сэйдо* с ритуалами, отмечая, что *сэйдо* — это еще и «ритуалы и законы» (яп. *рэйхо*, 禮法) (Огю, 1973d: 303), а также «ритуалы и музыка» (яп. *рэйгаку*, 禮樂) (Огю, 1973d: 313). Под *сэйдо*, таким образом, Сорай понимает всю систему социальных связей и отношений, установленную в древности Совершенномудрыми (яп. *сэйдзин*, 聖人).

Выходит, что правление — это искусство, которое состоит в том, чтобы при помощи *сэйдо* установить разграничения между верхами и низами (яп. *дзёгэ-но сабэцу*, 上下差別) и, таким образом, привести общество к процветанию (Огю, 1973d: 311). Можно сказать, что, рассуждая о *сэйдо* как о том, что должно привести общество к согласию, Сорай в рамках современного ему конфуцианства актуализирует дискурс Совершенномудрых царей древности, которые открыли правильные этические нормы и изложили их в чжоуском ритуале; и именно на этом понимании должна основываться деятельность современных Сораю правителей. Такое видение основ социального порядка противоречило видению неоконфуцианских оппонентов Сорая, т. к. в рамках их доктрины главенствовала идея о мире

9. В этом контексте знаменитый японский историк философии Маруяма Масао (1914–1966) отмечал, что Сорай, так же как и Макиавелли в «Государе», описывал способы достижения и удержания абсолютной власти; Сорай считал, что сущность правления сосредоточена в сильной государственной системе, которая при должном функционировании не позволит правителю лишиться власти и авторитета, таким образом, он отказывал правителю в необходимости быть идеалом нравственности (Maruyama, 1974: 89). Однако нужно заметить, что Маруяма жил в послевоенной Японии и пытался обнаружить в истории японской политической мысли, с одной стороны, идеи, повлекшие за собой развитие японского этноцентрического тоталитаризма, а с другой стороны, исторические основания, которые могли бы послужить демократизации Японии. Т. Касулис указывает, что образовательная программа, разработанная Сораем для воспитания правителя, которой Маруяма не уделил особого внимания, говорит о том, что Сорай отдавал себе отчет в необходимости мудрого и взвешенного правления, поскольку предполагал, что в ситуации, когда правитель не в достаточной мере готов к такому правлению, ему необходимо прислушиваться к советникам (Kasulis, 2018: 360–361).

10. Слово *сэйдо* состоит из последних иероглифов слов *хōсэй* 法制 и *сэцудо* 節度, т. е. *сэй* 制, который буквально значит «управление, установление, подчинение, строй, система» и *до* 度 в значении «степень, стандарт». Наиболее частым переводом *сэйдо* можно считать слово «система», под которой подразумевается общая социальная, экономическая, политическая и правовая система, неотъемлемая как для общества, так и для правительства.

как о естественным образом (яп. *сидзэн*, 自然) организованной системе, подвластной лишь принципу-ли (яп. *ри*, 理). В этом смысле убежденность Сорая в том, что социальный порядок был сотворен (т. е. организован) Совершенномудрыми, которые к тому же были всего-навсего людьми (Огё, 1973а: 218), казалась революционной на фоне неоконфуцианских представлений о Совершенномудрых как о значимых *проводниках*, но не организаторах социального порядка.

Подчеркивая примат «верхов», Сорай поддерживает традиционную конфуцианскую убежденность в необходимости разделения общества на сословия. Однако взаимоотношения в этом обществе должны строиться по принципу семейных отношений, в которых «верх» должен демонстрировать человечность, чтобы «низ» руководствовался этим примером¹¹. Но в то же время Сорай вторит Мэн-цзы и считает, что в интересах правителя со вниманием относиться к нуждам людей и не забывать о них, т. к. формируя Путь, Совершенномудрые руководствовались *чувствами* людей (Мацууата, 1974: 132). Только так можно следовать Пути в реальном ведении дел.

В этой связи отдельно можно отметить некоторые параллели с философией Т. Гоббса: в политической системе, которую выстраивает Сорай, правитель обладает неотъемлемым авторитетом как правом на совершение любого действия. Этот авторитет является продуктом (системы) *сэйдо*, установленной Совершенномудрыми в древности. Иерархическое положение остальных людей также является продуктом этой системы, которая в то же время управляется не кем иным, как правителем, поскольку только он может организовать народ. Подобная «неуязвимость» правителя позволяет в известной степени говорить об утопизме в философии Сорая, ведь он указывает, что никакие обстоятельства не могут лишить правителя авторитета и легитимности. Такой акцент на абсолютном авторитете правителя и его исключительной роли в привнесении социального порядка в общество однозначно противопоставляет философию Сорая неоконфуцианским

11. В данном контексте можно отметить определенные параллели с политической философией Платона, который, по мнению Т. Касулиса, подходит для сравнения больше, чем выбранный Маруямой Макиавелли. Как и Сорай, Платон считал, что люди рождаются разными, поэтому в «Государстве» он взял в расчет эту особенность, предложив три сословия: а) демос, обеспечивающий государство всем необходимым, что соответствует положению крестьян, ремесленников и торговцев в токугавской Японии; б) стражи, обеспечивающие безопасность государства, что соответствует самурайскому сословию; и в) высшее сословие — царствующие философы, что синонимично Совершенномудрым царям древности, о которых пишет Сорай. Такие правители обладают интуитивным пониманием Блага (т. е. Пути), которое они приносят в государство, управляя им во имя гармонии и общего благополучия. Со временем (особенно после поездки на Сицилию) в «Законах» Платон разработал более прагматичный подход, однако продолжал отстаивать важнейшую роль добродетели в правителе, поскольку подобный правитель (если не философ, то тот, кто обучен философии) должен понимать не только, как истолковывать закон, но и как отменять его (Kasulis, 2018: 368–369). В этом смысле Платон согласился бы с позицией Сорая, указанной им в «Ответях»: «Люди гораздо важнее законов. Например, законы могут быть плохи, но если люди, обеспечивающие их соблюдение, — нет, то это принесет некоторую пользу. Однако если законы плохо проверяются и никогда не соблюдаются, и если люди будут плохими, законы не принесут никакой пользы вообще» (Огүй, 1994: 55).

мыслителям, видевшим основание социального порядка в самом обществе, отражавшем естественное и сбалансированное положение вещей. Сорай пишет:

Сюнь-цзы сказал: «Правитель — это тот, кто объединяет людей». Соответственно, путь человечности не предназначается одному человеку, но, напротив, предназначается мириадам людей, объединенных вместе. <...> Есть ли кто-то, кто может быть сам по себе, независимо от общества? Самураи, крестьяне, ремесленники и торговцы сообща помогают друг другу, а потому и могут прокормиться. Если бы не так, они не смогли бы прожить. Даже грабители и разбойники с необходимостью организуются в шайки. Если бы не так, они не смогли бы прожить. Вследствие этого правитель — это тот, кто может объединить мириады людей. Если же кто-то способен объединить мириады людей и направить их [человеческую] природу к достижению [всеобщего] родства, любви, достатка и пропитания, тогда это и есть Путь царей древности. (Огю, 1973b: 203)

В контексте самой конфуцианской традиции взгляды Огю Сорая, несомненно, можно сопоставить с взглядами Сюнь-цзы — древнекитайского мыслителя и реформатора конфуцианства, известного своей крайне «политизированной» версией этой доктрины, чье содержание оказало значительное влияние на формирование идей Сорая, а также убежденностью в том, что человеческая природа изначально зла.

Сам вопрос о человеческой природе 性 (яп. *сэй*, кит. *син*) и ее изначальном состоянии имел большое значение для конфуцианской мысли, но Огю Сорай не был согласен с имеющимися установками на то, что человеческая природа изначально добра (Мэн-цзы), зла (Сюнь-цзы), нейтральна (Цзы-гао), дуальна (Чжу Си), и не придавал этому аспекту большого значения (Маранджян, 1990: 55). Он отстаивал идею, что человек — как простолюдин, так и правитель — изменчив, и «если учить человека добру, то человек будет добр — если учить злу, то зол» (Огю, 1973а: 240). В своих трудах, начиная с «Толкования Пути» и заканчивая «Ответами», он категорически отказывается говорить о какой бы то ни было естественности применительно к общественной и человеческой жизни. Люди, по его мнению, в равной мере тяготеют и к добрым и к злым поступкам, руководствуясь прежде всего собственными естественными (яп. *сидзэн*, 自然) «желаниями, содержащимися в природе каждого человека и проявляющимися в виде чувств» (Огю, 1973а: 242). Такой акцент на естественности желаний и чувств не соответствует общим установкам китайского конфуцианства, призывавшего скорее к контролю, если не подавлению желаний, и инспирирован спецификой японской традиционной культуры, ориентированной на следование естественности. Выходит, что, с одной стороны, разным людям присуща разная природа, но она может быть изменена под влиянием извне, то есть под влиянием Пути (Огю, 1973а: 240), однако возможные изменения лишь корректируют природу человека, но не меняют ее качественно, из-за чего простому человеку, конечно, невозможно достичь мудрости царей древности.

Такой взгляд на природу человека опосредован, как мы уже отметили, исконно японскими представлениями о мире, которые не могли не отразиться на философии Сорая. Хотя он и был известен как представитель «китайской науки» и непревзойденный знаток китайского языка и литературы, он все же оставался японцем, что невольно накладывало отпечаток на его попытку вернуться к «настоящему» конфуцианству, особенно с учетом его интереса к синто¹². По утверждению Ивасава Томоко, одной из основополагающих установок синто, сказавшейся на развитии всей японской культуры, являются онтологизированный динамизм и изменчивость всего бытия (Iwasawa, 2020: 100–107).

Мы также предполагаем, что представление Сорая об изменчивости человеческой природы связано с тем, что в его философии мудрые цари древности были не просто *людьми* — что само по себе немислимо с точки зрения китайской классической философии, — но *людьми со своими индивидуальными особенностями, желаниями и недостатками* (Огю, 1973а: 218), которых, несмотря на это, необходимо почитать в той же мере, в какой сами Совершенномудрые почитают Небо. Такой взгляд также обнаруживает свои истоки в синтоистском мировоззрении, т. к. в синто не проводится четкого разграничения между человеческим и божественным, но и — что немаловажно — не предполагается разделения божеств на «плохих» и «хороших», полагая, таким образом, одновременное наличие как у божеств, так и у человека доброй и злой природы¹³.

В результате, по мнению Сорая, сущность правления не в последнюю очередь заключается в исправлении нравов (на что потребуется немало времени, потому что люди, опять же, отличаются по своей природе), соблюдении норм ритуала

12. Известно, что Сорай был автором предисловия к комментированному Курода Наокуни (1666–1735) изданию японской мифоисторической хроники «Кодзики» (Маранджян, 1986а: 135), о которой мы писали в самом начале работы. Это свидетельствует о его знакомстве с онтологическими представлениями древнего синто. Более того, Сорай не просто признает значимость синто, но в «Плане великого умиротворения» прямо отождествляет синто, дословно «путь божеств», с «Путем (кит. *дао*) древних царей», т. е. с конфуцианством: «То, что в нашей стране именуется „Путь богов“... это и есть древнее *дао* Яо, Шуня и трех династий» (цит. по: Маранджян, 1986а: 135). То есть Сорай вполне однозначно понимает Синто как элемент Пути царей древности. Получается, что сам Путь царей древности предполагает, чтобы японцы поклонялись своим божествам, т. к. они есть такой же элемент этого Пути (Ansart, 2014: 192).

13. В этой связи можно отметить недавнее исследование Ивасава Томоко, посвященное герменевтике хроники «Кодзики» с методологических позиций П. Рикёра, изложенной им в «Символизме зла» (Iwasawa, 2011). Анализируя применимость понятия греха к японской культуре, Ивасава Т. отмечает, что впервые понятие *цуми* 罪, которое можно перевести как «грех», употребляется в своде 947 г. «Энгисики» 延喜式 («Внутриведомственные инструкции периода Энги» — яп.) в контексте описания проступков божества Сусаноо по отношению к Аматэрасу — богине-предку правящего рода: Сусаноо наводил беспорядки на рисовых полях, мешал проведению празднования сбора урожая и т. д. В результате поведение Сусаноо привело Аматэрасу к смерти, однако, несмотря на это, в японской традиции не принято рассматривать Сусаноо как символ зла. Напротив, Сусаноо почитается как жизненно необходимый бог, покровительствующий плодородию, ведь он не только разрушал поля, но и «удобрял» их, разбрасывая свои экскременты. «Греховность» его поступков рассматривается как неотделимый элемент его божественной природы (которая, напомним, не различается с человеческой), т. е. «добро» и «зло» присутствуют в нем как два равнозначных способа быть, задавая, таким образом, необходимый динамизм осуществления жизни (Iwasawa, 2020: 104, 108).

и разграничении положений людей, т. е. в регламентации соответствия положения человека в общественной иерархии нормам его поведения, его одежде, убранству и т. п. Этому Сораи уделяет огромное внимание в «Рассуждении о правлении».

В итоге можно еще раз сказать, что, в европейских терминах, его философия имела и политический и этический уклон. Однако справедливо задаться вопросом и о том, как именно он связывал идеал политического согласия и нормы общественного поведения, то есть о том, что являлось для него исходным: этическое или политическое?

Большинство конфуцианских мыслителей, современных Сораю, признавали примат этического. Это подразумевало необходимость должного воспитания, в результате чего правильно воспитанные ученые и государственные деятели создадут правильные законы, а простой люд, в свою очередь, будет понимать ценности, которые стоят за такими законами. Отсюда возникает приоритет идеи самосовершенствования и воспитания в себе пяти конфуцианских добродетелей, стремление к изучению классических конфуцианских произведений и развитие целого ряда школ, каждая из которых предлагала свое собственное видение человеческой природы и практических путей ее воспитания.

Сораи придерживался обратной точки зрения: путь к этическому в его мысли лежал через проработку политического, т. е. личные добродетели были подчинены общественным. Философ был убежден в том, что человеческая природа — это, если прибегнуть к философским аргументам, не нечто, не чтойность, которая определяет человека и которую можно как-то принципиально изменить (например, обратить злое в доброе), но таковость, то есть своеобразная уместность, характеризующаяся отношениями, на которые можно оказать воздействие. Сораи настаивал на том, что люди — разные, они имеют разные способности и не могут быть поголовно мудрыми¹⁴, их врожденные качества нельзя изменить, а следовательно, и надеяться на одинаковый результат от воспитания и изучения классики не стоит. Именно такое представление о человеке должно быть отправной точкой на пути создания социального порядка, в котором все «человеческое», можно сказать, будет подчинено направляющему его «государственному», которое в итоге мыслилось благим: «У Пути царей древности много сторон. Одна из наиболее важных заключается в том, что правительство запрещает насилие, но использует военную силу и прибегает к смертным казням. Можно ли назвать это человечностью? Главное, однако, то, что это приносит мир в Поднебесную» (Огю, 1973b: 203).

14. Более того, если и можно кого-то называть истинным мудрецом, то лишь Конфуция — и никакое чтение книг не позволит никому приблизиться к его уровню. Все последующие комментарии к Конфуцию, по мнению Сорая, не были настоящей философией, но были лишь системой аргументов, направленной на восстановление утраченного авторитета Пути царей древности. Виной всему, как он считал, были буддийские школы, исповедующие идею об универсальной природе Будды, которая, по его мнению, извратила исконные конфуцианские установки. Поэтому история конфуцианской мысли, сопровождающаяся развитием неоконфуцианских школ, впитавших в себя элементы буддизма, рассматривалась им скорее как вырождение, а не развитие конфуцианства.

Сорай предлагает покорно следовать Пути, созданному Совершенномудрыми, поскольку все этические нормы по определению являются его производными. Может показаться, что этим Сорай демонстрирует свою приверженность легизму, но это не так. Ведь он твердо следует доктринальному убеждению, что воссозданное по древним нормам государство будет демонстрировать высший этический идеал конфуцианства — человечность *жэнь* 仁¹⁵, и тем самым принесет в общество согласие (Tucker, 2006: 14). По этой причине Сорая в некотором смысле можно назвать утилитаристом, стремившимся к обществу, характеризующемуся миром, согласием и положенными в его основу правильными межличностными отношениями.

Следовательно, именно образ Пути древних царей лежит в основе регулирующей все общественные и государственные отношения [системы] *сэйдо*, в которой с древних времен накопилось множество ошибок, вызванных разночтением конфуцианской классики. Сорай призывает к исправлению *сэйдо*, основываясь на возвращении к Пути Совершенномудрых, и именно в трактовке этой концепции проявляется своеобразие мыслителя.

Метод работы Огу Сорая с понятиями

Внимание Сорая к категории «Пути» не случайно и закономерно происходит из применяемого им метода, обосновывающего всю его философскую практику. Этот метод можно назвать философской лексикографией.

В качестве предварительного замечания стоит отметить, что немаловажным направлением работы конфуцианских мыслителей эпохи Токугава была проблема языка. Внимание к ней стало противовесом убежденности буддийских школ в том, что слова из-за своей неспособности устойчиво сохранять значение, скорее, являются источником ошибок, нежели тем, что может привести к какой-либо истине (Tucker, 2018). Конфуцианская философия же относилась к языку с повышенным вниманием, т. к. именно слова являются носителями всех смыслов, и именно в тщательной работе с языком лежит секрет не только личного совершенствования, но и исток должного правления и социального порядка (Matsuda, 2003). Именно поиск исконного смысла того или иного понятия являлся основным методом разрешения философских проблем.

Отправной точкой такого понимания языка является известный чжан 13.3 «Лунь юй»:

Цзы Лу спросил: «Вэйский князь ждет Вас, Учитель, для осуществления правления. С чего Вы, Учитель, предполагаете начать?»

15. Сорай использует категорию человечности *жэнь* 仁 применительно к царям древности в анахроническом порядке, т. к. употребление иероглифа *жэнь* в доконфуцианских текстах сводится к случайности. Об этом см. подробнее: Конончук, 2014.

Учитель сказал: «[В первую очередь] совершенно необходимо исправить понятия!¹⁶»

Цзы Лу воскликнул: «Даже так! Учитель предлагает идти долгим круглым путем! Зачем это их исправлять?»

Учитель сказал: «Какой же ты дикарь, Ю! Благородный человек, если чего-то не понимает, лучше скроет этот пробел. Если понятия неверны, то и речи не соответствуют [делам]. <...> Поэтому то, что необходимо благородному человеку — это слова, а то, что необходимо словам — поступки. В словах благородного человека нет места небрежности, и все тут»¹⁷.

Таким образом, Конфуций в представлении Сорая однозначно указал на отправную точку политической философии. Такой подход на деле не являлся простым «филологическим» комментированием классических текстов. Он использовался как исключительно утилитарный способ философского обоснования политической реальности, поскольку одна из основных идей конфуцианства по отношению к именам (т.е. к языку) заключается в том, что между тем, как именуются вещи, и тем, что подразумевается под именем, должно быть согласие. То есть речь идет о единстве «бытия» в смысле «обладания предикатами» и «долженствования».

Разработке указанной методологии Сорай посвятил отдельное сочинение «Толкование имен», где каждая глава представляет собой заголовок, являющийся тем или иным понятием конфуцианской философии, а затем следует разъясняющий его комментарий с явными и скрытыми цитатами из классических произведений¹⁸.

В то же время этот труд имеет явный предписывающий и дидактический характер, что само по себе является своего рода общим местом конфуцианских произведений. То есть «Толкование имен» и другие лексикографические произведения того времени¹⁹ — считаем важным подчеркнуть это снова — это ни в коем случае не просто «сборник терминов и определений». Понимание значения того или иного понятия, описывающего человеческие отношения, напрямую связывается

16. Нужно отметить, что интерпретация этих слов Конфуция не однозначна: А. Уоли считает, что указанный отрывок мог быть дописан в текст «Лунь юй» позднее, возможно, под влиянием легистской философии, т.е. во время жизни Конфуция не наблюдалось никакого «кризиса языка» (Waley, 1938: 22), что косвенно подтверждается редкой артикуляцией понятия «имя» (кит. *мин* 名) в тексте. В то же время можно считать, что такой взгляд на язык вполне согласуется с общефилософскими установками «Лунь юй» (Schwartz, 1985: 91). Следовательно, отсюда возможен вывод, что именно «исправление имен» является базовой процедурой для установления социального порядка (Hall, Ames, 1987: 270; Hansen, 1983: 181). Мы солидарны с Ни Пэймином в том, что Конфуций говорил об исправлении имен в общефилософском контексте форм человеческих отношений (Ni, 2017: 302), нежели в контексте исключительно политической проблематики.

17. В переводе Д. В. Конончука.

18. Подробнее см.: Матвеев, 2019.

19. В частности: «Разъяснение „Значений неоконфуцианских терминов“» (яп. *сэйри дзиги гэнкай*, 性理字義諺解), автором которого был Хаяси Радзан (1583–1657), словарь Ямага Соко (1622–1685) «Краткое изложение мудрейшего учения» (яп. *сэйкё ёроку*, 聖教要録) и словарь Ито Дзинся (1627–1705) «Значение терминов в „Лунь юй“ и „Мэн-цзы“» (яп. *гомё дзиги*, 語孟字義).

с описанием самих ситуаций, которые должны очертить контуры этого понятия. Следовательно, можно говорить о том, что подобные произведения, по сути, играли нормативную роль, а изучение имен — это в то же время изучение этического и политического.

В предисловии к «Толкованию имен» Сорай проясняет важность правильного употребления имен. Начинает он с того, что указывает на то, как возникают имена: «С появлением в мире человека появились вещи, появились имена. Изначально имена были озвучены обычными людьми для вещей, которые имеют форму. Для того же, у чего нет формы, видимой простым людям, мудрецы дали объяснения и имена, благодаря чему все смогли их видеть и понимать. Это и называется учением об именах» (Огю, 1973а: 209).

Таким образом, Сорай указывает на то, что во многих случаях имя соответствует объекту, который оно именует, и при объяснении имени на объект можно прямо указать. Но как быть с абстрактными именами? Сорай утверждает, что для того, чтобы родилось имя, особенно имя, описывающее отношения, сначала кто-то должен был проявить такое отношение, чтобы для него затем появилось имя: прежде, чем возникло добродетельное поведение, должен был появиться добродетельный человек. И чтобы научить этому добродетельному поведению, он также должен указать на него, но указать специфическим образом — продемонстрировать это отношение.

Данный подход демонстрирует важное свойство восточноазиатской традиционной культуры, заключающееся в способности акцентировать в реальности именно отношения, а не свойства, то есть предикаты (Нейсбит, 2012). Это имеет большое значение для интерпретации философских категорий, особенно экзистенциальных, поскольку подобные категории описываются не какой-то совокупностью присущих им свойств, но исключительно указанием на совокупность отношений, очерчивающих их содержание. Логический приоритет отношений над свойствами приводит к тому, что значения имен коррелятивны выражаемым в языке действительным свойствам предметов (Конончук, 2018; Ячин [и др.], 2010: 86–88).

Именно поэтому Сорай будет говорить о том, что постижение таких имен, как Путь или Человечность, невозможно с помощью теоретического изучения, ведь невозможно вычитать и рассказать, *что* такое Путь. Постижение Пути требует полной вовлеченности и практики, поскольку имя указывает не на вещь, а на отношение. По этой причине все этические понятия в его философии по сути своей являются предписывающими, т. к. они изначально указывают на то, как стоит действовать, а не предлагают идеальный образ того, на что стоит равняться.

Комментируя этот подход, Т. Касулис пишет, что, таким образом, в философской системе Огю Сорая интригующим образом сочетаются стремления и к отстраненному и к заинтересованному знанию. С одной стороны, в своей теории языка он с необходимостью требует (даже по отношению к абстрактным понятиям) изначального существования некоей референтной реальности, для обозна-

чения которой создаются имена. Однако, с другой стороны, для настоящего понимания имен (особенно имен, выражающих отношения и этические категории) нужно проявить сущность этих имен в непосредственной практике. Таким образом, теория языка Сорая не только включает в себя незаинтересованную референцию, необходимую для рождения имен и указания на них, но и подразумевает необходимость практической вовлеченности для полного постижения их смысла (Kasulis, 2018: 354).

В такой ситуации закономерен вопрос о первичности: без проявления того или иного отношения ему невозможно присвоить имя, но за неимением имени — нечего проявлять. Выходом из этой ситуации в философии Сорая было требование доверительности *син* 信 как основы конфуцианской традиции: требование доверительного отношения к образцам, которые оставили мудрые цари древности, и к Конфуцию, донесшему и продемонстрировавшему эти образцы.

В этом смысле теория языка, разработанная Огю Сораям, выступает в роли связующего звена между его ранними лексикографическими трудами и его политическими идеями.

Категория Дао (Путь) в философии Огю Сорая

Несмотря на то что категории Пути или Дао 道 Огю Сорай посвятил отдельное произведение — «Толкование Пути», его философский словарь «Толкование имен», где он комплексно рассматривает все категории конфуцианской культуры, также начинается с разъяснения Пути, традиционно являющегося одной из ключевых категорий в конфуцианском этико-политическом дискурсе как в Китае, так и в Японии. По этой причине практически все неоконфуцианские современники Сорая предлагали ту или иную интерпретацию Пути, однако их общим местом был акцент на его *этической* составляющей. В то же время Сорай указывает на значимость Пути, понимая его как категорию, регулирующую все аспекты *общественной* жизни как для отдельного человека, так и для всего государства.

Путь — это всеобъемлющее имя. Оно включает в себя ритуал, музыку, наказания и правление. (Огю, 1973b: 201)

Путь — это всеобъемлющее имя, означающее, чему должно следовать. Раз Совершенномудрые цари древности сотворили это имя, а последующие поколения претворяли его, следуя их наставлениям, нам тоже должно руководствоваться им в наших деяниях. Будучи сопоставимым с тропой, которой путник следует в дороге, [это] именуется Путем. От того, что Путь вмещает в себя сыновнюю почтительность, братскую любовь, человечность, ритуал, должное, музыку, наказания и правление, он может быть назван всеобъемлющим именем. (Огю, 1973a: 210)

Понимание именно этой категории, не лишенное очевидных, казалось бы, противоречий, в наибольшей мере демонстрирует особенности политической логики философа, но вместе с тем порождает множество вопросов о том, что действительно Огю Сорай подразумевал под Путем. В частности, мы хотим обратить внимание на наличие двух фундаментальных (и в первом приближении противоречащих друг другу) характеристик Пути, которые так или иначе уже фигурировали выше: 1) Сорай последовательно говорит о Пути как о Пути Совершенномудрых; 2) и периодически говорит о Пути как: а) о Пути Неба, б) о Пути Неба и Земли, в) о Пути духов, божеств и Неба.

Бросающаяся в глаза установка на «практичность» Пути и необходимость следования ему в решении реальных общественно-политических проблем, соответствующие акцентированию первой позиции в качестве основной, позволили многим исследователям вслед за Маруямой Масао акцентировать явный прагматизм в риторике Сорая. Дело в том, что большинство его неоконфуцианских современников рассматривали Путь как умозрительную метафизическую категорию, но не как практическую категорию политики. То есть они прямо говорили о Пути как о Пути Неба. В то же время предшественник Огю Сорая, конфуцианец Ито Дзинсай, в своей философии разделил Небесный и человеческий (т.е. общественный, «политический») Путь, отделив, таким образом, онтологию от этики, хотя и продолжал при этом теоретизировать о Небесном Пути (Maruyama, 1974: 79). Огю Сорай, в свою очередь, развил эту мысль и выдвинул тезис об «искусственной» сотворенности Пути, понимая под ним в первую очередь принципы управления обществом²⁰ (Маранджян, 1990: 39), т.е. человеческий Путь, созданный по подобию Небесного Пути как методологического образца. Сам же Небесный Путь, таким образом, из статуса значимой метафизической категории низводился к статусу непознаваемого объекта религиозного почитания (Maruyama, 1974: 79–80).

Как уже отмечалось выше, наибольшее внимание в концепции Огю Сорая обычно привлекает то, что он практически всегда говорит о Пути не как о Пути Неба или Пути Неба и Земли, а как о Пути Совершенномудрых (яп. *хидзири, сэй, 聖*). Под ним Сорай подразумевает Путь древних китайских царей, в качестве главного умения которых он выделяет способность к созиданию (Огю, 1973а: 216). Эту мысль он подкрепляет цитатой из «Записей о ритуале»: «Того, кто создает, именуют Совершенномудрым, а того, кто передает — просвещенным» (цит. по:

20. Представление о Пути как о категории политики — идея не новая и имеет свои корни в раннем этапе истории конфуцианства, в том числе и в философии Сюнь-цзы, уже упомянутого нами выше в контексте вопроса о человеческой природе. Представления Сорая о Пути, возможно, были сформированы под влиянием позиции Сюнь-цзы, понимавшего под Путем «основные принципы правильного управления государством» (Сюнь-цзы, 1976: 250). Однако немаловажно, что Сюнь-цзы также говорит о двух Пути: Пути общества и Пути Неба, подчиняя первое второму, т.к. Небесный Путь является естественным, а общественный — порождением злой природы человека.

Маранджян, 1990: 50). То есть Сорай указывает здесь на то, что Совершенному-дрье²¹ — это те, кто основывает и систематизирует социальный порядок.

Подобное акцентирование Пути Совершенномудрых вместо Пути Неба закономерно позволяет сделать вывод о том, что в представлении Сорая Путь не связан с естественным порядком вещей, ведь он был искусственно сотворен Совершенномудрыми, а также вывод о том, что таким образом «Сорай лишает дао атрибутов вечности, абсолютности и естественности» (Маранджян, 1986б: 108).

В поддержку такого допущения говорят и некоторые размышления самого Сорая, когда он пишет, что «Мы должны почитать божеств, даже если Путь божеств — пуст» (Огё, 1973е: 452), то есть, как кажется, полностью отказывает Небу, божествам и духам в онтологической значимости, что влечет за собой необходимость создания норм Совершенномудрыми. В своем последнем произведении, в «Ответах», Сорай также продолжает эту мысль: «Что касается того, что не изложено в учении Совершенномудрых, например, перерождение — если бы оно существовало, я думаю, это бы ничего не значило» (Огё, 1973f: 192).

Следовательно, можно сказать, что это направление размышлений Сорая нередко вело к пониманию его политических идей исключительно в утилитаристском, позитивистском (Minamoto, 1979; Маруяма Масао, 1952) или даже материалистическом (Радуль-Затуловский, 2011: 344–357) ключе, что не в полной мере соответствует действительности. Такую позицию выражал и один из основных исследователей политической философии Японии Маруяма Масао, не придававший в своих работах большого значения религиозным и мифологическим предпосылкам идей Сорая о духах, божествах (яп. *кисин*, 鬼神) и Небе. Ведь тезисы Сорая о том, что Путь основывается на почитании духов, божеств и Неба, в определенной степени противоречат тезису о том, что Путь — это почитаемое творение мудрецов древности. По мнению Маруямы, фактическое обожествление мудрых правителей древности и признание непознаваемости Неба были необходимы Сорая исключительно в качестве отправной точки для последующего пере-открытия Пути (Maruyama, 1974: 211–113)²², а термины «Путь Неба» и «Путь Земли», по словам К. Г. Маранджян, нужны Сорая исключительно для того, чтобы указать на сотворенность Пути и его неестественный характер (Маранджян, 1986б: 108).

Тем не менее такое видение философии Огю Сорая не в полной мере описывает его замысел, т. к. его теория социального порядка никоим образом не была лише-

21. Примечательно, что это понятие употребляется в японской государственной хронике «Нихон-ги» не только по отношению к древним китайским царям, которые рассматривались в рамках государственного нарратива в качестве нормативных моделей, но и по отношению к представителям японского императорского рода, причем чаще всего по отношению к Сётоку-тайси, автору «Уложения семнадцати статей» (Somo, 2003: 80).

22. Указанные тезисы Маруямы не являются в полной мере обоснованными, но, скорее, «удобными» для его исследовательской программы, поэтому можно говорить, что он отвергал «религиозные» размышления Сорая, т. к. они противоречили основной линии его исследования. В этой связи категоричность многих положений Маруямы нужно считать как минимум дискуссионной (Куродзуми, 2003: 352).

на значимых онтологических и гносеологических оснований, о чем мы подробнее расскажем далее. Конечно, «систематической» философию Сорая назвать нельзя, и, конечно, как и многие восточноазиатские мыслители, он не проводит явной границы между этическим, политическим, религиозным и метафизическим. Это, однако, не позволяет отказывать его наследию в философской проработанности метафизических вопросов: как и у любой крупной фигуры, масштаб мысли Сорая охватывает всю философскую проблематику в ее единстве. Более того, онтологические и гносеологические аспекты его философии играли отнюдь не последнюю роль именно в осмыслении категории Пути, поскольку теория Сорая не просто предлагает видение политической жизни, но, как и любая политическая теория, она решает вопрос об *источнике* норм, структурирующих социальный порядок.

Путь Неба, духи и божества не являются маргинальными понятиями в его философии, несмотря на то что случаи их упоминания «разбросаны» по всем произведениям Сорая фактически бессистемно. Сорай пишет, что отказывать Небу в разумности, а божествам и духам в существовании — недомыслие (Огё, 1973a: 235); пишет, что неотъемлемый элемент Пути — это ритуальные обряды и предсказания (Огё, 1973a: 239); а также, что человек ни на что не способен без Неба (Огё, 1973f: 198) и должен выполнить обязательства, возложенные на него Небом (Огё, 1994: 313). Более того, «Совершенномудрые утверждали, что все [создано] по законам духов и божеств» (Огё, 1973a: 239), а в самом «Пути Совершенномудрых, записанном в Шестикнижии, нет ничего, что не основывалось бы на почитании Неба» (Огё, 1973a). Похожие слова есть и в «Толковании Пути»: «Путь царей древности не включает ничего, что не основывалось бы на почитании Неба, божеств и духов. [Из этого правила] нет никаких исключений» (Огё, 1973b: 206).

Подобное напряжение между различными идеями Сорая закономерно должно приводить к предположению о том, что если Сорай полагал, что веления Неба (яп. *тэммэй*, 天命) носят нормативный характер, то Путь никоим образом не мог быть *создан* мудрецами древности, он мог быть ими лишь *открыт*.

Таким образом, фундаментальной предпосылкой для понимания Пути в философии Огю Сорая является не только понимание роли Совершенномудрых, но также и духов, и божеств, и Неба, поскольку в политической теории Сорая эти понятия играют отнюдь не вспомогательную роль, а во многом, как мы видим, и основную²³. В то же время заметим, что существует достаточно исследований²⁴, посвященных изучению и интерпретации этих «религиозных» аспектов философии Сорая. Однако их общим местом, как нам видится, является то, что комплекс идей и установок Сорая в отношении Неба, божеств и духов в этих работах рассматри-

23. Отдельно стоит заметить, что Сорай говорит о Небе преимущественно тогда, когда «теоретически» комментирует конфуцианскую классику, а его «практические» предложения реформ преимущественно лишены ссылок на Небо, а если таковые и встречаются, то выполняют лишь риторическую функцию, например, в «Рассуждении о правлении» Путь Неба — это просто естественный ход вещей (Огё, 1973d: 365).

24. См.: Najita, 1998; Ёсикава, 1975; Битё, 1982; Кодзима, 1987; Тахара, 1991; Yamashita, 1994.

вается либо «оторвано» от практического содержания Пути Совершенномудрых, либо вне контекста его политической теории вообще.

Следовательно, необходимо задаться вопросом не просто о том, что есть Путь Совершенномудрых, а как онтологически и гносеологически он связан с Путем Неба²⁵.

Подобное вопрошание сразу же обнаруживает принципиальное затруднение для формулировки ответа, связанное с другой фундаментальной философской предпосылкой Огю Сора́я, в определенной степени инспирированной влиянием Сюнь-цзы: Сорай систематически указывает на абсолютную непознаваемость Неба (Огю, 1973а: 238). Более того, он говорит, что даже постановка вопроса о Небе человеком затруднительна, потому что объект такого вопроса не поддается описанию (Огю, 1973а: 226). В то же время невозможно и воспротивиться велению Неба (Огю, 1973b: 14), что в совокупности с вышеуказанным закономерно подразумевает его абсолютную почитаемость, ведь оно находится за пределами человеческого понимания²⁶, а любые попытки объяснить Путь — безуспешны.

В данном контексте интересна глубокая интерпретация категории Неба, предложенная К. Г. Маранджян. Исследовательница отмечает, что учение Огю Сора́я строится по используемому в конфуцианстве принципу разграничения «внешнее–внутреннее» (Маранджян, 1990: 64), который в политическом контексте выражается в стремлении либо к самосовершенствованию, либо к управлению, что соответствует в общих чертах основной линии, по которой проходит граница между Сораям и его современниками. К. Г. Маранджян указывает, что Сорай абсолютизировал «внешнее», исходя из идеологических потребностей времени. Наблюдаемое им разложение феодальной системы требовало поиска основ должного правления вне человека, т. е. не в практиках самосовершенствования, а в объективной действительности (Маранджян, 1990: 66). Далее исследовательница делает важный вывод о том, что если к «внутреннему» у Сорая относится человеческая природа, то к «внешнему» — три «высшие категории»: Путь, Совершенномудрые и Небо, ведь они существуют объективно и вне человека, а «мир природы не входит в сферу интересов Сорая. Мыслитель как бы оставляет его за рамками своей философской системы, считая неподвластным человеческому разуму» (Маранджян, 1990: 66).

Ссылаясь на исследование О. Лидина, в котором он в контексте вопроса о «внешнем» и «внутреннем» пишет, что Огю Сорай разделяет реальность на объективную (человеческий мир) и субъективную (Небо и Земля), в рамках которых

25. В контексте этого вопроса особое значение имеет ряд работ О. Ансара: Ansart, 2010, 2009, 2019, 1998, 2014.

26. К. Г. Маранджян отмечает, что концепция Неба в философии Огю Сорая имеет ярко выраженный религиозный оттенок, т. к. в отличие от китайских представлений, где Небо — это персонифицированная сила, Сорай говорит о Небе как о главе ста богов (Маранджян, 1986а: 136). Такое представление о Небе также говорит о «синтоистском» влиянии на философию Сорая, истоком которого, вероятно, является японское понимание Неба, отраженное в «Уложении» Сётоку (Kasulis, 2020: 93–94).

человек руководствуется, соответственно, знанием и верой, К. Г. Маранджян не соглашается с такой точкой зрения. Исследовательница указывает, что разделение на «внешнее» и «внутреннее» в учении Сорая происходит по принципу субъектно-объектных отношений, т. е. является разделением на то, что существует в человеке и вне его. Небо как категория, обозначающая стоящее над миром высшее начало, является, таким образом, «внешним». По мнению исследовательницы, предлагаемое О. Лидиным разделение на человеческий мир как объект знания и Небо и Землю как объект веры противоречит логике Сорая, т. к. у него и разум и вера направлены исключительно на «внешнее». В результате К. Г. Маранджян приходит к выводу, что ориентация на «внешнее» нашла свое отражение в отделении политики от этики и лежала в основе идеи о сотворенности Пути, которая была необходима, чтобы подчеркнуть это разделение. Политические нормы в такой схеме представляются результатом деятельности Совершенномудрых, а этика — данной от природы и сформированной за счет внешнего влияния. Исследовательница заключает, что понимание Неба и Совершенномудрых как проявлений «внешнего» начала обусловило появление императива веры и религиозность в самой концепции (Маранджян, 1990: 67).

Комментируя вышесказанное, прежде всего стоит отметить, что Сорай, конечно, не использует слово «религия» в своих работах и постулировать ту или иную «религиозность» в его философии можно лишь условно и исключительно для того, чтобы простым языком описать ряд трансцендентальных аспектов, опосредующих наличие тех или иных аксиологических установок. В указанном смысле философия Сорая за счет приведенных ранее примеров, конечно, может показаться «религиозной», однако мы хотим обратить внимание на следующий фрагмент: «Мудрые императоры и просвещенные цари взяли Небо за образец для управления всем, что под ним» (Огю, 1973а: 235). Мы полагаем, что этот отрывок говорит нам, что под почтением и уважением к Небу, божествам и духам Сорай понимает не «веру» в них (Маранджян, 1990: 63), а верное следование или даже повиновение примеру, т. е. *образцам* (яп. *хō, 法*) Неба (Ansart, 2019: 88). Совершенно очевидно, что статус Неба в описываемой Сораям схеме значительно выше статуса Совершенномудрых, именно поэтому Сорай говорит о том, что Путь основывается на *следовании примеру* Неба, опираясь на установленные Совершенномудрыми предписания.

В то же время Сорай последовательно и систематически пресекает любые возможности понимания Неба, божеств и духов, которые, предположительно, позволили бы людям усомниться в нормативности их повелений. Сорай не признает интуитивное постижение, т. к. субъективное знание неадальновидно (Огю, 1973b: 205). Не признает он и познавательные возможности предсказаний, ведь их первоочередное предназначение — это помощь правителю в убеждении своего народа в эффективности проводимой им политики, а не в том, чтобы помочь простому человеку подобраться к сути мироздания (Огю, 1973f: 198). Рациональное понимание, конечно же, тоже невозможно, потому как Небесный разум — это не человеческий

разум. Он пребывает за пределами человеческого мышления и соотносится с природой. По этой причине он бездействен: не действует и не мыслит (Огю, 1973а: 235, 238). При всем этом не до конца ясно, как, учитывая все вышесказанное, можно связать Путь и Небо, т. к. Сорай никогда этого не объясняет, он лишь лаконично указывает, что «Небо не нуждается в объяснении. Это то, что известно всем людям» (Огю, 1973а: 235).

Единственной зацепкой может быть концепция Небесного Мандата, или Веления Неба (яп. *тэммэй*, 天命). Мудрые цари древности, о которых идет повествование в Шестикнижии, благодаря единовременному и неповторимому мистическому «откровению» смогли, внемля Велению Неба, понять принцип мироздания и сущность социального порядка — согласие. Описать сущность этого призыва или научить понятому образцу они не могли, поскольку сами тоже были просто людьми, но они начали претворять в жизнь это Веление, реализуя добродетели, которым впоследствии дали имена. В результате они разработали систему пяти отношений: родитель и ребенок, старший и младший, муж и жена, правитель и подданный, друг и друг. Таким образом, их деятельность указала Путь — правила выражения человеческих отношений для сохранения согласия в обществе.

Путь царей древности неуловим и отдален. Он — нечто, что обычному человеку не дано объять. Потому Учитель Кун и сказал: «Народ можно побудить поступать так. Но нельзя побудить осознать [почему ему следует так поступать]». <...> Учитель Кун понимал трудность постижения Пути. Он заметил: «Мой Путь пронизан одним», однако так и не сказал, чем. Это невыразимо. От того, что Путь невыразим, цари древности привнесли слова и указания, чтобы люди могли сберечь его. (Огю, 1973а: 210)

Сорай отдельно указывает на то, что вновь достигнуть подобной мудрости ни для кого из живущих не представляется возможным, и причина такого положения дел крайне проста: цари древности *не учились* мудрости — они лишь волею случая впитали ее от Неба. Все, что доступно их потомкам, — это лишь продолжать поддерживать нормы и отношения, которые они продемонстрировали своим примером. В общем и целом все вышеуказанное позволяет говорить о том, что достижение согласия в обществе становится возможным благодаря претворению Пути не через научение, а через подчинение.

Возвращаясь к Велению Неба, нужно отметить, что для Сорая оно результат совместной работы Неба, божеств и духов по созданию всех обстоятельств человеческой жизни и самой жизни как она есть. То есть Веление Неба — это данность: физический космос, история, традиции, культура, социальные структуры и т. д. (Огю, 1973а: 211, 1973с: 258) — все это образцы, структурирующие жизнь. Выходит, что Веление Неба — это лишь материал, который необходимо обработать, в этом и заключается сущность создания Пути (Огю, 1973а: 214, 1973с: 258). То есть, когда Совершенномудрые создавали Путь, они учитывали все элементы данности: географию, историю, традиции и т. д., чтобы путь действительно был «всеобъемлю-

щим именем». Получается, что все эти элементы, выражаясь словами О. Ансара, являются в то же время «ограничениями», т. е. сдерживающими Совершенномудрых факторами, ведь они должны были учесть все элементы при создании Пути. Причем ограничения эти двух типов: материальные (эмпирические) и нормативные (трансцендентальные) (Ansart, 2014: 193).

В этой связи нужно отметить, что один из элементов Веления Неба для Сорая имел особое значение — это человеческая природа (Огю, 1973с: 258), о которой мы писали выше в контексте того, что она не является чем-то определенным. Сорай сравнивает человеческую природу с древесиной, отмечая, что ее различные сорта используются с разными целями, однако это не говорит о том, что цель материала содержится в нем самом. Сорай пишет, что если мы заготавливаем древесину, чтобы построить дворец, мы следуем ее природе, однако мы не можем сказать обратного, что дворец — это природа древесины (Огю, 1973b: 201). Таким образом, Сорай разделяет эмпирическое и трансцендентальное, рассматривая человеческую природу исключительно как эмпирический материал, но никогда как нечто трансцендентальное.

Получается, что почитание Неба, божеств и духов — это не «религиозная вера» в нечто потустороннее, а почитание элементов Веления Неба (Огю, 1973b: 202), т. е. всех аспектов данности, образцом для которых является оно само и которые неизбежно являются частью созданного Совершенномудрыми Пути. В этой связи закономерно предположить, что остальные «спутники» Пути, т. е. божества и духи, — это, вероятно, не столько какие-либо сверхъестественные сущности, являющиеся объектом религиозного поклонения, сколько персонифицированные естественные отношения и силы природы, которые должны почитаться как закономерности действительности. Такое понимание божеств и духов позволяет по-новому взглянуть на уже упомянутые слова Сорая «Мы должны почитать божеств, даже если Путь божеств — пуст» (Огю, 1973с: 452) — для философа нет разницы в том, существуют божества или нет: почитание божеств должно иметь место, т. к. оно является институтом, структурирующим общество.

Таким образом, ключом к пониманию всего вышеуказанного комплекса противоречивых идей Сорая о происхождении Пути является, на наш взгляд, более продуктивное методологическое разграничение аспектов Пути на материальные (эмпирические) и нормативные (трансцендентальные) ограничения, предлагаемое О. Ансаром (Ansart, 2019, 2014). Трансцендентальные (т. е. доопытные с позиции обычного человека) ограничения, конечно же, были доступны только создателям Пути, то есть Совершенномудрым царям древности. Они столкнулись с исходным «материалом Пути» еще до того, как он был «переработан». Поэтому их точку зрения О. Ансар называет «внешней перспективой» (Ansart, 2014: 194). Обычные же люди существуют уже в пределах Пути, созданного Совершенномудрыми, поэтому у них не может быть никаких притязаний на его изменение, поскольку это чревато последующим ненужным вмешательством в политическую жизнь, что неизбежно приведет к крушению государства (Огю, 1973b: 200, 203, 205). Поэтому обычные

люди, занимая «внутреннюю перспективу», должны просто с доверием следовать неведомым им образцам Неба, выраженным в Пути в более понятной для простого человека форме: в обычаях, правилах и ритуалах. Выходит, указанную К. Г. Маранджян поляризацию «внешнего» и «внутреннего» в полной мере можно применить к логике Пути Огю Сорая, с той лишь оговоркой, что разграничение проходит не по линии человека (Маранджян, 1990: 67), а по линии Совершенномудрых. Тем самым мы должны признать корректность утверждения О. Лидина о том, что Огю Сорай разделяет реальность на объективную (в пределах Пути), ориентированную на знание (т. е. следование нормам) и субъективную (Небо), ориентированную на доверие Совершенномудрым (Lidin, 2014: 46–50).

Такой подход объясняет, почему, когда Сорай говорит о Пути в контексте необходимости следования и почитания, он не объясняет его происхождение. Дело в том, что эти принципы являются составной частью «внешней перспективы» и просто-напросто недоступны пониманию адресатов его учения.

Таким образом, различая «внешнюю» и «внутреннюю» перспективы Пути, можно последовательно реконструировать политическую теорию Огю Сорая. Все идеи, направленные на обоснование государственных институтов или связанные с рассуждениями о статусе Неба, божеств и духов, относятся исключительно к дискурсу Совершенномудрых, который Сорай бережно оберегает от возможных дискуссий. В то же время идеи о том, что Путь основывается на велениях Неба, божеств и духов, «обработанных» Совершенномудрыми, являются составной частью того обыденного социального порядка, где пребывают люди. По этой же причине Сорай не придает большого значения рассуждениям о сущности учений синтоистских или буддистских школ, ведь все возможные течения являются составной частью более древнего Пути Совершенномудрых царей древности и, несмотря на все известные различия, позволяют объединить всю нацию вне зависимости от «религиозных» предпочтений.

В этом смысле подход Огю Сорая замечательным образом демонстрирует идею Вацудзи Тэцуро о «многослойности» японской культуры, о которой мы говорили в самом начале. Он же подтверждает идею историка японской философии Т. Касулиса о том, что основным методом философского дискурса в Японии, в отличие от «опровержения» (т. е. аргументированного спора), принятого на Западе, является «понижение». Суть этого метода состоит в том, что «предпочитаемая теория принимает новую или противоположную теорию в неизменном виде, но только путем передачи ее в подчиненное положение в рамках увеличенной версии самой себя» (Kasulis, 2018: 38).

В результате, несмотря на многочисленные «религиозные» и мистические положения, встречающиеся в трудах Огю Сорая, которые, несомненно, имеют большое значение для его политических идей, можно согласиться с тем, что его философия действительно представляет собой исключительный случай утилитарного взгляда на государственные и этические нормы в Японии раннего Нового времени. Метафизические воззрения Сорая справедливо можно назвать «расколдовыванием»

мира, что ярко демонстрирует начало хоть и ограниченного, но «модерна» в истории японской философии. Огу Сораи, с одной стороны, выдвигает новаторскую для современного ему конфуцианского мировоззрения идею об эмпирическом происхождении общественных и политических норм. Таким образом, он является своеобразным разрушителем метафизических «идолов», свойственных его философским оппонентам, закладывая своеобразный фундамент для будущего развития более смелых политических, гносеологических и прочих идей²⁷. Однако, с другой стороны, он не делает последнего шага в этом направлении и остается в рамках конфуцианской традиции, сохраняя в своей теории социального порядка положение о том, что Путь был сотворен Совершенномудрыми с учетом всех велений Неба, то есть, «естественных» трансцендентальных установлений.

Литература

- Городецкая О. М. (2008). Происхождение концепции «Дао» на основании данных палеографии // Виногородская В. Б. (сост.). Человек и культура Востока: Исследования и переводы. 2010. М.: ИДВ РАН. С. 37–64.
- Кодзики: записи о деяниях древности: Свитки 2-й и 3-й / Пер. с яп. Л. М. Ермаковой А. Н. Мещерякова. СПб.: ШАР, 1994.
- Конончук Д. В. (2014). О происхождении и смысле конфуцианской категории 仁 жэнь // Кобзев А. И. (ред.). В пути за китайскую стену: к 60-летию А. И. Кобзева: Ученые записки Отдела Китая ИВ РАН. М.: Институт востоковедения РАН. С. 176–195.
- Конончук Д. В. (2018). Константы конфуцианской культуры: к методологии вопроса // Ажимов Ф. Е., Домбаева П. Г., Пружинин, Б. И., Щедрина Т. Г. (ред.). История как фундамент гуманитарного познания: к 100-летию исторического образования на Дальнем Востоке. Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета. С. 32–42.
- Маранджян К. Г. (2016). «Детские вопросы» («Додзимон») японского конфуцианского мыслителя Ито Дзинся // Письменные памятники Востока. № 2 (25). С. 89–99.
- Маранджян К. Г. (2015). Конфуцианский трактат Накаэ Тодзю «Беседы со старцем» как достоверный исторический источник, или Были ли неграмотными самураи в начале XVII в.? // Письменные памятники Востока. № 1. С. 57–66.

27. Благодаря этому об Огу Сорае можно говорить не только в рамках вопроса о философском модерне в Японии или в рамках истории японского конфуцианства, сравнивая его идеи с целой плеядой мыслителей токугавской Японии, таких как Хаяси Радзан, Ямадзаки Ансай, Ямага Соко и Ито Дзинсай, не говоря уже о китайских классиках. Глубина проработки им вопросов, связанных с пониманием языка, теорией интерпретации, устройством знания, вопросами политики и многим другим, позволяет обоснованно рассматривать его философию в компаративном ключе, анализируя его идеи в широком контексте наследия не только Платона, Марсилия Падуанского, Макиавелли, Декарта, Монтескье, Гоббса (Shogimen, 2002; Kasulis, 2018; Lidin, 1983; Matsuda, 2003), но и Ролза, Рорти, Гадамера и Фуко (Ansart, 1998).

- Маранджян К. Г. (1990). Конфуцианское учение в интерпретации Огю Сораля // Горегляд В. Н. (ред.). Из истории общественной мысли Японии XVII–XIX вв. М.: Наука. С. 28–72.
- Маранджян К. Г. (1986а). О некоторых особенностях японского конфуцианства (на материале трактатов Огю Сораля) // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. М.: Наука. С. 133–137.
- Маранджян К. Г. (1986б). Понятие «дао» в концепции Огю Сораля // Письменные памятники и проблемы истории культуры народов Востока. М.: Наука. С. 105–110.
- Матвеев В. А. (2019). Толкование имен: «Бэммэй» как пример переосмысления категорий конфуцианской культуры в философии Огю Сораля // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 1. С. 38–48.
- Матвеев В. А. (2020). Сётоку-тайси и его уложение: о рецепции конфуцианских категорий в политической культуре Древней Японии // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. № 2. С. 38–48.
- Молодяков В. Э. (2002). Синто и японская мысль // Ермакова Е. М., Комаровский Г. Е., Мещеряков А. Н. (ред.). Синто — путь японских богов. Т. 1. СПб.: Гиперион. С. 634–688.
- Мэн-цзы / Пер. с кит. П. С. Попова // Конфуцианское «Четверокнижие» («Сы Шу»). М.: Восточная литература, 2004. С. 239–396.
- Нейсбит Р. (2012). География мысли. М.: Астрель.
- Прасол А. Ф. (2001). Становление образования в Японии (VIII–XIX века). Владивосток: Дальнаука.
- Радуль-Затуловский Я. Б. (1947). Конфуцианство и его распространение в Японии. Москва: Либроком.
- Сюнь-цзы. Исправление имен (чжэн мин) / Пер. с кит. В. Ф. Феоктистова // Философские и общественно-политические взгляды Сюнь-цзы. М.: Наука, 1976. С. 245–267.
- Ячин С. Е. (ред.). (2010). Дао и телос в смысловом измерении культур восточного и западного типа. Владивосток: Издательство Дальневосточного федерального университета.
- Битō Масахидэ 尾藤 正英. (1982). Коккайсёги-но сокэй тоситэ-но сорай 「国家主義の祖型としての徂徠」 (Сорай как праобраз национализма). Токио: Тёёкōрон-ся 「中央公論社」.
- Вацудзи Тэцурō 「和辻哲郎」. (2002). Симпэн нихонсэйсинси кэнкё 「新編日本精神史研究」 (Новая редакция исследований по интеллектуальной истории Японии). Киото: Тōэй-ся 「燈影舎」.
- Ёсикава Кōдзирō 「吉川 幸次郎」. (1975) Дзинсай, Сорай, Норинага 「仁斎・徂徠・宣長」. Токио: Иванами сётэн 「岩波書店」.
- Кодзима Ясунори 小島 康敬. (1987). Сорайгаку то хан-сорай 「徂徠学と反徂徠」 (Сорай и анти-Сорай). Токио: Пэрикан-ся 「ペリカン社」.

- Куродзуми Макото 黒住真. (2003). Кинсэй нихонсякай то дзюкё 「近世日本社会と儒教」 (Общество Японии Нового времени и конфуцианство). Токио: Пэрикан-ся 「ペリカン社」.
- Маруяма Масао 「丸山真男」. (1952). Нихон сэйдзи сисёси кэнкё 「日本政治思想研究」 (Исследования по истории японской политической мысли). Токио: Тёкё дайгаку Сюппанкай.
- Огю Сорай 「荻生徂徠」. (1973a). Бэммэй 「弁名」 (Толкование имен) // Ёсикава Кёдзирё 「吉川 幸次郎」 (ред.). Нихон сисё тайкэй 「日本思想体系」 (Главные произведения японской мысли). Т. 36. Токио: Иванами сётэн 「岩波書店」.
- Огю Сорай 「荻生徂徠」. (1973b). Бэндё 「弁道」 (Толкование Пути) // Ёсикава Кёдзирё 「吉川 幸次郎」 (ред.). Нихон сисё тайкэй 「日本思想体系」 (Главные произведения японской мысли). Т. 36. Токио: Иванами сётэн 「岩波書店」.
- Огю Сорай 「荻生徂徠」. (1973c). Гакусоку 「学則」 (Наставления учащимся) // Ёсикава Кёдзирё 「吉川 幸次郎」 (ред.). Нихон сисё тайкэй 「日本思想体系」 (Главные произведения японской мысли). Т. 36. Токио: Иванами сётэн 「岩波書店」.
- Огю Сорай 「荻生徂徠」. (1994) Ронготё 「論語徴」 (Заметки к «Лунь юю»): в 2 т. Т. I. Токио: Хэйбон-ся 「平凡社」.
- Огю Сорай 「荻生徂徠」. (1973d). Сэйдан 「政談」 (Рассуждение о правлении) // Ёсикава Кёдзирё 「吉川 幸次郎」 (ред.). Нихон сисё тайкэй 「日本思想体系」 (Главные произведения японской мысли). Т. 36. Токио: Иванами сётэн 「岩波書店」.
- Огю Сорай 「荻生徂徠」. (1973e). Тайхэйсаку 「太平策」 (План великого умиротворения) // Ёсикава Кёдзирё 「吉川 幸次郎」 (ред.). Нихон сисё тайкэй 「日本思想体系」 (Главные произведения японской мысли). Т. 36. Токио: Иванами сётэн 「岩波書店」.
- Огю Сорай 「荻生徂徠」. (1973f). Тёмонсё 「答問書」 (Ответы) // Иманака Кандзи 「今中 寛司」, Нарамото Тацунэ 「奈良本 辰也」 (ред.). Огю сорай дзэнсё 「荻生徂徠全集」 (Полное собрание сочинений Огю Сорая). Т. 6. Токио: Кавадэ сёбё синся 「河出書房新社」.
- Тахара Цугуо 田原 嗣郎. (1991). Сорайгаку-но сэкай 「徂徠学の世界」 (Мир Сорая). Токио: Тёкё дайгаку сюппанкай.
- Ansart O. (2019). Gods, Spirits and Heaven in Ogyu Sorai's Political Theory // Boot W. J., Takayama D. (eds.). *Tetsugaku Companion to Ogyu Sorai*. Cham: Springer. P. 85–99.
- Ansart O. (1998). *L'Empire du Rite: La pensée politique d'Ogyu Sorai Japon 1666–1728*. Geneve: Librairie Droz.
- Ansart O. (2014). The Philosophical Moment Between Ogyu Sorai and Kaiho Seiryō: Indigenous Modernity in the Political Theories of Eighteenth-Century Japan // Huang C., Tucker J. A. (eds.). *Dao Companion to Japanese Confucian Philosophy*. Cham: Springer. P. 183–214.
- Ansart O. (2010). Making Sense of Sorai: How to Deal with the Contradictions in Ogyu Sorai's Political Theory // *Asian Philosophy*. Vol. 19. № 1. P. 11–30.

- Ansart O.* (2009). Rituals as Utopia: Ogyu Sorai's Theory of Authority // *Japanese Studies*. Vol. 29. № 1. P. 33–45.
- Como M.* (2003). Ethnicity, Sagehood, and the Politics of Literacy in Asuka Japan // *Japanese Journal of Religious Studies*. Vol. 30. № 1–2. P. 61–84.
- Goto Jones Ch.* (2005). *Political Philosophy in Japan: Nishida, the Kyoto School, and Co-prosperity*. L.: Routledge.
- Hall D.* (1987). *Thinking Through Confucius*. Albany: State University of New York Press.
- Hansen C.* (1983). *Language and Logic in Ancient China*. Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Iwasawa T.* (2020). Philosophical Implications of Shinto // *Davis B. W. (ed.). The Oxford Handbook of Japanese Philosophy*. N.Y.: Oxford University Press. P. 97–110.
- Iwasawa T.* (2011). *Tama in Japanese Myth: A Hermeneutical Study of Ancient Japanese Divinity*. Maryland: University Press of America.
- Kasulis T. P.* (2018). *Engaging Japanese Philosophy: A Short History*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kasulis T. P.* (2020). Prince Shōtoku's Constitution and the Synthetic Nature of Japanese Thought // *Davis B. W. (ed.). The Oxford Handbook of Japanese Philosophy*. N.Y.: Oxford University Press. P. 83–96.
- Lidin O. G.* (2014). Ogyū Sorai: Confucian Conservative Reformer: From Journey to Kai to Discourse on Government // *Huang C., Tucker J. A. (eds.). Dao Companion to Japanese Confucian Philosophy*. Cham: Springer, 2014. P. 165–182.
- Lidin O. G.* (1983). *Ogyū Sorai's Journey to Kai in 1706, with a Translation of the Kyōchūkikō*. L.: Curzon Press.
- Lidin O. G.* (1984). Ogyū Sorai's Place in Edo Intellectual Thought // *Modern Asian Studies*. Vol. 18. № 4. P. 567–580.
- Maruyama M.* (1984). *Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan*. Tokyo: University of Tokyo Press.
- Matsuda K.* (2003). Social Order and the Origin of Language in Tokugawa Political Thought // *St. Paul's Review of Law and Politics*. № 63. P. 131–142.
- Minamoto R.* (1979). Jitsugaku and Empirical Rationalism in the First Half of the Tokugawa Period // *De Bary W. T., Bloom I. (eds.). Principle and Practicality: Essays in Neo-Confucianism and Practical Learning*. N.Y.: Columbia University Press. P. 375–470.
- Najita T.* (1998). *Tokugawa Political Writings*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ni P.* (2107). *Understanding the Analects of Confucius*. Albany: State University of New York Press.
- Ogyū Sorai* (1994). *Master Sorai's Responsals* / *Tran. S. H. Yamashita*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Schwartz B.* (1985). *The World of Thought in Ancient China*. Cambridge: Belknap Press.
- Shogimen T.* (2002). Marsilius of Padua and Ogyu Sorai: Community and Language in the Political Discourse in Late Medieval Europe and Tokugawa Japan // *The Review of Politics*. Vol. 64. № 3. P. 497–523.

- Tucker J. A. (2018) Japanese Confucian Philosophy // The Stanford Encyclopedia of Philosophy. URL: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/japanese-confucian/> (дата доступа: 20.12.2020).
- Tucker J. A. (2006). The Bendo and Benmei as Philosophical Dictionaries // Tucker J. A. (ed.). Ogyu Sorai's Philosophical Masterworks: The Bendo and Benmei. Honolulu: University of Hawai'i Press. P. 3–45.
- Waley A. (1938). The Analects of Confucius. L.: George Allen & Unwin.
- Yamashita S. (1994). Ogyū Sorai: His Life, Context, and Interpreters // Yamashita S. (ed.). Master Sorai's Responsals. Honolulu: University of Hawaii Press. P. 1–32.

The Renewal of Tradition in the Political Thought of Early Modern Japan: The Confucian Concept of *Dao* and the Question of the Origin of Social Order in Ogyū Sorai's Theory

Valentin A. Matveenko

Candidate of Philosophical Sciences, Associate Professor, Department of Philosophy and Religious Studies, Far Eastern Federal University

Address: Ajax str., 10, Vladivostok, Russian Federation 690022

E-mail: valentin.matveenko@gmail.com

In Japan's early modern period, Confucian philosophy was considered as a pattern of political discourse. Hence, many Japanese thinkers of the time were involved into solving political problems. The paper deals with the theory of social order developed by Ogyū Sorai (1666–1728), a major Confucian philosopher and the most progressive thinker of the time, who criticized modern schools for the practical incompetence of their ideas. Sorai's theory unfolded around the idea of the Way of Early Kings, which he saw as a complex of principles that formed the foundation of social order. The Confucian concept of *Dao* is fundamental for this idea, the ethical interpretation of which was proposed by Sorai's contemporaries, while Sorai considered the Way as a political category. The paper begins with a brief introduction to the role that Confucian thought played in the forming of the language of political discourse in Japan. Further, the author discusses Sorai's ideas on the early kings and the Way created by them, as well as on social order, the role of the ruler, and human nature. The author pays special attention to Sorai's theory of language that connects his lexicographic and political works. The fact is that since Sorai's attention to the Way was grounded on his methodology, he believed that careful work with the language was the way to proper government and social order. The article concludes with an analysis of the way Sorai theorized the concept of *Dao*. On one hand, in his practical precepts, Sorai offered a pragmatic and politically-problematic interpretation of *Dao*. On the other hand, in his ideas on Heaven, gods, and spirits, Sorai offered a metaphysical perspective of *Dao* that is characterized with concerns for ontological and epistemological questions. As a result, in order to point out the significance of Sorai's utilitarian and disenchanting world ideas since they were an important step in the history of Japanese philosophy that preceded modernity, the author attempts to describe Ogyū Sorai's logic of social order based on both the pragmatic and metaphysical perspectives of his theory.

Keywords: Japanese Confucianism, Ogyū Sorai, Way of the Early Kings, Way of the Sage Kings, Way of Heaven, Bendō, Benmei

References

- Ansart O. (1998) *L'Empire du Rite: La pensée politique d'Ogyu Sorai Japon 1666–1728*, Geneve: Librairie Droz.
- Ansart O. (2009) Rituals as Utopia: Ogyu Sorai's Theory of Authority. *Japanese Studies*, vol. 29, no 1, pp. 33–45.
- Ansart O. (2010) Making Sense of Sorai: How to Deal with the Contradictions in Ogyu Sorai's Political Theory. *Asian Philosophy*, vol. 19, no 1, pp. 11–30.
- Ansart O. (2014) The Philosophical Moment Between Ogyu Sorai and Kaiho Seiryō: Indigenous Modernity in the Political Theories of Eighteenth-Century Japan. *Dao Companion to Japanese Confucian Philosophy* (eds. C. Huang, J. A. Tucker), Cham: Springer, pp. 183–214.
- Ansart O. (2019) Gods, Spirits and Heaven in Ogyu Sorai's Political Theory. *Tetsugaku Companion to Ogyu Sorai* (eds. W. J. Boot, D. Takayama), Cham: Springer, pp. 85–99.
- Bitō Masahide 尾藤 正英 (1982) Kokkaishugi-no sokei toshite-no sorai 「国家主義の祖型としての徂徠」 [Sorai as the Originator of Nationalism], Tokyo: Chuokoronsha 「中央公論社」.
- Como M. (2003) Ethnicity, Sagehood, and the Politics of Literacy in Asuka Japan. *Japanese Journal of Religious Studies*, vol. 30, no 1–2, pp. 61–84.
- Gorodetskaya O. (2008) Proiskhozhdenie kontseptsii "Dao" na osnovanii dannykh paleografii [The Origin of the Concept of "Tao" on the Basis of Paleography Data]. *Chelovek i kultura Vostoka: Issledovaniya i perevody* [Human and Culture of the East: Research and Translations] (ed. V. Vinogorodskaya), Moscow: RAS, pp. 37–64.
- Goto Jones Ch. (2005) *Political philosophy in Japan: Nishida, the Kyoto School, and Co-prosperity*, London: Routledge.
- Hall D. (1987) *Thinking Through Confucius*, Albany: State University of New York Press.
- Hansen C. (1983) *Language and Logic in Ancient China*, Ann Arbor: University of Michigan Press.
- Iwasawa T. (2011) *Tama in Japanese Myth: A Hermeneutical Study of Ancient Japanese Divinity*, Maryland: University Press of America.
- Iwasawa T. (2020) Philosophical Implications of Shinto. *The Oxford Handbook of Japanese Philosophy* (ed. B. W. Davis), New York: Oxford University Press, pp. 97–110.
- Kasulis T.P. (2018) *Engaging Japanese Philosophy: A Short History*, Honolulu: University of Hawaii Press.
- Kasulis T.P. (2020) Prince Shōtoku's Constitution and the Synthetic Nature of Japanese Thought. *The Oxford Handbook of Japanese Philosophy* (ed. B. W. Davis), New York: Oxford University Press, pp. 83–96.
- Kojiki: Records of Ancient Affairs*, Saint Petersburg: Shar, 1994.
- Kojima Yasunori 小島 康敬 (1987) *Soraigaku mo han-sorai* 「徂徠学と反徂徠」 [Sorai and Anti-Sorai], Tokyo: Perikansha 「ペリカン社」.
- Kononchuk D. (2014) O proiskhozhdenii i smysle konfutsianskoy kategorii 仁 zhen [On the Origin and Meaning of the Confucian Category 仁 Ren]. *Vputi za kitayskuyu stenu: k 60-letiyu A. I. Kobzeva* [On the Way behind the Chinese Wall: On the 60th Anniversary of A. I. Kobzev] (ed. A. Kobzev), Moscow: RAS, pp. 176–195.
- Kononchuk D. (2018) Konstanty konfutsianskoy kultury: k metodologii voprosa [Constants of Confucian Culture: Toward the Methodology of the Issue]. *Istoriya kak fundament gumanitarnogo poznaniya* [History as the Foundation of Humanitarian Knowledge] (eds. F. Azhimov, P. Dombaeva, B. Pruzhinin, T. Shhedrina), Vladivostok: Far Eastern Federal University Publishing, pp. 32–42.
- Kurozumi Makoto 黒住真 (2003) *Kinsei nihonshakai to jukyo* 「近世日本社会と儒教」 [Modern Japanese Society and Confucianism], Tokyo: Perikansha 「ペリカン社」.
- Lidin O. G. (1983) *Ogyū Sorai's Journey to Kai in 1706, with a Translation of the Kyōchūkikō*, London: Curzon Press.
- Lidin O. G. (1984) Ogyū Sorai's Place in Edo Intellectual Thought. *Modern Asian Studies*, vol. 18, no 4, pp. 567–580.

- Lidin O.G. (2014) Ogyū Sorai: Confucian Conservative Reformer: From Journey to Kai to Discourse on Government. *Dao Companion to Japanese Confucian Philosophy* (eds. C. Huang, J. A. Tucker), Cham: Springer, pp. 165–182.
- Marandzhyan K. (1986) O nekotorykh osobennostyakh yaponskogo konfutsianstva (na materiale traktatov Ogyu Sorai) [On Some Ideas of Japanese Confucianism (Based on the Treatises of Ogyu Sorai)]. *Pismennye pamyatniki i problemy istorii kultury narodov Vostoka* [Written Monuments and Problems of the History of Culture of the East], Moscow: Nauka, pp. 133–137.
- Marandzhyan K. (1986) Ponyatie dao v kontseptsii Ogyu Sorai [The Concept of Tao in the Conception of Ogyu Sorai]. *Pismennye pamyatniki i problemy istorii kultury narodov Vostoka* [Written Monuments and Problems of the History of Culture of the East], Moscow: Nauka, pp. 105–110.
- Marandzhyan K. (1990) Konfutsianskoe uchenie v interpretatsii Ogyu Sorai [Confucian Doctrine in the Interpretation of Ogyu Sorai]. *Iz istorii obshchestvennoy mysli Yaponii XVII-XIX vv.* [From the History of Social Thought in Japan in the 17th — 19th Centuries] (ed. V. Goregilyad), Moscow: Nauka, pp. 28–72.
- Marandzhyan K. (2015) Konfutsianskiy traktat Nakae Todzyu «Besedy so startsem» kak dostovernyy istoricheskiy istochnik, ili byli li negramotnymi samurai v nachale XVII v.? [Confucian Treatise Nakae Toju “Conversations with an Elder” as a Reliable Historical Source; or Were the Samurai Illiterate at the Beginning of the 17th Century?]. *Written Monuments of the East*, vol. 22, no 1, pp. 57–66.
- Marandzhyan K. (2016) “Detskie voprosy” (“Dodzimon”) yaponskogo konfutsianskogo myslitelya Ito Dzinsaya [Children’s Questions” (“Dojimon”) by the Japanese Confucian Thinker Ito Jinsai]. *Written Monuments of the East*, vol. 25, no 2, pp. 89–99.
- Maruyama M. (1984) *Studies in the Intellectual History of Tokugawa Japan*, Tokyo: University of Tokyo Press.
- Maruyama M. 「丸山真男」 (1952) *Nihon seiji shisoshi kenkyu* 「日本政治思想研究」 [Confucianism and Society in Pre-modern Japan], Tokyo: Tokyo daigaku shuppankai.
- Matsuda K. (2003) Social Order and the Origin of Language in Tokugawa Political Thought. *St. Paul’s Review of Law and Politics*, no 63, pp. 131–142.
- Matveenko V. (2019) Tolkovanie imen: “Bemmey” kak primer pereosmysleniya kategoriy konfutsianskoy kul’tury v filosofii Ogyu Soraya [Distinguishing Names: Benmei as Confucian Terminology Reconstruction in Ogyū Sorai’s Thought]. *Humanities Research in the Russian Far East*, no 1, pp. 38–48.
- Matveenko V. (2020) Syotoku-taysi i ego ulozhenie: o retseptsii konfutsianskikh kategoriy v politicheskoy kul’ture drevney Yaponii [Shōtoku Taishi and His Constitution: On the Reception of Confucian Categories in Political Culture of Ancient Japan]. *Humanities Research in the Russian Far East*, no 2, pp. 38–48.
- Mencius (2004) *Konfutsianskoe “Chetveroknizhie”* [Confucian “Four Books”], Moscow: Vostochnaya literatura, pp. 239–396.
- Minamoto R. (1979) Jitsugaku and Empirical Rationalism in the First Half of the Tokugawa Period. *Principle and Practicality: Essays in Neo-Confucianism and Practical Learning* (eds. W. T. De Bary, I. Bloom), New York: Columbia University Press, pp. 375–470.
- Molodyakov V. (2002) Sinto i yaponskaya mysl [Shinto and Japanese Thought]. *Sinto — put yaponskikh bogov. T. 1* [Shinto — the Path of the Japanese Gods, Vol. 1] (eds. E. Ermakova, G. Komarovskiy, A. Meshcheryakov), Saint Petersburg: Giperion, pp. 634–688.
- Najita T. (1998) *Tokugawa Political Writings*, Cambridge: Cambridge University Press.
- Ni P. (2017) *Understanding the Analects of Confucius*, Albany: State University of New York Press.
- Nisbett R. (2012) *Geografiya mysli* [The Geography of Thought], Moscow: Astrel.
- Ogyū Sorai (1994) *Master Sorai’s Responsals*, Honolulu: University of Hawaii Press.
- Ogyu Sorai 「荻生 徂徠」 (1973) Benmei 「弁名」 [Distinguishing Names]. *Nihonshiso taikai* 「日本思想体系」, vol. 36 (ed. Yoshikawa Kojiro 「吉川 幸次郎」), Tokyo: Iwanami shoten 「岩波書店」.

- Ogyu Sorai 「荻生 徂徠」 (1973) Bendo 「弁道」 [Distinguishing the Way]. *Nihonshiso taikēi* 「日本思想体系」, vol. 36 (ed. Yoshikawa Kojiro 「吉川 幸次郎」), Tokyo: Iwanami shoten 「岩波書店」.
- Ogyu Sorai 「荻生 徂徠」 (1973) Gakusoku 「学則」 [Precepts for Learning]. *Nihonshiso taikēi* 「日本思想体系」, vol. 36 (ed. Yoshikawa Kojiro 「吉川 幸次郎」), Tokyo: Iwanami shoten 「岩波書店」.
- Ogyu Sorai 「荻生 徂徠」 (1973) Seidan 「政談」 [Discourse on Government]. *Nihonshiso taikēi* 「日本思想体系」, vol. 36 (ed. Yoshikawa Kojiro 「吉川 幸次郎」), Tokyo: Iwanami shoten 「岩波書店」.
- Ogyu Sorai 「荻生 徂徠」 (1973) Taiheisaku 「太平策」 [Measures for the Great Peace]. *Nihonshiso taikēi* 「日本思想体系」, vol. 36 (ed. Yoshikawa Kojiro 「吉川 幸次郎」), Tokyo: Iwanami shoten 「岩波書店」.
- Ogyu Sorai 「荻生 徂徠」 (1973) Tomonsho 「答問書」 (Responsals). *Ogyu Sorai zenshu* 「荻生 徂徠全集」, vol. 6 (eds. Imanaka Kanji 「今中 寛司」, Naramoto Tatsuya 「奈良本 辰也」), Tokyo: Kawade shobo shinsha 「河出書房新社」.
- Ogyu Sorai 「荻生 徂徠」 (1994) *Rongocho* 「論語微」 [Notes on the Analects], Vol. 1, Tokyo: Heibon-sha 「平凡社」.
- Prasol A. F. (2001) *Stanovlenie obrazovaniya v Yaponii (VIII–XIX veka)* [Formation of Education in Japan (8th — 19th Centuries)], Vladivostok: Dalnauka.
- Radul-Zatulovsky Y. (2011) *Konfucianstvo i ego rasprostranenie v Yaponii* [Confucianism and Its Dissemination in Japan], Moscow: Librokomp.
- Swartz B. (1985) *The World of Thought in Ancient China*, Cambridge: Belknap Press.
- Shogimen T. (2002) Marsilius of Padua and Ogyu Sorai: Community and Language in the Political Discourse in Late Medieval Europe and Tokugawa Japan. *The Review of Politics*, vol. 64, no 3, pp. 497–523.
- Tahara Tsuguo 田原 嗣郎 (1991) *Soraigaku-no sekai* 「徂徠学の世界」 [Sorai's World], Tokyo: Tokyo daigaku shuppankai.
- Tucker J. A. (2006) The Bendo and Benmei as Philosophical Dictionaries. *Ogyu Sorai's Philosophical Masterworks: The Bendo and Benmei* (ed. J. A. Tucker), Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 3–45.
- Tucker J. A. (2018) Japanese Confucian Philosophy. *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Available at: <https://plato.stanford.edu/archives/spr2018/entries/japanese-confucian/> (accessed 20 December 2020).
- Waley A. (1938) *The Analects of Confucius*, London: George Allen & Unwin.
- Watsuji Tetsuro 「和辻哲郎」 (2002) *Shinpen nihonseishinshi kenkyu* 「新編日本精神史研究」 [New Edition of Studies in the Intellectual History of Japan], Kyoto: Toeiisha 「燈影舎」.
- Xun Tzu (1976) *Ispravlenie imen (chzhen min)* [Correction of Names (zheng ming)]. *Filosofskie i obshchestvenno-politicheskie vzglyady Syun-tszy* [Philosophical and Socio-political Views of Xun-tzu], Moscow: Nauka, pp. 245–267.
- Yachin S. (ed.). (2010) *Dao i telos v smyslovom izmerenii kul'tur vostochnogo i zapadnogo tipa* [Tao and Telos in the Semantic Dimension of the Cultures of the Eastern and Western Types], Vladivostok: Far Eastern Federal University Publishing.
- Yamashita S. (1994) Ogyū Sorai: His Life, Context, and Interpreters. *Master Sorai's Responsals* (ed. S. Yamashita), Honolulu: University of Hawaii Press, pp. 1–32.
- Yoshikawa Kojiro 「吉川 幸次郎」 (1975) *Jinsai, Sorai, Norinaga* 「仁齋・徂徠・宣長」, Tokyo: Iwanami shoten 「岩波書店」.

Жизнь, не принадлежащая себе: триада «ребенок — родитель — врач» и феноменология в паллиативной помощи детям*

Максим Мирошниченко

Кандидат философских наук, старший преподаватель, кафедра биоэтики и международного
медицинского права ЮНЕСКО, международный факультет,
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова
Адрес: ул. Островитянова, д. 1, г. Москва, Российская Федерация 117997
E-mail: jaberwokky@gmail.com

В фокусе внимания статьи находится ребенок, нуждающийся в паллиативной помощи — пациент с тяжелым, часто полисистемным заболеванием, порой не предполагающим возможности долгосрочного прогнозирования. Жизнь ребенка в больничной/хосписной среде оказывается подчинена регламенту, упорядочивающему течение времени, рутинные действия и режимы коммуникации. Это может стать предметом феноменологического исследования, которое вскрыло бы факт нивелирования индивидуальности пациента, будто бы изначально вплетенной в триаду «ребенок — родитель — врач». Артикуляция самости сохранного ребенка встраивается в стратегии умолчания и полуправды, избираемые врачами и родителями, находя альтернативные способы манифестации в играх, конфликтном поведении и попытках сепарации от родителей. Тенденция к объективации усиливается в случае когнитивно несохранных, вегетативных пациентов. Взрослые не знают, как проявлять эмпатию к больному телу, в их восприятии фактически лишенному субъективности. Лежащее в основе этого затруднения традиционное представление о коммуникации врача и пациента требует пересмотра, поскольку основано на абстракции от воплощенного intersubjectивного взаимодействия в триаде. Ребенок, получающий паллиативную помощь, не соответствует нормативным представлениям о рациональном автономном субъекте. Это требует иных способов концептуализации статуса пациента как обладателя патического опыта, «вывернутого» наружу вследствие развития заболевания. Вместо нормативистской и универсалистской этики предлагается феноменологический, медико-антропологический ракурс материализма, который указывает на социокультурную неоднозначность представления о «невинности» и «инфантильности» ребенка, красной нитью проходящую через его жизнь.

Ключевые слова: биоэтика, инвалидность, неизлечимые заболевания, материализм, медицинская антропология, паллиативная помощь детям, патический опыт, эмпатия

* Статья написана в рамках гранта РНФ № 20-78-10117 «Модели взаимодействия врачей и пациентов в институтах паллиативной помощи детям».

Введение: хрупкая диада и патический опыт

Как феноменология определяет жизнь? Обобщая некоторые подходы к определению жизни в ее взаимосвязи с познанием и деятельностью, можно сказать: жизнь есть процесс самоприсвоения¹. Организм, всегда уже включенный в среду, будто бы изначально находится «под рукой» у самого себя. Его жизнедеятельность есть воздействие на окружающий мир, которое насыщает его смыслом и постоянно обуславливается кинестетическими, сенсомоторными и средовыми параметрами.

Жизнь, таким образом, есть контрапункт живой системы и ее среды. Система не может оставаться организационно замкнутой, вобранной в себя: траектория индивидуального развития всегда предполагает отношение к другому, будь то иная живая система или смысловая единица среды. Автономия и индивидуация жизни основаны на ее сопряжении с другой жизнью и с окружением: всякое *Я* предполагает изначальное сопричастие *Другого*, некоего *Ты*². Единицей развития, таким образом, является *диада*, а не индивид, взятый «в одиночестве душевной жизни» (Гуссерль, 2011: 38–40). Диада — малая социальная группа, состоящая из двух индивидов. Первичной диадой в жизни каждого человека является связь с матерью/родителем, и она выступает изначальной средой его социализации.

С самого раннего детства самость человека формируется во взаимодействии с другими при имитации жестов и мимики, а также при соучастии в создании смысловых структур коммуникации. Индивид никогда не остается один на один с собой, а, как считал психоаналитик Дональд Винникотт, ребенок оказывается одинок лишь в присутствии другого. Новорожденный нуждается в матери для поддержания своего гомеостаза. Температура тела ребенка становится объектом совместной, диадической регуляции, например, когда новорожденного кладут на грудь матери (Tronick et al., 1998). Феноменологически инспирированная гипотеза «соучаствующего смыслополагания» (participatory sense-making)³, выдвинутая Ханне Де Йегер и Эсекьелем Ди Паоло, утверждает, что психосоциальное развитие индивида предполагает синхронизацию и координацию своих действий с другими. Инкультурация, воспитание и обучение вовлекают индивида в интересобъективные практики и «направляют» его жизнь по «проторенным» руслам. Следова-

1. Под «самоприсвоением» я имею в виду такие концептуализации жизни, которые можно встретить у авторов в диапазоне от французской феноменологии до нейрофеноменологии, энактивизма и «воплощенного познания» (Мальдине, 2014; Jonas, 2001; Varela, 2001). Речь идет о видении жизни как деятельного раскрытия себя как «я могу», как субъекта, контролирующего свое тело, умеющего использовать его, проще говоря — ориентироваться в жизненном мире.

2. Широкий спектр теорий от «социального познания» до психоаналитических моделей онтогенеза указывает на то, что основополагающей для индивида является его организационная открытость иному — будь то разомкнутость будущему, узнавание другой жизни как жизни, или конституирование «востребованного Другого». Как утверждает Ханс Йонас, жизнь может быть узнана лишь другой жизнью, и в этом состоит ее организационная специфика; стало быть, жизнь всегда предполагает коммуникацию и структурное сопряжение с другими.

3. Также имеются в виду инспирированные феноменологией подходы в социальной психологии, занимающиеся проблематикой «социального познания», см.: De Jaegher, Di Paolo, 2007; Fuchs, De Jaegher, 2009.

тельно, индивид на ранних этапах жизни обладает особым рода податливостью. Будучи субъектом своих действий (*agens*), он *претерпевает* то, что с ним происходит (*patiens*). Жизнь — это претерпевание, раскрывающее зависимость от среды. Даже простейший организм нуждается в питательных элементах, рассеянных по среде. Это вынуждает его проводить минимальные различия, при помощи своего тела преобразуя нейтральную физическую реальность в череду смысловых седи-ментаций.

Можно утверждать, что это представление о жизни как о креативном процес-се преобразования системы в благоприятной (*enabling*) среде, как будто ей ничто не препятствует. Система растет и развивается, видоизменяет себя и мир, всту-пает в коммуникацию с другими системами. Узнавание другой жизни *как* жизни, «вчувствование» в другого как такого же субъекта внутренних переживаний, ко-торый способен к целесообразному действию, будто бы автоматически заложено в траекторию развития всякого индивида. Биоэтика — изначально возникающая как «этика жизни»⁴, впоследствии перекочевавшая в сферу биомедицины — раз-вивает сходные интуиции, но уже применительно к взаимодействию двух людей в конкретной социальной интеракции: врача и пациента. При этом эмпатическое «вживание» в воплощенные ощущения другого сменяются рациональным про-ецированием его мыслей, рассуждений и решений относительно здоровья, болез-ни и лечения.

Очевидно, что далеко не всегда жизнь есть беспрепятственное преумножение форм и способов использования собственного тела. Жизнь предполагает пере-ломы и прерывания, разрывы и кризисы; деформированное болезнью или трав-мой, стареющее, умирающее тело — это тоже жизнь. Болезнь вскрывает хрупкость жизни, ее онтологическую неустойчивость: сколь бы сложенными ни были про-цессы самоподдержания системы, они всегда могут быть нарушены, приведя к де-зинтеграции. Применительно к медицине это значит, что мы не можем исходить из предположения об автономности и сохранности пациента. Болезнь вовлекает субъекта в неподконтрольные ему процессы и события, которые обнаруживают парадигму опыта претерпевания, или, другими словами, *патического*⁵ опыта. Можно выделить два аспекта болезни: физиологический и проживаемый. Если

4. См. красноречивый очерк истории биоэтики как перехода от экологически мыслящей «этики жизни» к научно выверенной, индивидуалистической этике коммуникации врача и пациента в запад-ной аллопатической медицине: Zylińska, 2009: 45–51.

5. Наиболее комплексный подход к проблеме патического опыта можно встретить у Анри Маль-дине (Мальдине, 2014). Патический опыт (от греч. *πάθος* «страдание, страсть, чувственность, пре-терпевание»), согласно одному из определений, охватывает некогнитивное, воплощенное знание о мире, несводимое к теоретическому и реализуемое до различия субъекта и объекта. Оно анало-гично восприимчивости, «проживаемому чувству» (*felt sense*) бытия в мире, и раскрывает личност-ное присутствие, дорефлексивные, но практически реализуемые познания о мире, или, в широком смысле, ощущение сонастроенности миру — но не в смысле обретения позитивного знания о нем, а в телесно опосредованном пассивном чувстве нахождения «здесь и сейчас», не подконтрольном инди-виду. О патическом опыте у детей, откуда мы частично заимствуем определение данного термина, см.: Hyde, 2018.

первый (disease) — это предмет медицинской диагностики и лечения, то второй (illness) затрагивает субъективно *претерпеваемый* опыт и в этом смысле далеко не всегда интересуется медицину.

Простой пример — это конфликт интерпретаций опыта болезни. Одно и то же событие можно оценить «субъективно», с точки зрения пациента, и «объективно», с точки зрения биомедицины. И если последняя сводит заболевание к физиологическим процессам, то первая изначально оценивает его как экзистенциальное событие, которое имеет прямое отношение к вопросам жизни, смерти и их смысла. Именно последний аспект, наиболее значимый и лежащий в основе биомедицинской модели здоровья и болезни, исследует феноменология медицины.

Болезнь, настигнувшая индивида на самых ранних этапах его развития — в пренатальный период или в раннем детстве — является с этой точки зрения весьма чувствительным процессом. Ребенок, страдающий неизлечимым заболеванием, демонстрирует жизнь в ее хрупкости, дезаффилированную и лишенную горизонта будущего. Непредсказуемость течения заболевания, подчинение жизненного мира ребенка регламенту больницы или хосписа, стигматизация и дискриминация со стороны общества и государства — все это образует сюжетную канву его жизни⁶.

Как пишет Виталий Лехциер, «понимание важности субъективных значений болезни всегда происходит внутри взаимоотношений: супруги, дети, друзья, те, кто осуществляет уход, сам пациент» (Лехциер, 2018: 27). Стало быть, опыт болезни никогда не индивидуален, он как бы распределен (distributed) между участниками клинической коммуникации. В случае «детского паллиатива» это приобретает особый интерес: находясь в зависимости от «востребованного Другого», опыт больного ребенка, не всегда способного к рефлексии, находит осмысление у родителя, часто вынужденного обращаться к готовым, социокультурно унаследованным способам понимания. Телесно-регуляторная, гомеостатическая зависимость ребенка от родителя, таким образом, распространяется также и на опыт его болезни и сопряженные с ним экзистенциальные переживания. Это означает, что субъектом рефлексии здесь выступает как минимум диада «ребенок–родитель» или даже триада «ребенок — родитель — врач». Данное наблюдение несколько усложняет методологическую экспозицию, ведь как можно анализировать коллективный опыт, или в данном случае опыт, принадлежащей неразделимой диаде? Имеем ли мы дело с *разделенным* между несколькими индивидами опытом? Или скорее речь идет о проекции представлений более зрелого участника диады на менее зрелого и/или не способного говорить от своего лица? Далее мы увидим, что специалистам по детской паллиативной помощи часто приходится сталкиваться с невербальными пациентами, за которых говорят и действуют их родители.

6. Здесь следует отметить принципиальную разницу между ребенком, *нуждающимся* в паллиативной помощи, и *получающим* ее. В дискурсе профессионалов паллиативной и хосписной помощи можно встретить выражения «паллиативный ребенок», «детский паллиатив», однако они всякий раз требуют уточнения контекста употребления. Оказание паллиативной помощи может происходить в стационаре или на дому, о чем см. ниже.

Данная статья намерена показать релевантность феноменологического подхода к паллиативной помощи детям. Согласно определению Всемирной организации здравоохранения, паллиативная помощь — это «подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с угрожающим жизни заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других соматических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки» (цит. по: Твайкросс, Уилкок, 2020: 19). К паллиативной помощи детям прибегают, когда у ребенка обнаруживается угрожающее жизни заболевание, лечение которого имеет смысл, но не гарантирует излечения (например, онкологические заболевания, тяжелые пороки сердца, необратимая сердечная, почечная, печеночная недостаточность); приводящее к преждевременной смерти (мышечная дистрофия, муковисцидоз); прогрессирующее неизлечимое заболевание (мукополисахаридоз); необратимое не прогрессирующее заболевание, ведущее к смерти из-за осложнений (детский церебральный паралич, родовые травмы с поражениями центральной нервной системы и нарушением дыхания).

Мы покажем, что традиционные подходы к осмыслению паллиативной помощи детям дают одностороннее представление о взаимодействии пациентов-детей, родителей и медицинских работников. Коммуникативные стратегии, которые избирают участники интеракции внутри этой триады, не вмещаются в биоэтические и правовые нормы и требуют именно феноменологического анализа, подчеркивающего intersubjective измерение опыта болезни. Телесный опыт больного ребенка, как и опыт эмпатии к его телу со стороны родителей, здоровых членов семьи и врачей — все это может быть проанализировано при помощи феноменологических методов, дополненных отдельными аспектами социально-критической теории. Смысловая реальность ребенка, говоря феноменологически, манифестирует мир Другого⁷ в его наиболее буквальном и имманентном смысле. Во взаимодействии взрослого и ребенка происходит столкновение двух культур, где культура взрослых подавляет культуру детства, пользуясь уязвимостью ребенка и выдавая свои нормативные представления за субъективные представления пациента. Поэтому перед реконструкцией и анализом жизненного мира «паллиативного ребенка» необходимо критически рассмотреть ряд устоявшихся представлений о здоровье и болезни, детстве, автономии и заботе.

Феноменология как ресурс конструктивной программы изучения паллиативной помощи детям

В первом разделе статьи я приведу аргументы в пользу применения феноменологии для изучения паллиативной помощи детям. Такие традиционные для фено-

7. Инаковость и дружба я предлагаю понимать в смысле, восходящем к Эммануэлю Левинасу, однако прочитанному в ракурсах биомедицинской проблематики. См. релевантную данному исследованию интерпретацию: Zylinska, 2009: 22–34.

менологии темы, как телесность (больное тело ребенка), темпоральность («жизнь в настоящем», неопределенность, непредсказуемость, ожидание смерти), интерсубъективность («нормативное» детство, стратегии коммуникации, атмосфера больницы/хосписа и семьи), особым образом преломляются в ведении «паллиативного» ребенка. При этом фактические примеры феноменологических исследований паллиативной помощи в целом и помощи детям в частности не анализируют взаимодействия в триаде «ребенок–родитель–врач» внутри медучреждения (больницы, хосписа)⁸, где стратегии коммуникации следуют по культурно прототипным траекториям (например, императиву стоической выдержки перед лицом страданий, апелляции к «божьему промыслу»).

В чем состоит различие «детского» и «взрослого» паллиатива? Взрослых пациентов чаще всего направляют на паллиативное лечение в период обострения симптомов, в ситуации, когда возможности терапии исчерпаны. Речь идет об онкологических, неврологических и иных неизлечимых заболеваниях с предсказуемым прогнозом — смертью или обострением инкурабельной патологии. Ребенку же паллиативная помощь гораздо чаще оказывается уже с момента установления диагноза заболевания, иногда полисистемного и связанного с тяжелой инвалидностью, что не позволяет делать долгосрочные прогнозы (Твайкросс, Уилкок, 2020: 335–336). Иногда это генетические заболевания, лечение которых пока не разработано, потому такие дети зачастую находятся в стабильно тяжелом или медленно ухудшающемся состоянии, и им паллиативная помощь оказывается не потому, что они скоро умрут, а потому, что они больны неизлечимо. Это означает, помимо прочего, возможность ремиссии (в том числе длительной) с последующим отказом⁹ от паллиативного лечения.

Пациент-ребенок с заболеванием, ограничивающим продолжительность жизни, нуждается в комплексной медицинской и социальной помощи. Ведь такие дети — это дети «с особыми потребностями», или, выражаясь негативно, «с ограниченными возможностями» (disabled). Для феноменологии воплощенное сознание можно определить через спектр открытых возможностей тела, вовлеченного (embedded) в смысловую среду. Например, для Мориса Мерло-Понти тело — это всегда «я могу», это активное *вдействие* (enaction) реальности (Мерло-Понти, 1999: 185). С Мерло-Понти начинается осмысление того, что опыт болезни, инвалидности в определенном смысле был исключен из сферы интересов феноменоло-

8. Здесь следует отдельно уточнить, что распорядок и сценарии взаимодействия в триаде будут отличаться в зависимости от специфики места, в котором они происходят. Детская больница и детский хоспис предполагают различный регламент и, соответственно, различные способы интерсубъективного взаимодействия ребенка, членов его семьи и врачей и медицинских работников. Настоящая статья представляет собой попытку предварительной теоретико-методологической разметки исследовательского поля в феноменологическом ракурсе. В условиях невозможности проведения эмпирической работы вследствие пандемической ситуации данная статья нацелена скорее на обобщение ранее уже полученных данных, их критическую оценку, с перспективой выхода «в поле».

9. Имеется в виду установленная ненужность паллиативного лечения по отсутствию показаний к таковому, а не информированный отказ родителей от него.

гии, поскольку принадлежит области «аномального», выпадающего из нормативно регулируемого коллективного опыта жизненного мира¹⁰. В то же время контраст «нормального» и «патологического» опыта может сообщить многое о том, как функционирует человеческое сознание. Экзистенциальная феноменология еще в середине прошлого века осуществила поворот к «предельным» состояниям — смерти, аффектам, травмам и патологиям. А это значит, что она может успешно использоваться в контексте современной биомедицины. В последней, когда она затрагивает вопросы ведения пациентов паллиативной помощи, доминирующими являются сциентистские модели с акцентом на этиологическую каузальность и частные вопросы ухода за больным, которые дополняются рекомендациями по взаимодействию системы паллиативной помощи с умирающими пациентами и их близкими, а также улучшению качества их жизни.

Далее мы увидим, что отношение взрослых к пациентам-детям как незащищенным, уязвимым, недееспособным транслирует их образ как индивидов «с ограниченными возможностями»¹¹, чья жизнь «неполна», «неполноценна», сопряжена с болью и мучениями. Она увечна в силу когнитивных нарушений, двигательных ограничений, искривлений траектории психоэмоционального развития, что как бы усиливает социальную образность этой хрупкой жизни. Многие пациенты невербальны, слабо или никак не реагируют на внешние раздражители. Из-за судорог, паралича или повреждений ЦНС они не владеют своим телом так, как им может владеть здоровый индивид. Они испытывают трудности с сохранением положения сидя, проблемы с одеванием и другими повседневными действиями. С их

10. Существование индивидов в жизненном мире предполагает согласованность и разделимость опыта. Для того чтобы стать полноценным членом сообщества людей, индивид должен освоить определенные когнитивные, сенсомоторные, культурно-практические паттерны действий и высказываний. Чтобы «стать» человеком, нужно обладать определенным телесно опосредованным опытом, который другие опознают как «нормальный» и эпистемически доступный. Если обратиться к энциклопедической экспозиции отношений между феноменологией и медициной, то можно увидеть специфическое преломление присущих ей тем: соотношение «нормального» и «больного» тела, смысл боли и страдания на пересечении индивидуального и коллективного опыта, здоровье и болезнь в кросс-культурном контексте, экзистенциальные аспекты излечения, смерти и умирания, насилия и власти, неравенства и несправедливости (Becker, 2004: 126). Данные темы затрагивались феноменологией и ранее — например, в ракурсе проблемы соотношения нормального и патологического в феноменологии психиатрии. О нормативности, «вшитой» в гуссерлевскую феноменологию интерсубъективности, много пишет Дан Захави (Parnas, Zahavi, 2000; Zahavi, 1996, 2005: 179–222). Имманентный нормативизм классической феноменологии переосмыслился неоднократно, свидетельствуя об ослаблении жесткого трансцендентального универсализма, присущего проекту Гуссерля (Инишев, 2010; Лехциер, 2018: 66). Один из первых современных примеров продуктивного осмысления патологического, «нездорового» телесного опыта на стыке феноменологии двигательной активности, вписанной в социальный контекст, и доказательной медицины, см.: Toombs, 1995.

11. См. фрагмент из монолога абилитолога, работающей с детьми, получающими паллиативную помощь: «Бывает, прихожу в семью и спрашиваю: „А что мы умеем делать?“ А мама грустно отвечает: „А мы ничего не умеем“. Но подождите! Такого просто не бывает. Да, кто-то вообще не реагирует, но зато он умеет глотать и сосать. Для родителя это кажется — ничего, но для ребенка — это моменты индивидуального развития. Кто-то умеет переворачиваться со спинки на животик. Для нас — естественный процесс. Для тяжелобольного ребенка — возможности. Так он проявляет себя в окружающем мире. Так взаимодействует» (<https://news.tut.by/society/478516.html>).

телями всегда «что-то не так»¹². Они могут вызывать стыд или отвращение: из-за вегетативных нарушений пациенты могут потеть, у них может быть слюнотечение; они не контролируют тазовые функции. При невозможности обычного кормления они могут нуждаться в специальном питании, подаваемом через гастростому. Многим детям требуются аппарат ИВЛ (с трахеостомой), отсосы, зонды, катетеры, откашливатели. Дети часто умирают от пневмонии или аспирации, когда кусочки пищи или вода попадают в дыхательные пути при вдохе. В целях противодействия усугублению состояния они нуждаются в регулярной помощи специалиста-абилитолога, чтобы на их телах не появились пролежни и контрактуры, не развились тугоподвижность суставов и деформации тела. Такая жизнь очень далека от привычных представлений о нормальном, ожидаемом развитии индивида.

Но и «нормальный» онтогенез далек от плавности и линейности. На организационном уровне в него встроена серия разрывов, травм и контингентных событий, которые смещают и видоизменяют жизнь. Таким образом, жизнь пластична в том смысле, что в ней всегда уже есть место для деструктивного преобразования — становления другим, иным, чем был прежде. Например, человек, переживший посттравматическое стрессовое расстройство, оказывается иным, чем был до травмирующего события. Оказывается, что ситуация травмы — это нечто большее, чем один из множества аттракторов в смысловом пространстве индивида, она приобретает определяющее экзистенциальное значение, деформируя человека и его жизненный мир¹³. Катрин Малабу, называющая это явление *деструктивной пластичностью*, утверждает, что жизнь способна не только к обретению новой формы, но и к утрате всякой формы вообще (Malabou, 2009). Она ссылается на случаи пациентов с синдромом Альцгеймера, которые утратили способность узнавать своих близких, а их поведение и привычки как будто принадлежат другим людям, а не тем, кем он были ранее. На мой взгляд, дети, нуждающиеся в паллиативной помощи, также демонстрируют работу деструктивной пластичности, но не в темпоральной динамике «был — стал», а в экзистенциально-феноменологической логике «всегда уже»: они *изначально другие*, ведь у некоторых из них тяжелые заболевания обнаруживаются еще до рождения, при пренатальной генетической

12. Об инвалидности как «проблеме», нуждающейся в «нормализации», см.: Titchkosky, Michalko, 2012.

13. Приведу развернутую цитату из работы Виталия Лехциера «Болезнь: опыт, нарратив, надежда», которая хорошо раскрывает момент утраты возможностей из-за развития заболевания: «Если мир больше никогда не может быть возвращен в прошлую зону досягаемости, если уже темпоральная структура „я могу сделать это снова“ (потенциальность, основанная на ретенции) больше не работает, причем необратимо не работает, если достижимое становится недостижимым, в особенности если априорный опыт „я могу“ с самого начала оказывается вторичным по сравнению с априорным опытом „я не могу“, если темпоральная структура „и т.д. и т.п.“ (потенциальность, основанная на протенции) просто не всплывает в сознании человека, который знает, что никакого „и т.д.“ у него нет и никогда не было, тот же ли это самый мир, общий мир, который мы все делим друг с другом?» (Лехциер, 2018: 69). Здесь вновь ставится под вопрос ориентация классической феноменологии на интерсубъективно общезначимый, «нормальный» опыт, активно переосмысляемая в русле современных подходов.

диагностике. Осознание инаковости такого ребенка может наступить очень рано и коренным образом повлиять как на восприятие еще даже не родившегося человека родителями, так и на восприятие семьи с больным ребенком другими — что, в свою очередь, может стать еще одним травмирующим событием для семьи пациента.

Казалось бы, философская постановка вопроса о жизненном мире «паллиативного ребенка» может быть удовлетворена обращением к результатам качественных исследований в социальных науках, когда те описывают и анализируют «клинический» опыт и медицинскую коммуникацию (Corner, 1996)¹⁴. Возьмем, к примеру, исследования взаимодействий пациентов и медицинских работников, которые фокусируются на паллиативной помощи. Можно встретить многосторонний анализ того, как переживается опыт болезни и приближающейся смерти, как он искажает восприятие субъектом своего тела, направления и скорости течения времени, модифицирует взаимоотношения с другими и средой. Такого рода разработки принадлежат домену социальных наук и используют методологию «первого лица» (Quill et al., 2006), нарративные подходы к конструированию болезни как элемента жизненного опыта (Bingley et al., 2008), этнометодологию (Bélanger et al., 2016; Wu, 2020) и дискурс-анализ (O'Connor, Payne, 2006).

Однако возможно ли на такой основе создать *конструктивную программу* исследования паллиативной помощи детям? Как представляется, в данном сценарии можно получить в лучшем случае контекстуальное описание, дополняемое систематической номенклатурой категорий, в которых мыслят себя индивиды — участники больничной/хосписной жизни. Феноменология, в свою очередь, ищет подступы к проживаемому (lived) опыту, в среде которого эти категории кристаллизуются. Методы социальных наук не проникают в патический опыт пациентов, особенно пациентов-детей, в то время как феноменология обладает более тонким инструментарием для осмысления подобного опыта, она способна сделать

14. Можно также выделить две книги, предлагающие релевантные контексты применения феноменолого-герменевтического метода: (Cohen, Kahn, Steeves, 2000; Benner, 1994). См. также примеры использования феноменологии в исследовании паллиативной помощи: (Erichsen, Danielsson, Friedrichsen, 2010; Fochtman, 2008; Öhlén et al., 2016; Seymour, Clark, 1998; Yang, McIlpatrick, 2001). При этом исследования, на которые мы ссылаемся, зачастую заимствуют тенденциозно отобранные отдельные приемы феноменологической работы — как, например, ориентацию на описание вместо объяснения опыта, которая получает оформление через полуструктурированные опросники, даваемые пациентам. Понятно, что уже это можно считать минимальной реализацией феноменологического подхода, дополняющего биомедицинский взгляд. Однако задачи, которые ставятся в данной статье, более масштабны, поскольку мы намерены показать: специфика паллиативной помощи детям требует целостного видения, которое неверно ограничивать локальными дескриптивными приемами; более уместно было бы говорить о видении жизни и умирания пациента в «клинических мирах» здравоохранения со своей культурой, аксиологией и соотношенными с ними паттернами поведения, зачастую осуществляемыми без всякой рефлексии, «автоматически». Как следствие, такие темы, как переживание неподконтрольности и «ненормируемости» собственного тела, чувство приближения смерти, надежда и страдание, разделяемые множеством участников «паллиативной коммуникации» внутри медицинских организаций, должны рассматриваться вместе и с учетом локальной культурной специфики отношения к здоровью, болезни и смерти.

патическое своей темой. Для науки не так важно «вчувствоваться» в опыт, как найти ему место в системе уже созданных ранее описаний и категоризаций. Методологическое преимущество феноменологии состоит в несогласии с установкой на каузальное объяснение, и это позволяет ей расширить перспективу исследования медицины за пределы микросоциальных и/или внутриинституциональных взаимоотношений внутри семьи, больницы или хосписа, а также глобальных проблем здравоохранения. Феноменология делает своей темой опыт мира, как он дан сознанию, она нацелена на понимание, а не на каузальное объяснение¹⁵; ее интересует опыт, манифестирующий данность некоей *самости* — меня в мире других самостей, где я воспринимаю себя, как меня видят другие субъекты, — в качестве Другого. Перекрестный обмен позициями является конститутивным для возникновения коллективного опыта мира — именно это показывают интеракционистские подходы к развитию индивида, которые понимают самость как всегда уже включенную в динамические взаимодействия с другими. Однако та же гипотеза «соучаствующего смыслополагания» рассчитана на то, что индивид проходит «нормальный», ничем не нарушенный путь социализации: они настаивают на безусловной ценности автономии и самоопределения индивида, хотя и критикуют методологический индивидуализм когнитивной психологии.

В данном ракурсе субъективный, экзистенциальный смысл неизлечимой болезни выступает продуктом совместного конституирования пациентами, членами их семей и врачами. При этом субъективность пациента-ребенка ограничивается, ее вклад в со-учреждение смысла болезни сужается до участия в жизни диады и формализуется протоколами и правилами внутреннего распорядка больницы/хосписа. В этих учреждениях создается особая среда коммуникации со своими нормами, основанными на имплицитном распределении ролей в иерархически устроенных институтах, эмоционально-аффективной экономии, предписываемых и ожидаемых стратегиях говорения и умолчания, особом режиме темпоральности. Феноменология, с ее акцентом на патическом опыте, способна тематизировать генезис и динамику опыта «паллиативной жизни», остающуюся вне фокуса внимания социальных наук, сконцентрированных на анализе уже готовых, сдimentированных практик.

Игра в умолчание и неопределенность: коммуникативная экономия «детского паллиатива»

Антропологи, этнографы и социологи, которые проводят полевые исследования неизлечимо больных и/или умирающих пациентов-детей, а также специалисты

15. Понятно, что этим она не обесценивает каузальное объяснение как таковое, однако ее основной интерес состоит в раскрытии динамики конституирования значений, в том числе и таких, что имеют форму причинно-следственных связей. Применительно к проблематике данной статьи это не отменяет релевантности биомедицины, однако призывает к расширению ее сциентистской перспективы.

по медицинской коммуникации на разных примерах утверждают, что участникам больничной/хосписной жизни важно поддерживать ощущение «нормальности», подконтрольности ситуации. Совместные действия пациентов, членов семьи и медицинских работников ориентируются на принцип «жить сегодняшним днем», связанный с концентрацией на простых повторяемых действиях. Дети и родители вынуждены привыкать к новым идентичностям — *пациентов и лиц, оказывающих уход* (caregivers). Сиблинги (братья и сестры) паллиативного ребенка также испытывают изменения в статусе и роли внутри семьи. Эти идентичности, зачастую связанные с сильными трансформациями в образе жизни, характере действий и даже сенсомоторных паттернов и границ собственного тела (в случае пациентов, которым предстоит освоить новый «образ себя» [self-concept], построенный на искаженном образе тела [Bluebond-Langner, 1989: 2]), глубоко переплетены с более привычными им социальными идентичностями (Clemente, 2015: 49–50).

Как указывает антрополог и лингвист Игнаси Клементе, изучавший педиатрическое отделение онкологического центра в Каталонии, жизнь пациентов и их родителей в новых идентичностях ввергает их в условия неопределенного будущего и затруднительности прогнозов. С ним солидарна медицинский антрополог Майра Блюбонд-Лангнер, изучавшая в 1970–1980-е взаимодействия детей, больных муковисцидозом, и их сиблингов¹⁶: согласно ее тогдашним наблюдениям, в разговорах неизлечимо больных детей с близким полностью отсутствовала ориентация на будущее. В их речи не было проецирования себя в будущее, где они были бы вылечены и не испытывали каких-либо проблем со здоровьем. Они не воспринимали себя как тех, кто когда-нибудь станет взрослым, и сердились, когда другие заговаривали о чем-то подобном. Временной горизонт их реальности буквально сжимался до ближайших выходных (Bluebond-Langner, 1989: 8). Понятно, что та-

16. Она утверждает, что в число жертв хронически и неизлечимо больных входят не только пациенты с соответствующими диагнозами: деструктивные эффекты заболевания затрагивают и членов семьи пациента. Как следствие, в фокус ее внимания попадают «другие жертвы» — здоровые сиблинги (братья и сестры) детей, умирающих от рака или муковисцидоза. Именно посредством наблюдения и взаимодействия с умирающим ребенком здоровый сиблинг познает понятия болезни и смерти. Здоровый ребенок порой чувствует себя одиноким, лишенным поддержки, брошенным, или же, напротив, ощущает гиперопеку. По мере прогрессирования заболевания, пока физическое состояние ребенка ухудшается и госпитализации становятся более частыми, сохранение взаимоотношений между сиблингами (таких, как товарищество, взаимопомощь, поддержка, самоопределение, коммуникация) становится все более затруднительным. Они постепенно утрачивают чувство взаимности (ведь какими могут быть ожидания от умирающего сиблинга?): пациенты отказываются от жестов поддержки со стороны здоровых сиблингов, воспринимая смерть как тотальную сепарацию от своего микросоциального окружения. В то же время важно отметить, что в лечении детей с муковисцидозом произошли революционные изменения уже после того, как исследовательница проводила свои антропологические наблюдения за пациентами и их семьями. За последние 30 лет средняя продолжительность жизни при муковисцидозе значительно увеличилась, в результате чего смерть ребенка от этого заболевания стала достаточно редким явлением.

кое ощущение может привести диаду «ребенок–родитель» к экзистенциальному тупику и усугубить состояние «упреждающего горя»¹⁷.

Исследователи обращают внимание на то, что идея «жизни в настоящем» позволяет, по крайней мере отчасти, смягчить остроту вероятной утраты. Время переживается ими как разорванное на «до» и «после» постановки диагноза, и разорвавшее целостность времени событие является точкой отсчета для новой жизни, не имеющей ничего общего с прежней: проецирование себя и своего окружения в будущее, долгосрочное планирование становится пугающим и тревожащим в условиях множественной неопределенности. Родители и здоровые сиблинги пациента привязываются к суженному темпоральному горизонту, который допускает, помимо непосредственного настоящего, лишь ближайшее будущее — горизонту, обрамленному разрывным событием определения диагноза в прошлом и тотальной неопределенностью в будущем. Помимо этого, сама организация работы в больничной/хосписной среде, упорядоченная нормативами, регламентами и протоколами, «нарезает» время на непродолжительные и дискретные промежутки, которые наполняются рутинными действиями: приемом пищи, сном, анализами, медицинскими осмотрами и другими микрособытиями. Роль таких рутинных практик, которые семьи используют для инкорпорирования течения болезни в свою жизнь и поддержания чувства «нормальности» и контроля, могут выполнять: изучение родителями (иногда вместе с детьми) информации о диагнозе и возможных сценариях лечения и/или поддерживающей терапии, ритуализированные повседневные практики (такие, как потребление ребенком пищи), освоение медицинских процедур, осуществляемых на дому (прием препаратов, установка капельницы или катетера, физические упражнения). Необходимость изучать «языки болезни», нормативную документацию и правовой регламент, осваивать новые социальные пространства и роли, формировать и укреплять партнерские отношения с медицинскими работниками — все это суть признаки преобразования жизненной траектории диады, что приводит к формированию у родителей собственных номенклатур и объяснительных моделей, не всегда совместимых с биомедицинским видением заболевания, в дополнение к устойчивым убеждениям, страхам и надеждам.

Такое банальное действие, как прием пищи (или кормление), приобретает символическое значение: когда ребенок способен есть, даже если пища поступает через гастростому, с ним «все хорошо», ведь не едят только неизлечимо больные и умирающие пациенты. Значит, потребляемая пища становится символом «нормальности», сохраненности идентичности родителя (кормильца) и ребенка (того, кто принимает пищу) (Clemente, 2015: 63). Повторяемость выполняемых действий позволяет родителям обрести чувство контроля, которое было утрачено при постановке диагноза. С точки зрения родителей, идея «жизни сегодняшним днем», состоящей из серии непродолжительных эпизодов, помогает декомпозировать

17. Упреждающее (опережающее) горе (anticipatory grief) — переживание утраты родственниками неизлечимо больного еще до его смерти.

«большую» проблему угрозы ухудшения состояния и последующей смерти, разложив ее на простые задачи поддержания жизненных функций и процессов. Это помогает им «оставить все как есть», ведя по возможности нормальную жизнь, приспособленную к состоянию и нуждам пациента (Bluebond-Langner, 1991: 138–139). Продление «нормальности» становится императивом, особенно когда смерть становится все ближе (Clemente, 2015: 51), а ощущение будущего сжимается до нескольких ближайших месяцев или даже недель (Bluebond-Langner, 1991: 147). В свою очередь, для пациентов настоящее и будущее проживаются «через» тело, непоправимо измененное болезнью и (часто безуспешными) попытками его лечения, что предполагает освоение новой, радикально иной идентичности, связанной с изменившимся «образом себя». По мере приближения к смерти пациента осознание факта скорой кончины сосуществует с институционально транслируемым нормативом оптимизма и надежды, принятым в больничной среде (Clemente, 2015: 10). Таким образом, дети и лица, оказывающие уход, прикладывают массу усилий для продления ощущения, что у них есть совместное будущее — разделенное ими чувство определенности и уверенности, которое при этом в любой момент может быть разрушено плохими новостями от врачей.

Однако можно ли утверждать, что разделяемое родителем и ребенком чувство подконтрольности и общего будущего основано на соучастии всех членов взаимодействия? Можно ли согласиться с тем, что при оказании паллиативной помощи ребенку за ним признают автономию, дающую право знать и принимать решения? Как утверждает Клементе, в коммуникации пациентов и врачей в онкологическом центре можно выделить определенного рода «коммуникативную экономию» — стратегию говорения и умолчания о течении болезни и способах построения нарратива о ней. Со стороны врачей он замечает стремление регулировать коммуникацию: чтобы не сообщать плохие новости напрямую, они изобретают риторические ухищрения, эвфемизации и способы иносказания, дабы не допустить, чтобы множественные, пересекающиеся, постоянно изменяющиеся неопределенности, связанные с развитием рака, оказались в центре социальной жизни медицинского учреждения и ее дискурсивных практик (Там же: 3–5)¹⁸. Можно отнести это к эндогенно выработанным техникам совладания (coping) врачей с постоянным стрессом, которые преследуют цель скрыть негативные эмоции и ограничить травмирующие разговоры о будущем. В свою очередь, здоровые сиблинги больного ребенка также порой предпочитают стратегии частичного или полного умолчания: если они узнают неутешительный прогноз, то они не говорят об этом своим

18. Также он ссылается на исследования того, как врачи-онкологи выстраивают нарратив о болезни, адресуя его пациентам в ракурсах проблемы темпоральности: (Del Vecchio Good et al., 1994). Стоит отметить, что «игры в умолчание» детского паллиатива вполне согласуются с международной практикой. Так, врачи-онкологи в США лишь в 1970-е стали раскрывать пациентам полный диагноз, до того опасаясь их «социальной смерти», в то время как в Японии до конца 80-х вовсе не было принято озвучивать диагноз «рак». Одновременно с этим итальянские онкологи считают приемлемым сообщать пациентам частичную правду, используя вводящий в заблуждение эвфемизм «доброкачественная опухоль» (Лехциер, 2018: 211–212).

умирающим родственникам, тем самым создавая дистанцию в их взаимоотношениях, которая может длиться до самой смерти пациента. Это вызывает у сиблингов чувство вины, связанное с пониманием того, что их брат/сестра умирает, а у них нет возможности повлиять на это (Bluebond-Langner, 1989: 14).

Распределение ролей в режиме «коммуникативной экономии» и «регуляции эмоций» приводит к неравенству и встречает сопротивление одной из сторон триады. Пространство больницы или хосписа, где постоянно находятся дети, устроено иерархически и воспроизводит взаимоотношения внутри триады «ребенок — родитель — врач». Как правило, дети в них находятся на самой нижней ступени, что и приводит к очевидному неравенству в осведомленности и полномочиях в принятии решений у врача и родителя, с одной стороны, и родителя и пациента, с другой (Clemente, 2015: 51). В качестве членов сообщества дети, родители и медицинские работники вовлечены в исполнение взаимосвязанных стратегий коммуникации, однако их роли в этом асимметричны. Помимо этого, роль каждого индивида, артикулирующего свои ожидания и меры ответственности, вплетена в жизнь сообщества (семьи и больницы/хосписа), где дети, занимающие низшую позицию, наделены наименьшим правом доступа к медицинской информации и лишены права принимать решения. Иногда говорят о «заговоре молчания», подкрепляющем страхи пациента.

В то же время «Хартия прав умирающего ребенка» — международный документ, который регламентирует работу с умирающими пациентами и членами их семей — подчеркивает, что ребенок «имеет право участвовать в принятии решений, связанных с собственной жизнью, болезнью и смертью, на основе своих возможностей, желаний и ценностей» (Хартия, 2016: 46). Это предполагает, что врачи должны принимать к сведению желания и ожидания ребенка при планировании лечения и ухода, предоставлять ему возможность вербального и/или невербального самовыражения. По мере роста самосознания ребенка авторитет родителей понемногу снижается, а уровень мышления, понимания и навыков коммуникации позволяет признать за детьми, еще до наступления совершеннолетия, определенную способность принимать решения. Однако, несмотря на наличие правовой регламентации участия пациента в принятии медицинских решений, фактически такого нормирования оказывается недостаточно. Очевидно, что коммуникация не всегда поддается формализации, особенно если она затрагивает столь чувствительную тему, как неизлечимое заболевание. Здесь требуется «сбалансированная» коммуникация в клинических и внутрисемейных взаимодействиях, которая не может быть заранее расписана и спланирована с однозначной ориентацией на нормативно-правовые акты и фактически всегда будет сопряжена с немедицинскими практиками надежды, заботы и совладания.

Родители и врачи склонны считать пациента пассивным реципиентом информации, касающейся диагностического и прогностического аспектов лечения, и не принимают к сведению его индивидуальные особенности и предпочтения, связанные с его потребностями, контекстом и субъективной темпоральностью.

Как следствие, участие ребенка в обсуждениях диагноза, лечения и ухода (care) оказывается ограниченным, а в вопросах принятия фундаментальных решений (о хирургических операциях, радиолучевой или химиотерапии, переходе от куративной к паллиативной помощи) минимизируется. Иерархия фактически ограничивает возможность участия пациента в собственной жизни, отчуждает ее, делая ее не принадлежащей ребенку. Опять же, это мотивируется особенностями возрастного развития пациента и частично уравнивается вниманием к его желаниям и потребностям¹⁹.

Такое ограничение автономии пациента порой встречает сопротивление с его стороны. Как кажется, действия по ограничению могут быть связаны с несоответствием ребенка нормативным представлениям об автономном индивиде, которые имплицитно заложены в коммуникацию врача и пациента. В триаде «ребенок–родитель–врач» последние двое не имеют полного контроля над коммуникацией: дети оказывают на родителей давление, задавая «неудобные» вопросы, при этом не подвергая сомнению желания родителей и врачей заботиться о них, а стремясь установить границы этой заботы (Clemente, 2015: 3). Крайней формой такого сопротивления могут быть стратегии сепарации у детей-пациентов, где дистанцирование и конфликтность порой могут быть не чем иным, как «репетицией» финальной сепарации — смерти (Bluebond-Langner, 1989: 8–9). По наблюдениям Клемента, языковые игры онкологических пациентов и врачей представляют собой своего рода «кошки-мышки» с постоянным обменом вопросами и ответами. Пациенты спрашивают о своем будущем лечении и о прогнозах, на что врачи отвечают уклончиво, дабы избежать потенциально тревожных или однозначно плохих новостей. Не подвергая сомнению авторитет родителей и врачей, дети тем не менее пытаются, вопрос за вопросом, проявить свою волю к знанию в разговорах о лечении и неопределенном будущем.

Здесь сохраняется вопрос: идет ли речь о стремлении поддержать целостность жизни внутри диады? Ведь этим можно объяснить тенденцию нивелировать автономию ребенка в принятии решений, обращение к психотерапевтическим техникам совладания, ритуализацию и рутинизацию повседневных действий. Сохраняется вопрос происхождения искомой нормы — была ли она найдена в привычном течении жизни диады до ухудшения состояния пациента, или же была вменена ей извне? Далее я попробую реконструировать социокультурный контекст, ставший питательной средой для формирования столь устойчивых убеждений.

19. С точки зрения практиков паллиативной помощи детям, новорожденные, младенцы и дети младшего возраста не всегда могут вербально выразить себя и, как следствие, не могут считаться субъектами, способными к принятию самостоятельных решений в контексте клинической практики. Более подробно см. далее.

«Невинность» и жизненный мир ребенка в кросс-культурной перспективе

Для современного гуманитарного знания уже привычна апелляция к принципиальной множественности перспектив. Медицинская культура включает в себя взгляды пациента и врача, совместно структурирующие клиническую реальность, адаптирующуюся к недомоганию пациента. Как считает медицинский антрополог Артур Клейнман, медицинская культура реализует такие функции, как конструирование санкционированного опыта болезни, управление недугом, его диагностика и лечение в широком смысле (терапия, диеты, психотерапия, реабилитация), прогнозирование результатов лечения пациентов (ремиссия, рецидив, осложнения, смерть). Взаимоотношения между пациентами, членами семьи и врачами/медработниками суть взаимодействия разных картин мира и объяснительных моделей, позиций в социальной структуре (Клейнман, 2016). Принципиальной множественности взглядов на опыт пациента — трактуемой через нарушения биологических функций и поведения или культурно регламентированный опыт недуга — соответствует аналогичная множественность и гетерогенность тела пациента, его эмоционально-аффективных и соматических страданий, в том числе разделяемых внутри диады «ребенок–родитель» и триады «ребенок–родитель–врач»²⁰.

На сегодняшний день наиболее целостную концептуализацию этой гетерогенности дает *медицинская антропология*. Ориентируясь на полевые методы социальных наук, она анализирует медицинские практики и раскрывает генезис нормативности, регламента, субординации пациентов и медицинских работников, а также системы здравоохранения в целом как составляющей общества и культуры. При этом она не становится «пособником» биомедицины, а критически анализирует ценности и символические значения, практики и способы самопонимания людей, взаимодействующих с медициной. Я предлагаю дополнить антропологическую оптику феноменологией, которая, фокусируясь на динамике седimentирования смысловых структур и институций, отправляется от проживаемого (патического) опыта и способов его сенсомоторной, вербальной и символической артикуляции. Этим она бы преодолела тенденцию медицинской антропологии к социальному конструктивизму и другим социоцентристским позициям. Фокус медицинских антропологов на релятивности и множественности материально-дискурсивных позиций далек от ценностно нейтрального: он указывает на то, что нивелирование той или иной позиции всегда есть реализация власти. Непризнание автономии пациента автоматически означает доминирующую, властную позицию врача, которому лучше известно, «как надо», и который по умолчанию действует из лучших интересов пациента.

20. Такой позиции придерживаются энактивисты, а также сторонники «кардиофеноменологии» — феноменологии эмоционально-аффективно «заряженных» интерсубъективных соматовегетативных процессов: Varela, 2001; Depraz, 2008.

Это на первый взгляд аксиологически нейтральное указание на «надобность», «необходимость» тех или иных медицинских манипуляций можно проанализировать двояко. С одной стороны, оно релевантно деонтологическим обязательствам, которые на себя берут врачи и медицинские работники. Нормативные предписания, лежащие в основе регламента больничной/хосписной жизни, в сущности, артикулируют патерналистские кодексы и протоколы. Кажется, будто данная регламентация требует применения к ней «логики подозрения», которая разоблачила бы имплицитный универсализм и формализм биоэтики, низводя ее статус до одного из множества «этномедицинских» концептов, разнящихся от культуры к культуре, от сообщества к сообществу²¹. С другой стороны, с точки зрения феноменологии и медицинской антропологии необходимо объяснить, как нормативность возникла из практик внутри медицинского учреждения и системы здравоохранения, показав их через взаимоотношения семьи, медицины, общества и государства.

Именно так можно осуществить первый шаг к реконструкции *жизненного мира пациента-ребенка*. Классическое определение «роли больного» (sick role) в социальной теории Толкотта Парсонса предполагает, что субъект полностью отдает себя на попечение институционально организованной медицины. Это означает: в рамках доказательной медицины переживание болезни предполагает обязательность обращения к врачу, препоручение себя и своего неисправно функционирующего тела носителю экспертного знания. Такое определение не предполагает автономной активности пациента и не учитывает субъективно-аксиологических мотивов анализа опыта недуга, встраивая индивидуально переживаемую болезнь в крупномасштабные социальные процессы. Причем передача себя на попечение медицине означает ориентацию именно на *биомедицину* — так создатель «биопсихосоциальной» модели здоровья и болезни Джордж Энджел (Боррел-Каррио, Сачмен, Эпстайн, 2006) предложил назвать подход, господствующий в западном здравоохранении с середины прошлого века. Биомедицина в определении Энджела стоит на трех столпах: дуализм тела и сознания, материализм/редукционизм и объективизм. В ней все, что не поддается объяснению через физиологические процессы и связи, не релевантно для медицины. В этом заключается распространенный среди врачей «наивный реализм», ведущий к патерналистскому отношению к пациентам.

Инвариантом для биомедицины является универсальное, объективное и не зависящее от социокультурных влияний органическое тело, к которому есть научно приемлемые подходы, связанные со стандартизированными процедурами лечения. Таким образом, «официально» признанная мифология доказательной

21. См., к примеру, обзорную статью Александры Курленковой (Курленкова, 2013), посвященную дискуссиям между сторонниками и противниками расширения контекста биоэтики средствами этнографического наблюдения, интервьюирования и социально-критического анализа письменных источников и практик. Феноменологическую критику европоцентризма в биоэтике см. также: (Mallia, 2013: 46–50).

медицины может оказаться несоизмеримой с субъективным опытом пациента, переживающего болезненные состояния. А это значит, что можно говорить о неустранимом дуализме, пронизывающем биомедицину, — дуализме тела пациента как объекта манипуляций и тела как испытывающего боль субъекта, переживающего широкий спектр надежд, страхов и предположений в условиях неопределенности. Биомедицина высоко ценит возможности контроля симптомов концептуальными и технологическими средствами современной науки ценой дегуманизации и игнорирования фона болезни, ее персонализированной истории.

Патерналистская биоэтика, с ее акцентом на автономии и индивидуальности, считает парадигмой коммуникации взаимодействие врача и пациента, при этом как бы вынося за скобки социокультурный контекст и локальные биологические особенности людей. Взаимодействуют два сохранных, автономных субъекта, каждый из которых способен рационально мыслить и принимать взвешенные решения. Вне рамок паллиативной помощи выглядит все так, будто коммуникация происходит в стерильном пространстве, где пациент словно «абстрагируется» от боли, а врач, соответственно, «абстрагируется» от ощущений пациента, не испытывая к ним эмпатии и переводя жалобы пациента на формальный язык истории болезни²². Дискурс довлеет над материальными, физиологическими ощущениями, а автономия становится метафизическим атрибутом рационально-психологической самости, отделенной от тела. Очевидно, что в клинической практике это не так.

Медицинская помощь (care) по своей сути — это манифестация экзистенциала заботы, который, если вспомнить феноменологические выкладки Хайдеггера, является определяющей структурой человеческого опыта мира. Забота врача/медицинского работника о пациенте тем самым выступает реализацией экзистенциально-практической вовлеченности индивида в интерсубъективные взаимодействия: «реляционное бытие» врача и пациента устроено как связь между субъектом, испытывающим страдания, нуждающимся в излечении или облегчении симптомов, и врачом, который берет на себя ответственность за сохранение или улучшение жизни пациента (Mallia, 2013: 32–34). Их коммуникация основана на взаимном доверии и оказании/получении помощи, со временем разрастаясь в экзистенциально окрашенные отношения взаимозависимости, где пациент становится частью идентичности врача, а смерть пациента воспринимается как подлинная утрата Другого. Феноменологически это означает примат практики, т. е. *помогающего* отношения одного индивида к другому, основанного на этике ответственности. Именно поэтому врач и философ Клаус Дёрнер предлагает медикам представить себя «дальними родственниками» пациентов, ведь те возлагают

22. Наглядный пример такого рода биоэтического «абстракционизма» см. в компендиуме по философии медицины Казема Садиг-Заде (Sadegh-Zadeh, 2015: 123–124). Данная позиция критикуется уже достаточно давно, и один из наиболее очевидных контрпримеров здесь — нарративная медицина, представленная, к примеру, в переломной работе социолога Артура Франка «Раненый рассказчик» (Frank, 1997).

на врачей ответственность за свою жизнь. Положение «дальнего родственника» создает ситуацию, когда «некоторая отстраненность и взаимодействие из солидарности находятся в равновесии» (Дёрнер, 2006: 98). В этом смысле можно дополнительно подчеркнуть размытость границ между участниками триады «ребенок — родитель — врач»: родственные связи и профессиональные роли при реализации «имманентной врачебной этики» переплетаются и смешиваются, приводя к неразличимости внутри микросообщества, а «продуктивно-асимметричное» отношение врача и пациента аналогично отношению заботы матери/родителя о ребенке.

Клиническая коммуникация врача и пациента возникает на почве взаимодействия двух живых существ, одно из которых испытывает болевые ощущения, а другое способно «вчувствоваться» в них и найти способы уменьшить страдания. Для феноменологии понятно, что «вчувствование» основано на переживании другого как воплощенного живого существа, а не только как аналогичной рационально-психологической самости. Эван Томпсон говорит о многообразии форм эмпатии, включающей в себя переживание другого как одушевленного существа, «захваченного» своим телесным бытием; выражающего свой субъективный опыт; воспринимающего мир вокруг себя проприоцептивно, кинестетически; способного к волевому действию²³. Речь об автономии с феноменологической точки зрения становится уместной лишь как о производной волевого целесообразного (т. е., в сущности, свободного) действия индивида (Mallia, 2013: 28), которого можно эмпатически понять. Причем для некоторых авторов изначальной средой социализации и психоэмоционального развития является семья, а точнее — диада «ребенок/мать» и присущие ей паттерны инкорпорированной коммуникации (Maturana, Verden-Zöllner, 2008; Gallagher, 2013: 4). Именно здесь, в асимметричных отношениях, реализуется этика заботы и безусловной открытости другому, или этика *матернализма*, о которой говорит Дёрнер и которая кажется наиболее релевантной паллиативной помощи детям. Это этика, акцентирующая тактильный и кинестетический контакт двух субъектов, довербальную телесную коммуникацию и эмоционально-аффективное «слияние», которые и выступают средой формирования автономного индивида. Матерналистский взгляд на становление индивидуальности, в сущности, артикулирует феноменологическое понимание конституирования субъекта из «трансцендентального мы», а именно — диады «ребенок/мать».

Но какие концептуальные и методологические ресурсы можно использовать для построения матерналистской этики паллиативной помощи детям? Норматизм, рационализм, универсализм, которые свойственны биоэтике, представляют собой не что иное, как формализацию и абстракцию реального, воплощенного взаимодействия живых людей. Больной ребенок, как никто другой, далек от идеализированного представления о пациенте как автономном рациональном инди-

23. Следовательно, пациент — это не машина с поломанной деталью или нарушенным функционированием, а живой человек, испытывающий боль и страдания. Эти переживания задают динамику роста и развития, состояний здоровья и болезни, силы и немощи, умирания (Thompson, 2001).

виде, поскольку изначально, в силу возраста и диагноза, вовлечен в диадические отношения, которые конституируют неразделимую инстанцию высказывания и действия. Избираемые родителями формы речи («мы покушали», «мы боеем», «мы умираем») не случайны, а свидетельствуют о прочных диадических связях, часто переживаемых детьми как гиперопекающие. Ребенок здесь несамостоятелен, он зависим от родителя, его самость неотделима от самости взрослого.

В паллиативной помощи преобладает фактор соучастия, который не удается объяснить через апелляции к доказательной научной базе. Исторически возникнув как вариация сестринского ухода, паллиативная помощь была направлена на избегание одиночества тяжело и неизлечимо больными пациентами. Потому в каком-то смысле она укрепляет «реляционное бытие», разделяя страдания и оказывая психосоциальную поддержку. Именно по этой причине здесь релевантен подход матернализма, работающий на уровне патического опыта. Создание телесного комфорта, «терапия слушанием» указывают, что паллиативная помощь — это практика гуманизации, и практический запрос здесь важнее выверенной теоретической модели того, как взаимодействуют врач и пациент. Хороший пример экзистенциально окрашенного взаимодействия неизлечимо больного пациента и медицинского работника представлен в статье Ясухико Мураками (Murakami, 2020). В ней он феноменологически анализирует коммуникацию пациента с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) и сиделки (caregiver). Как известно, развитие БАС часто ведет к синдрому запертого человека (locked-in syndrome) — состоянию полного паралича мускулатуры и афазии при сохранности сознания и чувствительности. Такое состояние — это своего рода предел патического опыта, почти полностью замкнутого для других. На основе интервью с опытной сиделкой Мураками анализирует то, как она *понимает* пациента, который стремительно теряет способность вербально выражать свои мысли и просьбы, и даже мимику. В таких ситуациях ослабленные коммуникативные способности вынуждают тех, кто оказывает уход, извлекать значение из крайне немногочисленных слов, набираемых при помощи алфавитной доски (или, в других случаях, рече-генерирующих устройств). Как утверждает Мураками, коммуникация здесь обусловлена предшествующей историей взаимодействия медсестры и пациента, того короткого отрезка времени, когда больной еще мог говорить. Альтернативные способы коммуникации, по Мураками, основаны на способности воображения медсестры, причем обусловленной конкретикой предшествующего опыта общения с пациентом. Таким образом, «реляционное бытие», возникшее между пациентом и медсестрой, позволяет последней с удивительной точностью «улавливать» то, что хочет сказать больной, понимать его — почти так же, как мать понимает невербальные сигналы новорожденного.

В случае сопровождения неизлечимо больных пациентов-детей возможности коммуникации часто обусловлены тем, как взрослые представляют себе жизненный мир ребенка. В медицинских учреждениях дети живут по правилам, которые придумали взрослые. Это мир, в котором главенствуют «взрослые» стандарты, да-

лекие от принятия и заботы, свойственных материалистскому пониманию коммуникации и взаимодействия. Как следствие, многим индивидам порой отказывают в участии в детской и/или взрослой культуре. Это может быть связано с целым рядом причин, однако часто этиология отказа восходит к медицинским обстоятельствам — неизлечимым заболеваниям, инвалидности, нарушениям умственного развития. Дети, которые столкнулись с такими проблемами, исподволь рассматриваются как «жертвы» контингентных событий, сделавших их непригодными для вовлечения в социально-культурную жизнь. Следовательно, участие в «нормальной» детской культуре отнюдь не гарантировано всем, кого в силу возраста принято относить к детям. Как утверждал антрополог Дэвид Гуд, дети с такими диагнозами сталкиваются с патологизацией, отчуждением и дегуманизацией, и рассматриваются как «придатки» к историям болезней (Goode, 1994: 175)²⁴.

Иногда говорят, что у детей, которые нуждаются в паллиативной помощи, было нарушено развитие, и их жизненная траектория непоправимо искажена течением болезни — как если бы психоэмоциональное и соматическое развитие индивида было эпифеноменом болезни. Аналогичное отношение можно встретить в репрезентации пациентов-детей в медиа: не только внешние наблюдатели из СМИ, но и участники паллиативной помощи (активисты, волонтеры) представляют их как олицетворения болезней, сводя жизни пациентов к необратимому развитию заболевания. Ожидаемое развитие онтогенетической траектории смещается под воздействием патологических процессов — а это означает сужение спектра возможностей соучастия ребенка. Социальная депривация, таким образом, оказывается внешним фактором относительно патологических процессов в организме. Эндогенные соматические и экзогенные социокультурные процессы переплетаются, а «личная трагедия» ребенка и родителя становится причиной непризнания обществом, дискриминации, стигматизации или в лучшем случае экзотизации²⁵.

24. Замечу, что Гуд, говоря о «придаточности» детей к своим диагнозам, ссылаясь на свой опыт этнографического исследования слепоглухих детей в 1970–1990-е годы, которым, согласно его позиции, общество отказывает в полноценной социализации, обесценивая их когнитивные и коммуникативные способности ссылкой на инвалидность. Здесь стоит упомянуть важное в рамках критических исследований инвалидности различие *медицинской* и *социальной* моделей инвалидности. Медицинская модель определяет инвалидность через несоответствие тела физиологической норме, в то время как социальная подчеркивает неготовность общества принимать и интегрировать людей с тяжелыми нарушениями, приводящую к их исключению из всех основных сфер социальной жизни. В то же время Международная классификация функционирования, инвалидности и здоровья, разработанная ВОЗ, указывает на то, что инвалидность — это результат взаимодействия индивидуальных особенностей здоровья человека и средовых и личностных факторов.

25. Например, об амбивалентной героизации ребенка с инвалидностью (дополняющей героизацию врачей, борющихся за жизни пациентов) см. цитату из автобиографической повести Рубена Гальего, парализованного вследствие детского церебрального паралича: «Я — герой. Быть героем легко. Если у тебя нет рук или ног — ты герой или покойник. Если у тебя нет родителей — надейся на свои руки и ноги. И будь героем. Если у тебя нет ни рук, ни ног, а ты к тому же ухитрился появиться на свет сиротой — все. Ты обречен быть героем до конца своих дней. Или сдохнуть. Я герой. У меня просто нет другого выхода» (Гальего, 2018: 11). Стоит отметить, что исторический период, о котором пишет Гальего — 1970-е годы в СССР, — не стоит слишком сильно уподоблять актуальному российскому опыту детей с аналогичными заболеваниями. Тем не менее в качестве источника ярких метафор

Ограничение возможностей ребенка, к примеру, при получении школьного образования, маркирование его как «ненормального» и отделение от других детей никак не следуют из состояния его тела. Действительно, определенные соматические состояния могут нарушить когнитивное развитие, сделать невозможным научение социальному поведению, коммуникации и прочим формам участия в жизни детского и взрослого сообщества. Однако это еще не доказывает невозможности интеграции таких детей. В самом деле, такие дети — другие, они воплощают в себе пластичность жизни, которая претерпевает деформацию. Именно поэтому Гуд предлагал интерпретировать взаимодействие ребенка и взрослого вообще, и ребенка с инвалидностью, и здорового взрослого в частности, как *кросс-культурный* контакт или, по крайней мере, как процесс, имеющий черты такового (Goode, 1994: 187). Коммуникация взрослых и детей происходит на стыке разных культур, аксиологических систем и мировоззрений. Причем «паллиативный» статус ребенка, помимо прочего, может означать невозможность его «инициации» в «мир взрослых». А это и ведет к отношению к пациенту как к «незрелому», «невинному» и несамостоятельному. С этим связан призыв Гуда к теоретикам культуры взглянуть на взаимодействие ребенка с взрослыми или другими детьми глазами самого ребенка, а не глазами взрослого с его культурой «взрослости».

Как отмечала Блюбонд-Лангнер, опыт умирающего ребенка существенно отличается от опыта здорового ребенка того же возраста. Следовательно, принятые модели развития представлений ребенка о смерти (как и когнитивного, психоэмоционального развития в целом) отображают картину мира здорового ребенка, а не неизлечимо больного (Bluebond-Langner, 1989: 9)²⁶. Можно утверждать, что опыт ребенка, получающего паллиативную помощь, дает контрпример культурному конструированию детства. Гуд реконструировал модели социализации и развития ребенка (созданные взрослыми), которые основаны на стадийном видении перехода из детства во взрослое состояние. Действительно, такие модели можно встретить применительно к когнитивному, психоэмоциональному, сенсомоторному, социокультурному развитию индивида. Согласно этой модели, дети «по природе» нуждаются в содействии взрослых, чтобы обрести черты, присущие взрослому, — иными словами, им требуется воспитатель. Содействие взрослого предполагает, что он как бы оформляет «незрелый», «невинный» ум ребенка, нанося жизненный опыт на восприимчивую поверхность, *tabula rasa*. Под руководством взрослого ребенок проходит через определенный набор стадий или фаз, и ожидаемым, «нормальным» завершением этого линейного движения является «инициация» во взрослое состояние. Собственно, именно такое, патерналистское отношение часто фактически транслируется работниками паллиативной помощи детям.

и примера рефлексивной нарративизации собственного опыта данное произведение является весьма уместным для целей настоящей статьи.

26. См. таблицу понимания смерти в зависимости от возраста: Твайкросс, Уилкок, 2020: 359–360, и исследование табуированности тем смерти, умирания и горевания у детей: Paul, 2019.

Однако такое представление не обосновывается даже в классических моделях развития ребенка. Достаточно вспомнить влиятельную модель психоэмоционального развития психоаналитика Дэниела Н. Стерна, которая предполагает, что формирующиеся в разные периоды онтогенеза (от рождения до 15–18 месяцев) самости не заменяют одна другую, а сосуществуют на протяжении и взрослой жизни человека (Стерн, 2006). Более того, Стерн подчеркивал, что интерсубъективная реальность ребенка с самого момента рождения уже насыщена богатым спектром довербальных значений, где аффективное и когнитивное неотделимы друг от друга и не нуждаются в медиации посредством языка. Новорожденный уже обладает первоначальной самостью как субъективным переживанием, которому предстоит стать интерсубъективной данностью в ходе обучения вербальной коммуникации и рефлексивному отделению себя от других. Другими словами, «зрелая» самость конституируется дорефлексивными невербальными самостями, которые основаны на сенсомоторных реакциях и эмоционально-аффективной соматической регуляции. При «нормальном» развитии они дополняются вербальной самостью, позволяющей осмыслять себя и других в лингвистических категориях.

Паллиативная помощь детям бросает вызов этой и другим моделям развития, поскольку помещает в центр внимания ребенка, в силу своего диагноза порой не способного артикулировать свой личностный смысл. К тому же, поскольку такой ребенок всегда уже включен в состав диады, мы не можем определить, «чей» опыт анализировать — совместный опыт ребенка и родителя, ребенка по отдельности или спроецированные взрослым представления об опыте ребенка. Ведь жизнь ребенка с тяжелым заболеванием часто не достигает формирования вербальной самости, которая позволила бы ему говорить о себе, рефлексировать. Можно приблизительно реконструировать трансформации «образа себя» у пациента, как это попыталась сделать Блюбонд-Лангнер, когда выделяла стадии, переходящие от 1) видения себя как тяжелобольного к 2) видению себя как того, кому станет лучше, через 3) видение себя как всегда болеющего, но идущего на поправку в будущем, к 4) видению себя как неизменно больного без возможности улучшения состояния, наконец, к 5) видению себя как умирающего. Такому развивающемуся жизненному миру присущи определенные «тотемы» и «табу»: к примеру, детям с онкологическими заболеваниями в неизлечимой стадии свойственно отсутствие интереса к традиционной атрибутике детства, за исключением множащихся образов болезни и смерти. Дети закапывают игрушки в маленькие «могилы» и отказываются играть в игрушки умерших детей, демонстрируя табу на их вещи и даже имена (Bluebond-Langner, 1989: 8).

Во всех попытках осмысления уникальности, самобытности опыта инкурабельного ребенка подчеркивается, что часто происходит имплицитная подмена опыта пациента чем-то чуждым — картиной мира здорового, «нормального» ребенка (чей образ вмещается культурой даже здоровым siblinгам пациента (Bluebond-Langner, 1991: 133)), или даже картиной мира ребенка «вообще», как ее себе представляет взрослый. В любом случае, такая картина полностью замещает то, что

он переживает в действительности: «мы, взрослые, социально сконструировали детей, во многом в наших собственных интересах» (Goode, 1994: 169). Помещенные в институции больницы/хосписа и семьи, находящиеся под постоянным надзором родителей и врачей, дети, чья роль низводится до второплановой, частичной, исполняемой «понарошку» и не выдающей в пациентах способных к автономному действию субъектов, претерпевают маргинализацию и исключение из интересубъективного порядка. Клементе подчеркивает: ограничивая участие детей в принятии решений о ходе лечения, врачи и родители рискуют *натурализовать* перспективу ребенка как выражающую позицию «незрелого», «неполноценного» человеческого существа. Как будто дети «изначально» не соответствуют некоему коммуникативному идеалу, и им еще предстоит «вырасти» и стать «взрослыми», полноценными субъектами коммуникации и действия — в чем, собственно, отказано детям с тяжелыми заболеваниями. Именно с этим связана склонность обесценивать субъективность больного ребенка, подчиняя ее логике имманентного течения заболевания.

Можно утверждать, что такой жест нивелирования перспективы пациента восходит к представлению о когнитивной деятельности как о том, к чему оказываются способны лишь взрослые субъекты. Ребенок как бы по умолчанию не проходит «тест» на взрослость, а следовательно — способность самостоятельно, *автономно* действовать, мыслить и принимать решения. «Паллиативный» статус вносит дополнительные трудности в эту культурно учрежденную несамостоятельность ребенка. Он становится почти объектом, утрачивая черты человеческого субъекта. Исходов такого «теста» может быть всего два: или ты автономный субъект действия, т.е. взрослый здоровый человек, или ты не субъект, а значит, лишен права на самоопределение. Дегуманизация отношения к ребенку может иметь различные формы: от патерналистской объективации пациента как безучастного реципиента помощи до будто бы сугубо доброжелательного уподобления «невинных» детей ангелам и другим репрезентациям «первозданной чистоты» и «безгрешности»²⁷.

Непонимание мотивирует взрослых участников триады имплицитно конструировать образ ребенка как изначально лишенного ответственности, неполноценного участника коммуникации. Предполагается, что при увеличении соучастия растет и ответственность, а поскольку дети ответственности нести не могут (ведь они не автономные полноценные субъекты), то и в соучастии им следует отказать. Асимметрия прав и обязанностей внутри больничной/хосписной среды возникает как эффект совместного конструирования ролей «пациента-ребенка» и «врача»,

27. Последнее очень наглядно представлено в визуальном материале, дающем репрезентацию отношения матерей к своим неизлечимо больным детям. Например, в «самодетельных» видеороликах на YouTube идеология «невинности» будто заглушает самостоятельный голос как пациента-ребенка, так и его родителей. Наблюдается сильная тенденция по уподоблению ребенка ангелу, чья безгрешная душа покинула несправедливый мир, оставив безутешных родителей. Не менее проблематичным остается отношение врачей и родителей к проявлениям сексуальности и пробуждающегося эротического интереса у пациентов пубертатного периода, в особенности — у невербальных и когнитивно несохранных пациентов.

которое происходит при их взаимодействии, на что указывает Клементе (Clemente, 2015: 14). Интересно то, что здесь «врача» и «пациента», взятых по отдельности, не существует: они возникают в динамическом взаимодействии, распределяющем роли и функции в контексте больничной/хосписной среды. Происходит своего рода двойная интерпелляция в смысле социально-критической теории: субъект *становится* ребенком, попадая в материально-дискурсивные сети, определяющие его как «ребенка» — маленького, незрелого, неразумного. Одновременно с этим он определяется и как «пациент», в патерналистском ключе ограниченной автономии и права знать о своем будущем — как пассивный получатель медицинской помощи, объект медицинских процедур и манипуляций, зачастую вегетативный, а потому будто бы по определению недостаточно «человечный».

Заключение

Чем же является жизнь «паллиативного ребенка»? Данная статья не намерена дать ответ на этот вопрос, ведь представляется затруднительным универсализировать столь разный опыт детей с разными диагнозами. Мы не можем использовать одни и те же категории для характеристики пациентов с генетическими заболеваниями, гидроцефалией, спинальной мышечной атрофией или другими болезнями. Сочетание диагноза, образа жизни и социального окружения дает разные онтогенетические траектории, каждая из которых помещена в свой жизненный мир и свою смысловую реальность.

Такая жизнь гетерогенна. Ей присуще имманентное несоответствие нормативным представлениям о жизни как беспрепятственном развитии индивида в благоприятной среде, результатом которого является созревание рационального, автономного субъекта. Инаковость такого ребенка связана с течением заболевания, но лишь отчасти: основной вклад в конституирование инаковости делает микро-социальная среда: триада «ребенок–родитель–врач», иерархическая организация больницы или хосписа, избираемые участниками коммуникативные стратегии, а также миф о «невинности» ребенка. Наше отношение к пациенту паллиативной помощи основывается на неосознаваемых идеологемах, стереотипах и штампах о том, кто такой ребенок, что такое детство, что значит быть неизлечимо больным и как взрослый должен общаться с ребенком. Обесценивание материальности тела, нетранслируемость боли Другого²⁸, его страданий, неизбежные при применении биоэтических нормативов, дополняются представлением о детстве, которого фактически лишены многие дети. В освещении паллиативной помощи детям в российских СМИ распространены стереотипные представления о детях как об «ангелах», лишенных тела, свободных от сексуальных влечений в пубертатный период, дисциплинированных и послушных. В самом деле, жизнь здесь предстает не как креативный процесс развития и самопознания, а скорее, как двойственное

28. О материальности болевых ощущений людей с инвалидностью как ресурсе критики «социального конструктивизма» см.: Siebers, 2001.

формирование «ненормального» и «не способного стать нормальным» индивида, требующего не эмпатии, а патерналистской опеки, снисходительности в коммуникации и жалости при оказании ухода и ожидании смерти.

Доксография медицинского сообщества, его пресуппозиций и идеологией показывает, что для критической оценки и анализа паллиативной помощи детям (как и всей медицины в целом) требуется не *эмическая* позиция, выражающая и защищающая монопольное право медиков оценивать правомерность своего отношения к субъективности пациента, а *этическая* — проще говоря, взгляд *извне* медицинского сообщества. Такой взгляд при этом совсем не обязательно должен ретранслировать позицию социального конструктивизма, враждебно настроенного против биомедицины и парадигмы доказательности. Напротив, реальность болевых ощущений и дегуманизации детского тела может быть продуктивно осмыслена, а главное — практически использована именно в русле феноменологического подхода.

Этим, во-первых, можно обогатить и трансформировать инструментарий феноменологии в результате ее применения к контексту больничной/хосписной жизни с ее установками к телу, детству, болезни и смерти, коммуникации и времени. Во-вторых, феноменология, с ее акцентом на проживаемом опыте как конституенте и в то же время эффекте интерсубъективных практик, способна вскрыть то, что оказывается по ту сторону возможности осмысления социальных наук. Не будучи частью социально-научного знания, биоэтика при этом грешит тем же: она ожидает от детей соответствия абстрактному представлению об автономии, игнорируя, что для достижения «взрослости» требуется пройти определенный путь. Она патерналистски соотносит статичный образ автономии с динамической, «непослушной» действительностью детства.

Соучастие детей в любом из аспектов жизни должно быть переосмыслено в свете конструирования детства — представлений взрослых о том, что ребенок знает (и может знать) о мире, что он чувствует, понимает и какую ответственность способен нести. Знание ребенка о мире имеет патический характер, а болезнь непоправимо видоизменяет характер этого измерения воплощенного бытия в мире. Осознание факта «непризнанности» жизненного мира «паллиативного ребенка» дополняет феноменологическую рефлексия о том, каково это — быть ребенком, обладающим больным телом, не позволяющим включаться в привычные здоровому субъекту практики, требующим особой инфраструктуры или приближающимся к неизбежной смерти.

Медленные темпы развития паллиативной помощи в России, по всей видимости, связаны с тем, что национальная медицинская культура здесь привыкла иметь дело лишь с болезнями, поддающимися лечению. Ориентация на выживаемость любой ценой, выражаемая в императиве «добавить дней жизни», выводит сопровождение неизлечимого заболевания и умирания на периферию мировоззренческой, институциональной и финансовой организации здравоохранения. Вероятно, идея «достойного ухода» идет вразрез с метафорической героикой борьбы

с болезнью, буквально — схватки с ней не на жизнь, а на смерть. Повсеместное проникновение дискурса выздоровления как бы обесценивает опыт неизлечимого заболевания, расцениваемый как нерелевантный целям и задачам «официального» здравоохранения, и сопряженный с дискурсом безнадежности. Как следствие, фактическая реализация социальной политики в области паллиативной медицины в России репрезентирует представления о здоровье и болезни, теле, субъективности и опыте, которые можно «вычитать» из практик *внутри* институциональных миров отечественной медицины.

Успешное преодоление пути взросления ребенку, получающему паллиативную помощь, не гарантировано, и поэтому ее задача — не «добавить дней жизни», а «добавить жизни дням». Феноменология, способная к экзистенциально-практическому осмыслению «паллиативной жизни», имеет доступ к патическому опыту, до различия субъекта и объекта, и по этой причине может проникнуть во внутреннюю среду триады «ребенок — родитель — врач», или, еще «глубже», в диалектический, переплетенный опыт ребенка и родителя — от формализованного регламента к интенсивному опыту совместного смыслополагания.

Литература

- Боррел-Каррио Ф., Эстайн Р. М., Сачмен Л. (2006). Биопсихосоциальная модель 25 лет спустя. URL: <https://strana-oz.ru/2006/2/biopsihosocialnaya-model-25-let-spustya> (дата доступа: 10.04.2021).
- Гальего Р. Д. Г. (2018). Белое на черном. СПб.: Лимбус Пресс.
- Гуссерль Э. (2011). Логические исследования. Т. II. Часть 1: Исследования по феноменологии и теории познания / Пер. с нем. В. И. Молчанова. М.: Академический проект.
- Дёрнер К. (2006). Хороший врач: учебник основной позиции врача / Пер. с нем. И. Я. Сапожниковой при участии Э. Л. Гушанского. М.: Алетейя.
- Инишев И. Н. (2010). Сильные стороны слабого трансцендентализма // Инишев И. Н., Щитцова Т. В. (ред.). Практизация философии: современные тенденции и стратегии. Вильнюс: Европейский гуманитарный университет. С. 165–178.
- Клейнман А. (2016). Понятия и модель для сравнения медицинских систем как культурных систем / Пер. с англ. А. С. Курленковой // Социология власти. Т. 28. № 1. С. 208–232.
- Курленкова А. С. (2013). Биоэтика и антропология // Этнографическое обозрение. № 1. С. 89–103.
- Лехциер В. Л. (2018). Болезнь: опыт, нарратив, надежда. Мн.: Логвинов.
- Мальдине А. (2014). О сверхстрастности / Пер. с фр. С. А. Шолоховой под ред. А. В. Ямпольской // Шолохова С. А., Ямпольская А. В. (ред.). (Пост)феноменология: новая феноменология во Франции и за ее пределами. М.: Академический проект, Гаудеамус. С. 151–203.

- Мерло-Понти М. (1999). Феноменология восприятия / Пер. с фр. Д. Калугина, Л. Корягина, А. Маркова, А. Шестакова под ред. И. Вдовиной и С. Фокина. СПб.: Ювента, Наука.
- Стерн Д. Н. (2006). Межличностный мир ребенка: взгляд с точки зрения психоанализа и психологии развития / Пер. с англ. О. А. Лежиной. СПб.: Восточно-Европейский Институт Психоанализа.
- Твайкросс Р., Уилкок Э. (2020). Основы паллиативной помощи. М.: Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера».
- Хартия прав умирающего ребенка (Триестская хартия) (2016). М.: Благотворительный фонд развития паллиативной помощи «Детский паллиатив».
- Becker G. (2004). Phenomenology of Health and Illness // Ember C. R., Ember M. (eds.). Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World's Cultures. Vol. I: Topics. Vol. II: Cultures. N.Y.: Kluwer Academic/Plenum Publishers. P.125–136.
- Bélanger E., Rodríguez C., Groleau D., Légaré F., Macdonald M.E., Marchand R. (2016). Patient Participation in Palliative Care Decisions: An Ethnographic Discourse Analysis // International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being. Vol. 11. № 1. P. 324–338.
- Benner P. (ed.). (1994). Interpretive Phenomenology: Embodiment, Caring, and Ethics in Health and Illness. L.: Sage Publications.
- Bingley A., Thomas C., Brown J., Reeve J., Payne S. (2008). Developing Narrative Research in Supportive and Palliative Care: The Focus on Illness Narratives // Palliative Medicine. Vol. 22. № 5. P. 653–658.
- Bluebond-Langner M. (1989). Worlds of Dying Children and Their Well Siblings // Death Studies. Vol. 13. № 1. P. 1–16.
- Bluebond-Langner M. (1991). Living with Cystic Fibrosis: The Well Sibling's Perspective // Medical Anthropology Quarterly. Vol. 5. № 2. P. 133–152.
- Clemente I. (2015). Uncertain Futures: Communication and Culture in Childhood Cancer Treatment. Chichester: John Wiley & Sons.
- Cohen M. Z., Kahn D. L., Steeves R. H. (2000). Hermeneutic Phenomenological Research: A Practical Guide for Nurse Researchers. L.: Sage Publications.
- Corner J. (1996). Is There a Research Paradigm for Palliative Care? // Palliative Medicine. Vol. 10. № 3. P. 201–208.
- De Jaegher H., Di Paolo E. (2007). Participatory Sense-Making // Phenomenology and the Cognitive Sciences. Vol. 6. № 4. P. 485–507.
- Del Vecchio Good M.-J., Munakata T., Kobayashi Y., Mattingly C., Good B. J. (1994). Oncology and Narrative Time // Social Science & Medicine. Vol. 38. № 6. P. 855–862.
- Depraz N. (2008). The Rainbow of Emotions: At the Crossroads of Neurobiology and Phenomenology // Continental Philosophy Review. Vol. 41. P. 237–259.
- Erichsen E., Danielsson E.H., Friedrichsen M. (2010). A Phenomenological Study of Nurses' Understanding of Honesty in Palliative Care // Nursing Ethics. Vol. 17. № 1. P. 39–50.

- Fochtman D.* (2008). Phenomenology in Pediatric Cancer Nursing Research // *Journal of Pediatric Oncology Nursing*. Vol. 25. № 4. P. 185–192.
- Frank A. W.* (1997). *The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fuchs T., De Jaegher H.* (2009). Enactive Intersubjectivity: Participatory Sense-Making and Mutual Incorporation // *Phenomenology and the Cognitive Sciences*. Vol. 8. № 4. P. 465–486.
- Gallagher S.* (2013). The Socially Extended Mind // *Cognitive Systems Research*. Vol. 25. P. 4–12.
- Goode D.* (1994). *A World Without Words: The Social Construction of Children Born Deaf and Blind*. Philadelphia: Temple University Press.
- Hyde B.* (2018). Pathic Knowing, Lived Sensibility and Phenomenological Reflections on Children's Spirituality // *International Journal of Children's Spirituality*. Vol. 23. № 4. P. 346–357.
- Jonas H.* (2001). *Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology*. Evanston: Northwestern University Press.
- Malabou C.* (2009). *Ontology of the Accident: An Essay on Destructive Plasticity*. Malden: Polity Press.
- Mallia P.* (2013). *The Nature of the Doctor-Patient Relationship: Health Care Principles Through the Phenomenology of Relationships with Patients*. Dordrecht: Springer.
- Maturana H. R., Verden-Zöller G.* (2008). *The Origin of Humanness in the Biology of Love*. Exeter: Imprint Academic, 2008.
- Murakami Y.* (2020). Phenomenological Analysis of a Japanese Professional Caregiver Specialized in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis // *Neuroethics*. Vol. 13. P. 181–191.
- O'Connor M., Payne S.* (2006). Discourse Analysis: Examining the Potential for Research in Palliative Care // *Palliative Medicine*. Vol. 20. № 8. P. 829–834.
- Öhlén J., Carlsson G., Jepsen A., Lindberg I., Friberg F.* (2016). Enabling Sense-Making for Patients Receiving Outpatient Palliative Treatment: A Participatory Action Research Driven Model for Person-Centered Communication // *Palliative & Supportive Care*. Vol. 14. № 3. P. 212–224.
- Parnas L., Zahavi D.* (2000). The Link: Philosophy — Psychopathology — Phenomenology // *Zahavi D.* (ed.). *Exploring the Self: Philosophical and Psychopathological Perspectives on Self-Experience*. Amsterdam: John Benjamins. P. 1–16.
- Paul S.* (2019). Is Death Taboo for Children? Developing Death Ambivalence as a Theoretical Framework to Understand Children's Relationship with Death, Dying and Bereavement // *Children & Society*. Vol. 33. № 6. P. 556–571.
- Quill T., Norton S., Shah M., Lam Y., Fridd C., Buckley M.* (2006). What is Most Important for You to Achieve? An Analysis of Patient Responses When Receiving Palliative Care Consultation // *Journal of Palliative Medicine*. Vol. 9. № 2. P. 382–388.
- Sadegh-Zadeh K.* (2015). *Handbook of Analytic Philosophy of Medicine*. Dordrecht: Springer.

- Seymour J., Clark D.* (1998). Phenomenological Approaches to Palliative Care Research // *Palliative Medicine*. Vol. 12. № 2. P. 127–131.
- Siebers T.* (2001). Disability in Theory: From Social Constructionism to the New Realism of the Body // *American Literary History*. Vol. 13. № 4. P. 737–754.
- Thompson E.* (2001). Empathy and Consciousness // *Journal of Consciousness Studies*. Vol. 8. № 5–6. P. 1–32.
- Titchkosky T., Michalko R.* (2012). The Body as the Problem of Individuality: A Phenomenological Disability Studies Approach // *Goodley D., Hughes B., Davis L.* (eds.). *Disability and Social Theory: New Developments and Directions*. L.: Palgrave Macmillan. P. 127–142.
- Toombs S. K.* (1995). The Lived Experience of Disability // *Human Studies*. Vol. 18. № 1. P. 9–23.
- Tronick E. Z., Bruschiweiller-Stern N., Harrison A. M., Lyons-Ruth K., Morgan A. C., Nahum J. P., Sander L. Stern D. N.* (1998). Dyadically Expanded States of Consciousness and the Process of Therapeutic Change // *Infant Mental Health Journal*. Vol. 19. № 3. P. 290–299.
- Varela F. J.* (2001). Intimate Distances. Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation // *Journal of Consciousness Studies*. Vol. 8. № 5–7. P. 259–271.
- Wu Y.* (2020). Pain Talk in Hospice Care: A Conversation Analysis // *BMC Palliative Care*. Vol. 19. № 1. P. 1–8.
- Yang M. H., Mcilpatrick S.* (2001). Intensive Care Nurses' Experiences of Caring for Dying Patients: A Phenomenological Study // *International Journal of Palliative Nursing*. Vol. 7. № 9. P. 435–441.
- Zahavi D.* (1996). Husserl's Intersubjective Transformation of Transcendental Philosophy // *Journal of the British Society of Phenomenology*. Vol. 27. № 3. P. 228–245.
- Zahavi D.* (2005). *Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-Person Perspective*. Cambridge: The MIT Press.
- Zylinska J.* (2009). *Bioethics in the Age of New Media*. Cambridge: The MIT Press.

Life Which Does Not Belong to Itself: The Triad “Child-Parent-Doctor” and Phenomenology in Pediatric Palliative Care

Maxim D. Miroshnichenko

Candidate of Philosophical Sciences, Senior Lecturer, UNESCO Network Chair in Bioethics and International Medical Law, International Medical School, Pirogov Russian National Research Medical University
Address: Ostrovitjanova str., 1, Moscow, Russian Federation 117997
E-mail: jaberwokky@gmail.com

This paper conceptualizes the experience of the child in need of palliative care. Incurable diseases expose the pathic experience of the body as an object of treatment and care. The child's life is

subject to regulation in clinical or hospice care institutions that arranges the flow of time, routine actions, and communication. This leads to the reduction of the patient's personality, as if woven into the triad "child-parent-doctor". Articulation of a cognitively intact child's self is embedded in the strategies of silence and half-truths, finding ways of manifestation in games, conflict behavior, and attempts of separation. The traditional view of doctor-patient communication underlying this difficulty requires revision since it is based on the abstraction from the embodied intersubjective interaction in the triad. A child receiving palliative care does not conform to the normative concept of a rational autonomous patient. This requires ways of conceptualizing the patient's status as the owner of the pathic experience which manifests itself through the development of the disease. Instead of normative and universalist ethics, a phenomenological and medical anthropological view of "maternalism" is proposed, which points to the socio-cultural ambiguity of the idea of the "innocence" and "immaturity" of the child. The interaction within the triad is cross-cultural, and, hence, requires reconsideration of concepts of individuality, autonomy, and communication.

Keywords: bioethics, disability, incurable diseases, maternalism, medical anthropology, pediatric palliative care, pathic experience, empathy

References

- Becker G. (2004) Phenomenology of Health and Illness. *Encyclopedia of Medical Anthropology: Health and Illness in the World's Cultures*, Vol. I: Topics, Vol. II: Cultures (eds. C. R. Ember, M. Ember), New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers, pp. 125–136.
- Bélanger E., Rodríguez C., Groleau D., Légaré F., Macdonald M. E., Marchand R. (2016) Patient Participation in Palliative Care Decisions: An Ethnographic Discourse Analysis. *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-Being*, vol. 11, no 1, pp. 324–338.
- Benner P. (ed.) (1994) *Interpretive Phenomenology: Embodiment, Caring, and Ethics in Health and Illness*, London: Sage.
- Bingley A., Thomas C., Brown J., Reeve J., Payne S. (2008) Developing Narrative Research in Supportive and Palliative Care: The Focus on Illness Narratives. *Palliative Medicine*, vol. 22, no 5, pp. 653–658.
- Bluebond-Langner M. (1989) Worlds of Dying Children and Their Well Siblings. *Death Studies*, vol. 13, no 1, pp. 1–16.
- Bluebond-Langner M. (1991) Living with Cystic Fibrosis: The Well Sibling's Perspective. *Medical Anthropology Quarterly*, vol. 5, no 2, pp. 133–152.
- Borrel-Karrio F., Sachmen L., Jepstajn R. M. (2006). Biopsihosocial'naja model' 25 let spustja [The Biopsychosocial Model 25 Years Later]. Available at: <https://strana-oz.ru/2006/2/biopsihosocialnaya-model-25-let-spustya> (accessed 10 April 2021).
- Clemente I. (2015) *Uncertain Futures: Communication and Culture in Childhood Cancer Treatment*, Chichester: John Wiley & Sons.
- Cohen M. Z., Kahn D. L., Steeves R. H. (2000) *Hermeneutic Phenomenological Research: A Practical Guide for Nurse Researchers*, London: Sage.
- Corner, J. (1996) Is There a Research Paradigm for Palliative Care? *Palliative Medicine*, vol. 10, no 3, pp. 201–208.
- De Jaegher H., Di Paolo E. (2007) Participatory Sense-Making. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 6, no 4, pp. 485–507.
- Del Vecchio Good M.-J., Munakata T., Kobayashi Y., Mattingly C., Good B. J. (1994) Oncology and Narrative Time. *Social Science & Medicine*, vol. 38, no 6, pp. 855–862.
- Depraz N. (2008) The Rainbow of Emotions: At the Crossroads of Neurobiology and Phenomenology. *Continental Philosophy Review*, vol. 41, pp. 237–259.
- Dörner K. (2006) *Horoshij vrach: uchebnik osnovnoj pozicii vracha* [The Good Doctor: A Handbook on the Basic Doctor's Position], Moscow: Aleteya.
- Erichsen E., Danielsson E. H., Friedrichsen M. (2010) A Phenomenological Study of Nurses' Understanding of Honesty in Palliative Care. *Nursing Ethics*, vol. 17, no 1, pp. 39–50.
- Fochtman D. (2008) Phenomenology in Pediatric Cancer Nursing Research. *Journal of Pediatric Oncology Nursing*, vol. 25, no 4, pp. 185–192.

- Frank A. W. (1997) *The Wounded Storyteller: Body, Illness, and Ethics*, Chicago: University of Chicago Press.
- Fuchs T., De Jaegher H. (2009) Enactive Intersubjectivity: Participatory Sense-Making and Mutual Incorporation. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, vol. 8, no 4, pp. 465–486.
- Gallego R. D. G. (2018) *Beloe na chernom* [White on Black], Saint Petersburg: Limbus Press.
- Gallagher S. (2013) The Socially Extended Mind. *Cognitive Systems Research*, vol. 25, pp. 4–12.
- Goode D. (1994) *A World Without Words: The Social Construction of Children Born Deaf and Blind*, Philadelphia: Temple University Press.
- Hartija prav umirajushhego rebenka (Triestskaja hartija) [The Charter of the Rights of the Dying Child (The Trieste Charter)] (2016), Moscow: Detsky palliativ.
- Husserl E. (2011) *Logicheskie issledovanija. Tom II. Chast' 1. Issledovanija po fenomenologii i teorii poznaniya* [Logical Investigations, Vol. II, Part 1: Investigations on Phenomenology and Theory of Knowledge], Moscow: Akademicheskij proekt.
- Hyde B. (2018) Pathic Knowing, Lived Sensibility and Phenomenological Reflections on Children's Spirituality. *International Journal of Children's Spirituality*, vol. 23, no 4, pp. 346–357.
- Inishev I. (2010) Sil'nye storony slabogo transcendentalizma [The Strong Sides of Weak Transcendentalism]. *Praktizacija filosofii: sovremennye tendencii i strategii* [Practization of Philosophy: Contemporary Tendencies and Strategies] (eds. I. Inishev, T. Shhitcova), Vilnius: EHU, pp. 165–178.
- Jonas H. (2001) *Phenomenon of Life: Toward a Philosophical Biology*, Evanston: Northwestern University Press.
- Kleinman A. (2016) Ponjatija i model' dlja sravnenija medicinskih sistem kak kul'turnyh sistem [Concepts and a Model for the Comparison of Medical Systems as Cultural Systems]. *Sociology of Power*, vol. 28, no 1, pp. 208–232.
- Kurlenkova A. (2013) Biojetika i antropologija [Bioethics and Anthropology]. *Ethnographic Review*, no 1, pp. 89–103.
- Lekhtsier V. (2018) *Bolezn': opyt, narrativ, nadezhda* [Illness: Experience, Narrative, Hope], Minsk: Logvinov.
- Maldiney H. (2014) O sverhstrastnosti [On Transpassibility]. *(Post)fenomenologija: novaja fenomenologija vo Francii i za ee predelami* [(Post)Phenomenology: The New Phenomenology in France and Beyond] (eds. S. Sholokhova, A. Yampolskaya), Moscow: Akademicheskij proekt, Gaudeamus, pp. 151–203.
- Malabou C. (2009) *Ontology of the Accident: An Essay on Destructive Plasticity*, Malden: Polity Press.
- Mallia P. (2013) *The Nature of the Doctor-Patient Relationship: Health Care Principles Through the Phenomenology of Relationships with Patients*, Dordrecht: Springer.
- Maturana H. R., Verden-Zöller G. (2008) *The Origin of Humanness in the Biology of Love*, Exeter: Imprint Academic.
- Merleau-Ponty M. (1999) *Fenomenologija vosprijatija* [Phenomenology of Perception], Saint Petersburg: Yuventa, Nauka.
- Murakami Y. (2020) Phenomenological Analysis of a Japanese Professional Caregiver Specialized in Patients with Amyotrophic Lateral Sclerosis. *Neuroethics*, vol. 13, pp. 181–191.
- O'Connor M., Payne S. (2006) Discourse Analysis: Examining the Potential for Research in Palliative Care. *Palliative Medicine*, vol. 20, no 8, pp. 829–834.
- Öhlén J., Carlsson G., Jepsen A., Lindberg I., Friberg F. (2016) Enabling Sense-Making for Patients Receiving Outpatient Palliative Treatment: A Participatory Action Research Driven Model for Person-Centered Communication. *Palliative & Supportive Care*, vol. 14, no 3, pp. 212–224.
- Parnas L., Zahavi D. (2000) The Link: Philosophy — Psychopathology — Phenomenology. *Exploring the Self: Philosophical and Psychopathological Perspectives on Self-Experience* (ed. D. Zahavi), Amsterdam: John Benjamins, pp. 1–16.
- Paul S. (2019) Is Death Taboo for Children? Developing Death Ambivalence as a Theoretical Framework to Understand Children's Relationship with Death, Dying and Bereavement. *Children & Society*, vol. 33, no 6, pp. 556–571.

- Quill T., Norton S., Shah M., Lam Y., Fridd C., Buckley M. (2006) What is Most Important for You to Achieve? An Analysis of Patient Responses When Receiving Palliative Care Consultation. *Journal of Palliative Medicine*, vol. 9, no 2, pp. 382–388.
- Sadegh-Zadeh K. (2015) *Handbook of Analytic Philosophy of Medicine*, Dordrecht: Springer.
- Seymour J., Clark D. (1998) Phenomenological Approaches to Palliative Care Research. *Palliative Medicine*, vol. 12, no 2, pp. 127–131.
- Siebers T. (2001) Disability in Theory: From Social Constructionism to the New Realism of the Body. *American Literary History*, vol. 13, no 4, pp. 737–754.
- Stern D. N. (2006) *Mezhlichnostnyj mir rebenka: vzgljad s točki zrenija psihoanaliza i psihologii razvitiya* [The Interpersonal World of the Infant: A View from Psychoanalysis and Developmental Psychology], Saint Petersburg: East European Institute of Psychoanalysis.
- Thompson E. (2001) Empathy and Consciousness. *Journal of Consciousness Studies*, vol. 8, no 5–6, pp. 1–32.
- Titchkosky T., Michalko R. (2012) The Body as the Problem of Individuality: A Phenomenological Disability Studies Approach. *Disability and Social Theory: New Developments and Directions* (eds. D. Goodley, B. Hughes, L. Davis), London: Palgrave Macmillan, pp. 127–142.
- Toombs S. K. (1995) The Lived Experience of Disability. *Human Studies*, vol. 18, no 1, pp. 9–23.
- Tronick E. Z., Bruschweiler-Stern N., Harrison A. M., Lyons-Ruth K., Morgan A. C., Nahum J. P., Sander L., Stern D. N. (1998) Dyadically Expanded States of Consciousness and the Process of Therapeutic Change. *Infant Mental Health Journal*, vol. 19, no 3, pp. 290–299.
- Twycross R., Wilcock A. (2020). *Osnovy palliativnoj pomoshhi* [Introducing Palliative Care], Moscow: Vera.
- Varela F. J. (2001) Intimate Distances. Fragments for a Phenomenology of Organ Transplantation. *Journal of Consciousness Studies*, vol. 8, no 5–7, pp. 259–271.
- Wu Y. (2020) Pain Talk in Hospice Care: A Conversation Analysis. *BMC Palliative Care*, vol. 19, no 1, pp. 1–8.
- Yang M. H., Mcilpatrick S. (2001) Intensive Care Nurses' Experiences of Caring for Dying Patients: A Phenomenological Study. *International Journal of Palliative Nursing*, vol. 7, no 9, pp. 435–441.
- Zahavi D. (1996) Husserl's Intersubjective Transformation of Transcendental Philosophy. *Journal of the British Society of Phenomenology*, vol. 27, no 3, pp. 228–245.
- Zahavi D. (2005) *Subjectivity and Selfhood: Investigating the First-Person Perspective*, Cambridge: The MIT Press.
- Zylinska J. (2009) *Bioethics in the Age of New Media*, Cambridge: The MIT Press.

Человеко-метры, потребители, «правильные» и «неправильные» жители: репрезентация горожанина в дискурсе о новых жилых районах Москвы*

Дарья Волкова

Стажер-исследователь, лаборатория социальных исследований города,
факультет городского и регионального развития,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: volkova.daria.v@gmail.com

В статье рассматривается репрезентация горожан в публичном дискурсе о новых районах Москвы. Обращаясь к тому, как репрезентируются горожане разными агентами дискурса, можно увидеть, для кого создаются городские пространства и по каким принципам, а кто остается исключенным из городской повестки. В Москве противоречивость репрезентации горожан становится видна в контексте территорий новых жилых районов. Для власти эти территории являются воплощением их экстенсивной политики, капитала и удачных управленческих решений. В медиа новостройки стигматизируются: «гетто» и «человейники» становятся образом среды плохого типа, непригодной для развивающегося города. Рассматривая репрезентацию горожан в публичном дискурсе, созданном властями, девелоперами и критическими медиа, я показываю: 1) как в дискурсе используется горожанин как обезличенная категория; 2) как формируется представление о «среднем» горожанине, для которого строятся новые районы и их инфраструктура; 3) как, исходя из разных предпосылок, рассматриваемые агенты дискурса выделяют горожанина-потребителя, принимая во внимание лишь агентность горожанина на рынке недвижимости; 4) как формируется взгляд на горожанина, который не наделяется правом на пространство новых районов. Через выделенные категории горожан я показываю отсутствие принципиальных отличий в дискурсах власти, девелоперов и критических агентов.

Ключевые слова: репрезентация, дискурс, горожане, ЖК, Москва, новые жилые районы, периферия

Стремительная урбанизация и разрастание города поднимает вопросы о том, на кого ориентированы городские политики и как в них учитываются жители новых городских территорий. В этой статье я рассмотрю репрезентацию горожанина в дискурсе о новых районах: какие агенты производят этот дискурс, в каких контекстах упоминается горожанин, к каким эффектам это приводит.

Работа по (пере)определению городской повестки ведется с разной интенсивностью в разнообразных сферах. К примеру, в Москве к активно обсуждаемым

* Публикация подготовлена по результатам исследования 19-04-010 «Неравенство в новых жилых районах Москвы» в рамках Программы «Научный фонд Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)» в 2019–2020 гг. и в рамках государственной поддержки ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

можно отнести самоуправление и выборы в органы муниципальной власти в 2019 году, принципы устройства развития сети общественного транспорта, политику благоустройства территорий. Я сосредоточусь на строительстве и дальнейшей судьбе новых районов, которые конструируются как отдельный феномен городской жизни. Строительство новых частей города сопряжено с представлением о том, кто именно будет жить в этих районах и как это пространство будет использоваться жителями. Репрезентация горожанина в этой статье рассмотрена на примере дискурса о новых районах в Москве, который только находится в процессе нормализации и оказывается очень противоречивым.

Городское развитие в значительной мере следует экстенсивной логике, что проявляется в двух противоположных по модели, но схожих по эффекту повестках. С одной стороны, власти Москвы присоединяют новые периферийные территории и выдают разрешения на их застройку многоэтажными жилищными комплексами преимущественно эконом-класса. С другой стороны, в то же время власти запускают программу реновации, которая предполагает освобождение большого пространства от старых кварталов и возведение на их месте новых жилых комплексов по модели периферийных районов (с увеличением этажности и плотности). Таким образом, новые территории и новое строительство жилья, а также обеспечивающей его инфраструктуры на периферии становятся одними из главных целей и представляются в качестве показателя эффективности политики городского развития.

Новые жилые районы Москвы — их жители, инфраструктура, образ жизни — находятся в специфическом дискурсивном пространстве. Происходящие в городе изменения все чаще описываются через термины «благоустройство», повышение «комфортности городской среды», обоснование которым дает новая для Москвы идеология/экспертное знание — урбанизм. В то же время новые жилые районы Москвы и их жители описываются в медиа в терминах упадка: как новопостроенные «гетто» и «человекини». Разные агенты — медиа, власти и девелоперы — производят противоположные по смыслу дискурсивные поля: о новой комфортной среде для горожанина, с одной стороны, и о деградирующем и неподходящем для современного города пространстве — с другой. Объектом такой разнонаправленности являются именно новые жилые районы.

В данной статье я обращаюсь к репрезентации горожанина в дискурсе о новых районах — то, как агенты дискурса выделяют различные категории горожан, как складывается их агентность и взаимоотношения между собой. Описывая определенные категории граждан, агенты дискурса транслируют, для кого производится городское пространство, кто имеет на него право и в какой степени. Особенности репрезентации горожан я рассматриваю в рамках подхода к дискурс-анализу репрезентации жилых территорий на периферии, используемого Мустафой Дикешем (Dikeç, 2011).

Заметную роль в репрезентации горожан играют крупные агенты (власть, крупный бизнес, медиа) — те, кто устанавливает повестку городского развития,

готовит и реализует специфические политики, решает, на кого в первую очередь они должны быть направлены. Дискурс этих агентов не только нормализует представления об одобряемых и исключаемых из городского пространства группах, но одновременно создает пространство борьбы, противоречий и возможности для переопределения (Fernandes, 2004; Guano, 2004; Kanai, 2010). Такие процессы не проходят бесследно: то, как представлены разные группы горожан в дискурсе, влияет на городскую политику, на определение вектора развития города, мер поддержки или маргинализации определенных групп и многое другое (Wasquant, 2008a; Dikeç, 2011). Таким образом, исследуя то, как репрезентируются горожане в текущей городской повестке, можно понять, какова структура отношений между ключевыми агентами городской жизни (властью, капиталом, медиа, различными категориями горожан и т. п.), кто и на каких условиях наделяется статусом участника городских процессов, а кто исключается из взаимодействия.

В публичном дискурсе, создаваемом СМИ в целом, есть упоминания некоторых проблем, с которыми сталкиваются жители новостроек: плохие транспортные связи, отсутствие должной социальной инфраструктуры, обманы со стороны девелоперов. Однако, как я покажу далее, никто из основных агентов, производящих городской дискурс, не говорит о возможностях и тем более конкретных механизмах, с помощью которых жители могли бы влиять на систематически возникающие проблемы новых районов и в целом быть значимой частью процесса развития жилья и жилых территорий Москвы. Городские власти и представители капитала скорее формулируют запросы горожан исходя из собственных интересов и собственных представлений об обобщенной пользе для новых районов и города, чем обращаются к конкретным проблемам жителей.

Такая городская политика и логика московского неолиберального урбанизма (Büdingender, Zupan, 2017) изображает горожанина, чья репрезентация тесно связана с экономической агентностью, классовыми границами, формальной принадлежностью к территории столицы, но не с участием в политическом процессе и определении стандартов, принципов строительства и развития новых жилых территорий. Хотя критический дискурс и дискурс властных агентов и девелоперов и оказываются противопоставленными друг другу по интерпретации места новых жилых районов в городском пространстве, в своем основании они имеют одни и те же представления о том, для кого производится городское пространство.

В первой части статьи рассматривается, как изучается репрезентация горожан в публичном дискурсе. Описаны механизмы того, как дискурсивное производство различных категорий горожан воплощается в городской политике, стигматизации и особых способах означивания периферийных районов. Затем я представляю аналитическую модель, разработанную для этого исследования, и обоснование применения методологии дискурс-анализа с точки зрения социологии знания (Keller, 2006, 2011). На основе качественного анализа публично доступных материалов властных агентов, девелоперов и медиа я выделяю четыре категории жителей. Основная часть статьи посвящена эмпирическому анализу этих четырех выявлен-

ных категорий, а также описанию того, как соотносятся произведенные категории с агентами дискурса и как это помогает понять структуру отношений между ними.

Символическое пространство города и репрезентация горожанина

В этой части я рассмотрю, почему важно изучать, как репрезентируются горожане в городской и жилищной политиках, опишу особенности репрезентации горожан на периферии, а также выделю основных агентов, влияющих на нее в публичном дискурсе.

Репрезентация горожанина в контексте городских и жилищных политик

Фокус в исследованиях на репрезентации горожан показывает, какие группы попадают в политическое, в медийное поле, а какие группы не допущены к участию в принятии решений и публичном обсуждении. Несмотря на декларируемую универсальность и инклюзивность, городские пространства создаются для определенных горожан, наделенных особыми характеристиками: например, велоинфраструктура в городах Индии становится признаком «правильного города» только для среднего класса, но преподносится как общее благо (Anantharaman, 2017). Коммерциализация пространства, очистка города от «неблагоприятных пространств» вроде трущоб и уличной торговли также является следствием того, как девелоперы, власть, эксперты и профессионалы представляют и планируют город в соответствии с возможностями и жизненным стилем этой категории горожан (Fernandes, 2004; Guano, 2004; Kanai, 2010; Nogueira, 2019). В контексте преобразований Москвы и постсоветских городов исследователи говорят о неолиберальной парадигме, построенной на коммерциализации пространства (Golubchikov et al., 2014), и отношении к горожанину как к потребителю.

Возможность быть представленным в дискурсивном пространстве города — важная составляющая влияния на городские процессы. Согласно теории права на город, созданной Анри Лефевром и развитой его последователями, в капиталистическом городе исключенные из символического пространства не могут напрямую влиять на существенные преобразования физической среды, оставаясь вне фокуса городской политики (Levebvre, 1996; Harvey, 2003). Но одного упоминания в городской повестке недостаточно: важно понимать, какими правами наделяются те группы, которые в дискурсе видимы, какие у них существуют конкретные механизмы представленности и включения в городскую политику (Holston, 2009a). В неолиберальной парадигме житель пассивен: горожанин может лишь выражать свое мнение, голосуя за определенные сложившиеся альтернативы (Holston, 1999). Одним из следствий такого подхода становится тренд на символическое присутствие горожан в политике «мягкого городского планирования»: привлечение жителей, учет мнений и партисипаторные практики проектирования (Büdenbender, Zupan, 2017: 309), которые часто используются как подтверждение уже продуман-

ного проекта. Реальный же учет позиции жителей и их возможность влиять на повестку ставится под сомнение (Schatz, Rogers, 2016).

Степень того, насколько разные группы представлены в публичном дискурсе, зависит не только от медиа. Некоторые группы горожан становятся производителями неравенства в символическом пространстве (Ghertner, 2012; O'Dougherty, 1999; Lamont, 1992) и вытесняют другие группы (Anjaria, 2009). Средний класс, который чаще всего выделяется не на основании уровня дохода, а как культурная категория, обусловленная моральными представлениями и практиками, отграничивает себя от других и предъявляет права на городское пространство (Sayer, 2010; Guano, 2004; Anantharaman, 2017). В дискурсах о городской политике эта категория жителей считается «нейтральной» и всеобъемлющей, и представляется важной для поддержания государством: предполагается, что увеличение доли среднего класса будет способствовать увеличению равенства (Ballard, 2012). То, что средний класс приоритизируют, приводит к тому, что он противопоставляется другим категориям горожан. Иные группы исключаются из медийного и/или политического пространства в принципе, криминализируются и становятся маргинальными (Holston, 2009b). В данном исследовании я буду описывать не только то, как репрезентируются горожане в дискурсе о новых районах, но и то, какие группы горожан оказываются исключенными из дискурсивного пространства, на каком основании и как они противопоставляются друг другу.

В контексте жилищной политики вопрос репрезентации горожан встает особенно остро. В таком контексте становится очевидно, какие последствия имеет выделение жителей особого типа жилья в публичном дискурсе в отдельную категорию, как в случае, описываемом в этой статье. Кейс дискурсивного осмысления похожей застройки советского периода в разных странах показывает, что негативное восприятие жителей районов массовой застройки может быть вызвано разными причинами: как страхом перед «чужой культурой», так и боязнью малообеспеченных слоев населения и криминала (Glasze et al., 2012). Однако во всех случаях, которые рассматривают исследователи, важным оказывается дискурсивное исключение жителей из «правильного общества» на основании места проживания, а не только на основании экономических и социальных критериев (Glasze et al., 2012: 1208).

Последствия неравного дискурсивного производства для самих жителей проявляются в политических действиях властей. Центральной для исследователей городского неравенства и периферии является концепция *территориальной стигматизации*, предложенная Ваканом (Wacquant, 2008b). Стигматизация на основании территории — это отдельный вид, который не сводится к стигматизации по признаку класса и национальности (Wacquant et al., 2014). Такая стигматизация в современных городах является одним из главных процессов, формирующих пространственное неравенство и сегрегацию (Wacquant et al., 2014).

Крайним случаем такого процесса становится выделение территорий в особые объекты городской политики: к примеру, производство категории «гетто» в Дании

на уровне государства (Bakkaer Simonsen, 2016). Районы-«гетто» становятся объектами для исправления и включения в городскую среду: решения, принимаемые правительством, дискурсивно производятся на основании того, чтобы не допустить будущей отделенности пространства от «остального» города: в случае Дании этот аргумент построен на необходимости включения мигрантов в образ жизни горожан с «правильным» статусом (Bakkaer Simonsen, 2016). В этой статье я рассматриваю, как обособливаются группы горожан в публичном дискурсе, и становятся ли территории новых жилых районов символически обособленными.

Особенности репрезентации горожан на городской периферии

Прирост городских территорий и в особенности рост периферийных жилых районов привлекает внимание к множеству планировочных, социальных и экономических проблем, в том числе и к тому, как репрезентируются жители периферии. Жилье на периферии в разных странах с разными политическими режимами и с разным уровнем экономического развития часто оказывается одним из самых дешевых, доступных для групп населения, репрезентированных как «нежелательные»: чаще всего это горожане с низким доходом и мигранты. Поскольку это массовое жилье эконом-сегмента, девелоперы стараются минимизировать инвестиции и максимизировать число покупателей, что приводит к возведению высокоплотной застройки. Одним из распространенных сценариев дискурсивного конструирования этих районов является «трущобизация», то есть выделение периферийного жилья в особую, негативно окрашенную и однородную категорию (Holston, 2009b: 249). В случае с парижскими *banlieues*, не имевшее изначально негативных коннотаций слово обозначало периферийные территории города в целом, однако со временем стало ассоциироваться именно с многоэтажным высотным строительством социального жилья на периферии (Dikeç, 2011: 8). В связи с проводимой политикой в отношении мигрантов и криминализации жителей оно стало восприниматься не просто как особый вид периферийной застройки, а как угроза безопасности и сложившемуся социальному порядку «правильных горожан». Периферия перестала быть нейтрально означенной, превратившись в особую нежелательную территорию с маргинализированными жителями.

Из-за особенностей экстенсивного строительства в России новое жилье в городской периферии чаще всего имеет форму жилого комплекса (далее — ЖК) — особо плотной среды, в которой жителям приходится сталкиваться с недостатком инфраструктуры (что относится и к опыту Москвы). Российские новые жилые районы привлекают внимание исследователей: изучается организация жизни в ЖК и жилищная мобильность (Strelnikova, 2018; Полухина, 2017), особая эмоциональная атмосфера и чувства в новой городской среде (Бредникова, Запорожец, 2016) и особый социальный порядок (Шишова, 2020; Чернышева, 2020; Тыканова, Тенишева, 2020; Запорожец, Багина, 2021). Периферийные территории и жилые комплексы образуют специфическое пространство и связанные с ним повседневно-

ные практики: к примеру, перегруженные транспортные связи, ориентированные на долгие поездки большого количества людей.

Периферийные ЖК особо выделяются также и символически: на примере Иркутска показано, что существуют «город» и «пригород» (причем пригород «тихий и спокойный»), а ЖК в таком разделении воспринимаются отдельно и разговор о них идет в крайне негативном тоне: «неблагополучные районы новостроек на окраине» (Григоричев, Пинигина, 2013). Высотность новых районов — особая черта, которую подчеркивают горожане, говоря о них как о «гетто» (Желнина, 2019). С этим свойством связываются многие проблемы новых районов: неопределенность границ района, высокая плотность проживания, невозможность знать всех соседей в лицо (Чернышева, 2019). Хотя «гетто» не существует в официальном дискурсе и городской политике, такая репрезентация и критика влияет на жизнь новых районов и не способствует решению существующих проблем, а скорее их усугубляет (Чернышева, 2019).

Агенты, влияющие на репрезентацию горожан

Репрезентация горожанина и дискурсивное производство его роли в городских процессах происходит коллективно: не только в медиа, документах власти и так далее, но и в повседневных взаимодействиях. Однако некоторые акторы, как отмечается во многих исследованиях, имеют особенно сильное влияние.

Роль власти отдельно акцентируется в исследованиях репрезентации горожан. Именно агенты власти задают категории горожан, для которых необходима определенная политика, а также определяют показатели, по которым она в дальнейшем оценивается (Wacquant, 1996). Государство не только является главным агентом производства политических решений, но также влияет на создание поля, которое предшествует закреплённой официально политике. Так, политике, направленной на устранение бедности и криминала, предшествует создание образа о криминальности пространства, о том, какие группы населения становятся катализатором этого процесса (Dikeç, 2011: 8). На производство горожан в дискурсе влияют как местные власти, городская администрация, определяющая вектор развития города, так и власти разного уровня, устанавливающие общегосударственную политику. СМИ в таком случае выступают главной площадкой для освещения и закрепления представлений о горожанах, где рассказывается об увеличении преступности, успехах полицейских мер или об очередном конфликте на этих особо означаемых территориях.

Экспертное знание формирует представление о желаемом направлении развития города, представляет оценку городских политик (Bocking, 2006). В городском пространстве эксперты разного рода (планировщики, архитекторы, медиаперсоны, исследователи) оказываются одним из главных акторов, формирующих повестку (McArthur, Robin, 2019). То, как эксперты дифференцируют горожан, какую роль отводят разным категориям в городском развитии, каким проблемам уделя-

ют внимание, становится частью городской повестки. Бизнес также важный актор при репрезентации горожан в дискурсе: помимо того, что инвестиции/их отсутствие влияют на престижность района и повседневную жизнь горожан (Slater, Hannigan, 2017), реклама жилых комплексов дискурсивно создает образ определенного покупателя, ориентируясь на желаемую целевую аудиторию. В этой статье я сосредоточусь на этих трех важных агентах публичного дискурса: властях, критическом дискурсе, представленном экспертным сообществом, и девелоперах.

Дискурс-анализ: городской контекст и выбор источников

При исследовании дискурса о жителях периферийных районов исследователи в основном используют два подхода. Одни сосредотачиваются на репрезентации в медиа, на дискурсе политиков, власти и прочих влиятельных акторов, вторые показывают разницу между дискурсами «извне» и «внутри», сравнивают дискурс в медиа и дискурс, производимый самими жителями, раскрывают противоречия и показывают влияние дискурсов друг на друга (Dikeç, 2011; Jensen, Christensen, 2012). В данном исследовании, придерживаясь первого подхода, я рассмотрю влияние крупных агентов на дискурс о новых жилых районах. Исследования показывают, что в теории стигматизации влияние политики и властей может быть не так сильно, как предполагалось Ваканом (Jensen, Christensen, 2012: 75). Внутри районов также производятся дискурсивные смыслы, которые влияют на появление сообществ (Dikeç, 2011). Однако можно предположить, что в текущей политической и институциональной ситуации на принятие решений относительно новых районов оказывают влияние в основном власть и девелоперы. Необходимо рассмотреть, как принимающие решения акторы формулируют представления о будущем и настоящем жителей районов, поэтому в этом исследовании стоит говорить не о публичном дискурсе (public discourse), а о его части (Keller, 2011: 232). Рассмотрение этой части публичного дискурса позволит увидеть исключаемые из символического пространства группы, категории, которые умалчиваются.

Наш анализ источников следует традиции, предложенной Мустафой Дикешем в исследованиях о *banlieue* (Dikeç, 2011). Используя доступные медиаисточники и высказывания властей, Дикеш описывает, как артикулируются проблемы в городской повестке, связанные с периферийными районами, и как меняется дискурс вокруг них. Применим этот подход к анализу публично доступных источников, я сосредоточусь на материалах за 2017–2019 годы: период, когда увеличивается количество высказываний о новых жилых районах как о «гетто», неблагополучной и некомфортной городской среде. Для исследования было отобрано более 30 материалов о новостройках и новых районах Москвы разного характера, произведенных тремя агентами дискурса: критическими медиа, московскими властями, девелоперами. Под дискурсивным высказыванием понимается не только текст, но и видео и изображения. Материалы были отобраны по двум принципам: 1) сочетание длины материала и смыслового содержания: материалы посвящены теме

нового строительства и новых районов, при этом тема является главной, а не побочной. Вне зависимости от формата выбирались материалы с развернутым нарративом (насыщенное повествование, посвященное новым районам); 2) учитывалась специфика каждого агента для выделенной части публичного дискурса.

Тематически к дискурсивному полю о новых жилых районах я отношу материалы, которые в большей степени посвящены московским районам, построенным недавно, и новостройкам бизнес- и эконом-класса, которые чаще всего расположены на периферии города. Принадлежность к этому дискурсивному полю я определяю по главным словам, которые употребляются при описании этих объектов: чаще всего это «новое строительство» («новостройки»), «новые районы», «многоэтажки».

Инструментарий «Медиалогии», использованный для анализа общего тона высказываний вокруг новых районов, позволяет рассмотреть, какие СМИ имели наибольшее влияние на формирование критического тренда. В данном случае, рассматривая *критический дискурс* (тренды упоминания в медиа слов «человейники» и «гетто» относительно новостроек), я выделила наиболее влиятельных акторов по следующим критериям: количество материала по теме и количество репостов и лайков.

Важными агентами, образующими выделенную часть публичного дискурса, становятся власти. Высказывания *московских властей* носят специфический характер. Во-первых, важна площадка высказывания: главная информация содержится на сайтах, принадлежащих мэрии, основная из которых, площадка Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы¹ (далее — Комплекс): именно там информация о будущих и осуществленных действиях структурируется с точки зрения городских властей. За редким исключением прямые высказывания власти (комментарии или интервью) выходят на площадках других СМИ. Агенты СМИ, производящие тот же властный дискурс, чаще всего не декларируют свою аффилиацию². Тем не менее такие источники я также считаю принадлежащими к дискурсу власти. Во-вторых, высказывания происходят от лица конкретного представителя власти — мэра Москвы. Остальные акторы (заместители по различным вопросам) представляются как члены команды, действующей под тотальным руководством мэра.

Третий агент — *девелоперы*, работающие с сегментом эконом-класса. Среди их рекламных материалов были отобраны все (наружная реклама, диджитал-форматы, материалы с сайта застройщика), доступные публично за последние четыре года. Отбор производился по сайтам самых крупных девелоперов как с точки зрения объемов строительства, так и с точки зрения рекламного поля: ГК «ПИК», А101, INGRAD. Полный список источников можно увидеть в конце статьи.

1. <https://stroimsk.ru/>

2. К примеру, передачи на Москве 24 или заявления ТАСС явно апеллируют к тем же понятиям и точкам зрения, что и представленные на сайте Комплекса.

Категоризация жителей: аналитический инструментарий

Исследование фокусируется на том, как производится знание о горожанах, живущих в новых районах. Следуя логике символического интеракционизма, я изучила, как происходит коллективное определение понятия, категоризация знания и его структурирование (Keller, 2011). Для этого я выделила несколько аналитических направлений, по которым можно описать производство категорий жителей.

Агентность. Рассмотрение этой ключевой категории с точки зрения того, как представлены группы горожан в публичном дискурсе, поможет определить, насколько каждая выделяемая группа жителей наделяется правом на действие. Правом на предъявление претензий, отстаивание своих экономических и политических прав может наделяться в дискурсе одна категория жителей, но не наделяться другая, вне зависимости от официальной регистрации в городе.

Темпоральность. Темпоральность — специфическая категория для анализа, которая обычно не выделяется в исследованиях репрезентации горожан или территориальной стигматизации. Я выделяю эту категорию из-за особенностей контекста, в котором существуют горожане новых жилых районов. Новые районы и новостройки — символ развития города, и то, в каких категориях о них думают производители дискурса, отражает мысли о развитии города в целом. К примеру, описание новых районов в категориях будущего времени говорит о том, что дальнейшая судьба района и планы на его развитие занимают большую часть обсуждения. Если новостройки — знак будущего города и его траекторий развития, то какое место занимают в этом процессе горожане? И на какие процессы, происходящие в настоящем времени, обращают внимание в дискурсе? Ответы на эти вопросы позволяют также увидеть, как думают агенты о настоящем, прошлом и будущем городского развития в целом.

Включенность — невключенность. Анализ существующих способов разграничения пространства новых районов и их жителей от «основных» городских территорий дает возможность установить механизмы различения жителей. Такой фокус позволит увидеть, рассматриваются ли жители новых районов как особая категория горожан, отличных от тех, кто живет на других территориях, или же нет. Районы могут подвергаться символической, инфраструктурной и политической изоляции (Wacquant et al., 2014: 1273), а жители стигматизируемых и периферийных районов означаются и акцентируются как «другие» (Brattbakk, Hansen, 2004: 324–326). Тем не менее основание у этого отделения может быть разное: инфраструктурные различия, сегрегация, национальные различия.

С помощью параметров, описанных выше, я выделяю четверых персонажей — категорий жителей, существующих в дискурсе о новых районах Москвы. Категории расположены начиная с самых пассивных до самых активных. Первая категория специфична для дискурса власти, вторая и третья свойственны всем агентам, четвертая — критическому дискурсу.

Горожанин как ресурс: человеко-метры

Во властном дискурсе выделяется специфическая категория жителей, которые видятся просто как одна из частей города, обезличенные единицы. Эти «единицы» в такой же степени поддаются квантификации и контролю, что и инфраструктура и прочие материальные городские объекты, создаваемые по инициативе и под наблюдением власти. Горожане — ресурс, которым она распоряжается: распределяет их по жилым ячейкам и округам, использует для получения налоговой прибыли и инвестиций, наращивания человеческого капитала города.

Горожанин как ресурс риторически не отличается от других показателей, используемых властью. В этом специфическом дискурсе житель присутствует в той же логике, что и школы, больницы, дороги, транспортные мегапроекты: как часть наполнения территории, которая регулируется властью. «Население» — масса в пространстве, которая может меняться в объеме («прирост», «увеличение») и поддается контролю:

По его [С. С. Собянина. — Д. В.] мнению, новые спальные районы могли бы привести к транспортным и экологическим проблемам. Кроме того, резкое падение цен на жилье усилит приток населения из других регионов. (Москва 24)

Такое отношение обуславливается общей логикой коммуникации органов управления с обществом, которая нацелена на решение двух основных задач: показать, что запланированные показатели достигнуты, и обозначить центральную роль власти в этих достижениях. Представители городской власти говорят о новых районах и их жителях либо в форме отчетов о проделанной работе, либо в форме комментариев о текущей ситуации на различных медиаплатформах. Власть, которая присутствует в публичном дискурсе как единый агент («команда Собянина»), использует горожан в качестве обезличенных иллюстраций к выполненным планам. Житель — как единица в больших числах, фигурирующих на страницах отчетов и медиапрезентаций, или как лицо в массе других таких же лиц на фотографиях — становится подтверждением «правильности» городских программ и успеха решений мэра.

В дискурсе, производимом властью, горожане приобретают символический вес только в рамках большой совокупности. Но даже в таком случае их вес не превышает вес отдельных высказываний (оценок, обещаний, критики и т. п.) представителей власти. Приведенная ниже фотография (рис. 1) демонстрирует характерную систему отношений, сложившихся между главой города и жителями. Мэр один занимает почти всю правую половину фотографии (лишь где-то на заднем плане присутствуют другие чиновники), жильцы новостроек, взгляды которых направлены на мэра, собраны в одну группу на левой стороне кадра. Одна из женщин по центру жмет руку Собянину, благодаря его от лица всех местных жителей за открытие новой больницы.



Рис. 1. Мэр С. С. Собянин на открытии больницы в районе Некрасовка.
Источник: сайт Комплекса

Представление о горожанине как ресурсе также связано с политико-экономической ориентацией сегодняшней власти на экстенсивное развитие Москвы: присоединение, увеличение, разрастание. Отчеты и репортажи повествуют об огромных масштабах строительства, высоких темпах ввода в эксплуатацию, больших денежных вливаниях. К примеру, на отдельной странице «Новая Москва» на сайте Комплекса пользователь сразу же узнает о том, что «в Новой Москве открыли 8 станций метро и свыше 70 социальных объектов, построили более 200 км дорог. Инвестиции в строительство составили 1,4 трлн рублей». Если жители и присутствуют в этих разделах, то только в качестве расчетного показателя:

Согласно утвержденным проектам территориальных схем, к 2035 году в Новой Москве будут проживать 1,5 млн человек, создан 1 млн рабочих мест. Общий фонд недвижимости ТиНАО с учетом существующих и строящихся объектов составит около 127 млн кв. метров. (Сайт Комплекса, раздел «Что сделано»)

Горожанин как объект здесь стоит в том же ряду, что и квадратные метры жилья. Акцент в таких сообщениях делается не на качестве построенного и не на формах использования нового пространства, а на простом увеличении количества объектов. В связи с этим для властного дискурса столь важно конструировать представление о будущем, а не только и не столько о настоящем новых районов. Даже если речь идет о достигнутых результатах, в рассказе о них важны запланированные в будущем изменения и приросты показателей.

Наиболее значимой территорией в соответствии с логикой экстенсивного развития становится Новая Москва. Как правило, именно об этой части города и людях, которые туда заселяются, говорит «команда Собянина». Эти территории важны не только своим масштабом, демографическим и экономическим потенциалом, но и тем, что в них, по словам власти, создается новая городская среда, отличная от старых (то есть возведенных при другом руководстве) «спальных районов». Однако несмотря на утверждение о качественных различиях, все конкретные аргументы, фигурирующие в дискурсе, касаются лишь количественных характеристик масштаба.

Таким образом, главным актором и источником развития оказывается власть, а горожанин не имеет собственной агентности, он лишь подчиняется чужим планам. Заметим, что такое понимание горожан (лишенных агентности, объединенных в единую массу) актуализируется в контексте новых районов, но одновременно с этим в других ситуациях власть может апеллировать к «активному гражданину» или «заботиться» об «увеличении возможностей» столичных жителей, которых можно добиться с помощью реновации. Подобное представление о горожанах не ново: схожая риторика использовалась в отношении жителей Советского Союза, существующего в терминах плановой экономики. Интересным представляется то, как вписывается такой подход к описанию горожанина в новые рыночно-потребительские отношения.

«Правильный» горожанин как идеальный тип: «средний класс»

В дискурсах власти, девелоперов и даже критически настроенных экспертов житель новых районов изображается как часть весьма гомогенного сообщества. Этот воображаемый горожанин создает «запрос» на комфортную городскую среду, который с успехом удовлетворяется властью и некоторыми девелоперами. В идеальном типе горожанина можно распознать собирательный портрет представителя «среднего класса»: это благополучные и в достаточной мере обеспеченные люди, чаще всего молодого и среднего возраста, с детьми, а также их старшие родственники. Так горожанина описывают прежде всего исходя из его покупательной способности, потребительского выбора и жизненного стиля, но также подразумевается позитивный моральный облик горожан. Такой образ горожанина часто присутствует в рекламных материалах девелоперов, он улыбается и доволен жизнью.

В рекламных материалах акцент делается не только на дешевизне жилья. Большая символическая ценность придается социальной среде новых районов. К примеру, у компании INGRAD в 2018/2019 году был слоган «Центр — там, где я в своем кругу». ГК «ПИК» использует образ молодой пары с собакой (рис. 2), который должен иллюстрировать представления о «хороших людях», заселившихся в этот жилой комплекс.

**«В нашем подъезде
как будто собрались
все хорошие люди».**

Вера Щербакова, 32 года
Москва, Бунинские луга



ПРОЕКТ РЕКЛАМНОГО ПОДЪЕЗДА ПИК. ЭКСТЕРЬЕРНО-ИНТЕРЬЕРНОЕ РЕШЕНИЕ

Рис. 2. Рекламная кампания ГК «ПИК», 2018

Таким образом девелоперы внушают мысль, что покупка жилья эконом-класса в конкретном ЖК — это «правильный» потребительский выбор. Совершая его, горожанин оказывается окружен людьми с тем же социально-экономическим статусом. Статус данной интерпретации тесно связан с «хорошими» моральными характеристиками местного сообщества. Однако можно предположить, что рекламируя новые районы через особое чувство общности их жителей, основанное на потребительском выборе и материальном положении, девелоперы создают предпосылки для возникновения там «закрытых» сообществ (Ülkü, Erten, 2013).

Главная символическая функция горожанина, таким образом, — это легитимация или, наоборот, де-легитимация возникающей городской среды и агентов, ее создающих. В материалах городских властей и девелоперов идеальный горожанин выражает удовлетворенность «правильной» и «подходящей» средой:

Тут нет такого, что ты противопоставляешь себя миру. Наоборот — более открыто себя чувствуешь. Ты переезжаешь и видишь вокруг себя такую удобную инфраструктуру, и это отражается на твоих мыслях, на твоём образе действий. (Артём Кип, житель ЖК от ПИК)

В критическом дискурсе агенты оперируют той же гомогенной категорией жителей, чтобы описать среду, которая сделана «как нужно» или «как не нужно» для предполагаемого «среднего класса»:

Новый район не должен состоять из одинаковых человеичников, в квартале должно быть жилье для среднего класса и даже квартиры с признаками элитарности. В рамках квартала вполне можно встроить высотку с жильем для молодых семей на первое время, дом средней этажности с балконами для среднего класса и даже дома-таунхаусы. (Аркадий Гершман, блог)

Такой житель становится главным героем в городском развитии через пространственные практики девелоперов и власти. Его изображение показывает усредненного представителя определенного класса (Fernandes, 2004). Этот усредненный горожанин выступает главным персонажем городского развития, для которого должна создаваться среда: образованный, молодой средний класс видится главным драйвером развития города и экономики (Ballard, 2012: 567).

Для создания этой дискурсивной категории важна темпоральность. Новые, не вполне сформировавшиеся и развитые городские территории (а зачастую еще полностью отсутствующие, поскольку ЖК начинают продаваться при начале строительства) в воображении их создателей и публики становятся более понятными и реальными, когда описывают их благополучную социальную среду. Возникает представление о новом районе как об особой части в городской структуре, обладающей своей атмосферой и общностью местных жителей. Новые районы становятся включенными в городскую территорию, но представленными особо. Житель в данном контексте оказывается обобщенным актором, которого ожидает счастливое будущее на этой территории. Это счастливое будущее «хороших» горожан в рамках такой дискурсивной конструкции соответствует стандартам жизненного стиля воображаемого «среднего класса».

Горожанин как экономический агент: потребитель

Третий способ категоризации горожан, так же как и предыдущий, строится вокруг потребительского выбора, но в данном случае акцент делается не на социальной, а на экономической составляющей. Купивший или собирающийся покупать квартиру в новостройке горожанин рассматривается как экономический агент, для нужд которого регулярно публикуются материалы о стоимости и качестве объектов недвижимости, ходе строительства и надежности продавца. Взгляд на горожанина как на потребителя автоматически предполагает ограниченный набор действий, который горожанину может быть доступен, — его агентность реализуется сугубо в рыночной логике.

Житель описывается как рациональный агент, который «голосует» финансово за определенный тип недвижимости. Медиаобзоры рынка ориентированы на людей, собирающих и сопоставляющих полную информацию и ориентирующихся на рынке, принимающих обоснованное решение. Единственное, чем ограничен горожанин в своем выборе — ценовые барьеры. Во властном дискурсе житель скорее «голосует» за новое жилье:

Выбор покупателя между Подмосковьем и Новой Москвой чаще всего делается в пользу ТиНАО. Ведь за те же деньги покупатели получают большую по площади квартиру и бонус в виде статуса столичного жителя. (Презентация «Итоги работы строительного комплекса г. Москва», сайт мэра Москвы)

Здесь персонаж «горожанин» изображается как рациональный покупатель: сравнивая варианты, он выбирает наиболее выгодную покупку по соотношению цена — качество — дополнительные преимущества. При этом статус столичного жителя подразумевает в первую очередь социально-экономические преференции, а не гражданско-политический статус, и приравнивается к прочим формам экономического капитала. Власти считают такого жителя актором, который оценивает комфортность проживания на новой территории и ее насыщенность. К примеру, мнение жителей, представленное в нескольких опросных показателях, позволяет подкрепить утверждение о том, что новые территории благодаря благоустройству развиваются в правильном направлении (рис. 3).



Рис. 3. Слайд об оценке жителями новых территорий на Мосстрое, выполненный на основе данных компании ВЦИОМ

Однако не во всех нарративах горожанин-потребитель совершает правильный выбор, приобретая квартиру в новом районе: в дискурсе критически настроенных экспертов такой персонаж регулярно сталкивается с последствиями своего неверного шага.

В критическом дискурсе относительно новых районов качество ЖК, и особенно их среды и инфраструктуры, оцениваются негативно. Их называют «много-

этажками», «бетонными коробками», «человейниками», «гетто». Эти метафоры указывают на то, что новые районы эконом-класса, по мнению ряда экспертов и части горожан, лишены комфорта и в целом свойств настоящего дома, они однотипны, не прочны, в них проживает слишком много людей, они отрезаны от основной территории города, его социальной и транспортной инфраструктуры.

Горожанин-потребитель в силу своей ограниченной рациональности, а не объективных социально-экономических причин или осознанного выбора, оказывается в материальной среде, которую представители критической позиции считают для него неподходящей. Именно исходя из материальности и эстетических качеств новостройки становятся стигматизированными:

Все мы знаем площади, например, у IKEA. Некрасиво, когда большой пустырь заставлен автомобилями. Вот так выглядят дешевые высокоэтажные районы. (Ирина Ирбитская)

В данной интерпретации новые жилые районы оказываются изолированными от города не только вследствие транспортных и инфраструктурных проблем, но и из-за того, что они по своим визуальным и материальным характеристикам не вписываются в сложившуюся городскую среду (Jensen, Christensen, 2012). Основание для выделения горожанина-потребителя — покупательская способность, свобода потребительского выбора (Ballard, 2012), однако такой выбор для этой группы горожан в критическом дискурсе подразумевает иную, благоустроенную среду (Fernandes, 2004; Guano, 2004).

Горожане-потребители не наделяются агентностью, достаточной для изменения проблемной ситуации. То, что может сделать потребитель, укладывается в рыночную логику: купить или продать собственность, сдать в аренду, сделать невыгодную покупку, потерять в цене от стоимости квартиры. У таких горожан нет способности к кооперации и коллективным действиям, они не могут формулировать требования и воздействовать на агентов власти и капитала для разрешения ситуации. Даже в случае, когда эксперты упоминают борьбу жителей района с несправедливостью, они описывают это в терминах дефицита информации и нарушенного контракта. К примеру, застройщик или власть обещали определенное количество инфраструктурных объектов, но не сдержали свое слово, в силу чего горожане оказались в роли обманутых покупателей или неудачливых инвесторов. Экспансия рыночной логики исключает вопрос о качестве жилой застройки и развитии городской среды новых районов из области политического действия горожан как избирателей.

Таким образом, эта категория жителей наделяется только экономической агентностью. Во властном и девелоперском дискурсе политическая агентность не представляется возможной, а в критическом дискурсе — не подразумевается. Житель, таким образом, обитает на особо выделяемой территории — будь то с особенным благоустройством или особенными проблемами. Однако даже из-за изменений,

которые важны для каждого агента по-разному, такой житель не становится изолированным и обладает правом перемены места жительства.

«Неправильные» горожане в «неправильной» среде

В представлениях о будущем развитии новых районов в критическом дискурсе большую роль играют особые категории жителей, которые рассматриваются отдельно от остальных и исключаются из городского сообщества. Эти категории — мигранты, арендаторы, горожане с низким доходом и резиденты социального жилья — обладают специфической агентностью, но фактически оказываются лишены права на город. Они описываются только в дискурсе критических медиа и противопоставляются описываемым девелоперами и властями.

Говоря о проблемах и негативном сценарии развития новых районов, критически настроенные эксперты выделяют два набора факторов. В первый входит то, что связано с материальной составляющей: высокая плотность населения, пространственная изолированность, недостаток инфраструктуры и благоустройства. Во второй — то, что касается социального наполнения района и постепенного замещения «правильных» горожан-потребителей среднего класса, разочарованных в своей покупке, на иных жителей, чье появление, согласно прогнозам экспертов, приведет к окончательной и бесповоротной деградации района.

Негативный сценарий развития новых районов в перспективе 5–10 лет представляется в критически настроенных медиа как неотвратимый. Рассказывая о возможности скорого обветшания жилого фонда и криминализации местного населения, эксперты ссылаются на аналогичные, по их мнению, случаи из истории массовой жилой застройки на Западе. При этом упоминаются лишь те примеры, где ответом на возникшие проблемы были расселение и снос всего квартала. Жители при этом описываются как равнодушные, не заботящиеся о частном и публичном пространстве. Наиболее показателен в этой связи статус арендаторов, которым отказывают в праве на принятие решений, поскольку они не являются собственниками. По мнению как публичных экспертов, так и своих соседей-собственников, арендаторы не имеют стимулов для инвестирования в территорию сил и ресурсов. Это лишает их легитимной возможности участвовать в жизни дома и района (Шомина, 2010). Экспертное сообщество придерживается представления о том, что право собственности практически пожизненно связывает человека с территорией и заставляет вкладываться в ее развитие, а присутствие большого количества арендаторов влечет за собой халатное отношение и упадок среды:

Казалось бы — ну приехали, ну арендовали жилье. Проблема в том, что для арендаторов это жилье — временное. Оно им не принадлежит, и относятся они к съемной квартире соответственно. Приезжих не волнует развитие локации, они ведь приехали сюда жить не навсегда, а на время, поэтому ду-

мать об уюте в доме, о подъездах с цветочками на этажах — это не про них. (Новострой-М, сайт-агрегатор недвижимости)

Мигранты и люди с низким доходом представляют, согласно этой логике, другой тип угрозы — негативное изменение потребительской культуры района и паттернов поведения в публичных местах, которые больше не будут соответствовать стандартам воображаемого среднего класса. По мнению критиков, именно люди с низким доходом и мигранты становятся причиной «геттоизации», потому что они демонстрируют спрос на инфраструктуру особого рода, кардинально отличающуюся от той, в которой испытывают потребность «хорошие» горожане. Отсутствие приемлемых для экспертов потребностей у этих категорий жителей рассматривается не как следствие конкретных структурных ограничений их социальной позиции, а как «естественное» и неотъемлемое отличие:

Приезжают в эти районы самые неблагополучные слои населения. То есть это гастарбайтеры, самые бедные люди — просто это самое дешевое арендное жилье, которое есть сейчас в городе. <...> У них здесь уже свой мир — свои парикмахерские, свой бордели. (Илья Варламов, блогер)

Такие категории в дискурсе о новых жилых районах не могут считаться правильными горожанами, поскольку они не имеют важного в этом контексте типа агентности — экономической. Более того, они не имеют права на свою среду и инфраструктуру, поскольку она вредит надлежащему образу города. Они лишены средств самостоятельной публичной репрезентации в дискурсивном пространстве: если в критическом дискурсе о них говорят как о причинах «геттоизации», то во властном дискурсе их нет вообще, там выделяют лишь горожан-потребителей и людей, «наделенных престижным статусом москвича». Таким образом, в городском символическом пространстве появляются «не-горожане», лишенные права на город и собственный голос, изолированные от остального социального пространства.

Несмотря на то что в Москве можно выделить категории горожан, очевидно подверженных стигматизации, они не являются главными и единственными жителями этих территорий. В медиа конкретные районы обозначаются как «гетто», но это название пока не стало общеупотребительным, конвенциональным и полностью нормализованным. В случае категории «не-горожан» важно отметить, что эти процессы также нельзя назвать уникальными для новых районов: сходные исключения происходят и в других контекстах коллективной городской жизни, где эти категории горожан оказываются.

Заключение

Цель этой статьи состояла в том, чтобы реконструировать то, как репрезентируются различные категории горожан в дискурсивном пространстве Москвы. Для этого я проанализировала часть публичного дискурса о новых жилых районах преимущественно эконом-класса. Новые районы рассматривались как «социальная лаборатория», где во взаимодействии с городской властью, капиталом, медиа и экспертными сообществами возникают и оформляются представления о горожанах. Образующееся вокруг них смысловое поле оказывается крайне противоречивым: с одной стороны, они ассоциируются с дискурсом о городском развитии, с другой — с дискурсом о деградации. В результате качественного анализа выборки текстовых и визуальных материалов, произведенных тремя ключевыми агентами дискурса (представителями власти, девелоперами, экспертами и журналистами критического дискурса), я выделяю четыре категории горожан.

Первая категория — «человеко-метр». Горожанин — это единица, которая фигурирует в описании плановых показателей и отчетах об успешной реализации мер городского развития наряду с квадратными метрами, объектами и прочими цифрами. Единицы горожан объединяются в совокупность — население, которое, подобно городской территории, подлежит контролю и увеличению в объеме. Эта категория горожан полностью лишена агентности и рассматривается как ресурс городской власти и девелоперов. Вторая категория — идеальный горожанин среднего класса. Она скорее иллюстративна и изображает гомогенное сообщество молодых людей с хорошим достатком и схожим стилем потребления. Такой горожанин дополняет образ «комфортной городской среды». Третья категория — горожанин-потребитель. Этот персонаж оперирует исключительно в экономической логике, хотя его рациональность часто оказывается ограничена. Он может купить, продать или сдать недвижимость, но не способен на индивидуальные и тем более коллективные действия по трансформации своего жизненного пространства, а также не может предъявлять политических требований к городской власти и капиталу. Четвертая категория — «неправильные» горожане. В дискурсивном пространстве эта категория жителей (арендаторы, люди с низким достатком, мигранты) лишена права на город. При этом у них остается возможность действовать, но они наделены негативной агентностью. Так, они способны воздействовать на окружающую городскую среду, однако это, с точки зрения производителей дискурса, ведет лишь к отрицательным последствиям. Этот персонаж появляется в любых новых районах эконом-класса вне зависимости от их местоположения. Разговор о «неправильных» горожанах чаще ведется в терминах будущего и приближающейся угрозы. Те пространства, которые населяет эта категория «негорожан», воображаются как изолированные и оторванные от остального города.

Рассматривая группы горожан в соотношении друг с другом, я показываю, как на одном на первый взгляд гомогенном пространстве сосуществуют разные категории, наделяемые разной агентностью и возможностями. Каждая категория

жителей в дискурсе располагает ограниченными возможностями действия, независимо от того, кто из агентов дискурса о ней говорит. Проблемы новых районов, согласно этой логике, могут быть решены только властью и девелоперами, на которых жители не имеют влияния. Взгляд на конструирование потребителя, воображаемого среднего класса, для которого строятся новые районы, позволяет увидеть не только исключенные категории жителей, но отсутствие конкретности, чрезмерную обобщенность изображения среднего горожанина, ради которого затеваются программы жилищной политики и появляются конкретные жилые комплексы. Таким образом, горожанам нечасто предлагается возможность по-настоящему публичного высказывания и демонстрации собственной агентности.

В медиа освещаются проблемы новых районов — к примеру, инфраструктурные. В символическом пространстве акторы подходят к решению этих проблем по-разному. Власть присваивает любые позитивные действия себе, а негативные — специфике рынка. Эксперты в критических медиа, рассматривая существующие политические действия жителей — протесты, обращения в суд, — не придают им большого веса и отрицают их вклад в изменение пространства и инфраструктуры районов. Имеющие реальные политические последствия действия жителей (например, создание местного движения за экологию, активисты которого подают на находящиеся около района заводы в суд) не фигурируют в доминирующем дискурсе как значимые. Отказывая жителям в политической агентности, производители дискурса не освещают их влияние на изменения в районах, а наделяют правом определять судьбу территорий и их жителей лишь крупных акторов — представителей власти и капитала.

Выражение благодарности

Автор выражает благодарность компании «Медialogия» за предоставленный доступ к архиву СМИ и Варваре Кобыще, Оксане Запорожец и команде Лаборатории социальных исследований города за огромную (и постоянную) помощь в работе над текстом.

Источники

Статьи в СМИ

Борисова Е. (2017). Некрасовка станет мини-городом с развитой инфраструктурой. URL: <https://stroj.mos.ru/articles/kak-razvivaetsia-niekrasovka> (дата доступа: 30.12.2019).

Велесевич С. (2017). Выбираем район: что нужно знать о Некрасовке перед покупкой квартиры. URL: <https://realty.rbc.ru/news/58e63dfe9a7947595e12ddd> (дата доступа: 30.12.2019).

- Вести.Ru (2017). Градостроительная ошибка: Подмосковье превращают в гетто. URL: <https://news.rambler.ru/other/37909875-gradostroitel'naya-oshibka-podmoskove-prevrashchayut-v-getto/?updated> (дата доступа: 30.12.2019).
- Жидкин В. (2017). Нам не нужен город в виде огромного спального района. URL: <https://vm.ru/news/442883.html> (дата доступа: 30.12.2019).
- Зиганишина И. (2019). По-фински не получается: почему Россия обречена на жизнь в «человеюниках». URL: <https://newizv.ru/news/society/06-01-2019/po-finnski-ne-poluchaetsya-pochemu-rossiya-obrechena-na-zhizn-v-cheloveynikah> (дата доступа: 30.12.2019).
- Китаева А. (2019). Поворот не туда: В этих районах Москвы никто не хочет жить. Что с ними не так? URL: <https://lenta.ru/articles/2019/03/29/msk/> (дата доступа: 30.12.2019).
- Кракова С. (2019). Бетонный ад: почему «человеюники» расползаются по Москве. URL: <https://www.gazeta.ru/business/2019/04/03/12281941.shtml> (дата доступа: 30.12.2019).
- Ляув Б. (2018). Марат Хуснуллин: «Строить высотные дома городу невыгодно». URL: <https://www.vedomosti.ru/politics/characters/2018/12/04/788393-stroit-doma-nevigodno> (дата доступа: 30.12.2019).
- Мерцалова А. (2018). Районы с темным будущим. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3772714> (дата доступа: 30.12.2019).
- Мягкова М. (2019). Сервис «Авито» заметил рост цен на новостройки по всей России. URL: <https://realty.rbc.ru/news/5ca7192d9a7947f3adc83boe> (дата доступа: 30.12.2019).
- Новострой-М (2018). Гетто-районы Москвы: причины появления «человеюников» и маргинализации локаций. URL: https://www.novostroy-m.ru/statyi/gettorayony_moskvy_prichiny_poyavleniya (дата доступа: 30.12.2019).
- Новые известия (2018). «Человеюники» без человечности: не только в Подмосковье жалуются на новостройки. URL: <https://newizv.ru/news/society/14-02-2018/cheloveyniki-bez-chelovechnosti-ne-tolko-v-podmoskovie-zhaluyutsya-na-novostroyki> (дата доступа: 30.12.2019).
- Перевощикова М. (2019). Девелоперы застраивают города России «новыми хрущевками». URL: <https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/02/22/751509-zastraivayut-goroda-novimi-hrushevskami> (дата доступа: 30.12.2019).
- Правительство Москвы (2017). Программа реновации жилищного фонда в городе Москве. URL: <https://www.mos.ru/programmarenovacii.pdf> (дата доступа: 30.12.2019).
- Расулов В. (2019). Новая Москва набирает обороты. URL: <https://www.kommersant.ru/doc/3953097> (дата доступа: 30.12.2019).
- Сайт Сергея Собянина (2019). Программа «Мой район». URL: <https://www.sobyanin.ru/districts> (дата доступа: 30.12.2019).

- Сафонова К. (2017). Кто мы такие, чтобы требовать большего. URL: <https://meduza.io/feature/2017/09/22/kto-my-takie-chtoby-trebovat-bolshego> (дата доступа: 30.12.2019).
- Стройкомплекс Москвы (2019а). Жилье в Новой Москве. URL: <https://stroimsk.ru/new-moscow/stroitelstvo-zhilya> (дата доступа: 30.12.2019).
- Стройкомплекс Москвы (2019б). Строительство жилья. URL: <https://stroimsk.ru/zhilyo> (дата доступа: 30.12.2019).
- ТАСС (2019). Собянин: подробности программы «Мой район» появятся на портале мэрии в ближайшие дни. URL: <https://tass.ru/obschestvo/6224893> (дата доступа: 30.12.2019).
- Чернявская А. (2017). Развитие Москвы: итоги шести лет. URL: <https://stroimsk.ru/articles/moskva-mieghapolis-dlia-zhizni> (дата доступа: 30.12.2019).
- gre4ark (Аркадий Гершман) (2019). Главная опасность новых районов. URL: <https://gre4ark.livejournal.com/665263.html> (дата доступа: 30.12.2019).
- Metrium (2014). Где в Москве жить хорошо? URL: <https://www.metrium.ru/news/detail/gde-v-moskve-zhit-khorosho-ili-obzor-kachestva-zhizni-po-okrugam-stolitsy/> (дата доступа: 30.12.2019).
- varlamov (Илья Варламов) (2017). Почему в ближайшее время придется снести половину России. URL: <https://varlamov.ru/2574636.html> (дата доступа: 30.12.2019).

Видеоматериалы

- ГК А101 (2018). Живые районы от А101. URL: https://youtu.be/Lc_oZiSrEDg (дата доступа: 30.12.2019).
- ГК А101 (2019). Квартиры от А101 с кухней-гостиной. URL: <https://youtu.be/NQUJqST733s> (дата доступа: 30.12.2019).
- КАКНАДО (2017). ЛСР | Рекламный ролик. URL: <https://kaknado.com/video/696> (дата доступа: 30.12.2019).
- Квартирный Контроль (2017). Обзор ЖК «Аннино парк». Окружение, планировки, архитектура, технологии. URL: <https://youtu.be/sqIZ-pXwbK8> (дата доступа: 30.12.2019).
- Москва 24 (2017). «Ваше телевидение»: что не так с новостройками. URL: <https://www.m24.ru/shows2/68/142285> (дата доступа: 30.12.2019).
- Москва 24 (2018). Собянин обозначил приоритеты в строительстве жилья в новых районах Москвы. URL: <https://www.m24.ru/videos/video/11042018/171817> (дата доступа: 30.12.2019).
- О новостройках (2018). «Мещерский лес» от ГК «ПИК»: ожидание/Реальность. URL: <https://youtu.be/EuD1PiuduHg> (дата доступа: 30.12.2019).
- ПИК (2016). ПИК-Елка: дома, с которыми не хочется расставаться! URL: <https://youtu.be/HyvpYmzl6CM> (дата доступа: 30.12.2019).
- ПИК (2018). Дом для каждого: как это сделано. URL: https://youtu.be/4JpqzCEdW_s (дата доступа: 30.12.2019).

- varlamov (Илья Варламов) (2019). Пять этапов превращения в гетто на примере Мурино. URL: <https://youtu.be/qLhcXgVZaJI> (дата доступа: 30.12.2019).
- varlamov (Илья Варламов) (2017). Чем плохи многоэтажные микрорайоны на примере Кудрово. URL: <https://youtu.be/7QKEuWKbTw> (дата доступа: 30.12.2019).

Графические материалы

- Шабалина А. (2018). Шесть лет Новой Москве: итоги и планы. URL: <https://stroimsk.ru/infographics/shiest-liet-novoi-moskve-itoghi-i-plany> (дата доступа: 30.12.2019).
- Назаренкова Е. (2018). ПИК и агентство Friends запустили рекламную кампанию вместе с жителями домов. URL: <https://www.sostav.ru/publication/gk-pik-i-agentstvo-friends-zapustili-reklamnuyu-kampaniyu-vmeste-s-zhitelnyami-domov-33004.html> (дата доступа: 30.12.2019).
- WOW awards (2018). Серия работ «Живые районы». URL: <http://wowawards.ru/works/751/> (дата доступа: 30.12.2019).
- WOW awards (2018). Серия слоганов для INGRAD. URL: <http://wowawards.ru/works/1050/> (дата доступа: 30.12.2019).

Литература

- Бредникова О., Запорожец О. (2016). Ветер, усталость и романтика ночи (об особенностях новых жилых массивов) // *Laboratorium*. Т. 8. № 2. С. 103–119.
- Григоричев К. В., Пинигина Ю. Н. (2013). «Неназванное не существует»: пригород в дискурсе региональных СМИ // *Известия Иркутского государственного университета*. Серия: Политология. Религиоведение. Т. 2. № 2. С. 282–300.
- Желнина А. А. (2019). «Гетто в хорошем смысле» против «бетонного гетто»: районные дискурсы и реновация в Москве // *Городские исследования и практики*. Т. 4. № 2. С. 21–36.
- Запорожец О., Багина Я. (2021). Власть надежд: отстаивание инфраструктуры в новых городских районах // *Журнал исследований социальной политики*. Т. 19. № 2. С. 269–284.
- Полухина Е. В. (2017). Жилищная мобильность: направления социологического анализа // *Журнал исследований социальной политики*. Т. 15. № 4. С. 589–602.
- Тыканова Е. В., Тенишева К. А. (2020). В плену «эффекта соседства»: социальный капитал и активизм в новых анклавных жилищных комплексах // *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. 23. № 2. С. 7–35.
- Чернышева Л. А. (2019). Российское гетто: воображаемая маргинальность новых жилых районов // *Городские исследования и практики*. Т. 4. № 2. С. 37–58.
- Чернышева Л. А. (2020). Онлайн и офлайн-конфликты вокруг городской совместности: забота о городском пространстве на территории большого жилого комплекса // *Журнал социологии и социальной антропологии*. Т. 23. № 2. С. 36–66.

- Шишова Е. С. (2020). Запахи и сенсорное упорядочивание пространства новых жилых районов // Интеракция. Интервью. Интерпретация. Т. 12. № 3. С. 10–30.
- Шомина Е. С. (2010). Квартиросъемщики: российский и зарубежный опыт развития арендного жилья // Муниципальная власть. № 3. С. 104–116.
- Anantharaman M. (2017). Elite and Ethical: The Defensive Distinctions of Middle-Class Bicycling in Bangalore, India // Journal of Consumer Culture. Vol. 17. № 3. P. 864–886.
- Anjaria J. S. (2009). Guardians of the Bourgeois City: Citizenship, Public Space, and Middle-Class Activism in Mumbai // City & Community. Vol. 8. № 4. P. 391–406.
- Bakkaer Simonsen K. (2016). Ghetto-Society-Problem: A Discourse Analysis of Nationalist Othering: Ghetto-Society-Problem // Studies in Ethnicity and Nationalism. Vol. 16. № 1. P. 83–99.
- Ballard R. (2012). Geographies of Development: Without the Poor // Progress in Human Geography. Vol. 36. № 5. P. 563–572.
- Bocking S. (2006). Constructing Urban Expertise: Professional and Political authority in Toronto, 1940–1970 // Journal of Urban History. Vol. 33. № 1. P. 51–76.
- Brattbakk I., Hansen T. (2004). Post-war Large Housing Estates in Norway: Well-Kept Residential Areas Still Stigmatised? // Journal of Housing and the Built Environment. Vol. 19. № 3. P. 311–332.
- Büdenbender M., Zupan D. (2017). The Evolution of Neoliberal Urbanism in Moscow, 1992–2015 // Antipode. Vol. 49. № 2. P. 294–313.
- Dikeç M. (2007). Badlands of the Republic: Space, Politics and Urban Policy. Oxford: Blackwell.
- Fernandes L. (2004). The Politics of Forgetting: Class Politics, State Power and the Restructuring of Urban Space in India // Urban Studies. Vol. 41. № 12. P. 2415–2430.
- Ghertner D. A. (2012). Nuisance Talk and the Propriety of Property: Middle Class Discourses of a Slum-Free Delhi // Antipode. Vol. 44. № 4. P. 1161–1187.
- Glasze G., Pütz R., Germes M., Schirmel H., Brailich A. (2012). The Same but Not the Same: The Discursive Constitution of Large Housing Estates in Germany, France, and Poland // Urban Geography. Vol. 33. № 8. P. 1192–1211.
- Golubchikov O., Badyina A., Makhrova A. (2014). The Hybrid Spatialities of Transition: Capitalism, Legacy and Uneven Urban Economic Restructuring // Urban Studies. Vol. 51. № 4. P. 617–633.
- Guano E. (2004). The Denial of Citizenship: «Barbaric» Buenos Aires and the Middle-Class Imaginary // City & Society. Vol. 16. №1. P. 69–97.
- Jensen S. Q., Christensen A. D. (2012). Territorial Stigmatization and Local Belonging: A Study of the Danish Neighbourhood Aalborg East // City. Vol. 16. № 1–2. P. 74–92.
- Harvey D. (2003). The Right to the City // International Journal of Urban and Regional Research. Vol. 27. № 4. P. 939–941.
- Holston J. (1999). Cities and Citizenship. Durham: Duke University Press.
- Holston J. (2009a). Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil. Princeton: Princeton University Press.

- Holston J.* (2009b). Insurgent Citizenship in an Era of Global Urban Peripheries // *City & Society*. Vol. 21. № 2. P. 245–267.
- Kanai J. M.* (2010). The Politics of Inequality in Globalizing Cities: How the Middle Classes Matter in the Governing of Buenos Aires // *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 42. № 8. P. 1887–1901.
- Keller R.* (2006). Analysing Discourse. An Approach from the Sociology of Knowledge // *Historical Social Research*. Vol. 31. № 2. P. 223–242.
- Keller R.* (2011). The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD) // *Human Studies*. Vol. 34. № 1. P. 43–65.
- Lamont M.* (1992). Money, Morals and Manners. The Culture of the French and the American Upper-Middle Class. Chicago: University of Chicago Press.
- Lefebvre H.* (1996). Writings on Cities. Oxford: Blackwell.
- McArthur J., Robin E.* (2019). Victims of Their Own (Definition of) Success: Urban Discourse and Expert Knowledge Production in the Liveable City // *Urban Studies*. Vol. 56. № 9. P. 1711–1728.
- Nogueira M.* (2019). Preserving the (Right Kind of) City: The Urban Politics of the Middle Classes in Belo Horizonte, Brazil // *Urban Studies*. Vol. 57. № 10. P. 2163–2180.
- O'Dougherty M.* (1999). The Devalued State and Nation: Neoliberalism and the Moral Economy Discourse of the Brazilian Middle Class, 1986–1994 // *Latin American Perspectives*. Vol. 26. № 1. P. 151–174.
- Sayer A.* (2010). Class and Morality // *Hitlin S., Vaisey S.* (eds.). *Handbook of the Sociology of Morality*. N.Y.: Springer. P. 163–178.
- Schatz L., Rogers D.* (2016). Participatory, Technocratic and Neoliberal Planning: An Untenable Planning Governance Ménage à Trois // *Australian Planner*. Vol. 53. № 1. P. 37–45.
- Slater T., Hannigan J.* (2017). Territorial Stigmatization: Symbolic Defamation and the Contemporary Metropolis // *Hannigan J., Richards G.* (eds.). *The Sage Handbook of New Urban Studies*. L.: Sage. P. 111–125.
- Strelnikova A.* (2018). Old and New Residents of Former Industrial Neighborhood: Differences and Identities. Higher School of Economics Research Paper No. WP BRP, 84.
- Ülkü G. K., Erten E.* (2013). Global Image Hegemony: Istanbul's Gated Communities as the New Marketing Icons // *International Journal of Architectural Research*. Vol. 7. № 2. P. 244–257.
- Wacquant L. J.* (1996). Red Belt, Black Belt: Racial Division, Class Inequality and The State in the French Urban Periphery and the American Ghetto // *Mingione E.* (ed.). *Urban Poverty and the Underclass: A Reader*. Oxford: Blackwell. P. 234–274.
- Wacquant L.* (2007). Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality // *Thesis Eleven*. Vol. 91. № 1. P. 66–77.
- Wacquant L.* (2008). *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*. Cambridge: Polity Press.
- Wacquant L., Slater T., Pereira V. B.* (2014). Territorial Stigmatization in Action // *Environment and Planning A: Economy and Space*. Vol. 46. № 6. P. 1270–1280.

Resources, Consumers, Non-citizens: Representation of the Citizens in the Discourse of the New Residential Areas in Moscow

Daria Volkova

Research Assistant, Laboratory of Urban Sociology, Faculty of Urban and Regional Development, HSE University
Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000
E-mail: volkova.daria.v@gmail.com

This article explores the representation of the citizens in the discourse of new residential areas in Moscow. The article focuses on how different agents of discourse representing citizens helps to reveal which citizens are taken into account in the production of urban spaces and who is left out of it. In Moscow, new residential areas represent the contradictions of how citizens are represented in certain agendas. For authorities, such areas embody extensive policy, capital, and successful political management. In the media, such a type of housing becomes stigmatized: it is labelled as “ghetto” and imaged as environmental, which does not suit the correct path of city development. In this article, focusing on the production of urban citizenship in the part of public discourse produced by authorities, developers, and critical agents, I will show (1) when citizens are used as a faceless, impersonated category in the discourse in one row with the infrastructural achievements of the current government; (2) the construction of the “average citizen”, who is the main character in space production; (3) the grounds behind the “consumer-citizen” in discourse, who is entitled with only the economic agency on housing market; and (4) citizens who are symbolically excluded from their right to the new residential areas’ space. Through the characters-citizens in the discourse, I will show the lack of fundamental differences in the discourse of different agents, such as the authorities, developers, and critical agents.

Keywords: representation, discourse, citizens, housing complex, Moscow, new residential areas, periphery

References

- Anantharaman M. (2017) Elite and Ethical: The Defensive Distinctions of Middle-Class Bicycling in Bangalore, India. *Journal of Consumer Culture*, vol. 17, no 3, pp. 864–886.
- Anjaria J. S. (2009) Guardians of the Bourgeois City: Citizenship, Public Space, and Middle-Class Activism in Mumbai. *City & Community*, vol. 8, no 4, pp. 391–406.
- Bakkaer Simonsen K. (2016) Ghetto-Society-Problem: A Discourse Analysis of Nationalist Othering: Ghetto-Society-Problem. *Studies in Ethnicity and Nationalism*, vol. 16, no 1, pp. 83–99.
- Ballard R. (2012) Geographies of Development: Without the Poor. *Progress in Human Geography*, vol. 36, no 5, pp. 563–572.
- Bocking S. (2006) Constructing Urban Expertise: Professional and Political Authority in Toronto, 1940–1970. *Journal of Urban History*, vol. 33, no 1, pp. 51–76.
- Brattbakk I., Hansen T. (2004). Post-war Large Housing Estates in Norway: Well-Kept Residential Areas Still Stigmatised? *Journal of Housing and the Built Environment*, vol. 19, no 3, pp. 311–332.
- Brednikova O., Zaporozhets O. (2016) Veter, ustalost' i romantika nochi (ob osobennostyah novykh zhilykh massivov) [The Wind, Tiredness, and Night Romance (About the Peculiarities of New Large Housing Estates)]. *Laboratorium*, vol. 8, no 2, pp. 103–119.
- Büdenbender M., Zupan D. (2017) The Evolution of Neoliberal Urbanism in Moscow, 1992–2015. *Antipode*, vol. 49, no 2, pp. 294–313.
- Chernysheva L. (2019) Rossijskoe getto: voobrazhaemaja marginal'nost' novykh zhilykh rajonov [Russian Ghetto: The Imaginary Marginality of New Housing Estates]. *Urban Studies and Practices*, vol. 4, no 2, pp. 37–58.
- Chernysheva L. (2020) Onlajn i oflajn-konflikty vokrug gorodskoj sovmestnosti: zabota o gorodskom prostranstve na territorii bol'shogo zhilogo kompleksa [Online and Offline Conflicts

- Around Urban Commons: Caring for Urban Space in the Territory of Large Housing Estate]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 23, no 2, pp. 36–66.
- Dikeç M. (2007) *Badlands of the Republic: Space, Politics and Urban Policy*, Oxford: Blackwell Publishing.
- Fernandes L. (2004) The Politics of Forgetting: Class Politics, State Power and the Restructuring of Urban Space in India. *Urban Studies*, vol. 41, no 12, pp. 2415–2430.
- Ghertner D. A. (2012) Nuisance Talk and the Propriety of Property: Middle Class Discourses of a Slum-Free Delhi. *Antipode*, vol. 44, no 4, pp. 1161–1187.
- Glasze G., Pütz R., Germes M., Schirmel H., Brailich A. (2012) “The Same but Not the Same”: The Discursive Constitution of Large Housing Estates in Germany, France, and Poland. *Urban Geography*, vol. 33, no 8, pp. 1192–1211.
- Golubchikov O., Badyina A., Makhrova A. (2014) The Hybrid Spatialities of Transition: Capitalism, Legacy and Uneven Urban Economic Restructuring. *Urban Studies*, vol. 51, no 4, pp. 617–633.
- Grigoriev K., Pinigina Y. (2013) “Nenazvanoe ne sushhestvuet”: prigorod v diskurse regional'nyh SMI [“What is Not Named Does Not Exist”: City Periphery in the Discourse of Regional Mass Media]. *The Bulletin of Irkutsk State University. Series “Political Science and Religion Studies”*, vol. 2, no 2, pp. 282–300.
- Guano E. (2004) The Denial of Citizenship: “Barbaric” Buenos Aires and the Middle-Class Imaginary. *City & Society*, vol. 16, no 1, pp. 69–97.
- Jensen S. Q., Christensen A. D. (2012) Territorial Stigmatization and Local Belonging: A Study of the Danish Neighbourhood Aalborg East. *City*, vol. 16, no 1–2, pp. 74–92.
- Harvey D. (2003) The Right to the City. *International Journal of Urban and Regional Research*, vol. 27, no 4, pp. 939–941.
- Holston J. (1999) *Cities and Citizenship*, Durham: Duke University Press.
- Holston J. (2009) *Insurgent Citizenship: Disjunctions of Democracy and Modernity in Brazil*, Princeton: Princeton University Press.
- Holston J. (2009). Insurgent Citizenship in an Era of Global Urban Peripheries. *City & Society*, vol. 21, no 2, pp. 245–267.
- Kanai J. M. (2010) The Politics of Inequality in Globalizing Cities: How the Middle Classes Matter in the Governing of Buenos Aires. *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 42, no 8, pp. 1887–1901.
- Keller R. (2006) Analysing Discourse: An Approach from the Sociology of Knowledge. *Historical Social Research*, vol. 31, no 2, pp. 223–242.
- Keller R. (2011) The Sociology of Knowledge Approach to Discourse (SKAD). *Human Studies*, vol. 34, no 1, p. 43–65.
- Lamont M. (1992) *Money, Morals and Manners. The Culture of the French and the American Upper-Middle Class*, Chicago: University of Chicago Press.
- Lefebvre H. (1996) *Writings on Cities*, Oxford: Blackwell.
- McArthur J., Robin E. (2019) Victims of Their Own (Definition of) Success: Urban Discourse and Expert Knowledge Production in the Liveable City. *Urban Studies*, vol. 56, no 9, pp. 1711–1728.
- Nogueira M. (2019) Preserving the (Right Kind of) City: The Urban Politics of the Middle Classes in Belo Horizonte, Brazil. *Urban Studies*, vol. 57, no 10, pp. 2163–2180.
- O'Dougherty M. (1999) The Devalued State and Nation: Neoliberalism and the Moral Economy Discourse of the Brazilian Middle Class, 1986–1994. *Latin American Perspectives*, vol. 26, no 1, pp. 151–174.
- Poluhina E. V. (2017) Zhilishhnaja mobil'nost': napravleniya sociologicheskogo analiza [Residential Mobility: Trajectories of Sociological Research]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 15, no 4, pp. 589–602.
- Sayer A. (2010) Class and Morality. *Handbook of the Sociology of Morality* (eds. S. Hitlin, S. Vaisey), New York: Springer, pp. 163–178.
- Schatz L., Rogers D. (2016) Participatory, Technocratic and Neoliberal Planning: An Untenable Planning Governance Ménage à Trois. *Australian Planner*, vol. 53, no 1, pp. 37–45.

- Shishova E. (2020) Zapahi i sensornoe uporjadochivanie prostranstva novykh zhilykh rajonov [New Residential Districts Ordering: Arom Language of Smells Description to the Space Sensory Order]. *Interaction. Interview. Interpretation*, vol. 12, no 3, pp. 10–30.
- Shomina E. (2010) Kvartirosemshhiki: rossijskij i zarubezhnyj opyt razvitija arendnogo zhil'ja [The Renters: Russian and International Approach to Rental Housing]. *Municipal Power*, no 3, pp. 104–116.
- Slater T., Hannigan J. (2017) Territorial Stigmatization: Symbolic Defamation and the Contemporary Metropolis. *The Sage Handbook of New Urban Studies* (eds. J. Hannigan, G. Richards), London: Sage, pp. 111–125.
- Strelnikova A. (2018) Old and New Residents of Former Industrial Neighborhood: Differences and Identities (Higher School of Economics Research Paper no WP BRP, 84).
- Tykanova E., Tenisheva K. (2020) V plenu "jeffekta sosedstva": social'nyj kapital i aktivizm v novykh anklavnykh zhilishhnykh kompleksah [Trapped by the "Neighborhood Effect": Social Capital and Activism in the New Anclave Condominiums]. *The Journal of Sociology and Social Anthropology*, vol. 23, no 2, pp. 7–35.
- Ülkü G. K., Erten E. (2013) Global Image Hegemony: Istanbul's Gated Communities as the New Marketing Icons. *International Journal of Architectural Research: ArchNet-IJAR*, vol. 7, no 2, pp. 244–257.
- Wacquant L. J. (1996) Red Belt, Black Belt: Racial Division, Class Inequality and the State in the French Urban Periphery and the American Ghetto. *Urban Poverty and the Underclass: A Reader* (ed. E. Mingione), Oxford: Blackwell, pp. 234–274.
- Wacquant L. (2007) Territorial Stigmatization in the Age of Advanced Marginality. *Thesis Eleven*, vol. 91, no. 1, pp. 66–77.
- Wacquant L. (2008) *Urban Outcasts: A Comparative Sociology of Advanced Marginality*, Cambridge: Polity Press.
- Wacquant L., Slater T., Pereira V. B. (2014) Territorial Stigmatization in Action. *Environment and Planning A: Economy and Space*, vol. 46, no 6, pp. 1270–1280.
- Zaporozhets O., Bagina Y. (2021) Vlast' nadezhd: otstaivanie infrastruktury v novykh gorodskih rajonah [How Hopes Build the Civic Infrastructure of New Residential Areas]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 19, no 2, pp. 269–284.
- Zhel'nina A. (2019) "Getto v horoshem smysle" protiv "betonnogo getto": rajonnye diskursy i renovacija v Moskve ["Ghetto in a Good Sense" versus "The Concrete Ghetto": Neighborhood Discourses and Renovation in Moscow]. *Urban Studies and Practices*, vol. 4, no 2, pp. 21–36.

Сборки старения в различных средах: применение материальной оптики

Константин Галкин

Кандидат социологических наук, старший научный сотрудник, Социологический институт
Федерального научно-исследовательского социологического центра

Российской академии наук, Санкт-Петербург, Россия

Адрес: ул. 7-я Красноармейская, д. 25/14, Санкт-Петербург, Российская Федерация 190005

E-mail: kgalkin1989@mail.ru

В статье рассматривается материальная геронтология — новый подход к эмпирическому исследованию старения, в частности повседневности пожилых людей, находящихся в домах-интернатах или проживающих отдельно. Дается ответ на вопрос, как старение «собирается» в рамках взаимодействий пожилых людей с материальными и социальными ресурсами. Используется концепт настраиваемости материальных и социальных ресурсов, делаются выводы о том, как в различных средах происходят «сборки старения» как сложной неомогенной категории. Автор стремится заполнить пробел в изучении старения, который заключается в отсутствии, во-первых, социальных исследований старения через призму рассмотрения материальных и социальных ресурсов (акторов), присутствующих в различных средах и «собирающих старение», а во-вторых, дискуссии о возможностях и особенностях применения материальной геронтологии в социальных исследованиях. Для заполнения этих пробелов эмпирически иллюстрируются особенности и роли материальных и социальных ресурсов в жизни пожилых людей, показывается, как происходят «сборки старения» и как материальные и социальные ресурсы могут влиять на агентность этой категории граждан. В исследовании показано, что в зависимости от среды, в рамках которой происходят «сборки старения», отличаются и его смыслы, и понимание пожилыми людьми особенностей настраиваемости материальных и социальных ресурсов.

Ключевые слова: старение, пожилые люди, дом-интернат для пожилых людей, отдельное проживание пожилых людей, материальная геронтология, агентность пожилых людей

Пожилый человек не может существовать в отрыве от социальной жизни, он вписывается в определенную пространство-среду, в контексте которой и происходит старение; при этом само старение не может быть отделено от этой среды. Таким образом, среда становится значимым компонентом в контексте особенностей понимания возраста и того, как происходит старение. Однако среда представляет собой не только пространство взаимодействия людей друг с другом. В нее, согласно Бруно Латуру, встроены и «акторы-нечеловеки» (артефакты, технические комплексы, животные и др.), которые также могут выступать в качестве действующих агентов в социальных системах и отношениях (Латур, 2006: 5).

Однако в современных исследованиях старения (независимо от того, как мы его понимаем) не всегда уделяется должное внимание роли среды, как и роли раз-

* Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

личных акторов, существующих в этих средах. В литературе, которая сочетает элементы АСТ и исследования возраста, возникло направление «материальная геронтология». Пионерка данного подхода Грит Хёпнер считает, что материальная геронтология совершает в первую очередь сдвиг парадигмы в рассмотрении возраста от детерминизма и конструктивизма к перформативности и материализму. Возраст становится продуктом материально-дискурсивных практик в определенном социокультурном контексте и в значительной степени определяемых временем (Hörpner, Urban, 2018).

В новых исследованиях возраста, использующих оптику материальной геронтологии, предпочтение отдается функциональности тех или иных предметов в жизни пожилых людей, которые создают для них комфорт и улучшают качество жизни (см., например: Artner et al., 2017). В рамках этой статьи особый интерес представляет использование данного подхода при анализе работы специализированных заведений. Так, Моника Урбан (Urban, 2017) показывает, как взаимосвязаны технологии и пожилые люди и как особенности старения зависят от различных объектов материального мира, окружающих пожилого человека. Таким образом, подобные эмпирические исследования возраста ставят важный вопрос о том, насколько возможно и правомерно рассматривать дискурс старения, отказываясь от понимания возраста пожилого человека как конструкта. Опираясь на статью Л. Пфаллера и М. Шведы, приверженцы материальной геронтологии считают дискурсивное изменение в изучении старения наиболее продуктивным, настраивая исследовательскую оптику так, чтобы и акторы-нечеловеки не исчезали из поля зрения исследователя (Pfaller, Schweda, 2017).

Учет различных дискурсов о старении, в том числе относительно материальности и среды, в рамках которой происходит старение, может быть полезным для понимания особенностей и полноценного структурного изучения старения (Hörpner, Urban, 2018). Однако это утверждение наталкивает на вопрос о том, как при этом изменяется и дополняется концепт агентности для пожилого возраста, достаточно хорошо обоснованный и распространенный в социальных науках. Современные исследования агентности всё больше дополняются изучением различных факторов, таких как пол, раса, гендерная принадлежность, уровень доходов. Агентность и ее изначальное понимание остаются крайне человекоцентричными, и особенности фокусировки материальной геронтологии помогают не упускать из внимания, что любые действия людей происходят в той или иной материальной среде. Исследователи, использующие в своих работах методологию АСТ, рассматривают агентность «как реализуемую в материально-дискурсивных процессах» (Barad, 2007: 818). В исследованиях Нелли Оудсхорн изучается, как новые технологии и высокоразвитые системы ухода за пожилыми людьми создают в их жизни, помимо комфорта, еще и неравенство, связанное в первую очередь со сложностями освоения новых компетенций и технологий ухода (Oudshoorn, 2011). То же самое можно найти и у М. Урбана (Urban, 2017). Эти примеры демонстрируют различные сложные способы, которыми переплетаются дискурсы эмоций, тела,

вещей, технологий. Агентность, таким образом, выстраивается во взаимодействии и в сети «человек — вещь — технология». В рамках такой сети целесообразно говорить о «сборке старения» как сложной категории. Применение нового материалистического подхода к исследованию возраста дает возможность поставить вопрос о том, что влияет на старение человека больше всего: отсутствие общения в сельской местности и в ограниченном пространстве дома-интерната, либо отсутствие дорожного покрытия на проселочной дороге, которое также оказывает влияние на качество жизни пожилого человека.

Анализируя концепт «сборки старения», который активно используется в статье, я предлагаю рассматривать старость как постоянно меняющую свои границы, как текучий объект. Свойство текучести, присущее именно гибридным объектам, понимается мной, исходя из концепции Дж. Ло, как свойство «изменчивости границ объектов» (Ло, 2006: 38). Данная идея позволяет перейти от понимания старости как особого физического и психологического состояния организма или хронологического конструкта, ограничивая возраст определенными рамками, к рассмотрению его как гетерогенного объекта, встроенного в различные практики взаимодействия людей, предметов и среды. Утверждение о существовании множества реальностей старения требует объяснения особенностей сосуществования различных реальностей и акторов, собирающих старение.

Для эмпирического описания взаимодействия пожилых людей с материальными и социальными ресурсами я использую категорию «настраиваемости». Эта категория задается в исследовании эмпирически, она обозначает встроенность материальных и социальных ресурсов в повседневную жизнь пожилых людей в разных средах, способность создавать комфортные условия в зависимости от того, насколько материальные и социальные ресурсы удобны и поддаются корректировке самими пожилыми людьми и средой. В статье я рассматриваю различные взгляды на сборки старения, которые присутствуют у персонала дома-интерната, пожилых людей, находящихся в доме-интернате, и пожилых людей, проживающих вне его стен.

Изучение возраста ведется с позиций рассмотрения роли инфраструктуры и социальных взаимодействий как одинаково важных, которые формируют повседневность пожилых людей в различных средах. В статье анализируются преимущественно две среды: дом-интернат и отдельное проживание в сельской местности. В случае домов-интернатов классической теоретической рамкой является рассмотрение этой среды с позиции И. Гофмана (тотальный институт). Эта позиция в большой степени связана с конструктивистским подходом, где в основном рассматриваются особенности коммуникации, взаимодействия людей. Сам тотальный институт представлен как сконструированное учреждение, в рамках которого в жизни пожилых людей появляются различные стигмы. При таком подходе из поля зрения исчезают взаимодействия пожилых людей с инфраструктурой и «неживыми» акторами, более того, подобное рассмотрение происходит весьма узко и по одной оси координат: «пожилые люди — тотальный институт». В то же

время потребности пожилых людей, как и особенности соматических ощущений, в том числе особенности восприятия социальных и материальных ресурсов, которые создают смыслы старения, остаются неучтенными. Таким образом, оптика тотального института не позволяет рассмотреть старение комплексно.

Настоящая статья представляет собой попытку эмпирического описания того, как различные акторы (ресурсы), материальные и социальные, позволяют «собрать старение» в двух во многом принципиально отличающихся средах — при проживании отдельно и в доме-интернате — и обозначить старение на оси координат «среда — материальные и социальные ресурсы среды — индивид — особенности понимания и восприятия индивидом возраста». Следуя в исследовании логике материальной геронтологии, я задаюсь вопросом о том, как материальные и социальные ресурсы влияют на жизнь пожилых людей, проживающих отдельно и в доме-интернате. Таким образом, я рассматриваю возможную агентность пожилых людей в этих средах, но опираюсь на дискурсивное представление агентности, которое обозначено взаимодействиями с различными акторами, задающими особенности агентности отдельных индивидов.

Методы и эмпирическая база

Основная идея при конструировании выборки в исследовании — изучение максимально контрастных кейсов, выявление особенностей взаимодействия и использования пожилыми людьми материальных и социальных ресурсов в двух различных средах. В выборку вошел частный дом-интернат, находящийся в крупном городе регионального значения (Петрозаводск), и сёла Карелии, где наблюдается инфраструктурный дефицит, отсутствуют газо- и водоснабжение, канализация, есть проблемы с транспортным обеспечением, нет магазинов, а ближайший ФАП расположен в 20 километрах. Конструирование выборки по такому принципу позволяет учитывать как различия в особенностях материальных и социальных ресурсов в частном доме-интернате и при проживании отдельно, так и различия во взаимодействии самих пожилых людей с различными типами ресурсов и в различных средах. В ходе исследования было собрано 20 биографических интервью с пожилыми людьми (по 10 в каждом кейсе) и 16 интервью с сотрудниками интерната и волонтерами. Также применялись методы наблюдения и go-along-интервью с пожилыми людьми (144 часа). Метод go-along-интервью позволил рассмотреть взаимодействие пожилых людей с различными акторами, проанализировать подопные взаимодействия (Kusenbach, 2003; Bergeron, 2014).

«Сборки старения» в доме-интернате. Взгляд персонала

Дом-интернат — это заведение, где условия для старения созданы на законодательной базе, закреплённой в определенных документах, в которых задекларировано, что пожилому человеку необходим комфорт и медицинское обслуживание.

Основаниями для переезда в дом-интернат, с точки зрения представителей администрации и санитарок, выступают определенная жизненная ситуация и особенности проживания пожилого человека, признанные неудовлетворительными, а также отсутствие социальных ресурсов и общения. Когда пожилой человек переезжает в дом-интернат, его окружение дополняется комфортными и удобными материальными и социальными ресурсами, обеспечивающими ему более высокое качество жизни. Вот как об этом говорят работники учреждения:

Мы же знаем, что там (при проживании отдельно или при проживании с родственниками) у наших бабушек и дедушек были серьезные проблемы. Так или иначе, сами судите, им там неделями просто не с кем было поговорить. Или того хуже — у них возникали такие ситуации, когда их даже били там, или они, например, жили в деревне какой-нибудь, куда один автобус раз в три дня приходит. Жили без газа и света, воду с колонок таскали... А здесь и обед готовый всегда есть, и есть с кем поговорить — целый пансионат! И вообще, если хочешь — телевизор смотри, а не хочешь — в палате лежи, отдыхай. (Женщина, 46 лет, администратор пансионата, Петрозаводск)

Среда дома-интерната определена четкими регламентами настраиваемости материальных и социальных ресурсов. Для этого объекты среды и люди — персонал — проходят специальный отбор, целью которого является удобство использования тех или иных предметов или общение с людьми согласно запланированному графику. Во внимание принимаются болезни пожилых людей, ограничения в их передвижении, возможность самообслуживания, терапевтические эффекты, которые могут оказывать вещи из среды их окружения, занятия или общение друг с другом и с персоналом дома-интерната.

В «сборке старения» в среде дома-интерната участвуют следующие акторы: тело пожилого человека; медицинские показания и жизненная ситуация, вследствие которой пожилому человеку необходимо находиться в доме-интернате; документы, медицинские заключения и рекомендации; пространство самого дома-интерната с бытовой техникой, оборудованием и наличием специальных приборов, таких как ванна с дверцей для удобства мытья или ходунки и кресла с поручнями, улучшающие передвижение; волонтеры; медицинский персонал и руководство самого дома-интерната. Основным отличием подобных акторов от тех, кто присутствует при проживании отдельно, выступает тот факт, что все эти обозначенные приспособления, люди и другие объекты становятся элементами собранной воедино реальности дома-интерната, где представление о старении понимается, исходя из создания комфортных условий для пожилых людей. При этом ключевой категорией в данном случае выступает настраиваемость материальных и социальных ресурсов, которая организуется вокруг самого человека.

Настраиваемость материальных и социальных ресурсов в доме-интернате регламентируется нормами и правилами:

Всё мы стараемся сделать согласно регламенту. И так как пансионат частный, мне много помогает наша директриса, потому что у нее есть свой особенный взгляд на вещи: она всегда старается чем-то разнообразить жизнь стариков и при этом соблюсти все, чтобы порядок был. Вот, например, совсем недавно (информантка подходит к стене и демонстрирует специально оборудованные поручни для инвалидов) мы поставили здесь поручни, чтобы им [подопечным] было удобно держаться. (Женщина, 46 лет, администратор пансионата, Петрозаводск)

Основное требование, предъявляемое к материальным и социальным ресурсам, — их включенность в слаженную работу среды дома-интерната. Настраиваемость как характеристика не имеет при этом иерархических уровней (нельзя выделить более настраиваемые или менее настраиваемые объекты), то есть нет шкалы, по которой можно определить, насколько тот или иной предмет лучше подходит для пожилого человека — чем одна трость удобнее другой и с кем лучше пожилому человеку общаться — с его другом или с родственником. Все материальные и социальные ресурсы, которые проходят «экспертизу» дома-интерната, признаются сотрудниками как настраиваемые, а значит, по умолчанию удобные и комфортные для пожилых людей:

Здесь мы стараемся всё сделать для удобства. Конечно, и уборка палат, и работа с самими подопечными — всё это должно быть удобным именно для них, и никак иначе. Вот вы спуск видели? Там вообще не пройти и не проехать, а если на коляске, то я уже вообще молчу — спуститься становится практически невозможным! А мы здесь пандусы делаем, да и пол тоже везде ровный, чтобы было удобно по нему ездить. И конечно, чтобы доступно это было для всех наших подопечных! Поэтому здесь, будьте уверены (я вам так скажу, и это не реклама), всё в пансионате у нас на высшем уровне и всё очень удобно для пожилых людей! (Женщина, 46 лет, администратор пансионата, Петрозаводск)

Приведенную цитату из интервью подтверждает пример из дневника наблюдения:

Если в пансионат кто-то приходит, то санитарки сразу же стараются выключить телевизор, и достаточно быстро. Вообще график просмотра телевизора строго регламентирован, и когда, например, после 22 часов, как я однажды наблюдал, одна из подопечных пыталась включить телевизор, то санитарка быстро его выключила и сказала, что это не по режиму и что нужно идти

спать, а не разгуливать. (Из дневника наблюдений 18.11.2019, пансионат, Петрозаводск)

Материальные акторы дома-интерната организуют рутинную деятельность в учреждении. К ним относятся и различные документы, связанные с организацией работы дома-интерната (например, режим или распорядок дня, который четко определен и имеет материальное подтверждение в виде списка на стене перед входом), медицинские документы подопечных и др. Настраиваемость материальных акторов способствует в данном случае поэтапному и профессиональному «изготовлению» старения и окружения стареющего тела пожилого человека комфортом и удобными технологиями, согласно нормам и правилам дома-интерната.

Акторы-нечеловеки выступают в доме-интернате инструментами для связи существующих локальностей, например, для обобщения индивидуальных представлений о старении или проблемах со здоровьем конкретного человека, создавая при помощи материальных объектов и «сборки» настраиваемого комфорта некое особое, обобщающее представление о достойном старении, невозможном в окружении неудобных объектов.

Материальные объекты дома-интерната не просто являются ресурсами интеракции для подопечных в учреждении, они играют ключевую роль в упорядочивании взаимодействий, а именно «сборок» комфортной и удобной старости, старости без проблем. Социальные ресурсы также оказываются вписанными в эту слаженную работу. Другими акторами и связующим их звеном в доме-интернате при «сборках старения» выступают люди и их взаимодействие.

Администрация пансионата и санитарки отдают предпочтение членам семьи пожилых людей, аргументируя это тем, что общение с друзьями или дальними родственниками может негативно сказаться на психологическом самочувствии пожилых: «К нему [к подопечному] приезжает часто, как он мне говорит, старый друг. А я знаю, что этот старый друг — алкаш. И поэтому я его всегда пытаюсь отговорить от этих встреч, все-таки ведь дочка его сюда отдала, заботится, значит, хорошая. Вот пусть с ней и общается» (женщина, 40 лет, санитарка, пансионат, Петрозаводск). Иными словами, настраиваемость таких социальных ресурсов, как семья, и важность именно семейной заботы и поддержки рассматриваются как оптимальные для подопечных дома-интерната.

Акторы-люди в доме-интернате и общение с ними также оказываются включенными в существующие регламенты. Эти регламенты формируются именно в контексте слаженного порядка и упорядоченности материальных вещей и предметов. Слаженная, настроенная и упорядоченная среда дома-интерната выступает в данной ситуации важнейшим компонентом. При этом акторы-люди и «сборки старения» при взаимодействии остаются вписанными и подчиненными материальности дома-интерната, включенными в особую комфортность, в понимание материальности, без которой, по мнению работников и сотрудников дома-интерната, не может существовать слабеющее стареющее тело. Таким образом, ядром

«сборок старения» выступает настраиваемая материальность дома-интерната, в рамках которой и создаются комфортные условия.

«Сборки старения» в доме-интернате. Взгляд подопечных

Как подобная регламентируемая настраиваемость и материально-центричные «сборки старения» воспринимается самими пожилыми людьми, для которых организуются материальные и социальные ресурсы дома-интерната? Для пожилых людей, проживающих в доме-интернате, институционально настраиваемые акторы — это не все объекты, создающие материальные ресурсы, а лишь те, что дополняют и улучшают их жизнь. Например, для маломобильных удобными и настраиваемыми объектами стали ровный плоский пол и поручни, за которые они могли легко держаться при передвижении. Один из подопечных интерната утверждал: «Здесь все-таки намного лучше, чем дома, в плане передвижения, потому что здесь ты можешь достаточно быстро... Я смеюсь, конечно, «быстро», но все же, держась вот за эти штуки (показывает рукой на поручни, прикрученные к стенам), можешь пройти, куда тебе нужно. И это просто, потому что здесь полы относительно ровные и удобные» (мужчина, 78 лет, дом-интернат, Петрозаводск).

Беседуя с другой пожилой дамой, я обратил внимание, что для нее удобными и настраиваемыми объектами в учреждении оказываются вкусные обеды, которые не нужно готовить самостоятельно: «Кормят вкусно, вот здесь ничего плохого и сказать, в принципе, не могу. Всегда еда есть, и всегда еда по расписанию. Когда это необходимо, ее принесут тебе и накормят. Дома я бы, наверное... Не знаю, наверное, очень было бы сложно там что-либо готовить. А здесь нет, всё готовое и все удобное. Тебя и к столу вовремя позовут, и еду тебе приготовят, приходи только» (женщина, 84 года, дом-интернат, Петрозаводск). Таким образом, наиболее удобные объекты для пожилых людей в доме-интернате — это элементы доступной инфраструктуры: *бордюры, удобные лестницы, ровный пол* и элементы, связанные с едой, *с процессом приготовления еды*. Именно подобные материальные объекты выступают ключевыми акторами в «сборках старения» в доме-интернате.

Некоторые из подопечных дома-интерната, которым было сложно самостоятельно совершать ежедневные гигиенические действия, отмечали, что гигиена и то, как здесь ее осуществляют, а также гигиенические принадлежности, то есть акторы-материальные ресурсы (*средства гигиены*) и акторы-люди (*санитарки*), создают главные удобства для них: «Что хорошо — тут не то что у меня в деревне или как на даче было, где единственный душ-топтун стоял и всё, больше ничего и не было. Здесь тебя помогут и расчешут, если надо, и всегда есть горячая вода и свет, то есть здесь всегда удобно» (женщина, 83 года, пансионат, Петрозаводск, из go-along-интервью). Такие элементы инфраструктуры, как *горячая вода, свет и наличие специальной теплой комнаты* для совершения гигиенических процедур, в данном случае включены в представления об удобстве пожилых людей. Одну из

таких ситуаций хорошо иллюстрирует пример игр с мягкими игрушками: «Для меня это как куколка и как домик и медведь — всё в одном. Здесь мне игрушки не нравятся, они какие-то странные и страшные, а там всё мое, родное...» (женщина, 75 лет, дом-интернат, Петрозаводск). В данном случае речь идет о резиновых игрушках, именно их информантка называет «странными» и «страшными», с невнятно прорисованными лицами и неестественными расцветками (например, заяц был голубым). Основным критерием при закупках стали гигиенические нормы, поэтому игрушки в основном резиновые, чтобы их можно было легко вымыть. Однако у пожилых людей подобная настраиваемость игрушек в данном случае вызвала недовольство и сопротивление.

Настраиваемость социальных ресурсов также в некоторых случаях вызвала недовольство у пожилых людей. Особенно это касалось отсутствия возможности общаться с другими людьми: «Здесь с кем общаться? А не с кем! Всё одно. Потому что то санитарки эти, то еще какие-то люди, и всё, практически круг и замкнулся. Хочешь с кем-то поговорить, что-то обсудить, но что с ними говорить-то, ведь здесь же нет у тебя доступа к твоим прежним друзьям, к твоему прежнему кругу общения, который был у тебя в прошлой жизни. Вот поэтому и сидишь здесь один, только если книги и почитать-то...» (мужчина, 86 лет, дом-интернат, Петрозаводск). Таким образом, отсутствие разнообразия социальных ресурсов — это основная причина неудовлетворенности пожилых людей. Следует отметить, что подобный сценарий, который задается нормативностью дома-интерната, ведет к негативному пониманию и ощущению подопечными своего возраста. Информанты в этом случае отмечали, что их «держат за немощных», «больных на голову» и «не умеющих ничего сделать самостоятельно»; одним словом, создается такое восприятие, которое в прямом смысле указывает на старость и немощность. При этом наличие у пожилых людей планшетов или смартфонов с функцией просмотра видео, которые они принесли из дома или которые им привозили родственники, создает возможности для расщепления порядков интеракции. К примеру, таким расщеплением может быть обмен или просмотр фото в социальных сетях:

Здесь скука смертная, но дочка мне свой старый телефон отдала. И вот теперь я выкладываю фотографии, которые есть у меня или которые я сделала на прогулке. И вы знаете, это настоящая отдушина для меня, это позволяет мне просто общаться и видеть, что там тоже есть мир и ты тоже ощущаешь себя не вычеркнутой, а включенной в этот мир, понимаешь? Что есть возможность и для тебя быть частью этого мира. (Женщина, 81 год, дом-интернат, Петрозаводск)

Аналогичным способом подопечные используют прослушивание музыки или просмотр фильмов в наушниках для расщепления порядков, созданных настраи-

ваемой материальностью дома-интерната, и противостоя этой жесткой настраиваемой материальности.

Таким образом, на основании расщепления порядков, присутствующих в доме-интернате, а также при использовании материальных ресурсов и предметов, которые сами постояльцы приносят в дом-интернат, и происходит создание индивидуальной агентности пожилых людей. При этом сами «сборки старения» в доме-интернате являются институционально-центричными и именно жесткая регламентируемость и настраиваемость материальных и социальных ресурсов ограничивает агентность пожилых людей. Актеры-предметы играют ключевые роли в сборках старения в доме-интернате: их главная функция — сцеплять порядки, нормативность в самом учреждении, в то время как сами пожилые люди используют не весь комплекс удобных и комфортных материальных ресурсов, представляемых домом-интернатом, а лишь некоторые из подобных ресурсов.

«Сборки старения» при отдельном проживании

При проживании пожилых людей отдельно основной характеристикой настраиваемости материальных и социальных ресурсов выступает возможность ее регулирования самими пожилыми людьми. Например, различные материальные и социальные ресурсы в представлении самих пожилых людей способны сделать более комфортными повседневные, рутинные дела:

Было раньше очень плохо и неудобно здесь мне ходить, вот там вот, под горку. И я в итоге решил, что трость, та, что в доме стоит, не подходит совсем для таких дорог, как наши, — все в рытвинах и ямах. В общем, я в итоге сделал себе трость: осенью в лесу нашел удобную палку, осину, выстругал. Хоть древесина и не очень-то, но мне удобно на нее опираться, да и комфортно, в принципе. Вот хожу теперь здесь, под этот спуск, и всё мне нипочем. Просто беру и опираюсь на трость. (Мужчина, 74 года, село, Карелия)

Многие информанты отмечали важность именно социальных ресурсов (наличия социальных связей, общения и взаимодействия с соседями), которые способны дополнить и улучшить ресурсы материальные. Таким образом, именно возможность выбора, с кем взаимодействовать, улучшает жизнь пожилых людей:

Вот разве в интернате (или — как там дочка зовет? — в пансионате) такое возможно? Здесь пусть и бывает, что свет отключат или воды нет, но ты встал с утра, на рассвет посмотрел и прямо душой ожил. Или вообще все делаешь так, что под рукой все твои лекарства, которые сам себе выбираешь. Это комфортно, удобно, и, конечно, очень хорошо, что такая возможность есть. А там [в доме-интернате] просто не будет ее, этой возможности, а зна-

чит, будешь сидеть, в окно смотреть и куковать. (Мужчина, 83 года, село, Карелия)

Можно говорить о том, что субъективно настраиваемые и комфортные социальные ресурсы способствуют переоценке пожилыми людьми физической среды, и, как следствие, это минимизирует сложности, которые связаны с инфраструктурным дефицитом, например, с передвижением и отсутствием регулярного транспортного сообщения. Получается, что для пожилых людей, проживающих отдельно, важным с точки зрения смыслов старения становится понимание своей агентности, которая выражается через окружение и поиск удобных материальных и социальных ресурсов. В отличие от дома-интерната, где подобная настраиваемость отсутствует, при проживании отдельно они могут сами выбирать необходимые сочетания, регламентировать для себя удобства материальных и социальных ресурсов, то есть подстраивать сценарную модальность, через которую можно проследить, как материальные и социальные ресурсы становятся для них удобными и комфортными.

Старение, которое «собирается» пожилыми людьми при проживании отдельно, ситуативно, а не универсально, как в случае с домом-интернатом. При проживании отдельно старение становится частным — через возникающие неудобства, отсутствие гравия на дороге, неудобной тропинке к колодцу, создаются особые ситуации, ведущие к формированию особого понимания и восприятия ими своего возраста.

Для того чтобы ситуативное старение, проектируемое при проживании отдельно, состоялось, необходимо наличие целого набора различных акторов. Некоторые из таких акторов могут быть более комфортными для пожилых людей, способными создавать ситуации, когда старение, или, выражаясь языком моих информантов, «возраст» становится незаметным. С другой стороны, есть наборы акторов, которые, наоборот, проектируют ситуативный возраст, задают ситуации, когда процесс старения становится видимым. Так, отсутствие централизованного газового снабжения в сельской местности влияет на понимание информантами своего возраста, чувства отчужденности и забытости.

Инфраструктурный дефицит в сельской местности — это важнейший фактор, определяющий настраиваемость материальных ресурсов. *Покупка газовых баллонов и заготовка дров, электрические обогреватели и генераторы* — наиболее часто встречающиеся настраиваемые действия и объекты, которые призваны улучшить комфорт пожилых людей и создать лучшие условия для их агентности. Пожилые, не занятые в трудовой деятельности и большую часть времени проводящие дома, оказываются чувствительнее к отсутствию инфраструктурных благ. Это создает им проблемы и с автономностью.

Как отмечали в интервью пожилые люди, дополнительные удобные средства для жизни в сельской местности помогают сделать жизнь в старости проще:

Здесь так бывает, особенно зимой: свет как отключат, и на три четыре дня примерно. Не включают свет и всё. И что тогда делать? Когда, помню, раньше молодой был и еще работал, то что это отключение света? Пошел, взял там дров, печку натопил, если нужно, к соседу заглянул! А теперь уже нет, не получается в принципе. Так и вот, теперь купил генератор, и свет включаю, и чайник на газу грею, чтобы было удобно, если это необходимо, вовремя помыться и все эти дела сделать. (Мужчина, 70 лет, село, Карелия)

Таким образом, сочетание удобных и настраиваемых материальных ресурсов важно для того, чтобы сделать более комфортным сложно подчиняемый (настраиваемый) инфраструктурный ландшафт самого села, отличающийся неудобными дорогами, проблемами с электроэнергией и сложностями с передвижением. Для этого пожилые люди прибегают к использованию социальных ресурсов, а именно возможностей соседской солидарности:

Без соседей здесь вообще не знаю, что бы я делала! Старая я уже, и, конечно, мне что-либо одной сделать сложно. Одним словом, иди и сделай, вроде глаза так говорят, а силы-то уже не те, и сложно всё. Вот недавно с соседями дорогу подсыпали и в итоге решили заказать крошку. Здесь на дороге ее высыпали, вместе. Я им тоже помогала, таскала. Так вот, вместе очень быстро и легко сделали хорошее покрытие на дороге. (Женщина, 86 лет, село, Карелия)

Пример с соседской помощью довольно показателен. В данной ситуации сценарная модальность объекта — неподсыпанной и неотремонтированной дороги — с одной стороны, создает сложности для передвижения, то есть выступает крайне неудобным и ненастраиваемым материальным ресурсом. Но, с другой стороны, этот неудобный и ненастраиваемый материальный ресурс предоставляет пожилым людям возможность проявления автономности и развития собственного сценария. Очевидным выходом оказывается использование комфортных соседских отношений, что и приводит к модифицированию материального ресурса.

Таким образом, у пожилых людей появляется возможность проявить самостоятельность и доработать окружающие материальные объекты до состояния удобства, что не может быть реализовано в доме-интернате, где настраиваемость и материальных, и социальных ресурсов задана шаблонной и ограниченной модальностью. Важную роль здесь играют взаимоотношения с соседями и взаимодействие с ними, само локальное сообщество, а также семья и родственники. Это воспринимается пожилыми людьми как нечто комфортное и удобное, как социальный ресурс, который может быть использован для регулирования удобства и настройки окружающего материального ресурса.

В отличие от дома-интерната, старение, которое создается индивидуально, выходит за пределы только ощущений и пониманий его самими пожилыми, по-

новому ставит для них вопрос о комфортности или некомфортности окружающей среды. Стареющее и слабеющее тело при проживании отдельно не оказывается причиной инвалидизации и ограничений, а, наоборот, в дополнение к социальным ресурсам может выступать актором, который достраивает вокруг себя агентность и создает условия и возможности для ее реализации.

С точки зрения возможности и степени настраиваемости материальных и социальных ресурсов можно обозначить следующее. Наиболее удобными и настраиваемыми выступают те предметы и люди, которые призваны улучшить комфорт и расширить агентность пожилых людей при проживании отдельно. К другой группе настраиваемых социальных и материальных ресурсов следует отнести те предметы (старые фотографии, старая посуда, книги) и общение с теми людьми, которые важны и значимы для пожилых людей и обладают для них определенными терапевтическим эффектом и смыслами. Такими акторами также могли стать предметы, которые, как отмечали информанты, «заряжали их позитивом». Как отмечает М. Э. Елютина, вещь в таком случае становится для пожилых людей «проекционным экраном» или «ретропроектором жизненного пути», через особые смыслы конкретных вещей происходит осознание комфорта, осознание удобств обстановки, в которой находятся пожилые люди (Елютина, 2009: 108). Для информантов такими вещами могли стать практически любые предметы, в том числе утратившие свою социальную ценность, но значимые для ощущения домашнего комфорта.

Таким образом, для пожилых людей, проживающих отдельно, «сборки старения» были определены прежде всего ситуативностью, которая присутствовала и в настраиваемости материальных и социальных ресурсов, а также в том, что старение возникало в зависимости от окружающих условий и акторов. И старение, и представления о старении и его «сборках» были крайне субъективными у пожилых людей при отдельном проживании, они формировались внутри среды, в которой и создавались удобные и настраиваемые материальные и социальные ресурсы. При проживании отдельно агентность выражалась через субъективно настраиваемые и, следовательно, субъективно комфортные материальные и социальные ресурсы, окружающие пожилых людей.

Заключение

Данная работа представляет собой эмпирическую попытку рассмотреть старение в различных средах с использованием оптики материальной геронтологии и применением АСТ. Анализ «сборок старения» с позиций акторов-людей и акторов-предметов позволяет сделать вывод, что в этом сложном процессе участвуют как материальные, так и социальные ресурсы. Одной из ключевых характеристик в жизни пожилых людей выступает возможность настраиваемости различных акторов, на основании которых те или иные предметы вкупе с интеракциями и взаимодействиями становятся вовлеченными в процессы сборки старения.

Принципиальным моментом является возможность настройки компонентов среды. Настраиваемость имеет в данном случае важное значение: от настраиваемости тех или иных объектов в разных средах зависит комфорт пожилых людей и управление материальными и социальными ресурсами в повседневности. Шкалы настраиваемости могут иметь различные значения: при проживании в доме-интернате настраиваемость становится жестко регламентированной и встроенной в конкретные рамки учреждения, персонал дома-интерната в таком случае обладает возможностью настраивать материальные и социальные ресурсы. При проживании отдельно сами пожилые люди могут настраивать для себя удобные материальные и социальные ресурсы, решая таким образом проблему инфраструктурного дефицита и делая более комфортным ландшафт в сельской местности.

На основании изучения повседневного опыта пожилого человека у исследователей появляются возможности проанализировать, как собираются воедино смыслы старения в различных пространствах и средах. Коэволюция материальных и социальных ресурсов и влияние этих ресурсов на старение пожилых людей показывает, что акторы-нечеловеки, как и живые акторы, вплетаются в повседневную жизнь, трансформируя и изменяя ее. При этом само старение и смыслы, в рамках которых индивид описывает свой возраст, оказываются размытыми, а границы старения определяются не только отношениями и взаимодействиями людей, но и особенностями настраиваемости различных материальных ресурсов в разных пространствах (средах) и тем, как эта настраиваемость регулируется/не регулируется самими пожилыми людьми.

Новизна полученных результатов позволяет выйти на перспективы исследования повседневной жизни пожилых людей с применением нового подхода, а именно рассмотрения особенностей автономности пожилых не с позиций конструирования возраста и исследования особенностей подобного конструирования, или распределения власти в тотальном институте, а с позиции изучения взаимодействия пожилых людей с материальными и социальными ресурсами.

Подобная оптика рассмотрения старения может дать многое исследователям агентности и автономности пожилых людей. Однако это не классическое понимание стигм и институтов, которые могут жестко регламентировать и подавлять автономность пожилых людей, а рассмотрение автономности и агентности через интеракции с предметами и людьми, происходящие в различных средах. Такой подход достаточно наглядно демонстрирует, как в контексте повседневных практик и взаимодействий собирается и сцепляется регламентированность, ситуативность старения и, с другой стороны, наоборот, собирается ситуативность и комфортность старения, возникающая при проживании отдельно. Старение становится комплексным явлением, которое собирается день ото дня в контексте акторов-предметов и людей — по-разному в различных средах, — тем самым меняя традиционные представления об особенностях пожилого возраста.

Литература

- Елютина М. Э. (2009). Пожилые люди и старые вещи в повседневной жизни // Социологические исследования. № 7. С. 101–109.
- Зеликова Ю. А. (2014). Стареющая Европа: демография, политика, социология. СПб.: Норма.
- Латур Б. (2004). Где недостающая масса? Социология одной двери / Пер. с англ. Н. Мовниной // Неприкосновенный запас. № 2. URL: <https://magazines.gorky.media/nz/2004/2/gde-nedostayushhaya-massa.html> (дата обращения: 20.09.2021).
- Ло Дж. (2006). Объекты и пространства / Пер. с англ. В. Вахштайна // Социологическое обозрение. Т. 5. № 1. С. 30–43.
- Artner L., Atzl I., Depner A., Heitmann-Möller A., Kollwe C. (eds.). (2017). *Pflegedinge: Materialitäten in Pflege und Care*. Bielefeld: Transcript.
- Barad K. (2003). Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter // *Signs*. Vol. 28. № 3. P. 801–831.
- Barad K. (2007). Agential Realism: How Material-Discursive Practices Matter // Barad K. (ed.). *Meeting the Universe Halfway*. Durham: Duke University Press. P. 132–186.
- Bergeron J., Paquette S., Poullaouec-Gonidec P. (2014). Uncovering Landscape Values and Micro-geographies of Meanings with the Go-along Method // *Landscape and Urban Planning*. № 122. P. 108–121.
- Goffman E. (1968). *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*. New Brunswick: Aldine.
- Höppner G., Urban M. (2018). Where and How do Aging Processes Take Place in Everyday Life? Answers from a New Materialist Perspective // *Frontiers in Sociology*. Vol. 3. № 7. P. 1–10.
- Katz S. (2020). Precarious Life, Human Development and the Life Course: Critical Intersections // Grenier A., Philipson Ch., Settersten Jr. R. (eds.). *Precarity and Ageing: Understanding Insecurity and Risk in Later Life*. Croydon: Policy Press. P. 41–66.
- Kusenbach M. (2003). Street Phenomenology: The Go-along as Ethnographic Research Tool // *Ethnography*. Vol. 4. № 3. P. 455–485.
- Laz C. (2003). Age Embodied // *Journal of Aging Studies*. Vol. 17. № 4. P. 503–519.
- Laz C. (2019). Introduction to «Act Your Age» // *Социология власти*. Vol. 31. № 1. P. 143–145.
- Oudshoorn N. (2011). *Telecare Technologies and the Transformation of Healthcare*. Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Pfaller L., Schweda M. (2017). Altern zwischen Medikalisierung und reflexiver Praxis: Der Alltag im Zeichen des Anti-Aging // Enter C., Kienitz S. (Hrsg.). *Alter (n) als soziale und kulturelle Praxis: Ordnungen — Beziehungen — Materialitäten*. Bielefeld: Transcript. P. 157–178.
- Polivka L. (2011). Neoliberalism and Postmodern Cultures of Aging // *Journal of Applied Gerontology*. Vol. 30. № 2. P. 173–184.

Urban M. (2017). Embodying Digital Ageing: Ageing with Digital Health Technologies and the Significance of Inequalities // Heidkamp B., Kergel D. (eds.). *Precarity within the Digital Age: Media Change and Social Insecurity*. Wiesbaden: VS Verlag. P. 161–176.

Aging Assemblies in Various Environments: The Use of Material Optics

Konstantin Galkin

Candidate of Sociological Sciences, Senior Research Fellow, Sociological Institute, Federal Center of Theoretical and Applied Sociology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia

Address: 7 Krasnoarmeyskaya str., 25/14, Saint Petersburg, Russian Federation 190005

E-mail: kgalkin1989@mail.ru

The article considers a new approach to the research of aging — material gerontology and the application of this approach to the empirical study of the everyday life of elderly people who are in boarding schools and living separately. The article answers the question of how aging is collected within the framework of the interactions of older people with material and social resources present in two different environments in which older people are located. The article uses the concept of tunability of material and social resources, on the basis of which conclusions are drawn about how the assemblies of aging as a complex inhomogeneous category occur in various environments. Different environments are a nursing home in the city of Petrozavodsk and villages in Karelia, where elderly people live separately. A total of 20 biographical interviews with elderly people ($n = 20$) and 16 semi-structured interviews ($n = 16$) with nurses and volunteers working in a boarding house were collected. The article aims to fill the gap in the study of aging, which consists, firstly, in the absence of social research on aging through the prism of considering the material and social resources (actors) present in various environments and collecting aging, and secondly, in the absence of discussion about the possibilities of applying material gerontology in social research and the features of the application of this direction. To fill these gaps, I empirically illustrate the features and roles of material and social resources in the lives of older people and show how aging processes occur and how material and social resources can affect the agency of older people. The study shows that, depending on the environment in which the assemblies of aging take place, its meanings and the understanding of the tunability and features of the tunability of material and social resources by older people also differ.

Keywords: aging, the older, nursing home, separate accommodation for the older, material gerontology, agency of the older

References

- Artner L., Atzl I., Depner A., Heitmann-Möller A., Kollwe C. (eds.) (2017) *Pflegedinge: Materialitäten in Pflege und Care*, Bielefeld: Transcript.
- Barad K. (2003) Posthumanist Performativity: Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter. *Signs*, vol. 28, no 3, pp. 801–831.
- Barad K. (2007) Four. Agential Realism: How Material-Discursive Practices Matter. *Meeting the Universe Halfway* (ed. K. Barad), Durham: Duke University Press, pp. 132–186.

- Bergeron J., Paquette S., Poullaouec-Gonidec P. (2014) Uncovering Landscape Values and Micro-geographies of Meanings with the Go-along Method. *Landscape and Urban Planning*, no 122, pp. 108–121.
- Elyutina M. (2009) Pozhilye lyudi i starye veshchi v povsednevnoj zhizni [Elderly People and Old Things in Everyday Life]. *Sociological Studies*, no 7, pp. 101–109.
- Goffman E. (1968) *Asylums: Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates*, New Brunswick: Aldine.
- Höppner G., Urban M. (2018) Where and How do Aging Processes Take Place in Everyday Life? Answers from a New Materialist Perspective. *Frontiers in Sociology*, vol. 3, no 7, pp. 1–10.
- Katz S. (2020) Precarious Life, Human Development and the Life Course: Critical Intersections. *Understanding Insecurity and Risk in Later Life* (eds. A. Grenier, Ch. Philipson, R. Settersten Jr.), Croydon: Policy Press, pp. 41–66.
- Kusenbach M. (2003) Street Phenomenology: The Go-along as Ethnographic Research Tool. *Ethnography*, vol. 4, no 3, pp. 455–485.
- Latour B. (2006) Gde nedostayushchaya massa? Sociologiya odnoj dveri [Where is the Missing Mass? The Sociology of a Door]. *Neprikosnovenny zapas*, no 2. Available at: <https://magazines.gorky.media/nz/2004/2/gde-nedostayushchaya-massa.html> (accessed 20 September 2021).
- Law J. (2006) Ob'ekty i prostranstva [Objects and Spaces]. *Russian Sociological Review*, vol. 5, no 1, pp. 30–43.
- Laz C. (2003) Age Embodied. *Journal of Aging Studies*, vol. 17, no 4, pp. 503–519.
- Laz C. (2019) Introduction to "Act Your Age". *Sociology of Power*, vol. 17, no 4, pp. 143–145.
- Oudshoorn N. (2011) *Telecare Technologies and the Transformation of Healthcare*, Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Pfaller L., Schweda M. (2017) Altern zwischen Medikalisierung und reflexiver Praxis. Der Alltag im Zeichen des Anti-Aging. *Alter (n) als soziale und kulturelle Praxis: Ordnungen — Beziehungen — Materialitäten* (eds. C. Enter, S. Kienitz), Bielefeld: Transcript, pp. 157–178.
- Polivka L. (2011) Neoliberalism and Postmodern Cultures of Aging. *Journal of Applied Gerontology*, vol. 30, no 2, pp. 173–184.
- Urban M. (2017) Embodying Digital Ageing: Ageing with Digital Health Technologies and the Significance of Inequalities. *Precarity within the Digital Age: Media Change and Social Insecurity* (eds. B. Heidkamp, D. Kergel), Wiesbaden: VS Verlag, pp. 161–176.
- Zelikova Y. (2014) *Stareyushchaya Evropa: demografiya, politika, sociologiya* [Aging Europe: Demography, Politics, Sociology], Saint Petersburg: Norma.

Онтологический анализ исследований ланкастерской ветви акторно-сетевой теории: от восприятия к объекту

Евгений Попов

Аспирант, Аспирантская школа по социологическим наукам,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: evgeniipalamodov@mail.ru

В рамках данной статьи автором будет рассмотрена «прикладная» онтология ланкастерской акторно-сетевой теории и представлен критический анализ ее работ в рамках более широкого философски фундированного подхода Грэма Хармана (с опорой на идеи Леви Р. Брайанта). Критика имеет целью прояснить позиции ланкастерской версии АСТ, согласно которой один и тот же объект может иметь несколько онтологических модусов, являясь тем не менее одним и тем же «реальным» объектом. Для целей анализа использованы классические работы А. Мол и Дж. Ло, Л. Витгенштейна, Л. Брайанта, а также программная работа Г. Хармана «Четверойкий объект». Автор статьи приходит к выводу, что множественная онтологическая реальность объектов и восприятие единичных объектов как дискретных в рамках ланкастерской ветви АСТ формирует специфическую локальную онтологию, которая не соотносится более широкими онтологиями — онтологии реальных вещей и реальных свойств; онтологии чувственных объектов и реальных свойств (по Харману). Это отсутствие связи между локальной и реалистической/чувственной онтологиями Хармана создает лакуну в аналитическом аппарате ланкастерской АСТ, концептуальное заполнение которой способно расширить теоретические выводы и сделать более обоснованными исследовательские практики АСТ-исследований.

Ключевые слова: онтология, А. Мол, Дж. Ло, Г. Харман, Л. Р. Брайант, объектно-ориентированные исследования, социологическая теория

Вводные замечания

Объектно-ориентированные исследования на данный момент являются чуть ли не самой популярной «оптикой» в социологических, прикладных культурологических, антропологических и прочих исследованиях. Так, к примеру, в городских исследованиях ученые рассматривают агентность, помещенную в рамки материальности: «[Агентность это] эмерджентная способность сети... это действие или сила, которая приводит к одному конкретному действию города, и эта сила одновременно является социальной и материальной» (Farias, 2009).

В то же время в рамках game studies И. Богост формирует ключевой тезис объектно-ориентированной направленности исследований игр как: «Game studies — ...это исследование компьютера-для-правил, операционной логики-для-

компьютера... Игра не только для людей, но также для процессора, пластиковых коробок... для шины картриджа» (Богост, 2015).

В рамках социологии объектную ориентированность развивают исследования А. Мол (Mol, 2002; Мол, 2017б) и Дж. Ло (Ло, 2015) — в рамках социологии медицины, когда какая-либо болезнь рассматривается как множественная вещественная практика; в рамках социологии науки работы Б. Латура (Latour, 2019a, 2019b), в которых он рассматривает то, как материальные акторы влияют на научные практики.

Несмотря на большое количество областей социологии и смежных сфер, в которых применяется объектно-ориентированное видение, существует одна не решенная до сих пор проблема — онтология как таковая в данных исследованиях выносится за скобки и подменяется реакциями «акторов» (материальных объектов) на воздействие со стороны исследователей, т. е. онтологию в рамках данных исследований составляет некая совокупность реакций и связей, которые инициированы и наблюдаются исследователем через различные методы — будь то наблюдения (включенные) или же глубинные интервью. Иными словами, каждое конкретное социологическое, культурологическое или иное исследование предлагает свою собственную локальную «онтологию», которая основывается на наблюдениях за конкретным объектом исследования. Такое положение дел, как нам кажется, затрудняет развитие объектно-ориентированной методологии (использование изначально ложных посылок об отсутствии собственной онтологии вещей) в соответствии с ее же собственными теоретическими установками. Какого именно рода затруднения возникают в онтологической части объектно-ориентированной теории? Возможно ли их устранить или хотя бы минимизировать? Какие конкретные шаги должны быть сделаны в ходе преобразования «локальной онтологии», чтобы расширить ее до системного видения онтологии вещей? Эти вопросы и находятся в фокусе данной статьи, рассматривающей проблемы объектно-ориентированного онтологического теоретизирования в АСТ.

Базовые положения

Акторно-сетевую теорию (АСТ) принято делить на два направления — «парижское», чьими представителями выступают Брюно Латур и Мишель Каллон, и «ланкастерское», представленное работами Аннмари Мол и Джона Ло (Вахштайн, 2005; Астахов, 2019). В данной статье автор планирует сосредоточить свое внимание на «ланкастерской» ветви идей АСТ, поскольку именно в этом направлении наиболее остро проявляется проблема локальной «онтологии» объектов — подмена *онтологии вещей* на результаты *наблюдений за объектами*, которые приобретают статус верховных (то есть над такими онтологиями нет онтологии более высокого уровня). В качестве ее репрезентативных текстов мы возьмем работы Мол об атеросклерозе (Mol, 2002; Мол, 2017б), зимбабвийском втулочном насосе (Де Лаэт, Мол, 2017) и книгу Дж. Ло «После метода» (Ло, 2015), содержащую раз-

личные исследовательские заметки, посвященные его проектам. В рамках данной исследовательской традиции ее авторами (Мол и Ло) конструируется локальная «онтология» объектов, включенных в социальный контекст и существующих в различных модусах, но при этом всегда обладающих реальным онтологическим статусом (см., например, случай с атеросклерозом у А. Мол ниже). Чтобы исключить из поля социальных наук любое упоминание фиксированности, Мол и Ло обращаются к метафорам текучести и множественности — любая подвижность, не заметная на расстоянии, обнаруживается в приближении (как пространственном, так и темпоральном), в фокусировке на «здесь-и-теперь». Поэтому научная практика, по их мнению, изначально этнографична, то есть конструируется здесь-и-теперь, локально. Именно через этнографию состояния здесь-и-теперь АСТ-исследователь ланкастерского направления может подступить к своему объекту как к динамическому, подвижному и изменчивому. Наиболее продуктивные для целей теоретизирования примеры «текучих вещей» исследователи ланкастерской ветви АСТ находят в медицине. Так, например, Ло и Мол пишут о различных заболеваниях — Ло описывает цирроз печени (Ло, 2015), а Мол атеросклероз (Mol, 2002) и диабет (Мол, 2017). Медицинские случаи очень удобны для того, чтобы показать, что один и тот же объект может проявлять себя по-разному. Так, Мол пишет, что существует различный атеросклероз. Первая его вариация — это когда пациент находится на приеме у врача и жалуется на отеки или на тяжесть в ногах. Такой атеросклероз существует в виде подозрения самого больного — ни у врача, ни у пациента нет никаких «реальных» доказательств того, что они имеют дело именно с атеросклерозом. Его косвенным подтверждением может быть боль в ногах или быстрая утомляемость нижних конечностей (Mol, 2002). Иная вариация атеросклероза — это различные тесты, которые позволяют оценить степень закупорки сосуда. Здесь атеросклероз начинает разворачиваться как медицинская практика, подключающая медицинский персонал, — в таком случае для подтверждения диагноза прибегают к помощи лаборантов, лабораторного оборудования, врача, интерпретирующего результаты тестов и т. п. (Mol, 2002; Мол, 2017). Но проявление совершенно иного атеросклероза, по словам Мол, можно наблюдать, когда его пытаются диагностировать после ампутации конечности в связи с тяжестью заболевания (Mol, 2002; Мол, 2017). В данном случае Мол описывает ситуацию, когда ампутированную конечность отдают на анализ, и с помощью скальпеля и микроскопа проявляется «атеросклероз», вероятность которого подтверждена на сто процентов (в предыдущих случаях атеросклероз менее вероятен, так как в тестах есть вероятностная доля ошибки). Таким образом, мы получаем мультимодальное представление о существовании/бытовании такой вещи, как атеросклероз, ее онтологию, локализованную в различных социальных ситуациях и практиках. Что же касается работ Ло, то он примерно так же описывает практику борьбы с циррозом печени, который является результатом длительного и регулярного употребления алкоголя (Ло, 2015). В общих чертах подход, который условно можно назвать подходом ланкастерской ветви АСТ, является прикладным, так как исследователь

в прямом смысле «следует за акторами» (тезис Брюно Латура). Актор в данном случае это собирательный образ тех реальных практик, которые составляют тот или иной объект. Но действительно ли ланкастерцы следуют за акторами? И если да, то какого рода эти акторы? Нет ли здесь концептуальной лакуны, которая подменяет реальное бытие объектов интерпретациями исследовательских данных, создавая тем самым локальную «онтологию» интерпретаций?

Для того чтобы удостовериться в наличии или отсутствии указанной выше лакуны, представляется необходимой переформулировка общих идей ланкастерской ветви АСТ на философский язык теории онтологии. Реализация этой цели возможна через обращение к философской традиции плоской онтологии (Г. Харман и Л. Брайант), а также к философии языка Л. Витгенштейна. Выбор этих авторов обусловлен тем, что, во-первых, Харман и Брайант это авторы, которые в своих текстах не только напрямую рассматривают вопросы об онтологическом статусе объектов, но и вписывают свои теории в более широкий философский контекст (Э. Гуссерль, Н. Луман, Г. Бейтсон), что делает их более фундированными (например, главный ориентир для Мол это работы М. Фуко, который специально не разрабатывал никакой отдельной онтологии). Во-вторых, Витгенштейн представляется нам автором, чье философское наследие поможет выявить слабые и сильные места того методологического подхода, который избран для исследований представителями ланкастерской ветви АСТ.

Грэм Харман в своих работах базируется на идеях Гуссерля и Хайдеггера, одновременно их дорабатывая. Так, от Гуссерля Харман перенимает понятие *чувственного объекта*, который явлен человеку лишь через его воспринимаемые качества (Харман, 2015). В данном случае Харман предостерегает исследователей от понимания Гуссерля как чистого идеалиста наподобие Беркли. Да, объект, по мысли Хармана, может явить себя только через чувственные качества, тем самым будучи некоторым сенситивным эрзацем объекта реального. Но это не значит, что такой объект будет сугубо чувственным — он может обладать и реальными (сущностными) качествами (Харман, 2015). Но, как отмечает сам Харман, в контексте учения Гуссерля это не совсем очевидно. Наиболее явно эта особенность объектов проявляется в идеях ученика Гуссерля — Мартина Хайдеггера, а точнее — в его инструмент-анализе. Инструмент-анализ — это идея Хайдеггера, которая позволяет рассматривать вещи как беспроблемные или, выражаясь словами самого Хайдеггера, «подручные», до тех пор, пока не произойдет нечто такое, что выведет их из скрытной зоны подручности в сферу проблемного, или, как называет ее Хайдеггер, «наличного» (Хайдеггер, 2003: 167–197). Стоит отметить, что данная интуиция особенно четко проявляется в работах другого представителя акторно-сетевой теории — Брюно Латура — в частности, в его идее о проводнике и посреднике (Латур, 2014). Упрощая, можно сказать, что Харман в своей онтологии предусматривает два типа объектов — реальные и чувственные (исходя из инструмент-анализа их можно назвать вышедшими из зоны подручности). Но онтология Хармана это не просто выделение двух полюсов существования объектов. Он также пытается описать

и существующие между ними отношения. Попробуем схематично взглянуть на эту онтологию. Итак, Харман выделяет два условных полюса:

1. *Чувственный и реальный* объекты (например, чувственный объект — это черный шар, который мы можем видеть, играя в бильярд, а реальный объект — это совокупность химических, физических и феноменальных аспектов (Харман не отрицает феноменологию вещей [Харман, 2015]), которые недоступны для акта человеческого восприятия). На данном этапе важно уяснить, что чувственными являются все те объекты, которые человек воспринимает, а реальными все те объекты, которые скрыты от него (Харман, 2015).
2. *Чувственные и реальные* качества (например, чувственными качествами объекта являются все те его характеристики, которые человек способен подметить — цвет, вес, плотность, упругость, в то же время реальные качества никак не зависят от процесса человеческого восприятия, они непосредственно связаны с тем или иным объектом по его природе).

Согласно Харману, между этими полюсами возможны десять типов отношений (каждый с каждым и сам с собой) (Харман, 2015), однако Харман не доводит до конца свое стремление к релятивизации онтологии и останавливает свое внимание лишь на четырех ключевых отношениях между качествами и объектами:

1. Реальный объект — реальные качества (сущность).
2. Реальные качества — чувственный объект (эйдос).
3. Чувственные качества — чувственный объект (время).
4. Реальный объект — чувственные качества (пространство).

В рамках данной статьи нас прежде всего интересуют два вида отношений — реальный объект — чувственные качества (пространство) и чувственный объект — реальные качества (эйдос). Об этих видах отношений и пойдет речь далее.

Поиск лакуны: два типа онтологических отношений

В рамках описываемой Харманом онтологии существует два типа отношений между полюсами, которые помогут нам иначе взглянуть на предметы исследований Мол и Ло. Но перед тем как перейти к их анализу, следует более подробно остановиться на том, что следует понимать под реальными и чувственными объектами и соответствующими им качествами. Поскольку Харман находится под влиянием творчества Гуссерля, несложно понять, что реальные и чувственные объекты противоположны друг другу. Так, чувственные объекты и чувственные качества даются человеку в его феноменологическом опыте. Но реальность такова, что человеку не под силу воспринять объект целиком — человеческое внимание всегда фокусируется на определенной его части, концентрируя тем самым определенный массив чувственных качеств, который в дальнейшем и понимается им как тот или иной объект. Но на самом деле реальные объекты являются в некотором роде вещь-в-себе (Харман, 2015), они принципиально непознаваемы до конца и опе-

ративно закрыты. Это первая линия онтологии Хармана, на которой в пару встают реальный объект и чувственные качества (те качества, которые улавливаются в процессе восприятия). Но есть и иная линия. Чувственный объект. Что это? Это как раз та совокупность качеств, которая в некотором роде подменяет реальный объект. Итак, на данный момент можно подытожить, что реальные качества объекта и сам реальный объект — изъятые из человеческого доступа (Харман, 2015) — подступиться к ним невозможно. Но реальные качества сами по себе могут быть обнаружены в чувственном объекте, который представляет собой совокупность схватываний в процессе восприятия реального объекта. Выходит, что *чувственный объект есть совокупность чувственных характеристик реального объекта*. Это первый важный вывод, который поможет нам в дальнейшем разворачивании онтологии Хармана на исследовательском поле ланкастерской ветви АСТ. Следующий важный вывод мы можем сделать при рассмотрении чувственного объекта. Сразу же стоит учесть метафору, при помощи которой Харман рассматривает чувственные объекты в связи с их реальными качествами — метафору платоновского эйдоса. Так, выходит, что, будучи совокупностью чувственных черт, объект начинает проявлять реальные качества, которые помогают ему отличаться от других соположенных ему объектов. Отсюда следует второй важный вывод — *чувственные объекты имеют свои реальные качества, которые, в свою очередь, принципиально отличны от реальных качеств реального объекта*. Чтобы прояснить этот вывод, рассмотрим пример. Все люди «в теории» имеют представление о переломах и иных травмах. Но человеческому опыту недоступны реальные качества реального перелома — на глаз человек не может определить, порвались ли связки, как сильно нарушена структура кости, есть ли осколки и т. п. В момент рассмотрения перелома человеку доступны лишь чувственные качества перелома — то, что видно «невооруженным глазом». Из этого у человека и складывается чувственный образ усредненного среднестатистического перелома — гематома, искривление конечности и т. п. Но представим, что однажды, гуляя по парку, мы встречаем лежащего на траве человека, который стонет от боли и указывает на свою ногу. В тот момент, когда вместе с человеком мы смотрим на его конечность, мы видим реальные качества перелома, о котором до этого имели чувственное представление. Об этом и говорит Харман — что реальность делится не только на реальное и чувственное, но что и чувственное может обладать реальными качествами. Очерченные ранее две онтологические линии, а именно линия «реальный объект — чувственные качества» и линия «чувственный объект — реальные качества»¹

1. Линия «реальный объект — чувственные качества» может быть представлена через отсылку к Канту — когда вещи являются вещами-в-себе и могут быть познаны человеком только через исследование его отдельных свойств — чувственных качеств. В то же время линия «чувственный объект — реальные качества» может быть представлена как «опыт» познания вещи-в-себе, облеченный в некоторую форму знания (текст, например), которая, в свою очередь, начинает обладать реальными свойствами в процессе ее дальнейшего изучения. Так, например, чувственные данные, полученные при исследовании ядер молекул, привели к созданию ядерных реакторов, свойства которых являются реальными, хотя первоначальная природа познания ядра — чувственной.

характеризуются у Хармана двумя типами отношений — аллюром и теорией. Под «аллюром» Харман понимает операцию соединения чувственных качеств, которые производятся при интерпретации любого реального объекта (Харман, 2015). Проще всего объяснить этот тип онтологического отношения через эстетику и художественное творчество, когда к какому-либо реальному объекту (будь то война, танк или детская коляска) интерпретатор приписывает нечто субъективное, появляющееся у него в сознании в процессе лицезрения этого объекта. Итак, «слово аллюр — это общий термин для [обозначения] сплавления изъятых [из возможности соприкосновения с человеческим опытом] реальных объектов с доступными поверхностными качествами» (Харман, 2015: 105). В зависимости от каких-либо аспектов (например, настроения, времени года, возраста, зрения) итоги операции аллюра могут отличаться, но неизменным остается одно — мы ухватываем чувственные качества реального объекта, в то время как реальные качества реального объекта для нас остаются неизвестными. «Теория» уже намного ближе к практике социальных наук, которая воспроизводится в рамках исследований ланкастерской АСТ — они возникают, когда через конструирование какой-либо концептуальной оптики, базирующейся на опыте предшествующих исследований реальных объектов через их чувственные качества, ученые рассматривают мир посредством выделения (обособленного от самого объекта рассмотрения) реальных качеств чувственного объекта. Теорией можно назвать любой усредненный чувственный образ, коррелирующий с реальными качествами. Например, упомянутое ранее видение усредненного среднестатистического перелома конечности также можно считать теорией. Слово «теория» здесь важно для того, чтобы уловить одну важную мысль, которую Харман эксплицитно не артикулирует² — мысль, согласно которой чувственные качества реальных объектов, сами чувственные объекты и их реальные качества формируются под воздействием устоявшегося, привычного способа видения мира. Харман сильно склоняется к линии Гуссерля, но в своей рецепции его идей он отказывается от феноменологической редукции (по крайней мере, о ее важности он открыто не говорит), позволяющей увидеть этапы чистого познания, осуществляемого субъектом, в пользу более обобщенного видения через призму устоявшегося способа схватывать и мыслить объекты. Здесь нам открывается возможность обращения к идеям Витгенштейна, чтобы попытаться идентифицировать лакуну в построениях ланкастерской версии АСТ.

Поиск лакуны: (не)называя объекты

Теперь рассмотрим эту лакуну в ракурсе локальных «онтологий», строящихся на интерпретациях. Главный вопрос, который встает перед исследователем в этой связи, — возможно ли говорить об онтологии (даже локальной), которая строится

2. Харман лишь мимоходом затрагивает этот вопрос: «Если верно, что все воспринимаемые качества обременены теориями об объектах, вокруг которых они вращаются, мы должны знать, существуют ли различия между чувственными и реальными качествами» (Харман, 2015: 132).

на методах глубинного интервью и прочих качественных методах сбора информации, опирающихся на опыт людей? Для ответа нам придется обратиться к идеям Людвиг Витгенштейна о невозможности существования индивидуального языка. Необходимо также реконструировать в общих чертах интеллектуальный контекст, позволивший идее отсутствия индивидуального языка приобрести тот формат, который у нее есть на данный момент. Интеллектуальные ресурсы, предлагаемые теорией Витгенштейна, позволяют прояснить важный аспект той лакуны, которую можно обнаружить в рамках методологии исследований ланкастерской ветви АСТ. Этот важный аспект заключается, по нашему мнению, в этнографическом подходе, формирующем эмпирический материал через глубинные интервью с людьми, которые тем или иным образом взаимодействуют с объектом. Подобная методология, как нам кажется, позволяет реконструировать воспринимаемый образ того или иного объекта, но не сам объект. В связи с этим встает вопрос о том, насколько корректно говорить о «реальном» бытии объектов. Но обо всем по порядку.

Первым о возможности квалитативного опыта, а значит, и о возможности приватного языка писал в своей работе Дж. Локк, приводя в качестве аргументации пример с инвертированным спектром (Локк, 1985). Его суть может быть описана как возможность существования отличий в восприятии цветов у различных людей — так, кто-то может смотреть на небо и говорить о его глубокой «голубизне», но кто-то вполне может, смотря в небо, заявлять о его насыщенно желтом тоне. В дальнейшем феномен квалитативных опытов рассматривался в более негативном ключе (Д. Деннет, Т. Нагель). Еще до Витгенштейна негативное отношение к индивидуальному (приватному) языку начали высказывать Мориц Шлик и Готлоб Фреге. Так, Шлик писал, что если человек рассматривает два куска **зеленой** бумаги и приходит к выводу об их идентичности (поскольку он пережил два раза одно и то же состояние их «**зелености**»), то восприятие этих же кусков бумаги другим человеком как идентичных или же отличающихся может быть принципиально неverifiedируемым. Поскольку в первом случае человек говорит о собственной верификации, когда с ней сопрягается сравнение одного **зеленого** куска, то во втором случае происходит такой же процесс, но идентифицировать его как истинный у первого человека нет никакой возможности. Несмотря на то что, отвечая на вопрос о цвете этих кусков, второй человек, скорее всего, будет называть их зелеными, его собственное восприятие зеленого может отличаться от восприятия зеленого первым человеком. Так, согласно тезису об инвертированном спектре (Локк, 1985), второй человек может видеть **зеленый** в качестве красного, и отвечая на вопрос первого человека о том, какой из двух кусков кажется ему наиболее насыщенным — «этот **зеленый** кусок» или же «тот **зеленый** кусок», второй человек вполне вероятно ответит, что второй **зеленый** кусок намного более насыщенный, чем первый **зеленый** кусок. Таким образом, согласно мысли Шлика, верификация может быть в данном случае бесплодным замыслом (Шлик, 2006). Схожие идеи еще до выхода в печать работы Шлика высказывал и Фреге. Его аргумент «против»

заклучался в следующем. Гипотетическая прогулка по дугу приводит к тому, что один из двух прогуливающих обнаруживает в траве ягоду земляники красного цвета. В то же самое время второй человек проходит мимо, не замечая ягоду, так как его восприятие цвета отлично от общепринятого. Фреге задается вопросами: как видит цвета вокруг тот человек, который не заметил ягоду? В каком цвете он видит мир вокруг него самого? Фреге не дает на них ответа, но констатирует их бессмысленность. Как он пишет в конце своего пассажа: «Когда слово „красный“ не обозначает свойство вещей, а предназначено для характеристики чувственных впечатлений, принадлежащих моему сознанию, оно применимо только в области моего сознания; в этом случае сравнение моих впечатлений с впечатлениями другого человека невозможно» (Фреге, 2000). И пассаж Шлика, и пассаж Фреге показывают, что поскольку доказать существование качественных элементов опыта не имеется никакой возможности, то следует отрицать их существование, поскольку они не играют никакой важной роли в рамках парадигмы верифицируемости. Выходит, что Шлик и Фреге отрицали факт существования качественно-го опыта и индивидуального языка только потому, что последний никоим образом не мог быть вписан в рамки парадигмы верифицируемости. Иными словами, тот или иной качественный опыт, отражающий субъективное переживание каких-либо качеств одним человеком, не может быть сопоставлен с качественным опытом другого человека по причине того, что невозможен процесс унифицирующей верификации этих форм. Под этим процессом имеется в виду отсутствие лингвистического тождества для категорий, отражающих тот или иной опыт квалиа.

Что же касается самого Витгенштейна, которому также был близок описанный выше интеллектуальный контекст, то он подошел к вопросу о сложности экспликации качественного опыта и невозможности индивидуального языка более комплексно. Прежде всего Витгенштейн концептуализирует приватный (индивидуальный) язык. Под ним он понимает такой тип языка, в котором содержательные значения слова заполнялись бы субъективным опытом (переживанием) человека (Иванов, 2011). Ключевыми особенностями такого языка являются факты, согласно которым критерий тождества употребления того или иного лингвистического выражения заключен в самостоятельном установлении связующих элементов (между чувством и термином) и в том, что при возникновении того или иного конкретного чувства должен воспроизводиться конкретный термин, заданный предыдущим субъективным опытом. Главным свойством правильного воспроизводства той или иной связи между чувством и термином Витгенштейн считал память (Витгенштейн, 2018). Слабость этого свойства заключается в его же главной характеристике — способности забывать. Так, Витгенштейн говорит о том, что все потенциальные термины индивидуального языка, несущие в качестве значения субъективный опыт, не могут иметь четких значений, потому что те или иные ощущения могут забываться. Для того чтобы идея невозможности индивидуального языка казалась еще более правдоподобной, Витгенштейн прибегает к различным мысленным экспериментам. Одним из таких его самых популярных

экспериментов, направленных на опровержение существования индивидуального языка (в его понимании), является эксперимент «жуки в коробке»³ (Витгенштейн, 2018: 156). Данный аргумент отчасти может быть сведен к логике гипотезы о лингвистической относительности («Каждый говорил бы, что он только по внешнему виду своего жука знает, что такое жук»), а отчасти к жесткой идее языка, изложенной в «Логико-философском трактате» («Ну а если при всем том слово „жук“ употреблялось бы этими людьми? — В таком случае оно не было бы обозначением вещи»). Выходит, что для Витгенштейна ключевым аргументом против потенциального существования индивидуального языка является его принципиальная несогласованность с уже существующими значениями слов вокабуляра той или иной языковой игры.

Чтобы уточнить, для чего были приведены все вышеизложенные рассуждения, постараемся соединить пассажи о Хармане и Витгенштейне в одну логическую цепь, это, как представляется, поможет прояснить неопределенный онтологический статус объектов в ланкастерской ветви АСТ, в рамках которого ее представители «следуют за акторами» и выявляют различные модусы их существования (Мол в своей работе указывает, что объект является *реальным*, если он является частью практики, что, по ее мнению, можно назвать «реализованной реальностью» [Мол, 2017б: 217], а Ло в своей книге указывает, что реальность зависит от регулярного воспроизводства и практики [Ло, 2015]). Для того чтобы более детально рассмотреть подобную онтологию, разместим объектно-ориентированную философию Хармана на исследовательское поле Мол и Ло. Как было уже замечено выше, в рамках онтологии Хармана существуют два вида объектов реальные и чувственные, а также соответствующие им два вида качеств. Дискурс, который конструируется вокруг АСТ и ее ланкастерского направления в частности, формирует такое видение, когда *реальные* объекты исследуются через проявление ими своих *реальных* качеств (практик). Последние же исследуются мягкими методами этнографии. В этом случае атеросклероз становится локально «реальным» при рассмотрении артерии (из ампутированной ноги) под микроскопом (Мол, 2017б: 64–65), а железнодорожная авария становится локально «реальной» по той причине, что ошибку совершил сам машинист, проигнорировав правила эксплуатации (Ло, 2015: 38). Но действительно ли можно говорить о локальной реальности объектов в таком контексте? Мы считаем, что заявления работающих в духе ланкастерской школы АСТ-исследователей о том, что они исследуют реальные вещи, должны быть переосмыслены с опорой на разработанные объектно-ориентированные онтологии. Это позволило бы им более четко обрисовывать предметы своих исследований. Для более комплексного рассмотрения существующей в ис-

3. Витгенштейн описывает ситуацию, когда у нескольких людей есть коробки, в которых, по их утверждениям, находится то, что в своих языках они именуют жуком. Никому из них не позволено смотреть в коробки друг друга. Может случиться такое, что коробка вообще окажется пустой. Выходит, что под словом «жук» каждый подразумевает что-то свое и не существует возможности проверить, одинаковы ли «жуки» во всех коробках (Витгенштейн, 2018: 156).

следованиях ланкастерской ветви АСТ-лакуны⁴ мы предлагаем учитывать также их методологический аспект, а именно упор на методы этнографии — преимущественно на глубинные интервью и конверс-анализ. Именно поэтому здесь целесообразно обратиться к работам Л. Витгенштейна — к его идее о невозможности индивидуального языка, который выражал бы чувства, испытываемые от восприятия объекта. Витгенштейн позволяет показать, что феноменологичность каждого чувственного восприятия (так же как и в аргументах Хармана) не дает возможности исследователям выяснить методом глубинного интервью, какие именно качества «реального» объекта ухватил респондент. В этой связи возникает подозрение, что ланкастерские АСТ-исследователи рассматривают обобщенные чувственные качества, полученные при восприятии объекта, а затем, посредством операции теоретизирования превращают данную совокупность качеств в обобщенный чувственный объект — атеросклероз, цирроз печени и т. п. — имеющий свой словарь (язык) описания собственных качеств. Проще говоря, при таком методологическом подходе исследуются не свойства «реального» объекта, но воспроизводство дискурса. Данный вывод ни в коем случае не распространяется на всю качественную методологию и качественные исследования как таковые. Ведь большинство подобных исследований направлены на экспликацию чувственно-переживаемого опыта человека. Зачастую в качестве предмета в таких исследованиях фигурируют эмоции, память о нематериальном событии и т. п. Такой опыт можно и нужно исследовать подобными методами. Но, как нам кажется, путь «мягких» методов для исследования «реальных» объектов не всегда дает адекватные результаты.

Таким образом, в данный момент мы можем сформулировать главный вопрос для определения лакуны, к рассмотрению которой были приведены вышеизложенные положения, как адекватно концептуализировать объекты, если они операционально закрыты, и единственный способ к ним подступиться — это информация, которую они могут давать о себе в зависимости от контекста. Попытаемся ее восполнить, обратившись к работам другого объектно-ориентированного исследователя — Леви Р. Брайанта.

Заполнение лакуны: системное единство объекта

В целях нашего рассмотрения лакуны нам понадобится «системный аргумент» Леви Р. Брайанта, который разрабатывает свою онтикологию, опираясь на работу Никласа Лумана, в частности на его понимание информации (Луман, 2007: 117), а также на работу Грегори Бейтсона (Bateson, 1970). Поскольку Брайант продолжает свою линию размышлений вслед за Харманом, он подмечает, что реальные объекты являются для нас оперативно закрытыми, а чувственные объекты (в понимании Хармана) — это не реальные объекты сами по себе, но то, что они суть для других объектов. Этот тезис позволяет Брайанту поставить знак равенства между

4. Лакуна образуется в результате подмены реального бытия объектов интерпретациями исследовательских данных, создавая тем самым локальную «онтологию» интерпретаций.

чувственными качествами, информационными событиями и системными состояниями Лумана (Брайант, 2019: 164). Данная эквивалентность снимает избыточное напряжение с факта перцепции, когда вся работа лежит на воспринимающем объекте (чаще всего человеке), а воспринимаемый объект является статичным, никак не проявляющим себя. Кроме того, данный тезис переносит акцент на сам воспринимаемый объект, который может «излучать» системную информацию о себе при условии достаточного воздействия, а может и не «излучать». Если кратко обрисовывать эту оптику Брайанта, то следует отметить, что тот или иной реальный объект он рассматривает как аутопойетическую (живые объекты) или аллопойетическую (неживые объекты) систему, производящую информацию для познающего объекта, не важно, человек это или что-либо еще. Под информацией Брайант понимает событие, определяющее состояние системы, а также производящее различие (Луман, 2007: 117; Брайант, 2019: 162). Иными словами, интерпретация Лумана Брайантом, будучи применена к рассмотрению объектов, позволяет ему прийти к выводу, что закрытый для познания объект должен рассматриваться как система, которая при наличии возмущений окружающей среды способна реагировать на них, производя (а иногда и не производя) некоторый корпус информации о своих качественных состояниях. Далее Брайант подмечает принципиальный момент своей онтикологии, отличающий его теорию от подходов других «вещественных онтологий», а именно: что эти качественные состояния, «переживаемые» той или иной системой, обычно рассматриваются как отдельные другие объекты, но не как специфические свойства системы (Брайант, 2019). Иными словами, Брайант утверждает, что исследователь не может расчленять тот или иной объект (который должен рассматриваться как система) на отдельные составные части, но должен подмечать каждое изменение как изначально системное состояние. Уже с опорой на работы Бейтсона Брайант выделяет некоторую селективность информации, которую получает исследователь, при анализе той или иной системы — многие события в системе должны активизироваться скорее получателем, чем «инициатором» воздействия (Брайант, 2019: 158). Этот тезис, по мысли Брайанта, должен подводить к тому, что зачастую система в данный рассматриваемый момент имеет определенные характеристики, которые могут быть принципиально отличными или же отсутствовать вовсе в иных контекстуальных условиях. Поэтому следует говорить не о составных частях, выводя их в отдельную сферу бытия, но о специфических качествах, присущих системе в конкретный момент исследования.

Суммируя описанное выше, можно сделать несколько выводов. Во-первых, поскольку все объекты по своим изначальным свойствам являются оперативно закрытыми (принципиально непознаваемыми), доступ к ним можно получить только через их качественную составляющую, посредством восприятия производимой ими информации. Во-вторых, адекватное производство информации возможно лишь в рамках системы, поэтому тот или иной объект должен рассматриваться именно в этом качестве. В-третьих, свойства системы не должны онтологизироваться по отдельности и становиться независимыми объектами, так

как содержание того или иного информационного события зачастую может быть контекстуальным, а информация неполной. Такая оптика рассмотрения объектов кажется вполне релевантной, хотя в некоторой степени и отличается от подходов иных представителей так называемой «плоской онтологии»⁵. Так, например, ассамбляжный подход Мануэля Деланда позволяет переносить то или иное «онтологизированное» свойство одного ассамбляжа в другой без потери целостности первого (Деланда, 2018: 32), в то время как перенесение брайантовского свойства одной системы в другую может кардинально изменить свойства обеих. К примеру, если взять сердечно-сосудистую систему и вычленив в ее составе такую характеристику, как тромб, а затем перенести ее в иную систему, например, в нервную, то выяснится, что тромб может производить информацию и смысл только как составляющая часть сердечно-сосудистой системы, но как отдельный объект он рассматриваться не может, не говоря уже о том, чтобы переноситься, так как в рамках нервной системы у тромба нет возможности возникнуть и быть замеченным (потому что нет сосудов и крови). Системную методологию можно попробовать применить и к исследованиям Мол и Ло. Например, если рассматривать уже упоминавшийся ранее атеросклероз, то кажется, что «атеросклероз, обнаруживаемый в ампутированной конечности» или «атеросклероз, обнаруживаемый по температуре конечностей» есть не что иное, как свойства «атеросклероза-как-системы», а процесс его выявления — есть процесс получения информации через запуск определенного набора возмущений. Если взять и перенести тот или иной «онтологизированный» атеросклероз и процесс получения информации о нем в рамки другой системы, то таковая либо перестанет поступать вовсе, либо система будет уже иметь иной характер.

Заполнение лакуны

Достигнутое таким образом описание лакуны заключается в том, что чувственные объекты, которые не вписаны в какую-либо онтологию и считающиеся «реальными», не могут быть адекватно исследованы через их концептуальное рассмотрение сквозь призму перцептивного опыта людей, тем или иным образом с ними взаимодействующих. Проще говоря, следует уяснить, что у исследователей нет доступа к реальному объекту, поскольку он является оперативно закрытым — как вещь-в-себе у Канта (Харман, Брайант), поэтому исследовать можно только чувственные объекты. Исследовать эти чувственные объекты через «мягкую» методологию (глубинные интервью, например) нельзя, так как, во-первых, восприятие человека феноменально (Харман), во-вторых, релевантно отрефлексировать это восприя-

5. Плоской онтологией М. Деланда обозначает некоторую совокупность подходов (Харман, Латур, к примеру), в рамках которой все объекты рассматриваются как однопорядковые, т. е. ни одна из сфер анализа не может рассматриваться как главенствующая — например, как это было в работах Э. Дюркгейма, рассматривающего социальное как причину всего, за что был подвергнут критике со стороны Латура.

тие в языке невозможно (Витгенштейн). Как же адекватно заполнить обнаруженную ранее лауну? Ниже мы предлагаем описание той модели концептуализации объектов, которая выводит адекватную онтологию объектов на первый план.

В первую очередь, для того чтобы исследовать вещи, их нужно вписать в рамки какой-либо разработанной онтологии, с тем чтобы понять, как тот или иной объект может существовать не в вакууме, но в рамках многообразных связей со средой. Это может быть любая доступная теория — ассамбляжи Деланда, объектно-ориентированная философия Хармана, или же синтетический продукт этих и других теорий. Мы предлагаем синтезировать некоторые идеи Хармана (деление на чувственные и реальные объекты и свойства) и Брайанта (системное видение объектов). Для более удобного описания нашей концептуальной модели объектов примем за основу один из предметов исследования Мол — атеросклероз нижних конечностей. Атеросклероз следует рассматривать в рамках исследования как систему, имеющую четкие границы — все, что не входит в систему атеросклероза, является его окружающей средой. Исследователь должен очертить границы изучаемого объекта и его внешней среды. Это позволит избежать регрессии в бесконечность, которая так или иначе всегда маячит на горизонте. Мы предлагаем схематично очертить границы атеросклероза как системы его проявлениями в рамках больницы (включая исследовательскую составляющую). То есть, например, мы исключаем из поля исследования неудобства, связанные с атеросклерозом в быту — высокая утомляемость конечностей, низкая мобильность больного и т. п., — потому что мы не можем получать адекватной информации об этих проявлениях атеросклероза. Рассказ о боли в нижних конечностях может быть, например, выдумкой или чрезмерным проявлением ипохондрии — в связи с этим атеросклероз в быту — это уже окружающая среда по отношению к больничному системному атеросклерозу. После того, как мы приняли, что больничный атеросклероз — это система, мы должны также принять и то, что это не реальный, но чувственный объект. Это не столько необходимость, сколько ограничение теоретического языка, принятого нами на вооружение. Итак, больничный атеросклероз как система является чувственным объектом потому, что у нас нет доступа к его объектным качествам, чертам и характеристикам, мы можем довольствоваться лишь тем, какие реакции на возбуждения с нашей стороны он проявляет. Далее, анализируя те информационные сообщения системы, которые нам удастся уловить в процессе воздействия на атеросклероз (липидограмма, стресс-тестирование, лодыжечно-плечевой индекс), мы не должны онтологизировать их по отдельности, нам стоит их рассматривать как системные составляющие больничного атеросклероза. Проще говоря, не стоит, исследуя что-то в темноте, считать каждую найденную на ощупь часть отдельной деталью, но требуется понимать, что мы ищем целостность, состоящую из множества мелких частей. Это и есть системное видение. После того, как при рассмотрении информационных сообщений нам удалось наметить какие-либо системные свойства, эти свойства могут считаться по своему характеру реальными — реальными свойствами чувственного объекта. Затем,

пользуясь той операцией, которую Харман именует «теоретизацией», мы можем наметить приблизительные масштабы рассматриваемой нами системы больничного атеросклероза через соотнесение обнаруженных свойств с окружающей средой — иначе говоря, далее мы вписываем больничный атеросклероз как систему в окружающую среду — главный принцип отнесения к среде — отсутствие информации. Как уже было отмечено ранее, если мы не можем получить адекватной информации об атеросклерозе — значит, мы уже перешли границы системы больничного атеросклероза. Особо отметим, что бытовой атеросклероз сам может быть рассмотрен как отдельная система, по отношению к которой больничный атеросклероз — окружающая среда.

Внимание следует уделять системной информации, получаемой нами в процессе исследования. Важно понимать, что то или иное воздействие инициируется исследователем, но не самим объектом. Вот почему мы не можем принять лозунг «следования за акторами», так как в рамках нашей концептуальной модели мы не можем следить за реальными акторами, но только за чувственными, которые возникают зачастую по причине нашего с ними взаимодействия. Поэтому, описывая то или иное системное свойство больничного атеросклероза, мы должны указывать на то, что оно было обнаружено в связи определенными основаниями, которые подтолкнули нас на производство того или иного воздействия (учебная литература, интуиция, «голос в голове» и т. п.).

Стоит отметить, что мы также можем следовать за реконструированной в данном тексте Мол картиной и изучать атеросклероз как систему через глубинные интервью (если пренебречь тезисом Витгенштейна об индивидуальном языке). Но тогда нам следует понимать, что мы исследуем не чувственный объект, но его перцепцию — чувственный объект второго порядка. Методические рекомендации для такого исследования остаются без изменений — описать границу перцепции чувственного объекта, четко фиксировать природу того или иного воздействия (характер и направление вопросов), не онтологизируя каждую выявленную в процессе исследования деталь.

Выводы

Итак, мы можем констатировать, что в рамках исследований, проводимых ланкастерской ветвью АСТ, обнаруживается лакуна, которая оставляет за скобками онтологическую составляющую изучаемых объектов. Не вписывая исследуемые объекты в рамки каких-либо онтологий, АСТ-исследователи (Мол, Ло) потенциально открывают путь для регрессии в бесконечность, когда тот или иной объект может «практиковаться» или «обитать» там, где он никогда не обнаруживается. Для того чтобы адекватно сформулировать эту лакуну в философских терминах, целесообразно было обратиться к ресурсам «плоской онтологии» Г. Хармана и Л. Брайанта, а также к философии языка Л. Витгенштейна. Синтезируя идеи Хармана, Брайанта и Витгенштейна, мы выявили, что нельзя говорить об изучении реальных

вещей, анализируя языковые формы. Приступая к исследованию объекта, следует понимать, что мы изучаем не реальный, но тот чувственный объект, который формируем для себя на основании качественной информации, поступающей от него по *нашему запросу*. Когда в рамках своей исследовательской программы исследователи используют «мягкую» методологию (к примеру, глубинные интервью), следует говорить не об объектах и даже не о чувственных объектах, но о чувственных объектах второго порядка (рефлексии по поводу восприятия чувственного объекта). Это и есть регресс в бесконечность. Чтобы избежать подобных ситуаций, предметно-ориентированные исследователи, как нам представляется, должны вписывать предметы своих исследований в рамки существующих онтологических моделей (Деланда, Брайант, Харман и т. д.). Эти модели могут быть также и синтезированы в единую онтологическую методологию; примером такой синтетической модели может служить модель, основанная на ключевых идеях Хармана и Брайанта. Главные принципы ее таковы:

1. Объекты стоит рассматривать как чувственные, но не как реальные.
2. Чувственные объекты следует рассматривать как системы.
3. Информация — критерий демаркации системы и окружающей среды.
4. Селективный характер получаемых системных сообщений (исследователь не может изучить всю систему целиком сразу, поэтому обращается к какой-то ее части. Воздействуя на определенную часть системы, исследователь получает информацию, релевантную своему запросу).
5. Системные сообщения имеют статус реальных качеств.
6. Совокупность реальных качеств через операцию теоретизирования создает чувственный объект как систему.

Отдельно отметим, что если исследователю объектов кажется, что для него наиболее релевантны качественные методы исследования (*go along*, глубинное интервью и т. п.), то следует учитывать, что таким образом он исследует не сам объект и даже не его чувственный образ, ноотрефлексированную перцепцию чувственного объекта, которую здесь мы именуем чувственным объектом второго порядка.

Литература

- Астахов С. (2019). Концептуальный стиль Ланкастерской школы в АСТ // Социология власти. Т. 31. № 2. С. 17–44.
- Богост Я. (2015). Бардак в видеоиграх / Пер. с англ. К. С. Майоровой // Логос. № 1. С. 79–99.
- Брайант Л. (2019). Демократия объектов / Пер. с англ. О. С. Мышкина. Пермь: Гиле Пресс.
- Вахштайн В. (2005). Возвращение материального: «пространства», «сети», «потoki» в акторно-сетевой теории // Социологическое обозрение. Т. 4. № 1. С. 94–115.
- Витгенштейн Л. (2001). Заметки о философии психологии. Т. 1 / Пер. с нем. С. Д. Латушкина под ред. В. В. Анашвили. М.: Дом интеллектуальной книги.

- Витгенштейн Л. (2010). Философские исследования / Пер. с нем. Л. Добросельского. М.: АСТ.
- Де Лаэт М., Мол А. (2017). Зимбабвийский втулочный насос: механика текучей технологии / Пер. англ. А. Салина и Е. Быкова // Логос. № 1. С. 117–232.
- Деланда М. (2018). Новая философия общества: теория ассамбляжей и социальная сложность / Пер. с англ. К. С. Майоровой. Пермь: Гиле Пресс.
- Иванов Д. (2011). Другие сознания, инверсия спектра и индивидуальный язык // Эпистемология и философия науки. № 3. С. 70–83.
- Латур Б. (2014). Пересборка социального: введение в акторно-сетевую теорию / Пер. с англ. И. Полонской под ред. С. Гавриленко. М.: Изд. дом Высшей школы экономики.
- Ло Дж. (2015). После метода: беспорядок и социальная наука / Пер. с англ. С. Гавриленко, А. Писарева и П. Хановой под науч. ред. С. Гавриленко. М.: Изд-во Института Гайдара.
- Локк Дж. (1985). Опыт о человеческом разумении / Пер. с англ. А. Н. Савина // Локк Дж. Сочинения в 3 т. Т. 1. М.: Мысль.
- Луман Н. (2007). Социальные системы: общий очерк теории / Пер. с нем. И. Д. Газиева под ред. Н. А. Головина. СПб.: Наука.
- Мол А. (2017б). Множественное тело: онтология в медицинской практике / Пер. с англ. группы Cube of Pink (МГУ) под науч. ред. А. Писарева и С. Гавриленко. Пермь: Гиле Пресс.
- Мол А., Ло Дж. (2017). Воплощенное действие, осуществленные тела: пример гипогликемии / Пер. с англ. С. Нарановича и Л. Флорентьевой // Логос. № 2. С. 233–262.
- Фреге Г. (2000). Логика и логическая семантика / Пер. с нем. Б. Бирюкова. М.: Аспект-Пресс.
- Харман Г. (2015). Четвероякий объект: метафизика вещей после Хайдеггера / Пер. с англ. А. Морозов и О. Мышкин. Пермь: Гиле Пресс.
- Хайдеггер М. (2003). Бытие и время / Пер. с нем. В. В. Бибихина. Харьков: Фолио.
- Шлик М. (2006). Позитивизм и реализм // Журнал «Erkenntnis» («Познание»): Избранное. Т. 1 / Пер. с нем. А. Л. Никифорова под ред. О. А. Назаровой. М.: Территория будущего. С. 283–309.
- Bateson G. (1970). Form, Substance and Difference // General Semantics Bulletin. № 37. P. 5–13.
- Farías I. (2009). Urban Assemblages: How Actor-Network Theory Changes Urban Studies. London: Routledge.
- Latour B. (1999a). Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies, Cambridge: Harvard University Press.
- Latour B. (1999b). For David Bloor and Beyond // Studies in the History and Philosophy of Science. Vol. 30. № 1. P. 113–129.
- Mol A. (2002) The Body Multiple: Ontology in Medical Practice. Durham: Duke University Press.

Ontological Analysis of the Research by the Lancaster Branch of Actor-Network Theory: From Perception to Object

Evgeniy Popov

PhD Student, HSE University

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: evgeniipalamodov@mail.ru

In this article, the author attempts to consider the lacuna of “applied” ontology as proposed by the Lancaster version of the actor-network theory within the framework of a broader philosophically funded approach of Graham Harman (complemented by Levi Bryant’s ideas). This is done in order to clarify the position of the Lancaster version of ANT, according to which the same object may have several ontological modes, being, nevertheless, the same “real” object. For the purposes of analysis, the classical works of A. Mol and J. Law in addition to the works of L. Wittgenstein, L. Bryant, and H. Harman are used. The author of the article concludes that the ontological reality of objects and the perception of single objects as discrete ones within the framework of the ANT Lancaster branch results from the fact that Mol and Law do not fit their research into the framework of broader ontologies. They create their own local ontologies instead. Nevertheless, this “ontological lack” can and should be improved to increase research fruitfulness and complexity.

Keywords: ontology, A. Mol, J. Law, G. Harman, L. Bryant, object

References

- Astakhov S. (2019) Konceptual'nyj stil' Lankasterskoj shkoly v AST [The Conceptual Style of the Lancaster School in ANT]. *Sociology of Power*, vol. 31, no 2, pp. 17–44.
- Bateson G. (1970) Form, Substance and Difference. *General Semantics Bulletin*, no 37, pp. 5–13.
- Bogost I. (2015) Bardak v videoirah [Videogames are a Mess]. *Logos*, no 1, pp. 79–100.
- Bryant L. (2019) *Demokratiya obyektov* [The Democracy of Objects], Perm: Hyle Press.
- De Laet M., Mol A. (2017) Zimbabvijskij vtulochnyj nasos: mekhanika tekuchej tekhnologii [The Zimbabwe Bush Pump: Mechanics of a Fluid Technology]. *Logos*, no 1, pp. 117–232.
- Delanda M. (2018) *Novaya filosofiya obshchestva: teoriya assamblyazhej i social'naya slozhnost'* [A New Philosophy of Society: Assemblage Theory and Social Complexity], Perm: Hyle Press.
- Fariás I. (2009) *Urban Assemblages: How Actor-Network Theory Changes Urban Studies*, London: Routledge.
- Frege G. (2000) *Logika i logicheskaya semantika* [Logic and Logical Semantics], Moscow: Aspekt-Press.
- Harman G. (2015) *Chetveroyakij obyekt: metafizika veshchej posle Hajdeggera* [The Quadruple Object], Perm: Hyle Press.
- Heidegger M. (2003) *Bytie i vremya* [Being and Time], Kharkov: Folio.
- Ivanov D. (2011) Drugie soznaniya, inversiya spektra i individual'nyj yazyk [The Other Minds, Spectrum Inversion and Individual Language]. *Epistemology and Philosophy of Science*, no 3, pp. 70–83.
- Latour B. (1999) *Pandora's Hope: Essays on the Reality of Science Studies*, Cambridge: Harvard University Press.
- Latour B. (1999) For David Bloor and Beyond. *Studies in the History and Philosophy of Science. Part A*, vol. 30, no 1, pp. 113–129.
- Latour B. (2014) *Peresborka social'nogo: vvedenie v aktorno-setevuyu teoriyu* [Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory], Moscow: HSE.
- Law J. (2015) *Posle metoda: besporyadok i social'naya nauka* [After Method: Mess in Social Science Research], Moscow: Gaidar Institute Press.
- Locke J. (1985) *Opyt o chelovecheskom razumenii* [An Essay Concerning Human Understanding]. *Sochineniya. T. 1* [Selected Works, Vol. 1], Moscow: Mysl.

- Luhmann N. (2007) *Social'nye sistemy: obshchij ocherk teorii* [Social Systems: An Outline of General Theory], Saint-Petersburg: Nauka.
- Mol A. (2002) *The Body Multiple: Ontology in Medical Practice*, Durham: Duke University Press.
- Mol A. (2017) *Mnozhestvennoe telo: ontologiya v medicinskoj praktike* [The Body Multiple: Ontology in Medical Practice], Perm: Hyle Press.
- Mol A., Law J. (2017) Voploshchennoe dejstvie, osushchestvlennye tela: primer gipoglikemii [Embodied Action, Enacted Bodies: The Example of Hypoglycaemia]. *Logos*, no 2, pp. 233–262.
- Schlick M. (2006) Pozitivizm i realizm [Positivism and Realism]. *Zhurnal "Erkenntnis" ("Poznanie")*: *Izbrannoe. T. 1* ["Erkenntnis" ("Cognition") Journal: Selected Papers, Vol. 1], Moscow: Territoria buduschego, pp. 293–309.
- Vakhshtain V. (2005) Vozvrashchenie material'nogo: "prostranstva", "seti", "potoki" v aktorno-setevoj teorii [The Return of the Material: "Spaces", "Networks", "Flows" in Actor-Network Theory]. *Russian Sociological Review*, vol. 4, no 1, pp. 94–115.
- Wittgenstein L. (2001) *Zametki o filosofii psihologii* [Remarks on the Philosophy of Psychology], Moscow: Dom intellektual'noj knigi.
- Wittgenstein L. (2010) *Filosofskie issledovaniya* [Philosophical Investigations], Moscow: AST.

От социологии к новой социальной аналитике: кризис социологии и проблема искусственного интеллекта*

Андрей Резаев

Доктор философских наук, профессор, руководитель международной исследовательской
лаборатории ТАНДЕМ, Санкт-Петербургский государственный университет
Адрес: Университетская наб., д. 7–9, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034
E-mail: rezaev@hotmail.com

Наталья Трегубова

Кандидат социологических наук, ассистент кафедры сравнительной социологии,
Санкт-Петербургский государственный университет
Адрес: Университетская наб., д. 7–9, г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 199034
E-mail: n.tregubova@spbu.ru

Начало XXI века — это время, когда идея о кризисе социологии звучит все чаще, настойчивее, и в самых разнообразных вариациях. Вместе с тем — это период активного развития и распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ). Цель статьи состоит в том, чтобы проследить связь между кризисом социологии и новыми проблемами, которые возникают перед социальными учеными в связи с развитием ИИ. Авторы ставят два вопроса: как за последние 20 лет изменились оценочные суждения социологов о том, что происходит с социологией как с исследовательской деятельностью, с профессией и с прикладным знанием? Как рефлексия социологов о социологии соотносится с теми вопросами, которые ставит перед социальными учеными развитие технологий ИИ? В первой части статьи авторы рассматривают и сравнивают позиции участников дискуссии о будущем социологии, организованной в 2000 году на страницах журнала «Contemporary Sociology». На основании сравнительного анализа формулируются ключевые вопросы, вокруг которых выстраивается аргументация участников дискуссии, и выделяются три типа критики социологии: радикальная, умеренная социальная и умеренная концептуальная критика. Во второй части статьи рассматриваются две работы о «конце» социологии, опубликованные в 2019 году. Авторы сосредотачиваются на том, почему за прошедшие 20 лет обсуждение кризиса социологии сдвинулось в сторону радикальной критики и как новые аргументы уточняют и развивают дискуссию 2000 года. В третьей, заключительной, части статьи предлагается один из возможных путей выхода из кризиса/радикального обновления социологии — переход к а-типичной и анти-дисциплинарной социальной аналитике, организованной вокруг исследования проблем «искусственной социальности».

Ключевые слова: кризис социологии, социология как наука, искусственный интеллект, искусственная социальность

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Министерства по науке и технологиям Тайваня в рамках научного проекта No 2151152002. The study was supported by RFBR and the Ministry of Science and Technology (Taiwan), project No. 2151152002.

Работа опубликована при поддержке Программы «Университетское партнерство».

Начало XXI века — время повсеместного распространения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в самых разных сферах жизни общества. Причем если в конце XX века ИИ был призван решать научные, военные и промышленные задачи, то сегодня он создает среду, в которой люди работают и общаются между собой. Технологии ИИ в новом тысячелетии становятся неотъемлемой частью повседневной жизни: от поисковых алгоритмов до голосовых помощников, от чат-ботов до «умных» приборов, от онлайн-переводчиков до беспилотных автомобилей. Развитие искусственного интеллекта сегодня ставит проблемы не только перед математиками и инженерами, не только перед философами и нейробиологами, но и перед социальными учеными.

Вместе с тем в начале XXI века тема кризиса социологии для самих социологов стала чуть ли не общим местом. Сопровождая развитие дисциплины, проблематика кризиса меняет свои очертания от поколения к поколению. Сегодня голоса тех, кто заявляет о распаде, упадке или конце социологии, звучат особенно отчетливо. Но что есть «кризис социологии»? В чем он выражается, чем грозит социологам? И может ли быть сформулирована связь между кризисом социологии и теми новыми проблемами, которые возникают с развитием искусственного интеллекта?

Цель настоящей статьи состоит в том, чтобы сформулировать искомую связь — в первом приближении, не претендуя на полноту охвата ни со стороны исследования искусственного интеллекта, ни со стороны аргументов о кризисе социологии. Мы рассматриваем два вопроса:

- Что произошло с социологией и с социологами за последние 20 лет? Насколько изменились проблемы и темы, которые кажутся им (нам) важными? Насколько изменились оценочные суждения о том, что происходит с социологией как исследовательской деятельностью, с профессией и с прикладным знанием?
- Как рефлексия социологов о социологии соотносится с теми вопросами, которые ставит перед социальными учеными развитие технологий искусственного интеллекта?

В качестве «кейсов» для анализа мы рассмотрим десять статей о настоящем и будущем социологии. В 2000 году в журнале «Contemporary Sociology»¹ состоялась дискуссия о будущем социологии, в которой приняли участие девять именитых социологов. Два десятилетия спустя, в 2019 году опубликованы две статьи других, не менее заслуженных социологов, в которых современное состояние социологии характеризуется как «кризис» и «конец»². Ниже мы рассмотрим, какова аргументация авторов, контуры каких проблем и задач они намечают и как это соотносится с проблематикой искусственного интеллекта.

1. «Contemporary Sociology» — журнал Американской социологической ассоциации, посвященный обзорам публикаций и критическим дискуссиям по вопросам, актуальным для современной социологии.

2. Большинство авторов статей 2000 и 2019 года — представители академических организаций США. Тем не менее, они ставят и рассматривают проблемы, которые относятся к состоянию социологической дисциплины международной и глобальной перспективе.

Вопросы о будущем социологии в начале нового тысячелетия

Во втором номере журнала «Contemporary Sociology» за 2000 год была опубликована дискуссия (symposium) «Charting Futures for Sociology», включающая восемь статей девяти социологов, представляющих разные предметные области, исследовательские традиции и академические институты США и Австралии.

Статьи значительно отличаются как по уровню обобщения (одни авторы рассуждают о социологии вообще, другие — преимущественно о собственной области исследований), так и по ключевым темам и проблемам. Мы не будем пересказывать позиции, изложенные в отдельных статьях. Вместо этого мы посмотрим, какими вопросами — явно или неявно — задаются участники дискуссии и как на них отвечают.

Аргументация авторов выстраивается вокруг обсуждения пяти ключевых вопросов:

- Рассматривается ли социология как наука, как профессия или как прикладное знание?
- Рассматриваются ли институциональные или интеллектуальные проблемы социологии?
- Будет ли социология существовать дальше, или нечто иное придет ей на смену?
- Нужны ли в социологии принципиально новые подходы, концептуальные прорывы, или нужно развивать уже имеющиеся наработки?
- Рассматриваются ли проблемы с теорией, с данными и методами, с осмыслением новой социальной реальности или с взаимодействием с обществом?

Первый вопрос касается статуса социологии. Здесь могут быть выделены две оппозиции. Во-первых, *социология как наука* (исследовательская деятельность) с совокупностью теорий, методов и содержательных проблем противопоставляется *социологии-профессии* — тому, чем занимаются социологи в университетах, в исследовательских центрах, в студенческих аудиториях, в организациях и за их пределами. В радикальной форме данное различие сформулировано И. Валлерстайном: «В интеллектуальном отношении, социология не существует. Разумеется, есть социологи, но это — организационная и культурная реальность, которая весьма отличается от обоснованных интеллектуальных притязаний» (Wallerstein, 2000: 306). Во-вторых, социология как академическая наука и профессия сосуществует с *прикладным знанием*, которое используется для достижения целей общества и отдельных социальных групп. Данное различие хорошо видно в тексте Р. Коннелл: «Будущее социологии, если она избежит маргинализации и постепенного упадка, — в том, чтобы стать демократической наукой, знанием глобального общества о самом себе... Любое организационное изменение, которое ограничивает участие в социологической работе, которое превращает социологию в закрытую структуру или в самодостаточную культуру, направлено против долгосрочных интересов самой социологии» (Connell, 2000: 294).

Условия и проблемы развития социологии, обсуждавшиеся в рамках дискуссии 2000 года, подразделяются на интеллектуальные и институциональные. Наиболее четко данное различие сформулировано в тексте Э. Эбботта: «Существуют два аспекта будущего социологии: социально-структурный и интеллектуальный. С одной стороны, мы задаем вопрос, сохранится ли социология как дисциплина; с другой стороны, мы спрашиваем, возникнут ли новые идеи, которые наполнят эту структуру, если она сохранится» (Abbott, 2000: 296). Некоторые авторы сосредотачиваются на одном или другом типе проблем, другие — рассматривают оба типа. Интеллектуальные проблемы связаны с динамикой социологического знания, с теорией и методологией исследования. Институциональные проблемы касаются организационной базы социологической профессии, финансирования, ожиданий в отношении социологии и ожиданий самих социологов.

Представляется, однако, что для всех авторов социология как исследовательский процесс (*inquiry*) остается «ядром», вокруг которого организуется все остальное. И от ответа на вопрос, что происходит с этим ядром, зависит позиция по двум другим вопросам: будет ли социология существовать дальше? Что в социологии следует изменить? Два автора — Эбботт и Валлерстайн — выражают сомнения в том, что социология продолжит свое существование. Валлерстайн занимает крайнюю позицию: социология, как и другие социальные науки, уйдет вместе с капитализмом, и на ее смену придет нечто новое (Wallerstein, 2000). Эбботт более осторожен: социология как профессия, организованная вокруг университетских департаментов (по крайней мере, в США), может существовать «по инерции», вместе со своей организационной структурой; однако есть риск, что социология будет поглощена или «растворена» другими дисциплинами и междисциплинарными областями, такими как *women's studies* и *ethnic studies* (Abbott, 2000). Данный риск обусловлен в том числе размытым концептуальным ядром социологии, которая, согласно Эбботту, не объединена ни собственным методом, ни предметом, ни теорией, в отличие от других социальных наук. И Эбботт, и Валлерстайн призывают к выработке новых подходов, к «прорывам» в осмыслении новой социальной реальности, к преодолению дисциплинарных и национальных границ. Эбботт делает акцент на необходимости развития новых методов анализа для больших массивов данных, а также для данных об изменениях во времени. Оба автора полагают, что социология должна радикально обновиться.

Остальные авторы исходят из посылки о том, что социология будет продолжать существовать, однако ее существование требует новых поворотов — куда именно, каждый из авторов отвечает по-разному. Р. Коннелл (Connell, 2000) и М. Аткинсон (Atkinson, 2000) обращаются к проблемам взаимодействия социологии с обществом, к ее участию в реализации социального прогресса. Коннелл видит развитие в сторону «демократической науки» и выход из стен университета, Аткинсон — влияние на общество через преподавание, которое не должно быть лишь «придатком» исследовательской деятельности. Л. Смит-Ловин (Smith-Lovin, 2000), Б. Рескин (Reskin, 2000), А. Стинчкомб и К. Хеймер (Stinchcombe, Heimer,

2000) предлагают развивать — в том или ином направлении — теорию и методологию социологических исследований. Эти авторы приводят примеры организации исследования и теоретизирования из других дисциплин — в основном из социальной психологии. Наконец, Г. Беккер (Becker, 2000) считает необходимым развивать новые способы презентации и работы с данными, связанные с визуальными материалами и с использованием возможностей компьютеров.

На вопрос, с чем именно связана необходимость изменений, авторы отвечают по-разному. Часть из них связывает изменения в социологии с развитием общества — как на макросоциальном уровне (Валлерстайн, Коннелл, Эбботт), так и на уровне запросов конкретных заказчиков — студентов и их родителей (Аткинсон). Социальные изменения, в свою очередь, требуют новых способов осмысления социальной реальности и (или) новых форм воздействия на общество. Некоторые авторы также указывают на организационные основания социологии (Эбботт, Аткинсон) и на появление новых данных и новых способов их анализа (Эбботт, Беккер). Наконец, часть авторов рассматривает проблемы научного знания и необходимости новых теоретических и методологических решений, исходя из его внутренней динамики (Смит-Ловин, Рескин, Стичкомб и Хеймер, Эбботт).

Позиции авторов суммированы в Таблице 1.

На основании проведенного анализа ключевые аргументы авторов могут быть типологизированы следующим образом:

- *Радикальная критика*: социология радикально изменится, потому что меняется общество и потому что ее концептуальный аппарат устарел (Эбботт, Валлерстайн).
- *Умеренная социальная критика*: социология должна воздействовать на общество и взаимодействовать с ним по-новому (Коннелл, Аткинсон).
- *Умеренная концептуальная критика*: социологию нужно развивать и дополнять в теории, методологии и методах (Смит-Ловин, Стичкомб и Хеймер, Рескин, Беккер).

Кризис социологии и будущее социологов двадцать лет спустя

В дискуссии 2000 года преобладали осторожно-оптимистические оценки будущего социологии. Публикации 2019 года значительно отличаются от них по тону и эмоциональному настрою и отчасти — по аргументации.

В 2019 году вышли две публикации, посвященные оценке современного состояния социологии. Статья Ф. Ванденберге и С. Фукса, опубликованная в «Canadian Review of Sociology», содержит рефлексию о социологической науке, поводом для которой стал конгресс Международной социологической ассоциации 2018 года в Торонто (Канада). Статья Дж. Хауса в «Annual Review of Sociology», одном из ведущих мировых социологических журналов, была написана по просьбе редакционной коллегии как размышления о современном состоянии дисциплины.

Таблица 1

Авторы	Социология — наука, профессия или прикладное знание?	Институциональные или интеллектуальные проблемы?	Будет ли социология существовать дальше, и в какой форме?	Нужны ли принципиально новые прорывы, или нужно развивать старое на новом материале?	Проблемы с теорией, методами/данными, осмыслением социальной реальности, взаимодействием с обществом?
R. Connell	Прикладное знание на основе науки	В основном институциональные	У социологии два пути — стать наукой о проигравших или демократической наукой для глобального общества	Нужна демократическая наука на основе того, что социологи уже умеют	Проблемы с новой социальной реальностью (мировое рыночное общество) и взаимодействием с ней
A. Abbott	Профессия и наука	Институциональные и интеллектуальные	У социологии есть риск быть поглощенной другими областями знания	Нужны концептуальные прорывы: новые способы работы с данными, новые теории, новое осмысление культуры и социального прогресса	Проблемы с теорией, с данными, и с новой социальной реальностью
L. Smith-Lovin	Объяснительная наука, основанная на наблюдении фактов	В основном интеллектуальные	Дисциплинарную структуру социологии следует сохранить: она помогает мыслить в терминах отношений, а не индивидов	Нужно создавать теории (generative theories), основанные на наблюдении и способные делать предсказания, на основе развития имеющихся теорий	Проблемы с теорией и со способами исследования
I. Wallerstein	Профессия	Институциональные и интеллектуальные	Социология и другие социальные науки уйдут вместе с капитализмом	Нужны концептуальные прорывы в преодолении устаревших различий, на которых основаны социальные науки	Проблемы с не-правильными концептуальными и дисциплинарными различиями

A. Stinchcombe and C. Heimer	Наука с относительно строгими методами (в сравнении с постмодернизмом)	Интеллектуальные	Социология должна развиваться и заимствовать у других наук	Нужно развивать и разрабатывать способы исследования под/несознательного и полусознательного поведения людей	Проблемы с методологией (методами, данными, предметом анализа)
B. Reskin	Наука и прикладное знание	В основном интеллектуальные	Социология должна заимствовать у социальной психологии, развивая междисциплинарный подход	Нужны теории о неосознанной социальной категоризации в дополнение к теориям о стратегическом действии, причем исследовать категоризацию нужно в естественных условиях	Проблемы с теорией и методологией исследований, а также с убедительностью результатов для заинтересованных лиц
M. Atkinson	Профессия (преподавание, академические и прикладные исследования)	В основном институциональные	Социология как профессия нуждается в более сбалансированной структуре, в вознаграждении преподавания	Нужно развивать, дополнять и преподавать студентам то, что есть, а также исследовать само преподавание	Проблемы с взаимодействием с обществом в области преподавания социологии
H. Becker	Профессия и наука	Институциональные и интеллектуальные	Социология будет существовать, но нужны новые формы, а изменение формы повлияет на содержание исследований	Нужно заимствовать и развивать новые формы презентации и работы с данными: фото, видео, аудио, статистические графики, компьютерные симуляции, ссылки и гипертекст	Проблемы в данных и методах, а также в использовании новых техник

Публикации различаются по нескольким важным параметрам. Статья Ванденберге и Фукса касается международной социологии, сосредотачивается на интеллектуальных проблемах и содержит радикальное сомнение в том, что социология имеет будущее. Статья Хауса характеризует преимущественно состояние социологии в США, уделяет больше внимания институциональным аспектам ее развития и формулирует более умеренную и сочувственную критику социологической дисциплины. Тем более интересным оказывается то, в чем сходятся авторы публикаций.

Статья Ванденберге и Фукса по форме тяготеет к манифесту. Авторы провозглашают конец социологии: «Уходит эпоха, и социология уходит вместе с ней. Социология исчезает не как академическая деятельность и не как дисциплинарная организация. Само поле с некоторого времени теряет свою сущность, ядро и идентичность, становится пустым и поверхностным, готовое к встрече с ницшеанским молотом» (Vandenberge, Fuchs, 2019: 138). В качестве основной причины «конца» социологии авторы выделяют *размывание содержательного ядра дисциплины*, отсутствие внятной социальной онтологии. Одним из следствий этого, по мнению авторов, является разделение на интеллектуалов-идеологов и узких специалистов, решающих проблемы в строго очерченном кругу своей специализации, причем оба типа безразличны к «большим» вопросам социальной теории.

Ванденберге и Фукс утверждают, что те, кто именует себя социологами, не имеют того, вокруг чего могли бы предметно объединиться, поэтому происходит «размывание» границ — с журналистикой, с социальным активизмом, с другими социальными науками, с тем, что авторы называют «the Studies» — «слабо связанным агрегатом литературной критики, деконструктивистской риторики и различных „пост-измов“» (Ibid.: 142). Ванденберге и Фукс выделяют четыре типа фрагментации в социальных науках: 1) внутри социологии — между исследованиями и преподаванием; 2) внутри социологии — между теорией и эмпирическими исследованиями, а также между разными «школами»; 3) между социологией и «the Studies»; 4) между социальными науками и моральной и политической философией.

Вывод статьи неутешителен: социология распадается, сжимается и поглощается другими областями знания. Социологи тем не менее продолжают существовать. Выходом, по мысли авторов, могла бы стать новая междисциплинарная наука: «социология имеет будущее, только если она осознает себя как субдисциплину новых социальных наук и гуманитарного знания» (Ibid.: 143).

Статья Дж. Хауса представляет анализ американской социологии в исторической перспективе, основанный на размышлениях автора о собственном опыте, на рефлексии коллег, а также на данных об институциональной динамике социологии. Автор сплетает академическую автобиографию с анализом внешних и внутренних проблем социологии и других социальных наук. Хаус характеризует себя как «междисциплинарного социального ученого, который стремится развивать и применять социальную науку, чтобы улучшить благополучие отдельных людей и общественную жизнь» (House, 2019: 1).

Современное состояние социологии автор характеризует как «„кульминацию кризиса социологии“ — сущность которого была и остается в отсутствии интеллектуального единства внутри дисциплины, которое все более парализует реализацию ее возможностей и обязательств в понимании и улучшении человеческого общества» (Ibid.: 3). Таким образом, основная причина кризиса, как ее видит Хаус, совпадает с позицией Ванденберге и Фукса.

Отсутствие концептуального единства, однако, накладывается на институциональные проблемы развития дисциплины. Хаус выделяет несколько этапов становления социологии в США. Период после Второй мировой войны был эпохой социального подъема и одновременно — временем подъема социологии и других социальных наук, развития междисциплинарных и прикладных программ. 1970-е годы характеризовались ростом университетских департаментов и при этом — тенденциями к замыканию внутри дисциплины, разочарованием в междисциплинарных прикладных программах. В 1980-е годы сокращение финансирования и сопутствующая борьба за ресурсы обострила внутри- и междисциплинарные расколы в социальных науках. При этом экономика становится ведущей дисциплиной среди социальных наук и доминирует в возникшей области public policy. Как следствие, в 1990–2000-е годы ученые начинают обсуждать проблемы социологии и ее будущее; фрагментация внутри дисциплины нарастает. Решение проблемы единства было предложено в 2000-е годы М. Буравым и его единомышленниками в виде программы публичной социологии. Однако, по мнению Хауса, такой ответ привел к еще большему раздроблению и разделению. Таким образом, социология переживает упадок, и причина этого упадка двойная — внешние обстоятельства и реакция на них социологов.

Вывод статьи заключается в том, что целое — социология — оказывается меньше суммы частей — трудов отдельных социологов. Хаус пишет: «Я полагаю, что в XXI веке еще больше выделились проблемы, а может быть, и невозможность, социологии как дисциплины, хотя — в то же самое время — многие социологи продолжают быть активными и продуктивными» (Ibid.: 17). Недостаток концептуального единства мешает достигать и практических целей, одновременно с этим угасают междисциплинарные связи.

В завершение Хаус намечает три варианта развития социологии: а) дальнейшее раздробление и уход социологов в другие области; б) достижение консенсуса о том, что такое социология и чем должны заниматься социологи; в) разделение на научную/эмпирическую и гуманистическую/философскую социологию. И только последний вариант, с позиции автора, — одновременно и возможен, и желателен (приемлем).

Мы видим, что Ванденберге и Фукс, с одной стороны, и Хаус, с другой стороны, по-разному расставляют акценты, характеризуя современное состояние социологии, его причины и возможное будущее дисциплины. Однако три тезиса оказываются общими для них:

- Социология находится в глубоком кризисе, в то время как социологи продолжают работать — писать статьи, получать гранты, выступать на конгрессах, преподавать.
- Основная причина кризиса социологии — в отсутствии концептуального (интеллектуального) единства.
- В будущем социологию ждет или распад/«растворение» в других областях знания, или радикальное изменение, которое требует специальных усилий со стороны социологов.

Соотнесем теперь аргументы, сформулированные в 2019 году, с дискуссией 2000 года.

Прежде всего статьи 2019 года относятся к радикальной критике социологии и тем самым противостоят как умеренной социальной, так и умеренной концептуальной критике. И Хаус, и Ванденберге и Фукс выражают скептическое отношение к повороту в сторону умеренной социальной критики, в то время как умеренная концептуальная критика полагается недостаточной для решения насущных проблем. *За двадцать лет критическая аргументация сосредоточилась на концептуальных проблемах — на отсутствии единого ядра дисциплины.*

С чем связаны изменения в аргументах авторов и в восприятии состояния социологии? Представляется, что за период с 2000 года произошло следующее. Уже в начале тысячелетия социологами фиксировались недостаток единства, концептуальная и методологическая «пустота», нехватка новых организационных форм, связанные как с внутренними, так и с внешними проблемами дисциплины³. Попытка решить данные проблемы была предпринята в рамках реализации императива умеренной социальной критики: социология должна воздействовать на общество и взаимодействовать с ним по-новому⁴. Сегодня данная попытка воспринимается — по крайней мере, некоторыми социологами — как неудачная. Достижение единства социологии через решение социальных проблем привело к окончательной потере концептуального единства — а может быть, к окончательному осознанию этой потери. Как следствие, границы между «публичным социологом» и журналистом/активистом, становятся все более иллюзорными, в то время как расколы внутри самой социологии приобретают необратимый характер (см. дискуссию: Sztompka, 2011; Burawoy, 2011).

Обратимся еще раз к вопросам, вокруг которых было организовано обсуждение будущего социологии в 2000 году. Какие ответы предлагает на них радикальная критика сегодня?

- Рассматривается ли социология как наука, как профессия или как прикладное знание? — *Социология остается профессией и прикладным знанием, но нет единой науки социологии.*

3. Так, авторы в рамках умеренной концептуальной критики предлагали весьма разные, хотя и не взаимоисключающие, решения в области теории, методологии и методов.

4. Интеллектуальные и институциональные причины именно такого решения требуют отдельного исследования.

- Рассматриваются ли институциональные или интеллектуальные проблемы социологии? — *Интеллектуальные проблемы являются ключевыми, институциональные проблемы — усиливают или «консервируют» влияние интеллектуальных.*
- Будет ли социология существовать дальше, или нечто придет ей на смену? — *Социология, как она существует сейчас, не имеет будущего.*
- Нужны ли в социологии принципиально новые подходы, концептуальные прорывы, или следует развивать уже имеющиеся наработки? — *Нужны новые подходы, которые обеспечили бы превращение социологии в нечто иное. Альтернативой является распад дисциплины.*
- Рассматриваются ли проблемы с теорией, с данными и методами, с осмыслением новой социальной реальности или с взаимодействием с обществом? — *Ключевая проблема — потеря концептуального единства. Центробежные тенденции существуют в любой дисциплине, однако в социологии они достигли порога, за которым становятся необходимы радикальные изменения.*

Следующий вопрос для радикальной критики социологии заключается в том, что делать и почему нужно что-то делать в принципе. Иными словами, чем ценна социология, что в ней следует сохранить?

Представим аргументы статей, которые содержат радикальную критику социологии, в Таблице 2.

Таблица 2

Авторы	Что следует делать?	Чем ценна социология?
A. Abbott	Нужно развивать новые теории о происходящем здесь-и-сейчас (проблемах образования, здравоохранения и т. п.) на основе анализа новых типов данных. Также необходимо новое понимание социального прогресса	Широкий охват социологии обеспечивает ее гибкость, возможность проводить новаторские, прорывные исследования. Обратная сторона этого — в том, что плохая социология хуже, чем плохая экономика, плохая антропология или плохая политология
I. Wallerstein	Перед представителями всех социальных наук стоят пять задач: переосмыслить и преодолеть разрывы 1) между историей и теорией (прошлым и настоящим); 2) между рынком, государством и гражданским обществом; 3) между «Западом» и «остальным миром»; 4) между «двумя культурами», а также философией и наукой; 5) переосмыслить постулат о ценностной нейтральности	В интеллектуальном смысле социология не существует. Но это верно и в отношении других социальных наук

F. Vandenberghe and S. Fuchs	Социология должна стать подотраслью новых социальных наук и гуманитарного знания. Только междисциплинарная социальная наука в диалоге с философией и «the Studies» сможет стать актуальной для осмысления того, что происходит сегодня	Социология возникла как саморефлексия и самонаблюдение современного общества. В отличие от многих других дисциплин, она способна понимать и объяснять себя, быть самореферентным наблюдателем
J. House	Из реалистичных сценариев развития наиболее желательным является разделение на две отдельные дисциплины — на научную и гуманистическую социологию	Мы живем в эпоху доминирования экономики, геномики и информатики, которые воспринимают коллективные феномены как сумму действий автономных индивидов. Социология, в отличие от них, способна видеть и анализировать то влияние, которое макросоциальные структуры и процессы оказывают на индивидуальное и коллективное благополучие и на социальную политику.

Можно видеть, что ответы авторов весьма различаются. Хаус пытается определить содержательное ядро социологии и предлагает наименее радикальные изменения в структуре социального знания. Для Эбботта социология ценна прежде всего возможностью делать в ее рамках практически все что угодно, при этом следует создавать новые теории на новых данных о новых социальных проблемах. Валлерстайн, Ванденберге и Фукс полагают, что структура социальных наук должна измениться, включая переосмысление границ с философией и с гуманитарными дисциплинами.

Тем не менее все авторы, явным образом или лишь отчасти, формулируют две точки напряжения. С одной стороны, нужны новые концептуальные прорывы в определении того, «что делает социальную реальность социальной, и что делает ее реальной» (Vandenberghe, Fuchs, 2000: 140), которые требуют в том числе изменения границ между дисциплинами. С другой стороны, социологам необходимо внимательно смотреть и пытаться понять то, что происходит здесь-и-сейчас. Линия соединения этих двух точек — новой теории и новой социальной реальности — и будет линией, вокруг которой должна организоваться социальная наука будущего.

Аргументы радикальной критики социологии можно принимать или отвергать. Если их принять (к чему склоняются авторы настоящей статьи), возникают новые вопросы: *на что* именно следует обратить внимание? И как об этом следует думать? К двум вопросам необходимо добавить третий: как убедить себя и других в том, что мы (те, кто называл себя социологами) можем делать то, чего другие не могут?

Именно здесь в качестве возможного ответа и возникает проблематика искусственного интеллекта.

Искусственный интеллект как проблема для социальных наук

Как было отмечено в начале статьи, развитие технологий ИИ ставит проблемы не только перед представителями компьютерных и когнитивных наук, но и перед социальными учеными.

Почему это так? Начнем с простого примера: на планете Земля проживает около 7,7 млрд человек. При этом число «умных» вещей составляет 13,8 млрд. То есть вещей, с которым люди могут взаимодействовать, сегодня почти в два раза больше, чем самих людей. И очевидно, что для исследования взаимодействий людей с «умными» вещами необходимы новые теории и методы: здесь не обойдешься методами опроса/интервью/дискурс-анализа и фиксацией классических параметров социальной структуры. В отличие от ставших привычными («естественными») технологических инноваций, таких как письменность, распространение технологий ИИ в обществе предполагает взаимодействие с относительно автономными агентами, способными действовать, принимать решения и достигать цели в логике, отличной от человеческой и нередко «непрозрачной» для человека (Резаев, Стариков, Трегубова, 2020).

Чем определяется исключительность агентов ИИ в сравнении с другими объектами? Для ответа на этот вопрос следует прежде всего зафиксировать, что мы имеем в виду под «искусственным интеллектом». В другом месте мы детально обсуждали проблему определения искусственного интеллекта в соотнесении с другими понятиями, представляя развернутую аргументацию в пользу собственной позиции (Резаев, Трегубова, 2019). Приведем «рабочее определение», которое позволит зафиксировать его существенные черты для социальной аналитики:

Искусственный интеллект представляет собой ансамбль разработанных и закодированных человеком рационально-логических, формализованных правил, которые организуют процессы, позволяющие имитировать интеллектуальные структуры, производить и воспроизводить целерациональные действия, а также осуществлять последующее кодирование и принятие инструментальных решений вне зависимости от человека (Там же: 40).

Данное определение фиксирует пять ключевых характеристик ИИ:

- Искусственный интеллект — это не продукт, не устройство, а совокупность правил, которые организуют некоторый процесс.
- ИИ как процесс представляет собой результат человеческой деятельности.
- ИИ представляет собой ансамбль правил, закодированных для решения инструментальных задач и достижения определенных целей.
- Инструментально закодированные правила организуют деятельность, которая имитирует интеллектуальные структуры *Homo sapiens*.
- Сымитированные структуры в состоянии участвовать в последующем кодировании, обучаться и принимать инструментальные решения, в том числе без участия и вне зависимости от человека.

Для социальных наук принципиальным является включение агентов ИИ в повседневную жизнь общества. Эту тенденцию мы фиксируем в понятии «искусственная социальность». Термин «искусственная социальность» вводится в научный оборот Т. Мальшем, который понимает ее как коммуникативную сеть, где наряду с людьми, иногда и вместо людей, участвуют агенты ИИ, а средой для взаимодействия является Интернет (Malsch, 1998). Мы же предлагаем более широкое определение искусственной социальности:

Искусственная социальность представляет собой эмпирический факт участия агентов ИИ в социальных взаимодействиях в качестве активных посредников или участников этих взаимодействий (Резаев, Трегубова, 2019: 43).

Примеры развития искусственной социальности в современном мире многочисленны. Голосовые помощники, «умные» вещи, роботы-игрушки, роботы-помощники, чат-боты разной сложности и разной специализации, алгоритмы-врачи и алгоритмы-судьи — все они становятся активными участниками социальных взаимодействий дома, на рабочем месте, в сфере досуга. Многочисленные поисковые, сортирующие и рекомендательные алгоритмы в онлайн-среде являются активными посредниками в отношениях между людьми: они рекомендуют нам друзей в социальных сетях и товары в интернет-магазинах, опосредуют поиск информации, составляют рабочее расписание и контролируют выполнение трудовых обязанностей.

Итак, для социологов искусственный интеллект становится проблемой вместе с развитием искусственной социальности. Каким образом данная проблематика фиксируется в работах современных исследователей?

В конце XX века имел место «всплеск» интереса социальных ученых к искусственному интеллекту (Woolgar, 1985; Schwartz, 1989; Collins, 1992; Wolfe, 1993; Bainbridge et al., 1995). При этом исследователи подходили к анализу проблем ИИ с разных теоретико-методологических позиций, так что можно было бы ожидать плодотворных дискуссий и выработки новых подходов к анализу проблем искусственной социальности. Однако этот «всплеск» (по причинам, которые нуждаются в отдельном исследовании) угас к началу 2000-х. Сегодня, несмотря на некоторые важные исключения (Esposito, 2017; Etzioni, Etzioni, 2017; Collins, 2018), проблематика ИИ остается для социологов маргинальной. Она часто «растворяется» в других областях — в анализе новых средств коммуникации, в исследованиях технологий, в критических исследованиях расы, гендера и пр. Положение социологии при этом оказывается «везде и нигде»: сами социологи могут считать, что исследования в теории коммуникаций, STS или в постмодернистской критике принадлежат к их полю, однако их авторы вовсе не всегда с этим согласны (Резаев, Трегубова, 2021).

Должно ли подобное положение дел вызывать беспокойство у социологического сообщества? Нет, если ИИ — это очередная мода или «мелкотемье», которое отвлекает ученых от действительно важных проблем: от анализа социального неравенства, социальной мобильности, динамики ценностей и т. п. Да, если пробле-

матика ИИ является важной для конституирования самого предмета социологии в рамках развернувшегося кризиса дисциплины.

Развитие технологий ИИ ставит перед исследователями три познавательные задачи, которые перекликаются с аргументами радикальных критиков социологии, приведенными выше:

- Доминирующие науки (экономика в анализе поведения людей, компьютерные науки в анализе деятельности ИИ) рассматривают новые явления преимущественно в терминах суммы действий индивидов. Макросоциальные структуры и процессы, динамика общественных отношений — а также, добавим, общения — ускользает от них. И именно здесь обнаруживается «конкурентное преимущество» социологов в анализе тех нелинейных эффектов взаимодействия людей с агентами ИИ, которые характеризуют искусственную социальность.
- Распространение технологий ИИ порождает новые тенденции и *новые социальные проблемы* в хорошо знакомых социологии областях — в сферах образования, здравоохранения, на рынке труда, в характере межличностных отношений.
- Вместе с развитием онлайн-среды и действующих в ней алгоритмов возникают принципиально *новые типы данных* («большие», непрерывные, данные о работе технических устройств), для обработки и анализа которых необходимы новые методы.

Выделенные задачи могут быть соотнесены с концептуальным, эмпирическим и институциональным аргументами в пользу обращения социологов к проблематике искусственного интеллекта.

Концептуальный аргумент был сформулирован Аланом Вулфом (Wolfe, 1993): если социология в XIX веке отмежевывалась от биологии, то сейчас ее задача — отмежеваться от исследований искусственного интеллекта. Ключевым здесь становится вопрос о человеческой исключительности. Социологи исследуют социальную организацию людей, однако и животные обладают некоторой социальной организацией. Социологи исследуют правила и нормы, действующие в обществе, ориентируясь на которые люди вступают во взаимодействия и реализуют свои цели — однако и агенты ИИ реализуют некоторые цели и следуют некоторым правилам. Есть ли у социальных наук уникальный предмет? Что отличает людей от иных животных и что отличает их от ИИ? Каким образом (благодаря каким характеристикам и каким механизмам) агенты ИИ становятся активными посредниками и участниками социальных взаимодействий? Вот принципиальные вопросы для социальной теории. И если в эпоху возникновения социологии аргументы о человеческой исключительности стимулировала теория эволюции, то сегодня ее место могла бы занять гипотеза о мозге как о вычислительной машине. Иными словами, появление ИИ позволяет по-новому увидеть концептуальное единство дисциплины и побуждает социологов к развитию новых теорий. И такие теории возникают. Сам Вульф предлагает обоснование гипотезы о человеческой исключительности

с опорой на мидовскую традицию в социологической теории (Wolfe, 1993). Еще один вариант теоретизирования предлагает Елена Эспозито, развивая теорию Лумана: она показывает, каким образом и при каких условиях алгоритмы ИИ, не разделенные сознанием, могут быть участниками коммуникации (Esposito, 2017).

Эмпирический аргумент в пользу обращения к проблематике ИИ состоит в том, что развитие технологий приводит к возникновению новых тенденций, которые будут формировать облик обществ будущего. Данный аргумент одновременно дополняет и корректирует концептуальный аргумент. Сегодня радикальные критики социологии подчеркивают отсутствие концептуального единства. Но в какой мере оно необходимо и каким должен быть его источник? Йоста Эспинг-Андерсен (2008), рассматривая данный вопрос, утверждает: кризис дисциплины связан с тем, что те тенденции, которые фиксировали классики и которые оказались важны для понимания развития обществ в XX веке — «веберовская» бюрократия, «парсоновская» семья и т. п., — уже не дают ключей к пониманию изменений в социальной реальности. Поэтому нужно фиксировать новые тенденции в организации труда, в характере социальных связей, в политической организации в сравнении с тем, что социология успешно описывала в XX веке. Теория возникнет не только (и не столько) из абстрактных построений, но и из умения выделять то, что потом будет определять облик социальных отношений. И здесь феномены, связанные с вхождением агентов ИИ в повседневную жизнь общества, могут стать решающими для формирования новых капиталистических отношений и повседневного общения в XXI веке. Данные тенденции осмысляются сегодня в теории «надзорного капитализма» (Zuboff, 2019), в концепции «оружия математического поражения» как новой формы организации (O’Neil, 2016), в исследованиях новых форм общения и одиночества (Turkle, 2011).

Наконец, *институциональный аргумент* затрагивает вопрос о дисциплинарных границах. От чего следует социологии отмежевываться и с чем объединяться? В этом отношении можно фиксировать двойное давление на социологию: со стороны того, что Ванденберге и Фукс именуют «the Studies», и со стороны «науки о данных» (data science). С одной стороны, умеренная социальная критика «разворачивает» социологию в сторону обсуждения проблем социального неравенства, дискриминации и угнетения, что в пределе приводит к отказу от идеи эмпирической социальной науки в пользу гуманитарного знания с его акцентом на интерпретацию и сопереживание. С другой стороны, появление больших массивов данных о поведении людей, а также алгоритмов их автоматического сбора и анализа позволяет сформулировать радикальный тезис: социальные ученые больше не нужны, так как машина сама все посчитает и выделит главное. «Зажатая» между радикальным релятивизмом и радикальным позитивизмом (Smelser, 2003), социология (и шире — социальная наука) стоит перед необходимостью обоснования собственного существования. Исследование конкретных эмпирических кейсов внедрения технологий ИИ могло бы стать той областью, где социологи способны доказать свою профессиональную пригодность: именно потому, что простая

интерпретация, как и простая обработка данных оказываются здесь недостаточными. Взаимодействия человека и ИИ столь разнообразны и столь новы, что требуют новых нетривиальных методов сбора и анализа данных, а также новых теоретических прорывов в их осмыслении.

Вместо заключения: на пути к а-типичной и анти-дисциплинарной социальной аналитике

Итак, в поисках ответов на вопросы о кризисе социологии, мы исходим в первую очередь из того, что смотреть следует на феномены, связанные с вхождением технологий искусственного интеллекта в повседневную жизнь общества. Интерес к искусственному интеллекту сегодня связан не с принципиальными изменениями в технологических решениях, а с тем, что социальная реальность — то, что происходит между людьми — постепенно меняется.

Чем может стать социология, если социологи будут принимать всерьез те изменения, которые влечет за собой развитие искусственной социальности? Наш тезис заключается в том, что на место социологии должна прийти *а-типичная и анти-дисциплинарная социальная аналитика* (Резаев, Стариков, Трегубова, 2020).

Социальная наука будущего — это *социальная аналитика*, которая использует концептуальные и методологические инструменты различных социальных наук, опирается на философию для определения «социальной онтологии» своего предмета и сочетает различные способы исследования и формы презентации, не замыкаясь внутри узких дисциплинарных жанров. В рамках социальной аналитики преодолеваются различия, на которые указывал И. Валлерстайн: между теорией и историей; между рынком, государством и гражданским обществом; между «Западом» и «остальным миром»; между философией и наукой. Социальная аналитика отдает себе отчет в собственных ценностных основаниях, стремится к объединению поиска истины и поиска блага.

А-типичная социология предполагает дизайн и конструкцию новых «составных частей» социальной аналитики, а также ре-конфигурацию существующих составляющих социологии для исследований не-социальных феноменов. Не-социальные феномены в социологии — это феномены, которые не описываются в терминах общественных отношений⁵. Мы полагаем, что такие феномены связаны с возникновением, развитием и проникновением в общественную жизнь агентов ИИ. Уже сегодня их влияние на структуры повседневности и общения представляет определяющим. Чего ожидать от внедрения в повседневную жизнь более совершенного искусственного интеллекта? Это вопрос для а-типичной социологии,

5. Это наиболее общее и «минимальное» содержание, которое авторы статьи вкладывают в понятие «социального». Здесь мы идем вслед за Марксом как социальным философом, который первым открыл область общественных отношений и для философии, и для социальной аналитики. Данный ход, однако, не предполагает принадлежность к той или иной разновидности марксизма.

которая требует нового концептуального аппарата и обращения к новым типам данных, возникающим в условиях искусственной социальности.

Наконец, возникает необходимость в *анти-дисциплинарной социальной аналитике*. Как отмечал Дж. Хаус, междисциплинарные проекты XX века с участием социологии принесли плоды в исследовании различных социальных проблем. Однако в современных условиях подлинная междисциплинарность становится все более сложной, а границы между дисциплинами — все менее ясными (Smelser, 2003). Что более важно, междисциплинарность в эпоху ИИ не будет столь же полезна, как она была раньше. Здесь следует вспомнить, что исследования искусственного интеллекта изначально были анти-дисциплинарным проектом: идея и идеология воспроизводства и преодоления человеческих способностей плохо соотносится с дисциплинарными границами, расчленяющими человеческое существование на обособленные области познания. Анти-дисциплинарные проекты возникают, когда появляются новые исследовательские проблемы в отношении принципиально новых феноменов. Мы полагаем, что проблема взаимодействия и взаимозависимости человека и ИИ в условиях изменяющихся общественных отношений — именно такая проблема.

Необходимость а-типичной и анти-дисциплинарной социальной аналитики сегодня фиксируется при разработке человеко-ориентированного подхода к ИИ (human-centered AI). Данный подход, развиваемый в исследовательских центрах США и Западной Европы, объединяет усилия исследователей и разработчиков из разных областей знания. Человеко-ориентированный подход призван поставить в центр развития технологий ИИ благо человека и человечества, так чтобы технологии подстраивались под людей, а не люди — под технологии (Резаев, Трегубова, 2021). Эта задача требует междисциплинарного и, в пределе, анти-дисциплинарного взаимодействия, направленного на анализ не-социальных феноменов, возникающих в ходе развития искусственной социальности. Такого рода анализ отменяет строгие разделения между исследованиями рынка, государства и гражданского общества, между научным и гуманитарным знанием, а также между ценностной нейтральностью исследователей и ангажированностью активистов. Чтобы реализовать благо человека в ходе взаимодействия с ИИ, нужно для начала понять, в чем данное благо состоит.

В завершение сформулируем два тезиса. Во-первых, *те, кто называет себя социологами, нужны для исследования проблем ИИ*. Во-вторых, *сегодня анализ проблем ИИ — один из немногих шансов заниматься социологией осмысленно*. Если принять данные тезисы, то социология и искусственный интеллект в равной мере необходимы друг другу. Но для того, чтобы связь между ними стала реальной, сама социология должна измениться. Направления будущих изменений и намечают радикальные критики социологии в эпоху кризиса дисциплины⁶.

6. Вопрос о том, насколько социология может и должна меняться в других направлениях, не связанных с развитием ИИ, мы оставляем за рамками настоящей статьи. Ответ на него зависит от того,

Литература

- Резаев А. В., Стариков В. С., Трегубова Н. Д. (2020). Социология в эпоху «искусственной социальности»: поиск новых оснований // Социологические исследования. № 2. С. 3–12.
- Резаев А. В., Трегубова Н. Д. (2019). «Искусственный интеллект», «онлайн-культура», «искусственная социальность»: определение понятий // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 6. С. 35–47.
- Резаев А. В., Трегубова Н. Д. (2021). Искусственный интеллект и искусственная социальность: новые явления, проблемы и задачи для социальных наук // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. № 1. С. 4–19.
- Эспинг-Андерсен Г. (2008). Два общества, одна социология и никакой теории / Пер. с англ. И. Григорьевой // Журнал исследований социальной политики. Т. 6. № 2. С. 241–266.
- Abbott A. (2000). Reflections on the Future of Sociology // Contemporary Sociology. Vol. 29. No. 2. P. 296–300.
- Atkinson M. P. (2000). The Future of Sociology is Teaching? A Vision of the Possible // Contemporary Sociology. Vol. 29. № 2. P. 329–332.
- Bainbridge W., Brent E., Carley K., Heise D., Macy M., Markovsky B., Skvoretz J. (1994). Artificial Social Intelligence // Annual Review of Sociology. Vol. 20. P. 407–436.
- Becker H. S. (2000). What Should Sociology Look Like in the (Near) Future? // Contemporary Sociology. Vol. 29. № 2. P. 333–336.
- Burawoy M. (2011). The Last Positivist // Contemporary Sociology. Vol. 40. № 4. P. 396–404.
- Collins H. (2018). Artificial Intelligence: Against Humanity's Surrender to Computers. Madford: Polity Press.
- Collins R. (1992) Can Sociology Create an Artificial Intelligence? // Collins R. (ed.) Sociological Insight: An Introduction to Non-Obvious Sociology. N.Y.: Oxford University Press. P. 155–184.
- Connell R. W. (2000). Sociology and World Market Society // Contemporary Sociology. Vol. 29. № 2. P. 291–296.
- Esposito E. (2017) Artificial Communication? The Production of Contingency by Algorithms // Zeitschrift für Soziologie. Vol. 46. № 4. P. 249–265.
- Etzioni A., Etzioni O. (2017). Should Artificial Intelligence Be Regulated? // Issues in Science and Technology. Vol. 33. № 4. P. 32–36.
- House J.S. (2019). The Culminating Crisis of American Sociology and Its Role in Social Science and Public Policy: An Autobiographical, Multimethod, Reflexive Perspective // Annual Review of Sociology. Vol. 45. P. 1–26.

- Malsch T.* (ed.) (1998). *Sozionik: Soziologische Ansichten über Künstlicher Sozialität*. Berlin: Sigma.
- O'Neil C.* (2016). *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*. N.Y.: Crown Publishers.
- Reskin B. F.* (2000). The Proximate Causes of Employment Discrimination // *Contemporary Sociology*. Vol. 29. № 2. P. 319–328.
- Schwartz R. D.* (1989). Artificial Intelligence as a Sociological Phenomenon // *The Canadian Journal of Sociology*. Vol. 14. № 2. P. 179–202.
- Smelser N.* (2003). On Comparative Analysis, Interdisciplinarity and Internationalization in Sociology // *International Sociology*. Vol. 18. № 4. P. 643–657.
- Smith-Lovin L.* (2000). Simplicity, Uncertainty, and the Power of Generative Theories // *Contemporary Sociology*. Vol. 29. № 2. P. 300–306.
- Stinchcombe A. L., Heimer C. A.* (2000). Retooling for the Next Century: Sober Methods for Studying the Subconscious // *Contemporary Sociology*. Vol. 29. № 2. P. 309–319.
- Sztompka P.* (2011). Another Sociological Utopia // *Contemporary Sociology*. Vol. 40. № 4. P. 388–396.
- Turkle S.* (2011). *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*. N.Y.: Basic Books.
- Vandenbergh F., Fuchs S.* (2019). On the Coming End of Sociology // *Canadian Review of Sociology*. Vol. 56. № 1. P. 138–143.
- Wallerstein I.* (2000). Where Should Sociologists be Heading? // *Contemporary Sociology*. Vol. 29. № 2. P. 306–308.
- Wolfe A.* (1993). *The Human Difference: Animals, Computers, and the Necessity of Social Science*. Berkley: University of California Press.
- Woolgar S.* (1985). Why not a Sociology of Machines? The Case of Sociology and Artificial Intelligence // *Sociology*. Vol. 19. № 4. P. 557–572.
- Zuboff S.* (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. N.Y.: Public Affairs.

Sociology on the Way to New Social Analytics: The Crisis in Sociology and the Problem of Artificial Intelligence

Andrey V. Rezaev

Doctor of Philosophical Sciences, Director of International Research Laboratory TANDEM, St Petersburg University

Address: Universitetskaya Emb., 7/9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034

E-mail: rezaev@hotmail.com

Natalia D. Tregubova

Candidate of Sociological Sciences, Assistant Professor, Comparative Sociology Chair, St Petersburg University
Address: Universitetskaya Emb., 7/9, Saint Petersburg, Russian Federation 199034
E-mail: n.tregubova@spbu.ru

At the turn of the 21st century, sociology as a science has become an object of criticism both from inside and outside the discipline. At the same time, the late-20th and early 21st centuries endorse an unprecedented splash of technological development, specifically the advancement of artificial intelligence technologies. The paper tries to show a relation between these two tendencies. For the authors, two questions are in the spotlight: (1) how have evaluations of the professional sociologists on what is happening to the discipline changed over the last 20 years? and (2) how could these evaluations be related to the research questions that the development of AI technologies brings to social sciences? In the first part of the paper, the authors examine and compare the participants' positions in the discussion about the future of sociology organized by the journal *Contemporary Sociology* in 2000. The second part of the paper examines two articles published in 2019 where it was proclaimed "the end of sociology." The paper discusses why the debates about the crisis of sociology have shifted towards radical criticism during these years and how new arguments refine and supplement the previous discussions. In conclusion, the authors propose one way out of the crisis in sociology. They suggest the radical renewal of sociological science into a-typical and anti-disciplinary social analytics with the central orientation into "artificial sociality" inquiries.

Keywords: crisis in sociology, sociology as an inquiry, artificial intelligence, artificial sociality

References

- Abbott A. (2000) Reflections on the Future of Sociology. *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 296–300.
- Atkinson M. P. (2000) The Future of Sociology is Teaching? A Vision of the Possible. *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 329–332.
- Bainbridge W., Brent E., Carley K., Heise D., Macy M., Markovsky B., Skvoretz J. (1994) Artificial Social Intelligence. *Annual Review of Sociology*, vol. 20, pp. 407–436.
- Becker H. S. (2000) What Should Sociology Look Like in the (Near) Future? *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 333–336.
- Burawoy M. (2011) The Last Positivist. *Contemporary Sociology*, vol. 40, no 4, pp. 396–404.
- Collins H. (2018) *Artificial Intelligence: Against Humanity's Surrender to Computers*, Madford: Polity Press.
- Collins R. (1992) Can Sociology Create an Artificial Intelligence? *Sociological Insight: An Introduction to Non-Obvious Sociology* (ed. R. Collins), New York: Oxford University Press, pp. 155–184.
- Connell R. W. (2000) Sociology and World Market Society. *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 291–296.
- Esping-Andersen G. (2008) Dva obshchestva, odna sociologija i nikakoj teorii [Two Societies, One Sociology, and No Theory]. *Journal of Social Policy Studies*, vol. 6, no 2, pp. 241–266.
- Esposito E. (2017) Artificial Communication? The Production of Contingency by Algorithms. *Zeitschrift für Soziologie*, vol. 46, no 4, pp. 249–265.
- Etzioni A., Etzioni O. (2017) Should Artificial Intelligence Be Regulated? *Issues in Science and Technology*, vol. 33, no 4, pp. 32–36.
- House J.S. (2019) The Culminating Crisis of American Sociology and Its Role in Social Science and Public Policy: An Autobiographical, Multimethod, Reflexive Perspective. *Annual Review of Sociology*, vol. 45, pp. 1–26.
- Malsch T. (ed.) (1998) *Sozionik: Soziologische Ansichten über Künstlicher Sozialität*, Berlin: Sigma.
- O'Neil C. (2016) *Weapons of Math Destruction: How Big Data Increases Inequality and Threatens Democracy*, New York: Crown Publishers.
- Reskin B. F. (2000) The Proximate Causes of Employment Discrimination. *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 319–328.

- Rezaev A., Starikov V., Tregubova N. (2020) Sociologija v jepohu "iskusstvennoj social'nosti": poisk novyh osnovanij [Sociology in the Age of 'Artificial Sociality': Search of New Bases]. *Sociological Studies*, no 2, pp. 3–12.
- Rezaev A., Tregubova N. (2019) "Iskusstvennyj intellekt", "onlajn-kul'tura", "iskusstvennaja social'nost": opredelenie ponjatij [Artificial Intelligence, On-line Culture, Artificial Sociality: Definition of the Terms]. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 6, pp. 35–47.
- Rezaev A., Tregubova N. (2021) Artificial Intelligence and Artificial Sociality: New Phenomena and Challenges for the Social Sciences. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes*, no 1, pp. 4–17.
- Schwartz R. D. (1989) Artificial Intelligence as a Sociological Phenomenon. *The Canadian Journal of Sociology*, vol. 14, no 2, pp. 179–202.
- Smelser N. (2003) On Comparative Analysis, Interdisciplinarity and Internationalization in Sociology. *International Sociology*, vol. 18, no 4, pp. 643–657.
- Smith-Lovin L. (2000). Simplicity, Uncertainty, and the Power of Generative Theories. *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 300–306.
- Stinchcombe A. L., Heimer C. A. (2000) Retooling for the Next Century: Sober Methods for Studying the Subconscious. *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 309–319.
- Sztompka P. (2011) Another Sociological Utopia. *Contemporary Sociology*, vol. 40, no 4, p. 388–396.
- Turkle S. (2011) *Alone Together: Why We Expect More from Technology and Less from Each Other*, New York: Basic Books.
- Vandenbergh F., Fuchs S. (2019) On the Coming End of Sociology. *Canadian Review of Sociology*, vol. 56, no 1, pp. 138–143.
- Wallerstein I. (2000) Where Should Sociologists be Heading? *Contemporary Sociology*, vol. 29, no 2, pp. 306–308.
- Wolfe A. (1993) *The Human Difference: Animals, Computers, and the Necessity of Social Science*, Berkley: University of California Press.
- Woolgar S. (1985) Why not a Sociology of Machines? The Case of Sociology and Artificial Intelligence. *Sociology*, vol. 19, no 4, pp. 557–572.
- Zuboff S. (2019) *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, New York: Public Affairs.

Вернуть государство*

MAGUN A. (ED.). (2020). THE FUTURE OF THE STATE: PHILOSOPHY AND POLITICS. LANHAM: ROWMAN & LITTLEFIELD. 296 P. ISBN 978-1-78661-483-4

Марк Белов

Стажер-исследователь, Центр фундаментальной социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Бакалавр, юридический факультет, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: markusabelov@gmail.com

«State theory is back». Такими словами начинает свою рецензию на книгу «The Future of the State: Philosophy and Politics» под редакцией Артемия Магуна американский политический теоретик Джоди Дин¹. Это утверждение воодушевляет, ведь сегодня выходит сравнительно небольшое количество исследований, рассматривающих государство не только в исторической перспективе, но и переосмысляющих его на концептуальном уровне. Из русскоязычных работ, которые затрагивали бы данную проблематику, можно отметить сборник статей Европейского университета «Понятие государства в четырех языках», исследование О. В. Хархордина «Основные понятия российской политики», книгу М. М. Крома о рождении Московского государства и небольшую работу В. В. Волкова «Государство, или Цена порядка»². Из зарубежной литературы были выпущены переводы курса лекций о государстве Пьера Бурдьё, масштабная работа Боба Джессопа, несколько книг антрополога Джеймса Скотта³.

* Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «Этика солидарности и биополитика карантина: теоретические проблемы культурно-политических трансформаций в эпоху пандемий», реализуемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 году.

1. Dean J. (2020). Review: The Future of the State: Philosophy and Politics. URL: <https://rowman.com/ISBN/9781786614841/The-Future-of-the-State-Philosophy-and-Politics> (дата доступа: 16.08.2021).

2. См.: Хархордин О. (ред.). (2002). Понятие государства в четырех языках. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад; Хархордин О. (2011). Основные понятия российской политики. М.: Новое литературное обозрение; Кром М. М. (2018). Рождение государства: Московская Русь XV–XVI веков. М.: Новое литературное обозрение; Волков В. В. (2018). Государство, или Цена порядка. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге.

3. См.: Бурдьё П. (2017). О государстве: курс лекций в Коллеж де Франс (1989–1992) / Пер. с фр. Д. Кралечкина и И. Кушнарёвой. М.: Дело; Джессон Б. (2019). Государство: прошлое, настоящее и будущее / Пер. англ. С. Моисеева под науч. ред. Д. Карасева. М.: Дело; Скотт Дж. (2020). Против зерна: глубинная история древнейших государств / Пер. с англ. И. Троцук. М.: Дело.

Некоторые авторы указывают, что государство как аналитический объект вообще стало жертвой «ненадлежащего захоронения»⁴. Будучи во многом результатом деятельности средневековых юристов государство практически исчезло из оптики юридической науки, и на необходимость его концептуального обновления и изучения сегодня указывает сравнительно небольшое количество юристов-теоретиков⁵. Социальные науки довольствуются эмпирическими исследованиями, где государство возникает не как самостоятельный предмет изучения, но лишь в связи с правоприменением, медициной или экономикой, выступая механистическим субъектом принятия решений. Во введении к книге отмечается, что по окончании холодной войны государство в политической науке стало рассматриваться в качестве самого главного института, имеющего незаменимые функции осуществления безопасности, управления макроэкономикой и благосостоянием, а также преследующего собственные корыстные интересы. Но все-таки государство оставалось институтом, порожденным обществом и призванным удовлетворять цели, поставленные обществом и международным сообществом, что явилось современной тенденцией автономизации, инструментализации и делигитимации государства (р. 4–5).

Большие теории государства ушли, но само государство осталось. Массированное наступление неолиберализма, проходившее под знаменем борьбы с государством, не ослабило его, но перестроило под нужды невыборных экспертов. Неолиберальное государство все еще государство, и в этом его ирония (р. 13). Именно размывание контуров государства, придание ему характера отсутствующего, но в то же время всегда присутствующего явления, готового вмешаться в жизнь, сделало его неуязвимым для интеллектуального «захвата». Но в период пандемии государство присутствует в нашей жизни более явно, чем когда-либо. Это проявляется в закрытых границах, различных ограничениях и карантинных мероприятиях. Если для одних возвращение государства стало возобновлением «утраченного» *status quo*, то есть обращением к сильному суверенному национальному государству⁶, то для авторов книги — это возможность радикального переосмысления способности государства быть демократичным. Именно задачу критического анализа государства и построения новой левоориентированной теории ставят перед собой авторы данного сборника (р. 3).

Указание на «левизну» не должно пугать и отталкивать читателя. Помимо левых мыслителей и теоретиков, которые, конечно, доминируют, в книге имеются

4. Aronowitz S., Bratsis P. (eds.) (2002). *Paradigm Lost: State Theory Reconsidered*. Minneapolis: University of Minnesota Press. P. xi.

5. См.: Назмутдинов Б. В. (2020). Критические концепции государства и их значение для российской юриспруденции: введение в проблематику // *Lex russica*. Т. 73. № 6. С. 122–138; Честнов И. Л. (2016). Постклассическая модель государственности // *Известия высших учебных заведений. Правоведение*. № 1. С. 62–79.

6. Зорькин В. Д. (2021). Возвращение государства: дееспособность власти проверяется в общенациональной беде. URL: <https://rg.ru/2021/05/17/valerij-zorkin-deesposobnost-vlasti-proveraetsia-v-obshchenacionalnoj-bede.html> (дата доступа: 27.07.2021).

авторы, напрямую не связывающие государство с новой радикальной политикой или марксистской традицией. Так, например, Майкл Мардер говорит о государстве через кантовскую и аристотелевскую перспективы, раскрывая в самых абстрактных категориях, таких как место, отношение, субстанция, напряжение, способность разъяснить действительные политические проблемы (р. 15). Александр Филиппов подходит к рассмотрению государства в контексте международного права, обнаруживая взаимное влияние суверенного государства и международного порядка (р. 16). Но даже опираясь на одних и тех же мыслителей, левоориентированные авторы выстраивают критическую теорию государства совершенно по-разному. Это придает работе плюралистический характер, хотя и в рамках определенных координат.

Несмотря на различные воззрения авторов на государство, принципы его функционирования и его будущее, все они сходятся в одном: списывать государство со счетов рано. Как отмечает редактор сборника, авторов объединяет критический подход к превалирующему сегодня вебериянскому инструменталистскому мышлению о государстве и желание предложить политическую альтернативу для будущего (р. 19). Остается только согласиться, что государство сегодня необходимо заново обнаружить и переосмыслить.

Формат рецензии не позволяет уделить внимание каждому автору, а потому, ни в коей мере не преуменьшая значимость и вклад других авторов, сконцентрируемся на текстах, открывающих теоретические и практические горизонты осмысления феномена сегодняшнего государства.

Зачем государство?

Британский социолог Филип Абрамс в своей статье 1977 года отмечал, что государство не есть реальность, стоящая за маской политических практик, но что оно само является маской, скрывающей политические практики⁷. Маска отводит взгляды особо заинтересованных, обманывая их своей внешней невозмутимостью, направленной на следование абстрактным принципам и ценностям. Это позволяет использовать понятие государства в самом широком политическом смысле, подминая под него и народ, и любое политическое объединение как таковое. В книге же, скорее, проводится апологетика государства как политического образования. Во вступительной части отмечается, что, ограничивая себя академическим значением, мы оставляем вакантным семантическое место государства-как-политии (р. 8). Для редактора сборника А. Магуна государство не просто предмет исследования и не ширма, скрывающая реальные политические процессы, но универсальная политическая форма объединения людей. Отношение к государству

7. *Abrams P. (1988). Notes on the Difficulty of Studying the State // Journal of Historical Sociology. Vol. 1. № 1. P. 82.*

как единству общества разрабатывалось философом в другой книге⁸. Государство по этой логике стоит очистить от неовеберовской и неомарксистской интерпретаций, отказывающих государству в позитивной модели организации политического пространства (р. 5). Магун предлагает следовать за Гегелем и заново ввести негативный элемент демократии в рамки государства, организовав их сосуществование (р. 9).

Диалектика государства

Проблемы, стоящие перед современным государством, должны быть решены диалектически (р. 14). Именно диалектический метод предлагает в своей главе Магун. Автор выводит генеалогию диалектики государства, начиная с Платона и заканчивая Карлом Шмиттом (р. 241–252). В этой генеалогии особо важными фигурами для диалектического метода современного государства, как представляется, являются Лейбниц, Христиан Вольф и Георг Еллинек. Лейбниц вскрыл парадокс сосуществования на одном уровне нескольких суверенитетов, стремящихся к совершенству и доминированию. Как один суверенитет может подчинять себе другой суверенитет (р. 245)? Магун считает, что это состояние показывает идеологическую реальность современности. Если суверенитет действительно существует, то нет никаких причин, почему к нему не может стремиться каждая субъективность (р. 245). В том числе и каждое государство, при условии, что оно выражает универсальную справедливость, пригодную для всего человечества⁹. Международное право разделяет национальный суверенитет и права человека, но оба они являются формами суверенитета как абсолютного права. Современное государство управляет корпорациями и негосударственными организациями, которые все больше похожи на изоморфные государства. Международное право ослабляет национальные суверенитеты, в то же время сохраняя их (р. 246), ведь субъектами международного права являются суверенные государства. Все это примеры взаимодействий и столкновений различных суверенитетов в ситуации отсутствия глобального суверена (р. 246). Это, по мнению автора, не должно вести к гоббсовской войне, но, скорее, к необходимости *Civitas Maxima*, идее мирового государства, без которого невозможно право, о чем писал Христиан Вольф (р. 246).

Георг Еллинек представлен в книге своей концепцией самоограничения государства. Сущность суверенитета, согласно немецкому юристу, состоит не только в верховенстве власти, но и способности к ее самоограничению через право. Магун пишет, что подобное решение возможно назвать диалектическим в той мере, в какой оно позволяет обнаружить напряжение между всемогущим государством, принципом ограниченной власти и автономией субъекта. Автор тут же замечает, что порой подобные правовые самоограничения приводят к невозможности де-

8. Магун А. В. (2011). Единство и одиночество: курс по политической философии Нового времени. М.: Новое литературное обозрение. С. 13.

9. Бибихин В. В. (2005). Введение в философию права. М.: Институт философии РАН. С. 34.

лать что-либо, как, например, в ситуации развала СССР (р. 250). Чтобы прийти к действительно диалектической модели, Магун дополняет концепцию Еллинека указанием, что самоограничение происходит с целью наделения другого субъекта большими правами, а после соединяет идею самоограничения с чрезвычайным положением К. Шмитта. Получается следующая схема: 1) государство самоограничивает себя с тем, чтобы наделить протестную группу правами; 2) протестная группа восстает против государства, вводится чрезвычайное положение; 3) государство возвращает себе власть, но только для того, чтобы ограничить власть восставших с целью уравнивания субъективностей. В результате это не восстановление предыдущего порядка, но отрицание отрицания (р. 252). В этой схеме мы видим выражение диалектики государства на национальном уровне: борьба многих субъектов, стремящихся к суверенитету (Лейбниц); наличие суверена, определяющего право (Вольф); самоограничение, ведущее к установлению иного качественного состояния (Еллинек и Шмитт).

Диалектический метод, на первый взгляд репрессивный, необходим для решения вопроса неудач протестных движений. По мнению автора, большинство социальных движений противоречивы и имеют скорее деструктивный, нежели конструктивный характер. Они находятся в диалоге с государством, но не стремятся воссоздать политику (р. 255). Демократия же, указывает философ, создается не движением снизу, но пересечением гражданского участия и самоорганизации с отзывчивостью и демократическими интересами руководящих органов (р. 257). В тех странах, где этого пересечения не происходит, мы можем наблюдать либо отмену демократии, либо гражданскую войну.

Еще одним важным элементом диалектики государства выступает концепт репрезентации. Правительства XIX века пытались исключить персональный фактор с помощью ротации официальных лиц, но сама идея выборов представителей делала политику более персонифицированной (р. 261). Впрочем, концентрация на личности выборного политика началась с того момента, как победила точка зрения федералистов о том, что представитель должен превосходить своих избирателей¹⁰, а в саму федеральную конституцию США вошла сильная президентская власть и иные централизующие элементы¹¹. Сегодня мы наблюдаем начало коллапса репрезентативной политики как таковой. В демократических системах появляются недостойные политики, пытающиеся быть суверенами¹², а протестные движения, ранее поддерживаемые харизматичным лидером, затухают, будучи обезглавленными. Репрезентация позволяет А. Магуну выявить диалектику, о которой говорилось абзацем выше. В демократическом государстве все лица наделены полномочиями по усмотрению. Правительство авторизируется обществом так

10. Замятин А. (2021). За демократию: местная политика против деполитизации. М.: Издательские решения. С. 93.

11. Хархордин О. В. (2021). Республика. Полная версия. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге. С. 96.

12. Newman S. (2019). Political Theology: A Critical Introduction. Cambridge: Polity Press. P. 102.

же, как и должностные лица и представители социальной власти авторизируются правительством. При этом эти назначения происходят в определенных пределах (р. 262). Здесь отражена и идея столкновения суверенных субъектов, обладающих властью, и концепция самоограничения.

Однако нам кажется, что самым слабым звеном в этом диалектическом движении остается общество. В контексте государственного устройства все же лучше использовать конституционное понятие народа, если мы, конечно, не говорим о строительстве политики с нуля. Народ как категория является юридической фикцией так же, как и органы власти, которые он авторизует. Но фикцией самой слабой, поскольку ее стабильность напрямую зависит от практик участников общества, в отличие от институтов государственной и полицейской власти, имеющих силу за счет социальных представлений и объективации. Получается, что современный Левиафан состоит вовсе не из тел подданных, но из юридических абстракций, в которых растворяется личность в силу налаженности бюрократического процесса. Эти юридические маски на каждом из уровней власти, как верно указывает Магун, действительно имеют определенную долю суверенитета, направленного на правоподдержание существующего порядка. В. Беньямин проводил разграничение между правоустанавливающим и правоподдерживающим насилием. Первое может устанавливать для себя правовые цели, в то время как второе подлежит ограничению¹³. Но в правовой ситуации отсутствия какой-либо ясности эта грань стирается¹⁴, позволяя расширять границы правопорядка. Пандемия является наглядной иллюстрацией подобного положения. Полномочия по введению ограничений и проведению вакцинации, хотя и в законном порядке, были спешно отданы ведомствам субъектов Федерации, позволив этим медицинским суверенам заниматься правоустанавливающей практикой. Постановления главных санитарных врачей и губернаторов субъектов создали новые порядки функционирования практически всех предприятий. Пандемия вообще раскрыла возможности волюнтаристской перекройки правовой реальности. Оказаться в новом правовом порядке нам еще предстоит. Подобным образом проявляется бессознательное государства (р. 262).

Не может остаться без рассмотрения вопрос соотношения государства и международной системы. Диалектика государства и международного порядка серьезно усложняет идеальную картину Вестфальского мира. Упования либералов и постмодерновых левых на глобальное правительство разбились о реальность реакции государств и их империалистского расширения (р. 265). Выход из ситуации, когда абстрактная правовая рамка не воспринимает суверенные структуры национального и международного сообщества, видится автору в создании международной делиберативной демократии для всех гражданских автономных объединений (р. 266). Но достигнуть полного решения противоречий возможно только

13. Беньямин В. (2012). К критике насилия / Пер. с нем. И. Чубарова // Беньямин В. Учение о подоби: медиаэстетические произведения. М.: РГГУ. С. 77.

14. Там же. С. 78.

в мировом федеральном государстве (р. 269), основанном на праве субъектов, а не правилах или нормах (р. 268). Магун предпринимает попытку переосмысления всего глобального устройства мира, демонстрируя на последних страницах своего текста правовую систему государства будущего (р. 271–275). Состоятельность подобного предприятия следует оставить на суд читателя. И хотя автор отмечает, что в одной статье нельзя решить все конфликты, не предъявляя каких-либо претензий, поставим несколько вопросов для дальнейшего размышления.

Подобный проект, если он рассчитан на реальность, потребует предварительного этапа фундаментального философского переосмысления права и еще большей практической работы по перестройке правовых институтов. Даже если предположить, что эта стадия будет пройдена, следует спуститься с уровня философского устремления на уровень практики, тем более что автор сам призывает считаться с реальностью. Почти невозможно представить себе ситуацию, в которой суверенные государства пойдут на столь масштабные шаги по сближению. Кроме того, подобное сближение требует не только политической воли, но и проникновения в идеологические основы каждого правопорядка, ведущего к разрушению социально-правовой действительности. Потенциал этого деструктивного для социального порядка действия имеют самоорганизующиеся движения, коим Магун отказывает в эффективности. Философ утверждает, что любой субъективности свойственно стремление к суверенности (р. 246), то есть стремление к утверждению примата собственной власти над всеми другими властями. В связи с этим вспомним предупреждение В. В. Бибихина: «Если весь мир станет одним государством, этого соревнования уже не будет, и придется бояться, что, если всемирное государство пойдет путем неправа, не будет реальной силы для его исправления»¹⁵. Радикальная негативность оставляет зазор и для подобного развития истории.

При всем том статья Магуна — смелый и интересный интеллектуальный вызов, а диалектический метод, предложенный философом, способен раскрыть неожиданные стороны функционирования государства. Помимо этого, проект мирового государства расширяет грани мышления о мире, что наверняка способно вывести на неожиданные социально-политические эксперименты.

Феноменология государства

Открывающая книгу глава Майкла Мардера самая философично нагруженная, а потому краткое ее изложение без потери смысла и внутренней логики представляется проблематичной задачей для рецензии. Выделим некоторые моменты, раскрывающие неожиданные аспекты бытия государства.

Философ предлагает отказаться от рассмотрения государства как «искусственного человека» и исследовать его через категории Аристотеля и Канта. По мнению

15. Бибихин. Указ. соч. С. 35.

автора, это позволяет прочертить контуры политического образования, а само «категориальное мышление» обращается к основаниям государственной данности в политическом восприятии. В этом смысле то, что предпринимает Мардер, является феноменологической критикой государства (р. 25–26). Важно обозначить, что в данной главе автор употребляет «the state» не только как государство, но и в качестве значения «to stand», то есть «the state» также означает позицию, позу (р. 26).

Государство как позиция оказывается необходимостью в силу возможности самой политики, потому все оппозиционные движения занимают позицию по отношению к положению, которое не только принадлежит государству, но и является им (р. 28). Но такие социальные движения могут быть интерпретированы иначе. Современные анархистские теоретики предполагают, что люди в движениях по типу «Оссиру» смотрят не на государство, но друг на друга, тем самым воплощая стремление к автономной самодостаточной жизни¹⁶ и избегая поглощения государством. Независимо от оценок, которые дают этим группам разные идеологии, чтобы узнать истинное самоощущение данных движений, необходимо обратиться к их качественному, а не спекулятивному анализу¹⁷.

Важным понятием для переосмысления международного порядка становится «сообщество». Сообщество — это взаимоотношения возможности действовать и подвергаться воздействию (reciprocity of acting and being acted upon) (р. 29). С этой точки зрения «международное сообщество» неправильный термин для определения существующих международных отношений. Многие субъекты международного права просто не способны действовать, но постоянно оказываются под воздействием. Граждане также оказываются зависимы от государства, поскольку оно считается причиной их положения. Положение граждан напрямую зависит от положения государства (р. 30). Примером могут служить негативные для населения эффекты от международных санкций. Будучи направленными против определенных государств как субъектов международного права, а не форм политического объединения индивидов, они зачастую приводят к ухудшению положения государства именно как формы политического объединения, поскольку люди оказываются подчинены и зависимы от действий государства как субъекта, хотя они и не определяют его поведения на международной арене.

Как возможно решить эту проблему? Философ обращается к раннему Марксу, напоминая, что государство является стабилизацией конфликта — не его подавлением, но направлением. Условия борьбы, присущие республике, формализуются в государстве, однако проблема начинается в тот момент, когда государство отрывается от вещи, которую формализует, то есть от республики, претендуя на

16. Ньуман С. (2021). Постанархизм / Пер. с англ. О. Л. Грабовской. М.: РИПОЛ классик. С. 49.

17. Хотя в России не замечается движений как «Оссиру», представляется, что исследования Лаборатории публичной социологии могут наметить курс выявления мотиваций и механизмов функционирования протестных движений, а также самоощущений их участников (<https://publicsociology.tilda.ws/russia>; дата доступа: 30.07.2021); Журавлев О., Ерпылева С. (2021). Что нового в новых протестах? URL: <https://www.opendemocracy.net/ru/chtov-novogo-v-novyh-protestah-erpyleva-zhuravlev/> (дата доступа: 30.07.2021).

руководство жизнью (р. 30–31). Следовательно, государство необходимо вернуть к субстантивирующей стабилизации, где оно не будет оторвано от республики. Отношения будут строиться на возможности действовать и подвергаться воздействию. Государство, следуя кантовской категории количества, должно видеть единство в множественности, тем самым упорядочивая разрозненные реальности различных движений. Эти реальности не могут быть идентичны, но должны быть организованы государством как совокупностью для возможности политики вообще (р. 36).

Международный порядок юридических пространств

Статья Александра Филиппова логически разделена на две части. В первой автор обсуждает восприятие государства в качестве территориального образования, эксклюзивно связанного с пространством, а во второй разбирает вопрос взаимодействия суверенитета с внешней силой международного права.

Эксклюзивная территория

Социолог начинает с указания на то, что сегодня территория как отличительный признак государства теряет свое значение (р. 40). Он соглашается с критикой других авторов, указывающих на ошибочное восприятие государства как «пространственного контейнера», однако не разделяет их уверенности в том, что территория по-прежнему является основой геополитических взаимодействий. Для тех, кого Зигмунт Бауман называл «глобальной элитой», государственные границы исчезают (р. 41). Пандемия коронавируса показала, что границы важны даже для «глобальной элиты», но важны в той степени, и это подчеркивается исследователем, в какой старый концепт территории может работать в новых условиях. Да, границы снова проявили себя, но только для людей, то есть для тел в пространстве, доступных оптике государства. В первую очередь такими телами являются граждане, которые в период пандемии должны находиться внутри пространства государства, а потому границы становятся медиумом, воспринимающим деление между внутренним и внешним (р. 42). Но важность пространства государства заключается не только во вновь актуализировавшихся границах, но и в эксклюзивности места государства на физической территории. Приводя аргументы К. Шмитта и Г. Зиммеля, А. Филиппов показывает, что на одной территории может существовать лишь одно государство, в то время как иные формы ассоциаций могут быть взаимопроникающими, поскольку они связаны с пространством не эксклюзивно (р. 44).

Здесь в фокус ученого попадает международное право, бросающее вызов логике внутреннего и внешнего, определяемой суверенитетом государства. Относительная слабость международного права подчеркивает приоритетность государства, но в то же время превосходящая сила международного права указывает

на отступление государства. Международное право слабо, потому что государство-суверен не признает никого выше себя на своей территории и обеспечивает подчинение закону через легитимное насилие. Сила же международного права заключается в том, что оно универсально и независимо от воли суверена, живет дольше, чем суверенное государство, автономно от наций, признающих его. Тем самым международное право обеспечивает общие основания для заключения соглашений (р. 45–46). Такими общими и автономными от воли государств нормами сегодня являются нормы *jus cogens*, признающиеся международным сообществом как нормы, отклонение от которых недопустимо¹⁸. Примерами могут служить запрет пыток и рабства¹⁹, геноцида²⁰.

Эти нормы не существовали сами по себе, но явились результатом научения всего мира горьким опытом XX века. На этом уровне виден фундамент этих норм, хотя и признанных абсолютными, а именно соглашение, заключенное между субъектами, то есть государствами. Вслед за немецким юристом Генрихом Трипелем автор проводит разделение между договором (*contract*), где страны преследуют собственные корыстные интересы, и соглашением (*agreement*), в котором интересы разных государств совпадают. В свою очередь, это поднимает проблему того, что основания для значимости таких соглашений не могут быть чисто юридическими, ведь для того, кто не является участником, подобное соглашение не имеет силы (р. 48–49). Отметим, что упомянутые нормы *jus cogens* считаются универсальными и обязательными абсолютно для всех, а не только для участников конвенций. Это, к сожалению, не мешает некоторым государствам, даже являющимся участниками конвенций, нарушать данные предписания, обосновывая свои решения суверенной, то есть как раз внутренней волей. Как без повторения ошибок прошлого возможно обеспечить взаимопроникновение международного и национального права, тем самым удостоверившись в соблюдении соглашений?

Суверенитет как обязанность

В будущем возможна ситуация, когда люди более не захотят придерживаться доктрины того, что должно быть правительство, одновременно превосходящее другие власти и независимое по отношению к зарубежным правительствам. Предпосылками к этому, как отмечается, являются права человека, ради которых может быть нарушен суверенитет. Это ведет Филиппова к утверждению, что в эру глобализации вместо государства должны действовать иные силы, выполняющие роль полицейского надзора, а перед глобальными миром и правом как территориальность, так и суверенитет релятивизируются (р. 50). Более того, исследование

18. Ст. 53 Венской конвенции о праве международных договоров. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата доступа: 30.07.2021).

19. Ст.ст. 4–5 Всеобщей декларации прав человека. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата доступа: 30.07.2021).

20. Конвенция о предупреждении преступления геноцида и наказания за него. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/genocide.shtml (дата доступа: 30.07.2021).

Лорен Бентон «A Search for Sovereignty» проливает свет на тот факт, что границы Европы были проницаемы для правовых практик, путешествовавших вместе с должностными лицами, купцами и моряками (р. 51–52). Иными словами, суверенитет и оппозиция, проходящая по границе внутреннего/внешнего, всегда были относительны.

В связи с этим Филиппов не обходит стороной дискуссию о конституционализме. Конституционализм — это попытка привнести единение и порядок в мировое пространство, авторитетно установив определенную иерархию государств и норм на международном уровне (р. 52–53), что напрямую ограничивает суверенитет государства. Проблемой является отсутствие международного органа, способного удовлетворить критериям этой концепции и дать мировую конституцию. Однако мировая стабильность, то есть соблюдение норм, может достигаться за счет ответственности государств так же, как за счет государственных санкций достигается стабильность правопорядка на национальном уровне. Концепция «обязанность защищать», или *responsibility to protect* (R2P), обязывает государства защищать своих граждан внутри государства от массовых преступных злодеяний. Суверенитет в этом смысле трансформируется и более не означает первенство одной власти перед другими, но накладывает обязательства и действует в двух направлениях: во внутреннем и внешнем (р. 53). R2P позволяет другим государствам нарушать границы государства, не исполняющего внутреннюю функцию суверенитета по защите своих граждан, то есть устраивающего геноцид, военные преступления, преступления против человечности.

Не пытаясь дать какие-либо этические комментарии, укажем на некоторые сложности, которые несет в себе возможность вмешательства во благо прав человека. R2P никогда не применялось прямо и не имеет под собой правового основания на уровне международных соглашений. Полномочия по военному вмешательству в случае угрозы миру при недостаточности мер, не связанных с использованием вооруженных сил, согласно главе VII Устава ООН, находятся в ведении Совета Безопасности и могут осуществляться на основании статьи 42 Устава²¹. Данная статья практически никогда не реализовывалась, а миссии, которые *de facto* имели применение вооруженных сил ООН, *de jure* оформлялись как гуманитарные на основании главы VII Устава в общем²². Кроме того, гуманитарные интервенции и подобное вмешательство в суверенитет несут в себе неразрешенные проблемы символического характера. Французский антрополог Дидьер Фассен, рассматривая гуманитарную помощь в качестве дара, указывает, что жертвы, получая ее, не могут отказаться, тем самым встают в позицию должников²³. Политика жизни, осуществляемая акторами гуманитарной помощи, становится в оппозицию поли-

21. Ст. 42 Устава ООН. URL: <https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text> (дата доступа: 30.07.2021).

22. См., например: п. 10 Резолюции 794 (1992), принятой Советом Безопасности на его 3145-м заседании 3 декабря 1992 года. URL: [https://undocs.org/ru/S/RES/794\(1992\)](https://undocs.org/ru/S/RES/794(1992)) (дата доступа: 19.08.2021).

23. Fassin D. (2012). Humanitarian Reason: A Moral History of the Present. Berkeley: University of California Press. P. 233.

тике смерти криминального государства, что возвращает нас к манихейскому дискурсу вечной борьбы сил добра и зла²⁴. Гуманитарная помощь также рассматривается некоторыми исследователями в качестве этической гегемонии, поскольку она позволяет дарителям поучать и судить получателей²⁵.

Филиппов приходит к выводу, что суверенные государства сталкиваются не с вещью другого или более высокого порядка, но с чем-то менее конкретным. Возможно, указывает автор, новый порядок международного права будет не «контейнером», но реальностью практик и решений или регуляторной системой более сильной, чем государства (р. 55). Действительно, проведенное исследование убедительно доказывает, что внутреннее и внешнее всегда было взаимопроникаемо, а сегодняшний мировой порядок строится на взаимной ответственности государств перед друг другом. Однако обозначенное движение к конституционализму или регуляторной системе, превышающей силы государства, выглядит спорным. Первичными субъектами международного права *ipso facto* являются государства и в некоторых случаях народы и нации. Первичные субъекты способны объединяться в производные субъекты, коим, например, и является ООН. Действия ООН определяются условностями государств, а в случае угрозы миру лишь 15 ее членами. Такое состояние не выглядит чем-то «менее конкретным», поскольку напрямую зависит от волеизъявлений государств как основных участников международных отношений. Через такую линзу международный порядок видится хрупким и неустойчивым и, возможно, именно в этом смысле «менее конкретным».

Революционизируя государство

Панайотис Сотирис начинает свои размышления с критики левых радикальных движений²⁶, отказавшихся ставить вопрос о политической власти. Политические движения снизу, оказывающие давление на государство, парадоксальным образом от него дистанцируются, поскольку не пытаются захватить гегемонию политической власти. Власть же эта, по мнению автора, по-прежнему материальна, а потому является неизбежным вопросом для тех, кто пытается думать о радикальной политике (р. 90). Причиной, по которой левые отошли от вопроса государственной власти, становится неолиберальная контрреволюция, антигосударственная риторика которой привела к идеализации государства со стороны левых. Подобный уход от критики государства закрывает возможности обсуждения более радикальной социальной демократии, которая может быть достигнута новой критикой и пониманием работы современного государства (р. 96).

24. Ibid. P. 234.

25. Hattori T. (2003). Giving as a Mechanism of Consent: International Aid Organizations and the Ethical Hegemony of Capitalism // International Relations Vol. 17. № 2. P. 153–173.

26. «Радикальный» здесь и далее следует понимать в смысле проекта радикальной демократии Э. Лакло и Ш. Муффа.

Для этого автором привлекается теория Антонио Грамши, демонстрирующая, что государство не просто аппарат власти, но комплекс практических и теоретических действий, с помощью которых правящий класс добивается поддержки тех, над кем он правит. Сотирис также обращается к концепту «революционизации» государства, взятому у Никоса Пуланзаса. Он отмечал, что государство — это не сущность, но конденсация классовых отношений, а его функции по репродукции социальных отношений (экономических, политических, идеологических) вовсе не нейтральны и не были испорчены правящим классом, но вписаны в саму структуру государства. Рабочий класс не может просто занять место буржуазии на уровне государственной власти, поскольку в таком случае отношения политического доминирования продолжат воспроизводиться, — рабочий класс должен радикально трансформировать (to «smash») государство в самой его структуре (р. 92). Забытый сегодня российский и советский юрист, марксист М. А. Рейснер предупреждал, что процесс завоевания политической власти начинается еще под влиянием современного фантазма государства с его институтами, что приводит не к утверждению диктатуры пролетариата, а к диктатуре пролетарской канцелярии²⁷. Это могло бы дополнить размышления Сотириса о том, что изменения должны проходить не только в психике государственных служащих, но и в материальных процессах воспроизводства государства: конституционных соглашениях, праве и институциональной памяти (р. 99).

Каким же образом должна протекать революционизация государства? Несмотря на то что вначале автор критикует самоорганизующиеся радикальные движения, именно в них он видит возможность революционизации. Они бросают вызов ограничениям классовой борьбы, материализованным в структуре государственного аппарата. Подобные движения, по мнению Сотириса, создают двоевластие, выходящее за пределы ситуации накануне революции, о которой писал В. И. Ленин. Это более не вопрос временного кризиса, но возникновение новой формы политической борьбы (р. 98). Как нам кажется, самым ярким проявлением такой формы двоевластия за последнее время была Автономная зона Капитолийского холма. И хотя трудно представить, что подобные формы самоорганизации способны на долгое существование, они оказываются процессом коллективного эксперимента с новыми политическими и социальными конфигурациями, основанными на борьбе и самоорганизации, возникающими задолго до номинального захвата власти (р. 102). Такие практики возбуждают фантазию и возвращают в политику утопическое мышление, выходящее за пределы существующей реальности²⁸, а значит, дающее возможность коренного изменения действительности.

Сотирис отмечает, что демократия означает борьбу и экспериментирование, а не простое выражение мнений (р. 101), следовательно, необходимо отказаться

27. Рейснер М. А. (1908). Теория Л. И. Петражицкого, марксизм и социальная идеология. СПб.: Типография товарищества «Общественная польза». С. 147–148.

28. Бертоло А. (2018). Субверсивное воображение // Бертоло А. Оставим пессимизм до лучших времен: переосмысляя анархизм. М.: Черный квадрат. С. 122.

от мифа о коммунизме как об обществе всеобщего примирения²⁹. В этом автор видит проблему сегодняшних движений, построенных на мнимой горизонтальности, ведущей к неспособности принятия какого-либо решения (р. 105–106). Политические организации как лаборатории должны быть более демократичными, эгалитарными и открытыми обществу вокруг них (р. 105), но подобные ценности не отменяют вопроса власти, только после возвращения которого возможна подлинная пересборка самой структуры государства.

Коммунистическая теория государства

С очевидностью для всех пандемия COVID-19 показала, что рынок не может справиться с масштабными катастрофами просто потому, что способы решения глобальных проблем действуют против главной логики рынка — извлечения прибыли. Как подчеркивает Агон Хамза в главе «The March of God or the Žižekian Theory of the State», не только рынок, но и одно государство не способно справиться с подобными глобальными угрозами, а значит, абсолютно необходима международная кооперация (р. 187). П. Бурдьё, пересказывая книгу Абрама де Сваана об эпидемиях, предполагал, что, возможно, именно от эпидемий стоит ждать появления универсального государства, ведь у всех правительств будет общий интерес — ограничение распространения опасности³⁰. И действительно, все государства, несомненно, преследовали эту цель, вот только методы оказались отнюдь не кооперативного характера. Обоюдное закрытие границ натолкнуло государства не на мысли о хрупкости и непредвиденности человеческого горизонта, но на вульгарную демонстрацию медико-технологических успехов на фоне растущего количества смертей. Гонка в разработке вакцины привела к тому, что одни ее виды признаются на одной территории и недействительны на другой³¹. Вводятся новые ограничения, затрагивающие как права граждан государств, так и иностранцев. Пандемия скорее поспособствовала еще большей сегрегации международных субъектов, нежели их объединению. И хотя меры, как отмечено в предисловии, действительно были направлены против бизнеса (р. 1), они не дали ощутимого результата со стороны социальной поддержки населения, которая в некоторых странах была ничтожно мала. Опасения Хамзы, что новая реальность будет намного мрачнее, вполне обоснованны (р. 188).

Главной целью текста в связи с несостоятельностью рыночной системы перед лицом катастроф является попытка помыслить коммунистическое государство. Философ выдвигает нетривиальное утверждение, что причина, по которой про-

29. Муфф III. (2013). Радикальная демократия и агонистическая политика: рецептура гегемонии для любой власти — для власти современной. URL: <http://gefiter.ru/archive/10569> (дата доступа: 31.07.2021).

30. Бурдьё. Указ. соч. С. 651. Бурдьё в лекции проводит аналогию между эпидемией и авариями на АЭС.

31. Это состояние может быть охарактеризовано как «A state of medical war» в терминологии Жижека, на которого ссылается автор (р. 188).

валился социализм в XX веке, заключалась не в терроре, авторитарных режимах или посягательстве на достоинство человека, но в самом социализме (р. 189). Социализм не упразднял собственность на пути к коммунизму, но лишь менял модус ее существования с частного на государственный, оставляя нетронутыми социальные отношения, в которых собственность функционировала (р. 190). Логика понятна и аналогична тезису о структурном изменении государства. Это подчеркивает и сам автор. Нельзя преодолеть капитализм, не переосмыслив государственную форму (р. 189). Недостаточно захватить государственный аппарат, дожидаясь, пока пройдет промежуточная стадия и установится коммунизм, поскольку эти стадии становятся нескончаемыми и рассматриваются как фетишистская замена предполагаемой утопии (р. 191). Бесконечное количество этапов позволяет искусственно удлиннить путь к предполагаемой цели, не совершая при этом никаких реальных изменений. Поэтому, пишет теоретик, следует отказаться от убеждения, что наши нынешние поступки смогут быть легитимизированы с позиции более высокой стадии. Не существует ничего, кроме нынешней стадии (р. 191). Это заключение, по нашему мнению, сближает Хамзу с постанархистами, развивающими принцип онтологической анархии, позволяющий избавиться от детерминированности действия³². Мировое божество может умереть, а дальнейшая история зависит от нас (р. 200). Еще большее сближение можно обнаружить в отказе от эссенциализации человека. Критикуя убеждение, что при социализме пропадают ревность, зависть и ресентимент, Хамза задает вопрос: а что, если новые социальные отношения продолжают строиться на этих чувствах? Это те угрозы, которые следует учитывать при мышлении о «более высокой стадии» (р. 192).

Способ преодоления мышления о стадиях видится в реабилитации решающего понятия в философской системе Гегеля: государства (р. 192). Перечитывая философию права и науку логики Гегеля, Хамза приходит к выводу, что диалектический процесс не заканчивается на примирении антагонизмов, но, напротив, означает согласие с невозможностью преодолеть избыток негативности (р. 195). Впрочем, здесь автор следует за Жижekom, который указывал на невозможность преодоления антагонизма и тоже выводил это из диалектики Гегеля³³. Тут же прослеживается уже упомянутый ранее отказ от коммунистического мифа. Но главное, что подчеркивается, это необходимость действовать в настоящем, в котором и содержится свобода (р. 196). Настоящим же является государство, от которого, как пишет Жижек, нельзя отойти, если вы не знаете, чем его заменить, а потому следует заставить работать его в негосударственном режиме (р. 197). Это та самая проблема семантического места, о которой говорилось во введении (р. 8), — требующего отрицательной величины, или, по выражению А. Магуна, противомысли³⁴. Если

32. Ньютман. Указ. соч. С. 63.

33. Жижек С. (1999). Возвышенный объект идеологии / Пер. с англ. В. Сафронова под ред. С. Зимовца. М.: Художественный журнал. С. 13–14.

34. Магун А. (2020). Критики диалектики. Часть 2: Союз реалистов и поэтов против ультрарационализма. URL: <https://republic.ru/posts/97399> (дата доступа: 01.08.2021).

же такую мысль не удастся найти, то мы становимся обречены на постоянную замену фигур, стоящих на месте трансцендентного, сдерживающего наши желания³⁵, но не исключения самого места.

Выводом из этого следует то, что государство является открытой исторической ситуацией, полной антагонизмов и возможностей (р. 201). Коммунистическая теория государства, таким образом, это теория условий и возможностей создания исторической динамики, способной повлиять на людей. Это практики, направленные на раскрытие автономии, скрытой под границами национальных государств (р. 202–203).

Будущее государства?

Представленная книга носит явно выраженный политико-философский характер и может быть нелегка для восприятия. Мимо нее, однако, не стоит проходить не-философам, занимающимся государством. Книга будет полезна антропологам, социологам и, что самое главное, юристам, которые своим практико-деформированным взглядом способны внести критические замечания в данную дискуссию. Исклчительно философского анализа недостаточно. В осмыслении данного феномена необходимо задействовать представителей всех социогуманитарных наук, поскольку осмысление государства невозможно лишь в одной плоскости и требует междисциплинарного диалога.

Статьи, представленные авторами, могут прочитываться как самостоятельные работы, на которые возможно было бы написать отдельные рецензии, так и быть использованы совместно, с целью выработки уникального метода исследования или принципов новой политики. При чтении неминуемо возникают переключки между главами. Это, однако, не умаляет вклада каждого ученого и самодостаточность каждой работы.

Можно ли говорить о возвращении теории государства? Как указывает Б. Джессоп в книге «Государство: прошлое, настоящее и будущее»: «Рассуждения об отдаленном будущем государства — пустая затея»³⁶. Прежде чем строить планы по изменению социальной действительности, необходимо сызнова разобраться в том, как эта социальная реальность, во многом поглощенная сегодня государством, функционирует. Одной теории государства, оторванной от социального универсума, недостаточно. Требуется рассмотрение государства в связи с миром практик, дискурсов, идей, то есть в связи со всем, что производит государство как социальную реальность. Только после этого станут возможны построения проектов будущего с государством или без него. Теория государства, возможно, пока и не вернулась, но данный сборник может быть началом ее долгого путешествия. До тех пор нам необходимо больше подобных книг и исследований, посягающих на сакральный статус государства.

35. *Newman*. Op. cit. P. 74.

36. *Джессоп*. Указ. соч. С. 447.

Bring Back the State

Mark Belov

Research Assistant, Centre for Fundamental Sociology, HSE University

Undergraduate Student, School of Law, HSE University

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: markusabelov@gmail.com

Book Review: *Artemy Magun* (ed.), *The Future of the State: Philosophy and Politics* (Lanham: Rowman & Littlefield, 2020).

Идея Европы и гуссерлианская историческая телеология*

MIETTINEN T. (2020). HUSSERL AND THE IDEA OF EUROPE. EVANSTON: NORTHWESTERN UNIVERSITY PRESS. 256 P. ISBN 978-0-8101-4148-3

Дмитрий Резников

Стажер-исследователь, Центр фундаментальной социологии,
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Адрес: ул. Мясницкая, д. 20, г. Москва, Российская Федерация 101000
E-mail: reznik.soc@mail.ru

Книга Тимо Миеттинена «Husserl and the Idea of Europe» предлагает читателю тщательный анализ понятий «не-субстанциального универсализма» и «исторической телеологии» в работах позднего Гуссерля. Какова цель такого анализа и чем он может привлечь внимание исследователей социального? Автор таким образом подводит читателя к обоснованию центрального места социально-исторического измерения в феноменологии. Общеметодологический фокус книги на поздних работах Гуссерля позволяет увидеть в них философский «фундамент» для построения такой социальной онтологии, которая не могла быть реализована в более ранних его трудах. Подобное прочтение Гуссерля (через призму «не-субстанциального универсализма» и «исторической телеологии») может быть полезно не только феноменологам, но и феноменологически ориентированным социальным ученым, неудовлетворенным «стандартной интерпретацией»¹ Гуссерлевой феноменологии.

Еще в своей диссертации 2013 года «The Idea of Europe in Husserl's Phenomenology: A Study in Generativity and Historicity»² Миеттинен оглашает знакомую многим повестку полемики об отношениях между феноменологией Гуссерля и категорией социального, развернувшейся во второй половине XX века. Он утверждает, что сторонний взгляд, обращенный к проекту Гуссерля в его прижизненно опубликованных работах, уже давно привык видеть в нем «индивидуализм», ограниченный перспективой первого лица и не пригодный для социального измерения человеческой жизни. Такой взгляд можно проследить, по крайней мере, в трех популярных

* Публикация подготовлена в рамках исследовательского проекта Центра фундаментальной социологии НИУ ВШЭ «Этика солидарности и биополитика карантина: теоретические проблемы культурно-политических трансформаций в эпоху пандемий», реализуемого в рамках Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ в 2021 году.

1. Welton D. (2002). The Other Husserl: The Horizons of Transcendental Phenomenology. Bloomington: Indiana University Press. P. 393–404.

2. Miettinen T. (2013). The Idea of Europe in Husserl's Phenomenology: A Study in Generativity and Historicity. Helsinki: University of Helsinki. P. 153–159.

предубеждениях. Первое, характерное, например, для Адорно³, в принципе отказывает притязанию феноменологии на социальное, считая ее загнанной в ловушку солипсизма. Второе предубеждение признает заслуги феноменологии в исследовании интерсубъективности, но не считает трансцендентально-феноменологическое предприятие достаточным для ее полного раскрытия. Так, Шюц в своей критике пятой картезианской медитации обнаружил невозможность решения проблемы интерсубъективности с точки зрения трансцендентальной субъективности и ввел автономный, отличный от решений Гуссерля, проект феноменологии жизненного мира, определивший дальнейшее самостоятельное движение феноменологической социологии⁴. Наконец, третье предубеждение, представленное в работах Хабермаса⁵, критикует феноменологию за отсутствие нормативного измерения, проигнорированного в пользу «сциентистского» дескриптивного анализа, не способного реагировать на конкретные проблемы и вызовы социальной жизни.

В книге «Husserl and the Idea of Europe», представляющей, по сути, сокращенную и доработанную версию работы 2013 года, Миеттинен решил опустить эту проблематику, вероятно, руководствуясь тем фактом, что предубеждения об исключительной индивидуалистичности феноменологии Гуссерля начали стремительно сходиться на нет еще с конца XX века. Среди специалистов-феноменологов, а пожалуй, и среди более широкой философской публики «другой» Гуссерль⁶, интересующийся вопросами за пределами имманентной сферы трансцендентальной субъективности, уже давно является знакомой и значимой фигурой. Такое изменение взгляда стало возможным благодаря изданию, во-первых, неопубликованных рукописей Гуссерля и, во-вторых, авторитетных исследовательских и комментаторских работ, сопровождающих эти рукописи и посвященных выходу за картезианские и статические рамки феноменологического проекта⁷.

Однако то, что успешно оседает и закрепляется в философии, доходит до социальных наук с некоторым запозданием. Предполагается, что значимость исторического и социального измерений в работах Гуссерля до сих пор остается не-

3. Adorno T. W. (1940). Husserl and the Problem of Idealism // *The Journal of Philosophy*. Vol. 37. № 1. P. 5–18.

4. Schutz A. (1970). The Problem of Transcendental Intersubjectivity in Husserl // *Schutz A. Collected Papers III*. Dordrecht: Springer. P. 51–84. В русском переводе: Шюц А. (2003). Проблема трансцендентальной интерсубъективности у Гуссерля // Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии / Пер. с англ. А. Я. Алхасова и Н. Я. Мазлумяновой под ред. Г. С. Батыгина. М.: Институт Фонда «Общественное мнение». С. 46–95.

5. Habermas J. (1968). *Erkenntnis und Interesse*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

6. Welton. Op. cit.

7. Ссылаясь на список авторов, представляющих альтернативу «стандартному портрету Гуссерля» в работе Дона Вельтона «The Other Husserl», мы можем упомянуть такие значимые и для самого Миеттиненна монографии, как: Carr D. (1974). *Phenomenology and the Problem of History*. Evanston: Northwestern University Press; Steinbock A. J. (1995). *Home and Beyond: Generative phenomenology after Husserl*. Evanston: Northwestern University Press; Held K. (1966). *Lebendige Gegenwart: Die Frage nach der Seinsweise der transzendentalen Ich bei Edmund Husserl, entwickelt am Leitfaden der Zeitproblematik*. The Hague: Martinus Nijhoff.

дооцененной⁸. И даже более того, сегодняшняя социология склонна сохранять накопившиеся предубеждения о проекте Гуссерля, отдавая предпочтение не-гуссерлианским направлениям феноменологии, будь то структурализм или герменевтика, феноменологическая социология или этнометодология⁹.

Тем интереснее для нас работа Миеттинена. Несмотря на то что ключевые вопросы, которые здесь ставятся, — это вопросы о концептуализации «универсализма» и «телеологии», социальный ученый может обратиться к ней как к способу разрешения тех проблем, которые были установлены десятилетиями социологической критики феноменологии Гуссерля. Эти проблемы указывают на недостатки статической перспективы раннего Гуссерля, занимающегося дескриптивным анализом вне-исторической и данной с абсолютной очевидностью трансцендентальной субъективности. Однако, как демонстрирует Миеттинен, эта справедливо обозначенная проблематичность «нескончаемого монолога одинокого сознания, обращенного к самому себе»¹⁰ преодолевается внутренними силами феноменологии. В ходе продолжительных исследований Гуссерля обнаруживается сначала собственная историчность трансцендентальной субъективности и необходимость генезиса — как активного, так и пассивного — всех конституируемых ею смысловых единств (что представлено в генетической перспективе), а затем и включенность этой трансцендентальной субъективности в историческую ситуацию жизненного мира и необходимость апроприации ею смысловых комплексов в процессе «передачи» (*passing forward*) традиции между поколениями (что представлено в генеративной перспективе). Введенная Миеттиненом в анализ генеративная феноменология¹¹ опровергает вышеприведенные предубеждения против феноменологии в целом и, следовательно, вновь обращает внимание социального ученого на возможность основания онтологических предпосылок наук о культуре в трансцендентально-феноменологическом предприятии. Иными словами, работу Миеттинена можно представить как последовательное установление генеративной перспективы в качестве альтернативного философского ресурса для анализа социальной жизни — ресурса, который, как будет показано далее, открывается

8. Так, в широко распространенной сегодня методологии «эмпирической феноменологии», разрабатываемой и применяемой в социальных науках, все еще используется инструментарий исключительно статической перспективы феноменологии Гуссерля, за которой и закрепился ярлык «индивидуализма». См.: *van Manen M.* (2016). *Researching Lived Experience: Human Science for an Action Sensitive Pedagogy*. L.: Routledge; *Smith J. A., Flowers P., Larkin M.* (2009). *Interpretative Phenomenological Analysis*. London: SAGE; *Moustakas C.* (1994). *Phenomenological Research Methods*. London: SAGE. См. дискуссию: *Zahavi D.* (2019). *Getting It Quite Wrong: Van Manen and Smith on Phenomenology* // *Qualitative Health Research*. Vol. 29. № 6. P. 900–907; *Zahavi D., Martiny K.* (2019). *Phenomenology in Nursing Studies: New Perspectives* // *International Journal of Nursing Studies*. Vol. 93. P. 155–162.

9. *Miettinen*. Op. cit. P. 155.

10. Карикатура на феноменологическую философию, представленная в романе писательницы и профессора философии Мюриель Барбери «Элегантность ежика»: *Barbery M.* (2010). *L'élégance du hérisson*. P.: Gallimard. В русском переводе: *Барбери М.* (2015). *Элегантность ежика* / Пер. с фр. Н. Мавлевич и М. Кожевниковой. М.: Азбука-Аттикус.

11. Эту область Миеттинен анализирует, во многом опираясь на ключевую для проекта генеративной феноменологии работу Энтони Стейнбока «Home and Beyond».

в следовании за «путеводной нитью»¹² неудовлетворительной на первый взгляд «индивидуалистической» статической феноменологии.

Читатель, сконцентрированный на методологической стороне работы, может вывести из анализа Миеттинена два значимых положения, на которых мы и остановимся более подробно. Во-первых, генеративная перспектива — с анализируемым ею социально-историческим измерением — утверждается в качестве наивысшей ступени феноменологического проекта, к которой приводят «путеводные нити» статической и генетической перспектив. Во-вторых, в анализе генеративной феноменологии открывается сущностная неполнота и несамостоятельность статической перспективы, обращающейся к как будто бы не имеющей собственной истории и независимой от наследуемых традиций трансцендентальной субъективности. То есть утверждается необходимая связь между систематической (статической) и исторической (генеративной) философией.

Движение к такому рассмотрению генеративной феноменологии начинается с анализа исторического интеллектуального контекста послевоенной полемики о кризисе европейского человечества, которой противопоставляет себя Гуссерль. Миеттинен выделяет две существенные черты современного Гуссерлю определения кризиса. Во-первых, отгремевшая Первая мировая война и следующие за ней экономические, политические и социальные коллапсы мыслители интерпретировали не как результаты определенной последовательности исторических событий, но как симптомы умирающей европейской культуры. Война обострила восприятие несостоятельности фундаментальных европейских ценностей, поставив под сомнение веру в прогресс и в высочайшую роль научного познания, привилегию разума и особое место Европы в делах человечества. Кризис более не считался «символом перехода на следующий уровень культурного развития или в другую историческую эпоху, но стал выражением [ее] радикальной конечности» (р. 31). Во-вторых, утрата веры в разум как в универсальную идею неизбежно привела к его релятивизации и преломлению через культурно-историческую ситуативность. Рациональность западного мира предстала в виде одной из возможного множества других рациональностей, равным образом претендующих на значимость организации человеческого знания о действительности. В целом доминирующую сторону интерпретации кризиса заняла позиция историзма и культурного релятивизма: достижения как в искусстве, так и в научном познании определялись как значимые только в рамках конкретной культуры и исторического периода, а философия, исходно стремящаяся к универсальным истинам, свелась к мировоззрению, то есть только лишь к выражению индивидуальной духовно-исторической ситуации. Обе эти черты интеллектуального осмысления послевоенного кризиса содержатся

12. Концепт «путеводной нити» (Leitfaden) предполагает генетическое мотивационное рассмотрение отношений между феноменологическими методами, где в качестве мотивации выступает внутренняя проблематика метода. Подробнее см.: Steinbock. Op. cit. P. 42–48.

в работе Освальда Шпенглера «Закат Европы»¹³. Натуралистическая перспектива Шпенглера определяет культуру с точки зрения организмической модели. Всякая культура, утверждает он, так же как и живой организм, рождается, развивается и умирает. И поскольку культура — это «конечная сущность, участвующая в великом цикле жизни» (р. 33), постольку о кризисе Европы и можно говорить как о начале смертельной болезни, которая рано или поздно закончится смертью.

Гуссерль, являясь участником текущих дебатов, противопоставляет себя идеям натурализма и позитивизма, трактующим кризис как симптом умирающей культуры. Понять ход этого противопоставления возможно в следующем рассуждении. Первичный замысел натуралистического объяснения культуры может быть схвачен через его радикальную наивность, в которой он явным образом посягает на независимость наук о духе. Так, в бихевиористской психологии Дж. Уотсона и в радикальном детерминизме Б.Ф. Скиннера мы находим положение, «провозглашающее несвободу [в качестве] единственной значимой отправной точки для любого научного объяснения человека» (р. 48). Через движение физикалистского натурализма фундаментальная вера в ответственность и свободу человека начала разрушаться. И именно в этом контексте Гуссерль совершает переосмысление кризиса. Радикальная наивность натурализма, которая намеренно идет вразрез с истинной природой разума — то есть со способностью к рефлексии, самостоятельному осознанному принятию решений и ответственности, — и является, утверждает Гуссерль, подлинным кризисом XIX–XX веков. И подобно атаке на ответственного за себя индивида, натурализм Шпенглера и прочих солидарных с ним мыслителей атаковал рациональность культуры и лежащей в ее основе рациональной философии, движимой идеей универсализма. Гуссерль радикально не приемлет пассивное, медицинское понимание, которое вкладывается натурализмом в логику культурного развития, а также связанную с ним историчность разума. В противовес подобным коннотациям он стремится переопределить кризис и вместе с тем восстановить подлинный смысл философского предприятия: он закладывает в его основу, с одной стороны, смысл активного решения ответственного, то есть разумного, субъекта и общности, и, с другой стороны, чистый разум, для которого открыта область идеалов, достижимых только в виде «бесконечной задачи» научного познания. Утверждение и обоснование Гуссерлем этих положений — и последующее переопределение кризиса — возможны только через такую феноменологию, которая, во-первых, открывала бы для исследования социальную, культурную и историческую области и, во-вторых, могла бы выступить в качестве нормативного предприятия, способного отвечать потребностям рациональной культуры и требованиям ее обновления и совершенствования. Развитие

13. *Spengler O. Der Untergang des Abendlandes: Umriss einer Morphologie der Weltgeschichte*. Wien: Braumüller, 1918 (Band 1: Gestalt und Wirklichkeit); München: C.H. Beck, 1922 (Band 2: Welthistorische Perspektiven). В русском переводе: *Шпенглер О. (1993). Закат Европы: очерки морфологии мировой истории / Пер. с нем. К. А. Свасьяна. М.: Мысль; или: Шпенглер О. (2010). Закат Западного мира / Пер. с нем. И. И. Маханькова. М.: Альфа-книга.*

этих положений феноменологии должно было позволить ей встать в критическую позицию по отношению к наследуемой традиции, выступая, таким образом, в качестве своего рода децизионистской философии.

Во второй части работы Миеттинен рассматривает, каким образом через «статический проект» феноменологии — который в наибольшей степени занимает Гуссерля в его опубликованных работах, но в меньшей в неопубликованных рукописях — возможно открыть доступ к анализу историчности и традиции. Первый шаг на пути к этому открытию заключается в переходе к «генетическому проекту» феноменологии. Генетическая перспектива может быть получена за счет введения в статическую категорию темпоральности. Те смысловые единства, которые принимаются в статическом проекте в качестве уже готовых и предданных, обретают собственную историю конституирования в генетическом. «Генетический анализ описывает, как одни интенциональные отношения и формы опыта возникают на основе других» (р. 62), вводя тем самым более широкое, динамическое понимание конституирования смысла. Описывая общие положения понятия генезиса, Миеттинен представляет также краткие определения таких концептов, как «телеология», «первичное и вторичное учреждение смысла», а также «седиментация смысла».

Далее, через тему генезиса Миеттинен вводит два значимых положения. Во-первых, трансцендентальное Я перестает быть исключительно пустым полюсом переживаний и приобретает смысл персонального трансцендентального Я, обладающего собственным набором хабитуальностей и принятых решений. Во-вторых, обнаруживается, что источником конституирования смысловых единств является не только активно действующий Я-полюс. Активности Я в конституировании смысла с необходимостью предшествует регион пассивно действующего абсолютного сознания, а также совокупность традиций, в которой «оказывается» и которую наследует через апроприацию трансцендентальное Я. Последнее является ключевым моментом в развитии генетического анализа. Феноменолог обнаруживает собственную включенность в определенную историческую ситуацию, в процесс «передачи» смысловых комплексов традиции, превосходящей его конечность. И через это он открывает перспективу генеративности, то есть «темпоральных способов смыслового конституирования, которые осуществляются в межличностных и межпоколенческих формах сосуществования, в различных ассоциациях, общностях, культурах и всех видах традиций» (с. 66). Открытие генеративности позволяет Гуссерлю основать новый метод для исследования социально-исторического измерения. Этот метод — телеологически-историческая рефлексия, берущая в качестве отправной точки уже не первичность трансцендентальной субъективности, но первичность настоящей исторической ситуации, к которой принадлежит исследователь.

Раскрытие унаследованной традиции и «возвратное вопрошание» (Rückfrage)¹⁴, позволяющее обнаружить ее истоки, возможны, в свою очередь, через обращение не к трансцендентальному региону, как это могло показаться на первый взгляд. Миеттинен, конечно, рассматривает концепты трансцендентальной интерсубъективности и «субъектов высшего порядка» (personality of a higher order), однако дальнейшее исследование проводится через переход к их универсальному корреляту, то есть к жизненному миру, проблематика которого в текстах позднего Гуссерля привела к новому пути в феноменологию. Миеттинен определяет жизненный мир в первую очередь как мировой горизонт, означающий не «конкретный интенциональный коррелят сознания, а скорее, необходимый фон конституируемого смысла, благодаря которому предметность приобретает свой осмысленный характер» (р. 75). Такая концептуализация жизненного мира противопоставляет позицию Миеттинена более распространенному в исследованиях наследия Гуссерля определению мира как тотальности, становящейся в трансцендентальной редукции таким же феноменом, как и включенные в нее объекты¹⁵. Жизненный мир как «горизонт всех горизонтов»¹⁶ (р. 76) разграничен множеством индивидуальных жизненных миров, которые Миеттинен, опираясь на работу Э. Стейнбока, называет «домашними мирами» (Heimwelt). Каждый домашний мир представляет собой совместную для общности людей культурную территорию, которая характеризуется собственной нормативной специфичностью и ценностной асимметричностью по отношению к «чужим мирам» (Fremdwelten), также разграничивающим мировой горизонт. Мой домашний мир знаком мне и понятен: я разделяю его ценности, чту историю и традиции; чужой же мир странный и, возможно, даже ненормален. При этом важной характеристикой конституирования индивидуальных жизненных миров является нередуцируемость дихотомии между домашним и чужим. Установление нормативных и территориальных границ первого возможно только за счет столкновения со вторым. Иными словами, их генезис представляется как взаимное со-конституирование через взаимодействие.

Неустрашимость дихотомии «домашнее — чужое» в конституировании жизненного мира ставит под сомнение универсалистскую интенцию феноменолога.

14. «Возвратное вопрошание» — регрессивное генетическое или генеративное исследование, направленное на раскрытие протоучреждения (Urstiftung) смысла; или же, иными словами, на обнаружение первичных генетических источников его образования. См., например: *Smith N.* (2010). *Towards a Phenomenology of Repression: A Husserlian Reply to the Freudian Challenge*. Stockholm: Stockholm University.

15. Концептуализация мира как мирового горизонта утвердила себя в современных феноменологических исследованиях Гуссерля благодаря таким работам, как: *Steinbock*. Op. cit.; *Walton R. J.* (2010). *The Worldhood of the World and the Worldly Character of Objects in Husserl*. Dordrecht: Springer; *Geniusas S.* (2012). *The Origins of the Horizon in Husserl's Phenomenology*. Dordrecht: Springer. Эта мысль высказывается в работе: *Bower M. E.* (2013). *The Birth of the World: An Exploration in Husserl's Genetic Phenomenology*. PhS Thesis. Memphis: University of Memphis.

16. *Merleau-Ponty M.* (1976). *Phénoménologie de la perception*. P.: Gallimard. P. 381. В русском переводе: *Мерло-Понти М.* (1999). *Феноменология восприятия* / Пер. с фр. Д. Калугина, Л. Корягина, А. Маркова, А. Шестакова под ред. И. Вдовиной и С. Фокина. СПб.: Ювента, Наука. С. 423.

Тяготение к «одному миру» на межкультурном уровне приводит к «оккупации» одним домашним миром остальных и, следовательно, к разрушению генеративности и процесса передачи традиции: «в мире без традиций мы просто становимся бездомными» (р. 79). Однако, утверждает Миеттинен, эта неустранимость свойственна лишь генеративной перспективе, в то время как статическая перспектива все же обнаруживает за множеством традиций единый мир, общий мир природы. Домашние миры в статике — это перспективы анонимного, объективного мира природы, которые приобретают свою нормативную спецификацию в процессе отделения от мира природы как от отправной точки. Следовательно, заключает автор, генеративная дистанция между традициями не препятствует «такому критическому размышлению, которое стремится раскрыть нормативную спецификацию индивидуальных традиций» и произвести их «критический анализ в отношении общего жизненного мира» (р. 78). Универсализм, напротив, должен быть истолкован как необходимая «задача», которая может быть поставлена при условии множества индивидуальных миров.

Открытые Гуссерлем область генеративности и метод телеологическо-исторической рефлексии позволяют ему, взяв современный кризис универсализма в качестве посылки, осуществить «возвратное вопрошание» и проследить генезис универсализма и теоретической установки в Древней Греции. Предполагается, что восстановление истинного смысла универсализма и непосредственно связанных с ним смыслов философии и наук, которые были утрачены в результате радикализации естественными науками «необходимой наивности» (*necessary naïveté*)¹⁷, принятой Галилеем, позволит Гуссерлю (и человечеству в целом) сделать следующий шаг в сторону рационального обновления и преодоления кризиса. В третьей части работы Миеттинен производит тщательную реконструкцию этого анализа, в которой устанавливается, что универсализм и греческая философия также могут быть рассмотрены в качестве генеративного феномена, и даже более того — в качестве таких же продуктов кризиса.

Институционализация более тесного взаимодействия между полисами в результате реформ Солона, направленных на разрешение конфликта между старой аристократией и растущим классом богатых торговцев, а также близкое соседство с восточными империями сделали домашний мир Греции «посредником между домашними и чужими [культурами], опирающимся на специфическое само-дис-

17. Под «необходимой наивностью» Гуссерль подразумевает специфическую установку Галилея, Декарта и в некоторой степени всего рационализма эпохи Просвещения. Согласно этой установке, в математизации природы, осуществляемой философами и учеными, то, что первично является методом, нерелексивно принимается за истину. Так, Галилей, считающий математику «книгой природы», не учитывает того факта, что книга эта может быть написана (или прочитана) только в результате абстрагирования от конкретного жизненного мира и облачения его в «одеяние идей». См.: *Husserl E. (1954). Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendente Phänomenologie / Ed. W. Biemel. Den Haag: Nijhoff. В русском переводе: Гуссерль Э. (2004). Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: введение в феноменологическую философию / Пер. с нем. Д. В. Складнева. СПб.: Владимир Даль.*

танцирование от абсолютного примата собственной традиции» (р. 95). В столкновении греческих домашних миров с множеством чужих миров (и в том числе друг с другом) была приобретена невозможность относиться к собственной традиции как к абсолютной основе. Знакомство с различными территориальными мифологиями привело к необходимости создания «универсальных мифов», охватывающих общие черты всех домашних миров и, по сути, представляющих собой совокупность природных объектов одного объективного мира, лежащего в их основе. Иными словами, таков — изложенный коротко, насколько это возможно — генезис условий возможности философии и области идеального, к которой она стремится. Миеттинен всячески подчеркивает взаимное смешение между понятиями «философия», «наука», «теоретическая установка» и «универсализм» в смысле их критической позиции по отношению к домашней и чужой традициям и обращения к универсальному измерению, лежащему в основе всякого индивидуального мира. «Философия хочет быть «наукой», универсальной наукой о вселенной; во всех своих различных систематических формах она хочет быть общей в соответствии с абсолютно достоверной истиной, которая связывает всех...»¹⁸ (р. 91). Философия возникает и развивается не в виде конкретной доктрины или техники, но в виде определенной установки.

Генеративным же феноменом философию делает не только факт географически-исторического происхождения, но и то, что ее открытие стало причиной рождения новой уникальной генеративной традиции, которую Гуссерль называет «европейской». Европейская культура — это «универсальная» культура, одушевленная праксисом философии и руководствующаяся идеей универсального разума. Чтобы такая культура стала возможной, философии необходимо было из индивидуальной установки стать коллективным предприятием, то есть, утверждает Миеттинен, институционализироваться. Предполагается, что институционализации способствовало стремление философии к универсальному знанию, поскольку область идей превосходит домашние миры, постольку ее раскрытие может быть определено только в рамках «бесконечной» или «универсальной» задачи, выходящей не только за пределы жизни отдельного индивида, но и за пределы отдельных жизненных миров. Теоретическая установка утверждает не только новый класс вневременных и внекультурных предметов, но и совершенно новый горизонт практик их получения, выражаемых в понятии «идеальных целей». Исследование этих идеальных предметностей, их аккумуляция и передача через поколения возможны только в коллективном научном предприятии. Философия, обязанная своим появлением релятивизации традиций, «не просто заменяет традиционность до-философского мира учреждением новой традиции; скорее, она заменяет саму идею традиционности телеологической направленностью» (р. 111). Помимо этого, философия как предприятие, возможное только ввиду разделяемой «любви к идеям» (*Ideenliebe*), способствовала идеализации самого понятия общ-

18. Husserl E. (1959). *Erste Philosophie II* (1923–24): *Theorie der phänomenologischen Reduktio*. Den Haag: Nijhoff. S. 320.

ности. Благодаря ей возможно такое определение общности, в котором теряют свою значимость этническая, расовая, политическая и прочие принадлежности. Иными словами, в открытии теоретической установки утверждается телеологический идеал «универсальной общности», включающей в себя все разумные существа. Универсальная (философская, научная) общность — это общность друзей, что противопоставляется концепту политических общностей, включающих в себя друзей (своих) и исключаящей врагов (чужих).

Философию, более того, можно рассматривать как «насквозь» (*durch und durch*) политическую. Теоретическая установка позволяет ей утвердить себя в форме политического идеализма — проекта, противостоящего традиционным способам устройства общественной жизни и стремящегося к идеальной политической общности через постоянную критику и обновление. Греческая политическая мысль постулирует невозможность принятия актуальной формы правления в качестве «естественно» сложившейся и действующей. Всякая политическая система должна подвергаться пересмотру. При этом политический универсализм, открытый в Древней Греции и реконцептуализированный Гуссерлем, как утверждает Миеттинен, вовсе не синонимичен спектаклю Европеизации (или, иначе, глобализации), который мы наблюдаем в истории. Вместо идеи монокультурализма с единой нормативной спецификацией, за которой скрываются разнообразные доктрины всеобщих прав человека, свободного рынка и либерализма, философия предлагает концепт не-субстанциального универсализма. Универсальная общность, в которой стерты все границы между домашним и чужим, рассматривается в нем только в «абсолютном смысле», то есть в смысле идеала, достижимого лишь в бесконечном горизонте обновления. Политический универсализм заменяет «универсализированный партикуляризм» с его некритическим отношением к универсальности частных догм динамической идеей «абсолютной нормы». Эта идея подразумевает, что «абсолютная норма» не может быть выведена из традиции, но, напротив, — должна представлять критический принцип. «Этическую идею общности, — утверждает Гуссерль в *Kaizo*, — следует понимать как систему развития (*Werdenssystem*)»¹⁹ (р. 166). Из этого формального характера концепта универсализма также следует и его открытость к сосуществованию нескольких домашних миров, каждый — с собственными нормативными спецификациями.

Понять сущность основанного Гуссерлем универсализма в философском предприятии помогает его «историческая телеология», противопоставленная телеологиям «великих нарративов», что и иллюстрирует Миеттинен в четвертой части работы. «Великие нарративы» таких мыслителей, как Кант, Гегель, Маркс, имеют ядром своей исторической телеологии идею «божественного замысла», который направляет ход мировой истории. Гуссерлианское же генеративное же понимание телеологии, с одной стороны, синонимично детерминированной историчности этих нарративов — в тезисе о необходимой телеологичности культуры. Гуссерль

19. *Husserl E.* (1989). *Aufsätze und Vorträge (1922–1937)* / Ed. S. H. Rainer, N. Thomas. Dordrecht: Kluwer. S. 55.

утверждает: всякая культура телеологична, поскольку она стремится к достижению некоторых целей. Однако, с другой стороны, эта цель обнаруживается не потому, что она реализует некоторый «объективный» замысел, но потому, что она суть традиция — совокупность совместно конституируемых, передаваемых и наследуемых смыслов. И поскольку всякий смысл обладает горизонтом, постольку и передача традиций обязует наследников осуществлять эти традиции в дальнейшем: выполнять определенные практики, достигать определенных целей, придерживаться конкретных ценностей и так далее. Передача традиции — и рациональность культуры — следовательно, опирается на ответственность тех, кто ее наследует. Человек или общность людей способны принимать решения относительно унаследованных культурных смыслов; в том числе и решения, ведущие к отречению от этих культурных смыслов. И подобно тому, как в генетической феноменологии обнаруживается возможность забвения «осажденных» седиментаций, так и в генеративной перспективе мы можем говорить об утрате — а точнее, о различных способах «утраты» — культурных смыслов. Эта утрата смысла и есть сущность генеративного кризиса, который Гуссерль противопоставляет натуралистической интерпретации. Кризис — это внутренняя, необходимая черта исторической телеологии культуры, которая то и дело утрачивает очевидность смысла или совокупности смыслов. Выход из кризиса, то есть обновление культуры, возможен через восстановление и вместе с тем переопределение и критику этого смысла и присущей ему ранее очевидности. Из этого следует, утверждает Миеттинен, что кризис современных наук может быть проинтерпретирован в генеративной перспективе как утрата очевидности понятия «универсального» в философском предприятии.

Феноменологический проект в целом и открытая им область генеративности в частности могут быть, таким образом, определены как специфический результат кризиса натурализма и физикализма (р. 154). В результате анализа, проведенного в генеративной перспективе, философия перестает быть возможной как, с одной стороны, лишь «забота о славе идеи, отражающейся в мировой истории»²⁰ (р. 144), и с другой стороны — исследование, свободное от влияния традиций. Рассмотрим последнее более подробно.

С принятием теоретической установки европейская культура открывает новую область телеологического горизонта с присущими ему идеальными целями, которые формулируются в терминах «бесконечной задачи». И философия, первично утвердившая себя как предприятие для достижения этих целей, с открытием генеративной перспективы не может более игнорировать факт необходимой односторонности (*one-sidedness*) и зависимости предлагаемых ею решений от традиции. Ведь и традиция характеризуется историчностью и собственной телеологией; а предлагаемые ею решения могут обладать лишь относительной идеальностью.

20. Hegel G. W. F. (1970). *Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte*. Frankfurt am Main: Suhrkamp. S. 540. В русском переводе: Гегель Г. В. Ф. (1993). *Лекции по философии истории* / Пер. с нем. А. М. Водена. СПб.: Наука. С. 455.

Понимание этой относительности возможно именно благодаря динамической не-субстанциальной категории универсального. Универсализм философии заключается не в том, что создаваемые ею теории актуально превосходят домашний мир и являются общими для совокупности всех домашних миров, но в том, что философ и, конечно, ученый должны понимать относительность постулируемых ими идей по сравнению с горизонтом абсолютных идеалов, они должны видеть зависимость своих идей от исторических предпосылок, а значит, и критически к ним относиться. В этом, как утверждает Миеттинен, и состоит ключевой вывод генеративной перспективы: «телеологическая рефлексия имеет ключевое значение, потому что мы *еще не* в конце истории, или, точнее — потому что мы постоянно думаем, что мы [уже там]» (р. 144).

И по этой же причине мы можем утверждать незаконченность и неполноту (в позитивном смысле) статического проекта трансцендентальной феноменологии. Через «выключение» естественной установки статическая перспектива стремится освободить себя от всех предпосылок и достичь беспредпосылочного знания как начала системы наук. В то же время генетическая, а следом и генеративная области указывают на сущностную невозможность такого типа знания, поскольку всякая «рефлексия необходимо привязана к конкретному домашнему миру, его исторической традиции и концептуальной рамке» (р. 143). Систематическая философия возможна только в случае, если она дополняется исторической критикой. Иными словами, дескриптивная статическая феноменология неразрывно связана с объясняющей генеративной феноменологией. И даже более того, генеративная область представляется в качестве наивысшей ступени «феноменологической лестницы», нижняя ступень которой — статическая и якобы лишенная историчности перспектива. И именно в этом смысле трансцендентальная субъективность (изначально критикуемая как исключительно «индивидуалистическая» точка зрения) предстает перед нами совершенно по-иному — в виде несамостоятельной стартовой ступени, от которой мы далее должны подниматься к областям историчности и социальности, а следовательно, и к столь важной для социальных наук генеративной перспективе.

Ценность книги Миеттинена заключена, таким образом, в возможности нейтрализации социологической критики трансцендентальной субъективности с помощью собственных ресурсов феноменологии, и через это — в утверждении более прочных оснований феноменологии как фундамента социальных наук. Генеративная перспектива, венчающая феноменологическое движение, открывает новые горизонты исследования социальной онтологии, недоступные для статической и генетической перспектив, и поэтому, несомненно, должна быть взята на вооружение современными социальными учеными.

The Idea of Europe and Husserlian Historical Teleology

Dmitry Reznikov

Research Intern, Center for Fundamental Sociology, HSE University

Address: Myasnitskaya str., 20, Moscow, Russian Federation 101000

E-mail: reznik.soc@mail.ru

Book Review: *Timo Miettinen*, *Husserl and the Idea of Europe* (Evanston: Northwestern University Press, 2020).

Становятся ли люди лучше?*

ПИНКЕР С. (2021). ЛУЧШЕЕ В НАС: ПОЧЕМУ НАСИЛИЯ В МИРЕ СТАЛО МЕНЬШЕ / ПЕР. С АНГЛ.
Г. БОРОДИНОЙ И С. КУЗНЕЦОВОЙ. М.: АЛЬПИНА НОН-ФИКШН. 952 С. ISBN 978-5-00139-171-5

Александр Никифоров

Доктор философских наук, Межрегиональная общественная организация
«Русское общество истории и философии науки»
Адрес: Лялин пер., 1/36, стр. 2, Москва, Российская Федерация 105062
E-mail: nikiforov_first@mail.ru

Стивен Пинкер — канадский нейрopsихолог, лингвист, известный популяризатор науки, дважды лауреат Пулитцеровской премии. Первое издание его широко известной книги «The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined» вышло в свет в 2011 году.

Как свидетельствует уже само название, основная задача книги — показать, что в ходе исторического развития человечества уровень насилия и жестокости среди людей по отношению друг к другу постепенно снижался. Автор полагает, что стремление к насилию заложено в природу человека уже самим процессом биологической эволюции. Говоря об отношении людей друг к другу, он опирается на воззрения английского философа Томаса Гоббса (1588–1679), согласно которому в человеческом обществе всегда идет «война всех против всех», ибо человек по натуре своей — агрессивный хищник. Ссылаясь на последние исследования нейробиологов, Пинкер утверждает, что в мозге животных имеется некий «контур ярости», электростимуляция которого вызывает приступ бешеной агрессии. И в человеческом мозге имеется такой же контур, внешняя стимуляция которого побуждает человека к агрессивному поведению. Таким образом, считает автор, уже сама биологическая природа человека делает его агрессивным и способным на насилие по отношению к другим людям.

Рассматривая историю человечества с доисторического периода до наших дней, Пинкер стремится показать, что она была насыщена насилием и зверством. «Если прошлое — другая страна, — пишет он, — то страна эта удивительно жестока. Легко забыть, как опасна была жизнь раньше, как прочно зверства вплетались в ткань повседневного бытия» (с. 27). Так, находки археологами останков древних людей часто свидетельствуют о том, что они умерли насильственной смертью. Далее автор анализирует тексты «Илиады» и «Одиссеи» Гомера, представляющие жизнь и нравы народов и племен Восточного Средиземноморья в VIII–VII веков до н. э. и приводит слова Агамемнона, обращенные к Менелая, в которых за похищение

* Подготовлено при поддержке Российского научного фонда, проект № 21-18-00496 «Семантическая структура пропозициональных установок сознания».

Елены обещает истребить всех троянцев, включая тех, которые находятся еще во чреве матери. Отсюда автор делает вывод о том, что уже на заре человеческой истории истребительные войны между народами были обычным делом.

Рассматривая Библию, автор и в ней выделяет эпизоды насилия и жестокости. Когда Каин убил своего брата Авеля, на Земле жили всего четыре человека: Адам, Ева, Каин и Авель. Следовательно, это убийство означало умерщвление 25% населения Земли. Затем он упоминает о Всемирном потопе, об уничтожении Содома небесным огнем, истреблении всего населения Иерихона и т. п. «Библия изображает мир, — пишет он, — который, если смотреть на него нашими глазами, потрясает своей дикостью. Люди порабащают, насилуют своих ближайших родственников. Военачальники вырезают гражданских без разбора, не делая исключения для детей. Женщин покупают, продают и присваивают, как секс-игрушки» (с. 38). Обращаясь к эпохе Римской империи, Пинкер выделяет ее завоевательные войны, сопровождавшиеся геноцидом покоренных народов («Карфаген должен быть разрушен!»), гладиаторские бои, доставлявшие удовольствие широким массам развращенных граждан, распятия на кресте — наиболее распространенный вид казни в ту эпоху. Раннее христианство также одобряло пытки как справедливое возмездие для грешников. За совершение смертных грехов в аду ждали следующие наказания: грех гордыни — колесование; зависть — помещение в ледяную воду; чревоугодие — принудительное кормление крысами, жабами и змеями; похоть — сжигание на костре и т. п. И эти муки должны были длиться вечно!

Наконец, Средневековье отмечено кострами, на которых сжигали еретиков и ведьм, инквизицией, рыцарскими турнирами, сопровождавшимися гибелью и увечьями сотен рыцарей, казнями королей и королев, бесконечными войнами между мелкими феодалами, от которых жестоко страдали крестьяне и ремесленники. Автор цитирует некую «Средневековую домовую книгу» XV века, содержащую наставления о поведении в обществе: «Не загрязняйте мочой и другими выделениями лестницы, коридоры, чуланы и гобелены. Не облегчайтесь на глазах у дам, у дверей или окон. Не елозьте на стуле, словно пытаетесь выпустить газы. Не суйте руки в штаны, чтобы почесать интимные места. Не приветствуйте человека, пока он мочится или испражняется. Не выпускайте газы шумно» (с. 106). Рассматривая рекомендации подобного рода, автор делает вывод о том, что «люди Средних веков были довольно-таки скотоподобны» (там же).

Пинкеру удалось нарисовать весьма впечатляющую картину прошлого, пронизанного насилием и жестокостью. Но что же побуждает человека к насилию, что стимулирует его «контур ярости»? Прежде всего, говорит Пинкер, это *хищнический инстинкт*. Соперничество между людьми за обладание материальными благами побуждает их к взаимной борьбе, рождает в каждом человеке стремление отнять у другого то, что может пригодиться ему самому. Именно этим хищническим инстинктом объясняет автор многочисленные столкновения между племенами на заре человеческой истории и последующие войны между народами и государствами. Но этот же хищнический инстинкт порождает в людях страх и стремление

обезопасить себя от нападения. *Страх* также стимулирует насилие по отношению к другим — пробуждает желание напасть первым и тем самым предотвратить ожидаемое нападение.

Хищничество и порождаемый им страх являются первой причиной насилия. Второй автор считает стремление к *доминированию* — желание стать выше окружающих. Такое желание свойственно не только отдельным людям, но и группам людей. Оно побуждает вступать в борьбу за честь, за достоинство и репутацию, за власть. Но и национализм, по мнению автора, порождается тем же чувством превосходства своей нации над другими. Третья причина — *месть* — стремление отплатить злом за причиненное зло. В связи с этим автор ссылается на широкое распространение обычая «кровной мести». В качестве четвертой причины насилия называется *садизм* — удовольствие от причинения страдания. Действительно, встречаются люди, которые, причиняя боль другому, получают какое-то странное наслаждение при виде его мучений. Наконец, пятым и чрезвычайно важным, по мнению автора, мотивом насилия является *идеология*. «Люди и по отдельности не испытывают недостатка в эгоистичных мотивах насилия, — пишет Пинкер. — Но количество жертв возрастает до чудовищных цифр, когда массы людей воплощают в жизнь мотив, который выходит за пределы любого из них: идеологию. Подобно хищническому или инструментальному насилию, идеологическое насилие — это средство достижения цели. Но цель у идеологии идеалистическая: концепция высшего блага» (с. 692). В качестве примеров насилия, порожденного идеологией, Пинкер приводит Крестовые походы, вдохновленные идеей освобождения Гроба Господня от нечестивых; европейские религиозные войны между католиками и протестантами; войны революционной Франции против нескольких коалиций европейских монархий и наполеоновские войны; гражданские войны, происходившие в разное время в разных странах, в частности в России.

Несмотря на то что все эти мотивы, побуждающие человека к насилию, сохраняются, автор стремится показать, что в ходе исторического развития человечества насилия постепенно становилось меньше. Какие же факторы содействовали его снижению?

Первым и важнейшим социальным фактором, существенно понизившим уровень насилия в человеческом обществе, Пинкер — вслед за Гоббсом — считает *возникновение государства* — Левиафана. Государство монополизировало функцию насилия и препятствует тому, чтобы его осуществляли отдельные люди или группы людей. Государство стоит над насильником и жертвой, карает насильника, лишая жертву мотива мести. Государство вообще ограничивает всякое насилие между своими подданными, ибо любое насилие частных лиц приносит тот или иной ущерб государству. Пинкер приводит множество таблиц и графиков, показывающих резкое уменьшение смертей от насилия при переходе человечества от племен земледельцев и охотников-собирателей к государственным образованиям. С укрупнением государств, с усилением репрессивного аппарата и все более тщательной разработкой правовых норм уровень насилия в обществе постепенно

снижается. Конечно, если взять абсолютные цифры погибших от насилия людей, то XX век превзойдет в этом отношении все предшествующие. Однако Пинкер говорит об *относительной величине* смертей: каков процент погибших от насилия по отношению ко всей популяции или же к числу людей, умерших от естественных причин? Когда в племени, состоящем из 100 человек, 50 погибают в результате насилия, то можно сказать, что уровень насилия в этом племени составляет 50%. Если же популяция насчитывает 1000 человек, из которых 300 гибнет от насилия, то здесь его уровень будет всего лишь 30%. В своих таблицах Пинкер показывает, что если в догосударственных обществах уровень насилия колебался от 20 до 40%, то в государствах он снизился до 1–2%, а в современных либерально-демократических государствах составляет тысячные доли процента. «По самым скромным подсчетам, — пишет он, — за весь XX век в боях погибло около 40 млн человек... Если мы сопоставим это количество с цифрой в 6 млрд человек, скончавшихся на протяжении XX века, и не будем принимать во внимание некоторые демографические тонкости, окажется, что только 0,7% населения Земли полегло на поле боя за эти 100 лет» (с. 85).

Вторым важным фактором, также снижающим уровень насилия в человеческом обществе, Пинкер считает *распространение торговых отношений* между людьми и государствами. Действительно, можно ограбить соседа: отнять его землю, имущество, перебить его крестьян. Если оценивать такой акт насилия в целом, учитывая приобретения и потери насильника и жертвы, то можно сказать, что он убыточен: один потерял все, другой приобрел меньше, чем было у соседа. Гораздо выгоднее не грабить соседа, а торговать с ним: это приносит выгоду обоим. «Два пусковых механизма процесса цивилизации, — пишет автор, — тесно связаны. Торговля, как игра с положительной суммой, процветает наилучшим образом под защитой Левиафана» (с. 116). Торговля заставляет понять желания и мотивы другого человека, осознать, чего он хочет, чтобы предложить ему желаемое. И это, полагает Пинкер, содействовало развитию в людях эмпатии — сочувственного понимания другого человека. Эмпатия постепенно улучшает нравы, уменьшает эгоизм, повышает внимание к другим людям. Вот так торговля и государство дают толчок развитию цивилизации.

Цивилизационный процесс многообразен. После открытия Америки в Европу хлынуло золото, что существенно облегчило и расширило торговлю благодаря тому, что деньги стали средством обмена. Появление огнестрельного оружия содействовало усилению и укрупнению государств, покончивших с бесконечными стычками рыцарей. Улучшение бытовых условий постепенно приводит к улучшению нравов. Значительное влияние на ускорение цивилизационного процесса оказало *открытие книгопечатания*. Книга утратила характер дорогой редкости, хранившейся в монастырской или королевской библиотеке, книги появились в домах горожан — простых ремесленников и купцов — это содействовало распространению грамотности. Появляются философские и литературные произведения, выражающие идеи гуманизма и прав человека. «По мере того как Европа

становилась все более городской, космополитичной, торговой, промышленной, индустриальной и светской, жизнь становилась безопаснее и безопаснее» (с. 101). В конечном итоге автор делает вывод о том, что под влиянием перечисленных факторов уровень насилия в мире постепенно снижался. В последнее столетие ко всем этим факторам добавились: *феминизация* — рост уважения к интересам и ценностям женщин; *глобализация и космополитизм* — рост грамотности, мобильность и СМИ, расширяющие круг наших симпатий по отношению к людям, непохожим на нас; *возрастающая рационализация* — применение научных и рациональных подходов к решению проблем. Несмотря на две мировые войны, XX век был самым ненасильственным, по мнению Пинкера, по сравнению с предшествующими столетиями, а после 1945 года на Земле наступил «долгий мир», который длится вот уже 75 лет.

Что можно сказать о книге в целом? Это — не философия истории и вообще не философия. Все-таки философия предполагает рациональное обоснование каких-то мировоззренческих идей. А здесь идей немного, да и все они давно известны, автор предлагает читателю, скорее, некоторый художественный образ одной из сторон человеческого общежития. При взгляде на историю человечества у него сложилось впечатление, что вся она наполнена насилием и жестокостью. Он не обосновывает своего впечатления, а просто подкрепляет его яркими картинами войн, казней, пыток, заимствованными из художественной литературы и живописи. Рациональная критика картины, созданной автором, кажется, не имеет большого смысла. Можно ли критиковать «Войну и мир» Л. Толстого за «дубину народной войны»? Поэтому я укажу лишь на два обстоятельства, вызывающих сомнение в правдоподобности картины, нарисованной Пинкером.

Во-первых, как мы видели, он оперирует относительными цифрами, когда говорит о насилии: 20 убийств в год для популяции в 100 человек дают уровень насилия 20%. Но те же 20 убийств в год для популяции в 1000 человек будут означать снижение уровня насилия до 2%. Историки считают, что в период расцвета Римской империи население Европы насчитывало около 120 млн человек, но уже ко времени ее распада оно сократилось до 50 млн. В 500 году в Европе жило около 27 млн, а в VII веке всего лишь 20 млн. Только в XI веке население Европы начинает устойчиво расти, достигнув в конце XX века более 500 млн человек. Так, может быть, снижение уровня насилия объясняется простым ростом населения? Абсолютное число убийств могло возрастать, но оно отставало от роста населения, поэтому относительный уровень насилия снижался. XX век отметился двумя мировыми войнами, унесшими сотни миллионов жизней, однако население земного шара настолько увеличилось, что это не повысило уровень насилия.

И второе, еще более важное обстоятельство. Пинкер говорит о насилии только в отношении тела человека: убийства, пытки, членовредительства — все это есть причинение вреда телу человека. Но человек обладает не только биологическим телом, у него имеется также сознание, или душа. И насилию может подвергаться не только тело, но и сознание человека. Об этом Пинкер даже не упоминает, а ведь

все мы знаем, какое чудовищное воздействие на сознание людей оказывают средства массовой информации, пропаганда, реклама. Достаточно вспомнить о том, как фашистская пропаганда сумела вбить в сознание большинства немцев мысль о расовом превосходстве арийцев над другими народами. И обычные простые немецкие граждане использовали в качестве прислуги славянских девушек или писали в концлагеря просьбы прислать детские вещи, снятые с убитых детей. Сейчас в результате насилия над сознанием население Европы превращается в потребителей, лишенных национальных, религиозных, культурных традиций. Численность коренных народов Западной Европы неуклонно сокращается вследствие низкой рождаемости, недостаточной для воспроизводства населения. Европу захлестывают волны миграции из бывших европейских колоний. В политическом словаре появился термин «мягкая сила», который означает целенаправленное воздействие на сознание людей. Зачем воевать с каким-то государством за приобретение некоторых благ — нефти, газа, леса и т. п.? Можно так воздействовать на сознание элиты этого государства, что она сама все отдаст. За последние 50 лет можно найти десятки примеров применения такой силы.

Таким образом, сомнительный характер вычисления уровня насилия и игнорирование Пинкером насилия над сознанием людей подрывают доверие к нарисованной им картине и пропагандируемым им идеям. Тем более что не всегда понятно, из каких источников он черпает свои цифры. Так, например, на с. 258 он приводит таблицу смертей, в которой Сталину приписано 20 млн убийств, а Мао Цзэдуну — 40 млн. Откуда он это взял? В тексте мелькает имя А. И. Солженицына, но это весьма сомнительный источник.

Быть может, стоило бы еще указать на то, что книга Пинкера практически лишена оригинальных идей автора. Насколько можно понять, основным источником его вдохновения была работа Н. Элиаса «О процессе цивилизации: социогенетические и психогенетические исследования»¹, у которого он почерпнул и большую часть излагаемых идей, и обширный научный материал. В сущности, сам Пинкер добавил к идеям Элиаса лишь цифровую эквилибристику, якобы служащую для их иллюстрации. Впрочем, научно-популярные работы обычно и не претендуют на оригинальность.

Тем не менее читатель найдет в книге Пинкера много интересного. Автор собрал множество разнообразных материалов, относящихся к истории стран и народов, и представил эти материалы в увлекательной форме. Он обращает внимание на факты, которые лишь мимоходом упоминаются в сочинениях историков, и умеет представить их выпукло и ярко. В своем изложении он соединяет анализ исторических, археологических, литературных источников с данными современной нейропсихологии и лингвистики. Автор пишет прекрасным литературным языком, поэтому чтение книги Стивена Пинкера способно доставить удоволь-

1. *Elias N. (2000). The Civilizing Process: Sociogenetic and Psychogenetic Investigations. Cambridge: Blackwell.*

ствие даже такому читателю, который придерживается иного взгляда на прошлое человечества.

Are People Becoming Better?

Alexander L. Nikiforov

Doctor of Philosophical Sciences, Interregional Public Organization "Russian Society of History and Philosophy of Science"

Address: Lyalin per., bld. 2, Moscow, Russian Federation 105062

E-mail: nikiforov_first@mail.ru

Book Review: *Steven Pinker*, *Luchshe v nas: pochemu nasiliya v mire stalo men'she* [The Better Angels of Our Nature: Why Violence has Declined] (Moscow, 2021) (in Russian).

Народники и власть: террор и воля*

ГЕФТЕР М. Я. (2020). АНТОЛОГИЯ НАРОДНИЧЕСТВА / ПОД РЕД. В. Г. ВИНОГРАДСКОГО, М. Г. ПУГАЧЕВОЙ, М. Я. РОЖАНСКОГО; КОММЕНТ. И УКАЗ. В. А. ТВАРДОВСКОЙ. СПБ.: НЕСТОР-ИСТОРИЯ. 688 С. ISBN 978-5-4469-1832-4

Александр Никулин

Кандидат экономических наук, директор Центра аграрных исследований,
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
Директор Чаяновского исследовательского центра,
Московская высшая школа социальных и экономических наук
Адрес: пр-т Вернадского, д. 82, г. Москва, Российская Федерация 119571
E-mail: harmina@yandex.ru

И шептала с мертвой улыбкой
Ненавистная прежде тень:
«Вот ты видишь, он был ошибкой,
Этот мартовский судный день.
Вы взорвали меня и трон мой,
Но не рабство сердец и умов,
Вот ты видишь, рождаются сонмы
Небывалых новых рабов».

Анна Баркова. «Вера Фигнер»

Наш спор — не духовный
О возрасте книг.
Наш спор — не церковный
О пользе вериг.
Наш спор — о свободе,
О праве дышать,
О воле Господней
Взять и решать.

Варлам Шаламов.
«Аввакум в Пустозерске»

Эта книга о народничестве, написанная чуть менее полувека назад, только сейчас дошла до читателя — она создавалась в 1970-е годы. Как теперь мы это осознаём, для изучения истории народничества период от начала 1970-х до конца 1980-х годов оказался своеобразным «золотым веком», именно в это время были опубликованы в СССР работы В. Г. Хороса¹, И. К. Пантина², Е. Г. Плимака, Н. М. Пи-

* Публикация подготовлена в рамках выполнения научно-исследовательской работы государственного задания РАНХиГС.

1. Хорос В. Г. (1980). Идеиные течения народнического типа в развивающихся странах. М.: Наука.

2. Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. (1986). Революционная традиция в России. М.: Мысль.

румовой³, В.А. Твардовской⁴, а за рубежом Т. Шанина⁵, в которых всесторонне исследовались самые разнообразные аспекты феномена народничества в их связи не только с российским, но и мировым популистским, марксистским и либеральным общественными движениями. Наконец, надо помнить, что в это же время большой популярностью пользовалась историко-художественная серия книг «Пламенные революционеры», в которой именно о народниках-революционерах публиковались захватывающие произведения таких известных писателей, как Владимир Войнович⁶, Юрий Трифонов⁷, Юрий Давыдов⁸.

Возможно, само время так называемого застоя способствовало стремлению осмыслить исторические корни бурных революционных событий и катаклизмов XX века, проросших именно из легендарного противостояния народников и царизма столетней давности. Но даже среди всех вышеупомянутых разноплановых книг труд М. Я. Гефтера выделяется своей сложной историей написания, глубиной и широкомасштабностью замысла.

В 1970-е годы, после погрома в социальных науках, для историка Гефтера настали нелегкие времена, многое ему приходилось писать «в стол» без надежды публикации в ближайшем будущем. И хотя книгу «Антология народничества» предполагалось даже опубликовать, но в 1983 году при очередном обыске КГБ она была изъята у ее автора. Все же чудом сохранился пусть и не совсем полный вариант, который десятилетия спустя наконец вышел в свет благодаря усилиям ее редакторов В. Г. Виноградского, М. Г. Пугачевой, М. Я. Рожанского с комментариями и именным указателем В. А. Твардовской.

В кратком вступительном слове «Как это делалось в Черёмушках в 1970-е...» Валентин Гефтер описывает возникновение интереса и замысла у его отца к созданию народнической антологии, а также подчеркивает, что одна из важнейших задач этой книги заключалась в показе непростой родословной народнического террора и изначально скрытого в нем тупика.

Далее в книге приводится краткий текст самого Михаила Гефтера «Записки к издателю». Здесь Гефтер объясняет направления своего замысла в двух параграфах: «1. Сражение мысли с властью: русский вариант» и «2. Русские народники. Люди. Идеи. Движение».

В приложении к книге также приводятся два кратких текста Михаила Гефтера: «Заметки к проспекту (1977 г.)» и «Из блокнотов».

3. Пирумова Н. М. (1986). Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. М.: Наука.

4. Твардовская В. А. (1983). Н.А. Морозов в русском освободительном движении. М.: Наука.

5. Shanin T. (ed.) (1983). Late Marx and the Russian Road: Marx and the «Peripheries of Capitalism». New York: Monthly Review Press; Shanin T. (1985). Russia as a Developing Society. Vol. 1: The Roots of Otherness, Russia's Turn of Century. London: Palgrave Macmillan.

6. Войнович В. Степень доверия. Повесть о Вере Фигнер. М.: Политиздат, 1972.

7. Трифонов Ю. Нетерпение. Повесть об Андрее Желябове. М.: Политиздат, 1973.

8. Давыдов Ю. Завещаю вам, братья... Повесть об Александре Михайлове. М.: Политиздат, 1975.

Книга завершается послесловием «Человек и власть. Урок? Предостережение?» Якова Гордина — крупнейшего отечественного исследователя российского революционного движения.

В целом Антология представляет собой сложную и обширную композицию из более чем двухсот фрагментов самых разнообразных исторических документов: писем и дневников, программ и манифестов, исповедей и завещаний, фельетонов и хроник, протоколов и заявлений, воспоминаний и размышлений о становлении и развитии идеологии народничества через реконструкцию драмы борьбы народников-революционеров с царской властью, воплотившейся в цепи террористических устрасений с обеих сторон, завершившихся убийством царя Александра II.

Попытаемся дать краткий реферативный обзор структуры и содержания Антологии, состоящей из пролога, девяти глав и эпилога.

Глава первая, озаглавленная «Пролог», содержит в себе выдержки из текстов замечательных мыслителей России середины XIX века. В ней представлены страстные интеллектуальные пассажи А. И. Герцена, В. Г. Белинского, Н. П. Огарёва, К. Д. Кавелина, Н. В. Шелгунова, Н. Г. Чернышевского, М. Г. Бакунина о состоянии российского общества, взаимоотношениях интеллигенции, власти и народа. Наряду с этими своеобразными и интеллектуальными манифестами в этой главе есть и образцы более «практических» текстов первых российских народников, стремившихся какими-либо конкретными делами и предложениями расшевелить общественную жизнь в сторону ее просвещения и демократизации. Например, приводится «Проект учреждения книжного склада с библиотекой и типографией» петрашевца А. П. Баласогло, репрессированного по Делу петрашевцев, а также представлено несколько народнических прокламаций.

Как известно, правительство изначально достаточно сурово подавляло все эти идеологические и практические инициативы народничества. В результате в ответ уже в середине 1860-х годов прозвучал первый «звонок» — одиночный выстрел неудавшегося покушения Д. В. Каракозова на царя. Таким образом, в первой главе представлена и проблематика генезиса народнического террора, отраженная в текстах И. А. Худякова, Н. А. Ишутина и самого Каракозова.

Эта глава заканчивается текстами 1870-х и последующих годов, написанных народниками в осмыслении их борьбы с царским правительством, с обсуждением дилеммы насильственных и ненасильственных методов в политических действиях. Например, приводится отрывок из «Записок революционера» П. А. Кропоткина об изначально исключительно мирных проектах «хождения в народ» молодежи 1870-х годов, жестоко подавлявшегося царской полицией. Именно эти свирепые полицейские меры, полагает Кропоткин, и привели к тому, что народники, в конце концов, решили в ответ вступить на тропу систематического террора в отношении царя и его правительства.

«Самоутверждение» — так называется вторая глава Антологии. Она содержит отрывки из разнообразных документов, характеризующих прежде всего кипучую волю и энергию народников, направленных на расширение и углубление их дея-

тельности второй половины 1870-х годов. Здесь представлено описание Казанской демонстрации 1876 года, опыты землевольческих поселений народников, народнические методы пропаганды среди крестьян, раскольников, солдат, размышления о внутренней организации народничества, связанные с созданием «Земли и Воли».

Тем временем противостояние между народниками и властью продолжает усиливаться, свидетельство чему приводимые документы о судебных преследованиях народнической деятельности, отраженные в знаменитых процессах, названных по количеству их подсудимых, например: «процесс 50-ти», «процесс 193-х». Представлены здесь и знаменитые речи С. И. Бардиной, П. А. Алексеева и И. Н. Мышкина, произнесенные на этих процессах, а также показания и воспоминания об этом периоде народнической деятельности А. Д. Михайлова, О. В. Аптекмана, В. Н. Фигнер и ряда других народников.

Глава 3 «Завязка» содержит материалы 1877–1878 годов, посвященные деятельности, арестам и процессам И. М. Ковальского и В. И. Засулич, а также отрывки из прокламации и устава «Земли и Воли», в пункте первом которого поставлена цель «осуществление народного восстания», а в пункте девятом — «цель оправдывает средства» (с. 169–170). Остальные тексты этой главы представляют собой фрагменты писем С. М. Степняка-Кравчинского, Г. А. Лопатина и А. Д. Михайлова с размышлениями об особенностях революционной организации и методах ее действий.

Следующая четвертая глава «Перелом» состоит из образцов передовиц и прокламаций «Земли и Воли», писем от Северного Союза русских рабочих и «деревенщиков» в адрес «Земли и Воли». Далее следует подборка документов о неудавшемся покушении А. К. Соловьева на Александра II и его последствиях, а также предсмертное письмо перед казнью своим соратникам В. А. Осинского, одного из активных организаторов покушений на высокопоставленных царских чиновников. Приводится здесь и наблюдение из дневника высокопоставленного царского сановника П. А. Валуева о подавленном самочувствии императорской четы: «Оба оставили во мне тяжелое впечатление. Государь имеет вид усталый... который он усиливается скрывать... В эпоху, где нужна в нем сила, очевидно, на нее нельзя рассчитывать... Вокруг дворца, на каждом шагу, полицейские осторожности... Хозяева смутно чуют недоброе, но скрывают внутреннюю тревогу» (с. 203).

Впрочем, мучительный перелом во все более кровавой борьбе революционеров с режимом самодержавия приводил к перенапряжению и перегруппировке сил и в рядах самих народников, о чем свидетельствуют представленные тексты писем и воспоминаний их лидеров Н. А. Морозова о разногласиях в редакции «Земли и Воли», Л. А. Тихомирова о дебатах на Липецком и Воронежском съездах землевольцев. И как итог — приведенные в воспоминаниях Н. А. Морозова финальные выводы Липецкого съезда:

Должно ли ему [царю Александру II. — А. Н.] простить за два хороших дела в начале его жизни все то зло, которое он сделал затем и сделает в буду-

щем? — Спросил Михайлов в заключение, и все присутствующие единогласно ответили:

— Нет!

С того момента вся последующая деятельность большинства съехавшихся в Липецке человек определилась в том смысле, в каком она теперь стала достоянием истории: ряд покушений на жизнь Александра II и их финал 1 марта 1881 года (с. 210).

Глава пятая «Рождение «Народной Воли» (самоопределение)» содержит в себе фрагменты из Программы и Устава Исполнительного комитета «Народной Воли», а также из подпольной одноименной газеты с ее передовицами, хрониками, письмами, ответами и заявлениями, беллетристикой, направленными на критику царского режима и обоснованием необходимых радикальных преобразований общества.

Что касается Программы и устава, то в них четко зафиксированы основные идеи, цели и задачи этой легендарной революционной организации, оказавшиеся этапными и пророческими для последующих десятилетий общественной борьбы в России вплоть до Февральских и Октябрьских событий 1917 года. Приведем характерные краткие выдержки из данных документов:

По основным своим убеждениям мы — социалисты и народники... сочтем долгом явиться пред народом со своей программой: постоянное народное представительство... широкое областное самоуправление... самостоятельность мира (общины)... принадлежность земли народу... передать в руки рабочих все заводы и фабрики... полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций... всеобщее избирательное право... замена постоянной армии территориальной... Каким бы путем ни произошел переворот, как результат самостоятельной революции или при помощи заговора, обязанность партии — способствовать немедленному созыву Учредительного собрания и передачи ему власти Временного правительства, созданного революцией или заговором (с. 212–216).

Но и эта глава Антологии, кроме политических и публицистических документов, непременно содержит эмоционально-личностные свидетельства из писем и воспоминаний народовольцев об их мировоззрении и характерах, формировавшихся в борьбе с самодержавием.

Шестая глава, озаглавленная «Либо-либо», самая объемная, хотя хронологически все ее материалы относятся исключительно к 1880 году. Здесь нашли отражения важнейшие политические и террористические действия народовольцев, связанные с полицейским разгромом их типографии, взрывом в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года, очередные программные документы и тексты народовольцев, их международное признание и поддержка левыми европейскими интеллектуалами (Виктором Гюго, например). В этой главе представлены также размышления о народовольцах, взятые из дневников царских министров Д. А. Милютина

и Е. А. Перетца. Наконец, целый ряд документов иллюстрирует полемические мнения русских литераторов К. Д. Кавелина, М. Н. Каткова, М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ф. М. Достоевского с его знаменитой «Пушкинской речью» о взаимоотношениях радикальной интеллигенции с властью и обществом. Эта глава посвящена аналитике своеобразной «точки бифуркации» 1880 года. В представленных в ней текстах и революционеры, и царские министры, и литераторы-интеллектуалы, в духе своего времени, перебирают возможные варианты развития ближайших, самых, возможно, неожиданных событий и их последствий.

Глава седьмая «Накануне» содержит в себе отрывки из разнообразных документов, характеризующие время подготовки последнего — наконец удавшегося народовольческого покушения на Александра II. Во-первых, в этой главе реконструируется широкая панорама общественных настроений накануне царевубийства. Здесь представлены доклад М. Т. Лорис-Меликова царю, анализирующий внутреннее положение России осенью 1880 года, резолюция Гаврского конгресса социалистов о солидарности с русскими революционерами. Но больше всего в этой главе приводится текстов из народовольческих программ, уставов, брошюр кануна 1880–1881 годов, о работе среди разных слоев населения — крестьян, рабочих, студентов, военных. Наконец, здесь опять очень много личностной рефлексии представителей «Народной Воли», запечатленной в их письмах, воспоминаниях и даже в показаниях на допросах. Эта глава, пожалуй, наиболее ярко свидетельствует о том, как Россия оказалась накануне революционной ситуации, последствия которой абсолютно непредсказуемы для каждой из противоборствующих сторон.

Восьмая глава «Царевубийство» посвящена описанию состояния современников, а также непосредственных участников убийства Александра II. Представленные здесь документальные свидетельства разнообразны по своему составу: имеются официальные сообщения о царевубийстве, доклады и рапорты соответствующих служб уже новому царю, Александру III, но основную долю исторических документов составляют тексты представителей «Народной Воли», как по горячим следам произошедшего события, так и в воспоминаниях о нем, написанных порой гораздо позже 1881 года.

Последняя, девятая глава книги «Триумф и гибель» представляет собой в основном коллекцию документов времени судебного процесса над народовольцами весной 1881 года. Здесь реконструирована обширная панорама самых разнообразных общественных мнений. Заявления, показания и воспоминания подсудимых перемежаются заявлениями и показаниями представителей государственной власти, мнениями представителей российской и зарубежной общественности, описаниями заседаний Совета министров с участием царя Александра III. В ней перемежаются проправительственные призывы к отмщению царевубийцам, революционные призывы к продолжению бескомпромиссной борьбы с самодержавием, робкие просьбы к Александру III либеральной общественности не сворачивать с пути реформ, гипнотические увещевания Константина Победоносцева прекра-

тить реформы и укрепить основы самодержавия, страстное обращение Льва Толстого к Александру III о проявлении христианского милосердия к убийцам его отца. В конце этой главы приводится Манифест Александра III от 29 апреля 1881 года, подтверждающий незыблемость самодержавного строя в России. В конце этой главы эпилог — «Завещание» А. Д. Михайлова, одного из самых выдающихся лидеров «Народной Воли», предрекающего пути дальнейшей революционной борьбы в России.

А в итоге «хождение» народников в террор, апофеозом которого стало убийство царя, заканчивается тягостным опустошением общественного мнения, душ революционеров и приливом консервативных настроений в российском государстве.

В предисловии В. М. Гефтера и послесловии Я. А. Гордина особо подчеркивается и осмысливается значение одной из важнейших целей проекта М. Я. Гефтера — «увидеть сугубо непростую родословную народнического террора, изначально скрытый в нем тупик движения в целом» (с. 6). В этой связи Яков Гордин упоминает и значение Антологии для мировой политической обстановки 1970-х годов, ведь именно в это время в мире стали вырастать и множиться волны терроризма различных идеологических направлений — от радикально-популистских до консервативно-религиозных.

Тем не менее хочется отметить, что тема генезиса и парадоксов терроризма, хотя в значительной степени и определяет сюжетную линию данной Антологии, но все же в ней содержатся и более глубокие пласты замыслов постижения в целом движения социальной истории и ее парадоксов.

В конце своего послесловия Гордин пронизательно сравнивает судьбы и мировоззрения двух выдающихся историков, Марка Блока и Михаила Гефтера, подчеркивая, что оба историка были ветеранами великих войн, отстаивающими в своей жизни и в своих исследованиях свободу, честь и достоинство человека, размышляющими о глубинных первопричинах движений исторического процесса. И именно поэтому знаменитое утверждение М. Блока: «Отношения, завязывающиеся между людьми, взаимовлияния, искажения, возникающие в их сознании, — они-то и составляют для истории подлинную реальность»⁹ — вполне могло бы стать одним из эпиграфов к замечательной Антологии Гефтера. Ибо в его книге через хронологическую реконструкцию террористических свершений оживают чаяния, надежды, сомнения, раскаяния, вера, предсказания не только юношей и девушек, за свои идеалы идущих на эшафот и каторгу, но и консервативных самодержавных мужей, стремящихся во что бы то ни стало сохранить власть и порядок, и либеральных деятелей, пытающихся все же продвигать социальные реформы, призывающих к нахождению компромиссов между радикальными и консервативными рецептами развития российской действительности, и, наконец, писателей и ученых, зову-

9. Блок М. (1983). Апология истории, или Ремесло историка. Таллин: Ээсти раамат. С. 93.

щих противоборствующие политические стороны не забывать о гуманистических идеалах человечества.

Именно поэтому, чем более внимательно и бережно вчитываемся мы в оставшиеся фрагментарные размышления М. Я. Гефтера о путях реализации его замысла Антологии, обнаруживаем, что, кроме собственно реконструкции истории террористических тупиков, в ней преследовались и другие многообразно сложные цели:

...рассмотреть типичные черты молодого человека народнической и народо-вольческой формации; документы правящего лагеря, а также либерального и консервативного течений общественной мысли, воссоздающего в целом политический контекст движения и венчающего его акта (с. 9).

...иметь здесь дело [в Антологии. — А. Н.] с феноменом выстраивания снизу гражданского общества... (с. 10).

...акцент на движение, соответственно в центре не духовные отцы, идеологи, а действователи. В целом: не столько движение мысли, сколько мыслящее движение... (с. 548).

...не коллекция документов, а скорее, панорама. Документальный «роман» (с. 549).

И все эти глубинные замыслы в значительной степени удалось воплотить в этой народнической Антологии — документальном «романе» — захватывающем в своих прихотливых сюжетах реалистичности и фантастичности возможностей понимания и достижения лучшего социального и политического мира на разнообразных примерах общественной борьбы в России второй половины XIX века.

В заключение отметим, что обращение к теме народнической, в международной традиции — популистской истории является чрезвычайно злободневно и современно. Рост популистских народнических настроений самых различных оттенков правого политического спектра является повседневной очевидностью нашего времени, о чем свидетельствуют материалы и недавно состоявшегося международного симпозиума «Пути России 2019»¹⁰. Для работы над задачами исторического реконструирования и современного конструирования понятия народа и его воли Антология Михаила Гефтера дает чрезвычайно богатый материал к постижению эволюции альтернатив общественного выбора, когда терроры приходят и уходят, а народ остается.

10. Пугачева М. Г. (ред.). (2020). Пути России: Народничество и популизм. М.: Дело.

The Narodniks and Power: Terror and Will

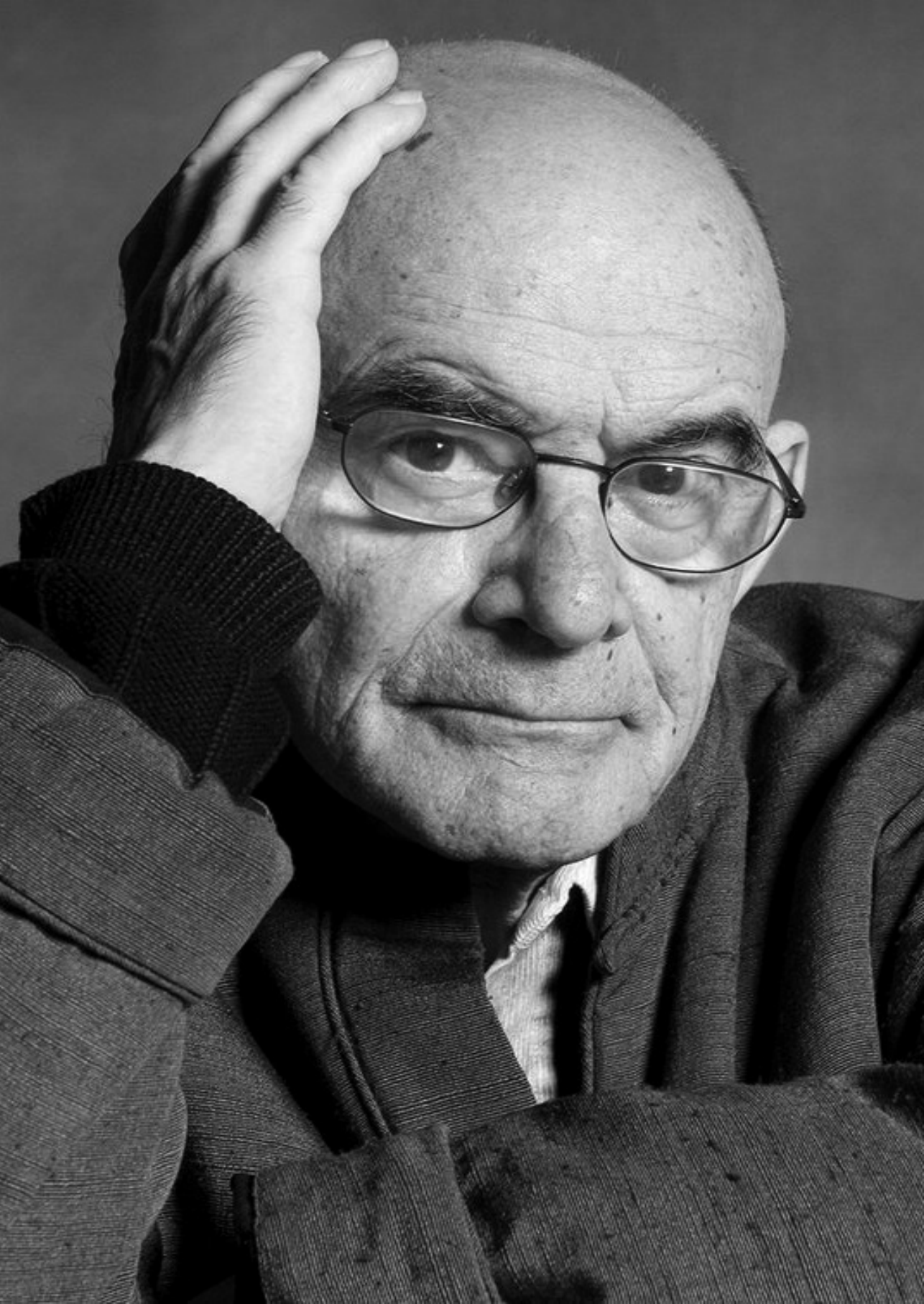
Alexander M. Nikulin

Candidate of Economic Sciences, Head of the Center for Agrarian Studies, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration; Head of the Chayanov Research Center, Moscow School of Social and Economic Sciences

Address: Prospekt Vernadskogo, 82, Moscow, Russian Federation 119571

E-mail: harmina@yandex.ru

Book Review: *Mikhail Gefter*, *Antologija narodnichestva* [Anthology of Narodnichestvo] (Saint Petersburg: Nestor-Istoria, 2020) (in Russian).



Жан-Люк Нанси, мыслитель сообщества

Французский философ Жан-Люк Нанси скончался 23 августа 2021 года в возрасте 81 года. Один из наиболее влиятельных последователей Деррида, Нанси остался в истории в первую очередь как мыслитель сообщества.

Нанси родился в 1940 году в Бордо, в семье военного инженера. Детство он провел в Баден-Бадене, но позже семья вернулась во Францию, в Бержерак. Нанси рос в католической среде, участвовал в молодежных христианских организациях, и хотя позже отошел от католичества, он навсегда остался чуток к вопросам религии и теологии. Выпускник Сорбонны, Нанси в 1964 году уезжает в Страсбург, где — за исключением краткого периода преподавания в Кольмаре — остается до конца жизни. В Страсбурге Нанси встречается Филиппа Лаку-Лабарта, с которым у него возникает плодотворное сотрудничество. Хотя его научным руководителем был Поль Рикёр (диссертация по Канту, 1973), а впоследствии Жерар Гранель (вторая диссертация, по Хайдеггеру, 1987), Нанси обычно рассматривают как ученика и наиболее яркого последователя Жака Деррида, сумевшего применить его идеи к области социальной философии и политики. Славу Нанси принесла книга «Непроизводимое сообщество» (*La Communauté désœuvrée*), вышедшая в 1990 году. Следующим важным этапом стала книга «Бытие единичное множественное» (*Être singulier pluriel*, 1996), в которой Нанси, переосмысляя хайдеггеровское понятие «бытия-с» (*Mitsein*), предлагает свой проект социальной онтологии. В этих двух сравнительно небольших работах Нанси сформулировал тезисы о теории сообщества, которые с тех пор стали неотъемлемой частью современного интеллектуального ландшафта.

Главное достижение Нанси носит, если так можно выразиться, негативный характер. Он очень хорошо показывает, как *не следует* мыслить сообщество. Не следует мыслить сообщество, исходя из отдельных индивидов и их потребностей. При этом не столь важно, исходим ли мы из наличия самостоятельных, автономных индивидов, которые сами выбирают свои социальные связи, или же индивидов, уже вписанных в определенную социальную сеть. Напротив, сообщество — или же, как он предпочитает говорить в более поздних работах, — *бытие-вместе* (*être en commun*) и есть то, из чего следует исходить, если мы хотим схватить сущность человеческого. Мы *всегда уже* вместе с другими, и эта принадлежность бытию-вместе, эта «онтологическая социальность» лежит в основе принадлежности к любому конкретному сообществу. Таким образом, принадлежность к сообществу укоренена не в разделенной идентичности, не в разделенном нарративе, не

в общей судьбе; напротив, идентичность, история, судьба могут стать общими только благодаря этой онтологической социальности.

Одним из следствий этого тезиса является невозможность определить сообщество, исходя из противопоставления неких «нас» — «им», от нас отличным. Все попытки ввести внешние, эссенциалистские критерии для принадлежности к сообществу — будь то кровь, почва, судьба, моральные нормы — несостоятельны, и главное, в современном мире они больше не работают. Как же перейти к мышлению сообщества, которое не базировалось бы на мифе об утраченном сообществе, на еще одной версии *Verfallsgeschichte*? Хотя со времен Руссо мышление сообщества было подчинено мечте о сообществе, христианском по своей сути, сформированном исходя из причастности к единому мистическому телу, сообществе, в котором социальные связи гарантируются высшим сущим, но, как показывает Нанси, возвращение к этому утраченному сообществу не только нежелательно, но и невозможно. Мы должны научиться мыслить сообщество иначе, другого выхода у нас просто нет.

Однако интеллектуальный императив, требующий, чтобы мы начинали не с индивида, а с сообщества, не следует смешивать с тезисом, согласно которому мы можем начать с некоторой целостности: нации, народа, империи и так далее. Нельзя мыслить сообщество исходя из самозамкнутого субъекта, из индивида, обладающего определенной идентичностью или же, наоборот, такую идентичность ищущего; но также нельзя мыслить бытие-вместе, исходя из какой бы то ни было коллективной общности. Сообщество, пережившее прерывание мифа, лежавшего в его основе, не производит не только идентичность индивида, оно не производит и коллективной идентичности.

Однако непроеизводительность сообщества не есть его бездействие. В сообществе нечто случается — и то, что случается, Нанси называет «со-явлением сингулярностей» и «разделенностью смысла». Эти технические термины служат Нанси для того, чтобы создать новый концептуальный язык для описания плюральности существования. Со-явление (*comparution*) — это не просто явление вместе; это явление, в котором явленность неотделима от совместности; в со-явленности состоит наш экзистенциальный удел как сингулярных сущих, которые всегда уже вместе. Но если для Ханны Арендт таким местом взаимного явления сущих было политическое пространство как противопоставленное частному или полуприватному, то Нанси видит в этой со-явленности своего рода трансцендентальное условие возможности политического. Для него со-явление связано не с поступком, как это было у Арендт, но относится к исходной ситуации человеческого сущего как сингулярного существа. «Сингулярный» для Нанси — это не обособленный, но, напротив, каждый — каждый из нас, взятый одновременно и в своей уникальности, и в своей исходной связанности со всеми другими: сингулярность уже предполагает некое *мы*, некую исходную плюральность уникальных сущих, которые делят бытие с другими, которые являют себя другим и вместе с другими, и которые делят с другими смысл. Смысл, логос всегда предполагает разде-

ленность, а разделенность — это всегда разделенность смысла, настаивает Нанси. Как у позднего Гуссерля, каждый из нас есть исток мира и исток смысла, однако этот смысл не может быть *только* моим. Разделенность — это не взаимообмен, как и со-явленность — не спектакль. Разделенность предполагает и единство, и такое разделение на части, в котором нет раздробленности. Именно поэтому со-явление происходит в языке, в котором мы делимся смыслом, не отчуждая его.

Способ мыслить сообщество, который нам предлагает Нанси, не сводится к констатации, в нем безусловно присутствует и нормативная составляющая: сообщество есть определенный *этнос*. Новому способу мышления сообщества соответствует и новое политическое мышление, которое должно отойти от устаревших моделей, ставящих в центр идентичность того или иного толка. Плюральность сообщества, построенного на бытии-вместе, а не на эссенциалистской модели, противостоит любым способам его понятийной фиксации. В то же время Нанси не дает обществу рецептов, как ему жить: его задача как философа состоит скорее в том, чтобы указать на фундаментальные аспекты человеческого бытия, которые лежат в основе любых конкретных форм политического сосуществования. В недавней полемике с Джорджо Агамбеном о коронавирусе и биополитике Нанси занял куда более выдержанную позицию, чем Агамбен, его «старый друг». Во-первых, сам термин «биополитика» кажется Нанси малоприменимым к сложившейся ситуации. Напротив, физическая самоизоляция каждого парадоксальным образом оказывается тем способом, которым мы можем ощутить свою принадлежность к сообществу, реализовать свою солидарность и заботу о других. Во-вторых, хотя Нанси и согласен с Агамбеном в том, что ситуация пандемии привела к чрезвычайному положению, однако с его точки зрения чрезвычайные положения стали правилом в результате прогресса технической цивилизации, а не в результате пандемии: пандемия послужила увеличительным стеклом, позволившим нам четче увидеть уже имеющиеся в обществе проблемы.

Значение Нанси как философа не исчерпывается его анализом политической проблематики. Нанси широко известен как теоретик литературы и кино, тонкий знаток немецкого романтизма. Его ранняя работа «Литературный абсолют: теория литературы немецкого романтизма» (1978, в соавторстве с Ф. Лаку-Лабартом), посвященная деятельности братьев Шлегелей, выявляет неразрывность литературы и ее критического самоосмысления. Многообразное наследие Нанси убедительно показывает, что политическое не исчерпывает социальное, что без искусства, литературы, науки, любви, наконец, человеческое бытие-вместе столько же неполно, сколь и без своей политической составляющей.

Анна Ямпольская

Важнейшие работы Ж.-Л. Нанси

- La titre de la lettre. P.: Galilée, 1973 (совместно с Ф. Лаку-Лабартом).
L'absolu littéraire: théorie de la littérature du romantisme allemand. P.: Seuil, 1978 (совместно с Ф. Лаку-Лабартом).
Le partage des voix. P.: Galilée, 1982.
La communauté désœuvrée. P.: Christian Bourgois, 1983.
L'expérience de la liberté. P.: Galilée, 1988.
Corpus. P.: Métailié, 1992.
Le sens du monde. P.: Galilée, 1993.
Être singulier pluriel. P.: Galilée, 1996.
Hegel: l'inquiétude du négatif. P.: Hachette, 1997.
L'Intrus. P.: Galilée, 2000.

Русские переводы Ж.-Л. Нанси

- Corpus / Пер. с фр. Е. Петровской и Е. Гальцовой. М.: Ad Marginem, 1999.
Бытие единичное множественное / Пер. с фр. В. В. Фурс под ред. Т. В. Щитцовой. Минск: И. Логвинов, 2004.
Непроизводимое сообщество / Пер. с фр. Ж. Горбылевой и Е. Троицкого. М.: Водолей, 2009.